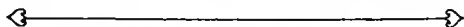




И. А. БУНИН

Собрание сочинений в шести томах



Редакционная коллегия:

Ю. В. БОНДАРЕВ
О. Н. МИХАЙЛОВ
В. П. РЫНКЕВИЧ

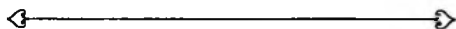


Москва

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •
1987

И. А. БУНИН

собрание сочинений • том первый



Стихотворения

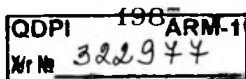
1888, 1952

Переводы



Москва

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •



ББК 84Р1
Б91

Вступительная статья

А. Т. ТВАРДОВСКОГО

Составление, подготовка текста и комментарии

А. К. БАБОРЕКО

Статья «Поэзия Бунина»

О. Н. МИХАЙЛОВА

Оформление художника

Г. КОТЛЯРОВОЙ

Б 4702010100-264
028(01)-87

подписное

© Состав, комментарии, оформление. Издательство "Художественная литература", 1987 г.

О БУНИНЕ ¹

1

Русский писатель Иван Алексеевич Бунин, умерший в Париже в 1953 году, при жизни не был знаменитым писателем в обычном смысле этого понятия. Имя его никогда не становилось знаменем литературного направления, «школы» или просто моды. Присвоение И. А. Бунину в 1909 году звания почетного академика императорской Академии наук, в глазах передовых читателей, само по себе в то время не могло вызвать к нему симпатии. В среде демократической интеллигенции еще памятен был исполненный достоинства отказ Чехова и Короленко от этого почетного звания в связи с отменой Николаем Вторым решения академии о присвоении такого же звания М. Горькому. Точно так же и Нобелевская премия, присужденная Бунину в 1933 году, — акция, носившая, конечно, недвусмысленно тенденциозный, политический характер, — художественная ценность творений Бунина была там лишь поводом, — естественно, не могла способствовать популярности имени писателя на его родине.

За всю долгую писательскую жизнь Бунина был только один период, когда внимание к нему вышло за пределы внутрилитературных толков, — при появлении в 1910 году его повести «Деревня». О «Деревне» писали много, как ни об одной из книг Бунина ни до, ни после этой повести. Но нельзя переоценивать и этого исключительного в бунинской биографии случая. Отсюда еще

¹ Статья написана А. Т. Твардовским к Собранию сочинений И. А. Бунина в 9-ти томах (М., Художественная литература, 1965—1967) и опубликована в первом томе этого издания.

далеко было до того, что называется славой писателя, подразумевая не полулегендарную прижизненную славу Толстого или Горького, но хотя бы тот обширный и шумный интерес в читательской среде, какой получали в свое время произведения литературных сверстников Бунина — Л. Андреева или А. Куприна.

Бунин только теперь обретает у нас того большого читателя, которого достоин его поистине редкостный дар, хотя идеи, проблемы и самый материал действительности, послуживший основой его стихов и прозы, уже принадлежат истории.

Вышедшее у нас несколько лет назад пятитомное собрание сочинений И. А. Бунина (весьма неполное и несовершенное) тиражом в двести пятьдесят тысяч экземпляров — цифра космическая в сравнении с заграничными тиражами бунинских изданий — давно разошлось. Кроме того, выходили однотомники прозы, выходили «Стихотворения» Бунина в большой и малой сериях «Библиотеки поэта», отдельные издания лонгфелловской поэмы «Гайавата» в его классическом переводе — их уже не найти в книжных магазинах. Все это говорит, конечно, прежде всего о небывалом, в смысле не только количественном, росте читательской армии на родине поэта, покинутой им когда-то в страхе перед разрушительной силой революции, перед мыслившимся ему попранием ею святынь культуры и искусства, всеобщим одичанием. И еще эти факты свидетельствуют о принципах новой, социалистической культуры, исключающей в отношении к подлинным произведениям искусства какое-либо подобие мстительного чувства к их авторам, некогда отвернувшимся от нее и даже ронявшим себя до мелочных, обывательски озлобленных суждений о ней.

То, что, как сказано, слава не пришла к Бунину при жизни, не означает, однако, что он не имел значительного круга своих читателей и почитателей. Нынешнее признание его огромного таланта, значительности его вклада и заслуг в развитии русской прозы и поэзии не является открытием нашего времени. И при жизни Бунин пользовался уважением даже таких его современников, как Блок и Брюсов, чьи эстетические взгляды и творческую практику сам он начисто отвергал. Обожаемый Буниным Чехов со свойственной ему сдержанностью, но очень благосклонно оценивал еще совсем молодого Бунина и дарил его дружеским расположением. Но совершенно исключительным вниманием Бунин пользовался со стороны М. Горького. М. Горькому принадлежат самые высокие оценки, самые щедрые похвалы таланту Бунина, какие когда-либо к нему относились.

До конца дней М. Горький в своих печатных и изустных высказываниях неизменно называл имя Бунина в ряду крупнейших имен русской литературы, настоятельно советовал молодым писателям учиться у него. Он по-человечески очень любил Бунина, хотя

и знал за ним «барскую неврастепию» и огорчался неспособностью его направить свой талант «куда нужно».

В письмах Горького к Бунину то и дело проявляется что-то глубоко трогательное, полное бережливой нежности и восхищения — вплоть до самоотверженной готовности признать за ним первенство в искусстве. «Вы только знайте, что Ваши стихи, Ваша проза — для «Летописи» и для меня — праздник, — писал ему Горький в 1916 году. — Это не пустое слово. Я Вас люблю — не смейтесь, пожалуйста. Я люблю читать Ваши вещи. думать и говорить о Вас. В моей очень суетной и очень тяжелой жизни Вы, может быть, и даже наверное — самое лучшее, самое значительное... Вы для меня — великий поэт, первый поэт наших дней».

Пусть некая степень этих оценок может быть отнесена за счет, так сказать, широты натуры и склонности к увлечениям великого собирателя и воспитателя литературных сил. Но, пожалуй, ни одно из многочисленных «увлечений» Горького не было таким длительным и прочным. Бунин отвечал ему выражением чувств признательности и дружеской преданности.

«Мы в отношениях, во встречах с Вами чувствовали эти минуты — то настоящее, чем люди живы и что дает незабываемую радость. Обнимаю Вас и целую крепко — поцелуем верности, дружбы и благодарности, которые навсегда останутся во мне, и очень прошу верить правде этих плохо сказанных слов!»

Только спустя много лет после того, как в 1917 году их дороги навсегда разошлись, Бунин назовет свою дружбу с Горьким «странной», а в своем литературном завещании, прося не печатать, не издавать его писем, сделает неожиданное признание: «Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал, — в силу разных обстоятельств (один из многих примеров — письма к Горькому...)».

Но это уже особая черта старого Бунина, поправлявшего Бунина прежнего и отрекавшегося от связей и симпатий своей лучшей поры.

У нас, к сожалению, еще не выпущено в свет ни одной значительной монографической работы, посвященной И. А. Бунину, его художественному опыту, в немалой степени сказавшемуся на культуре современной русской прозы и стиха. Но можно утверждать, что опыт этот не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных — каждый по-своему — верностью классическим традициям русского реализма. Разумеется, ни Шолохов, ни Федин, ни Паустовский, ни Соколов-Микитов, осваивая в своей литературной молодости, вкупе со всем богатством классического наследия, опыт Бунина и высоко оценивая искусство этого мастера, не могли разделять его идейных взглядов, его известных пессимистических настроений.

То же можно сказать и о более молодом поколении советских писателей, прежде всего о Ю. Казакове, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывалось, пожалуй, в наиболее очевидной степени. Из совсем молодых, начинающих прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихоносова. Но круг писателей и поэтов, чье творчество так или иначе отмечено родством с бунинскими эстетическими заветами, конечно, значительно шире. В моей собственной работе я многим обязан И. А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности.

Словом, Бунин не есть сегодня некая академическая величина, которой отдается от случая к случаю дань почтения. Он именно в наши дни приобретает все более широкий круг читателей, его наиболее ценные и безусловные художнические принципы — реальная, действенная часть живого и многосложного современного литературного процесса.

2

Говоря о Бунине, нельзя не начать с главного обстоятельства его литературной и житейской судьбы, которое на долгие годы определило и известную скудость высказываний нашей критики об этом художнике, рассматривающей его обычно отдельно, вне ряда классических мастеров русской литературы конца XIX — первой половины XX веков, и смутность, отрывочность представлений о нем до недавнего времени в среде читателей. Не все, помнившие его в 20-х, в 30-х годах по книжкам собрания сочинений в приложении к дореволюционной «Ниве», даже знали, что этот писатель еще жив, но живет в эмиграции, и среди написанного им за эти десятилетия есть замечательные произведения, но немало и такого, что могло вызывать лишь сожаление о судьбе художника.

Эмиграция стала поистине трагическим рубежом в биографии Бунина, порвавшего навсегда с родной русской землей, которой он был, как редко кто, обязан своим прекрасным даром и к которой он, как редко кто, был привязан «любовью до боли сердечной». За этим рубежом произошла не только довременная и неизбежная убыль его творческой силы, но и само его литературное имя понесло известный моральный ущерб и подернулось ряской забвения, хотя жил он еще долго и писал много.

Был ли этот губительный для художника шаг в данном случае печальным недоразумением, результатом стечения внешних обстоятельств, просто ошибкой? На этот вопрос приходится ответить отрицательно.

Оказавшийся непоправимым поворот личной судьбы Бунина в годы великого исторического перелома в судьбе его родины, еще

издалека, то более, то менее внятно, подсказывается строем и духом его творений в первые три десятилетия его писательской жизни, главным образом в период между двумя революциями. Я не говорю, что такая же «предопределенность» в отношении выбора между родиной, ставшей советской, и чужбиной вынашивалась и Куприным, и Зайцевым, и Шмелевым, и другими русскими писателями, эмигрировавшими в годы революции, — здесь могли быть и были случайности. Но Бунин наиболее яркая и цельная из них писательская индивидуальность — пути и этапы его развития более значительны, его трагедия заслоняет собою сходные трагедии и судьбы.

Расхожие определения и характеристики Бунина как «певца оскудения и запустения» «дворянских гнезд», «усадебной печали», «осенней грусти увядания», конечно, поверхностны и неполны, но не были неверными по существу. Эти мотивы его поэзии очень органичны и никак не являлись данью литературной моде. Многими литературными современниками молодого Бунина они уже воспринимались как старомодные, отзвучавшие до него. «Это внезапно ожившая элегичность, — писал Короленко в 1904 году, — нам кажется запоздалой и тепличной. Прежде всего — мы уже имели ее так много и в таких сильных образцах. В произведениях Тургенева этот мотив, весь еще трепетавший живым ощущением свежей раны, жадно ловился поколением, которому был близок и родствен... И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг опять приглашают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это нынешнее запустение».

Но именно в этой исторической запоздалости элегических мотивов Бунина, мне кажется, заключена их особая, индивидуальная природа, не говоря уже о том, что до таких подробностей и крайностей в изображении «запустения» добунинская литература не добиралась. Даже «Оскудение» С. Атавы-Терпигорева живописует еще довольно оживленный и разухабистый, хотя и катастрофический по существу период прожигания и проматывания помещиками всяческих «выкупных», «закладных» и деньжонок, вырученных от продажи частично или полностью земель, лесов, а то и наследственных хоромов, период афер, прожектов и малоуспешных попыток переустройства хозяйства на «образцовый» лад. Еще было не так близко до натурального разорения и самой неприглядной бедности.

Бунин родился спустя почти десять лет после реформы. Детство и юность его были свидетелями надвигающейся на семью безнадежной нужды. Отец поэта, по-барски разгульный, беспечный на самом пороге этой бедности, мастерски поющий под гитару «Где ты закатилось, счастье золотое!», не только не вызывает

в сыне осуждения или упрека, но наполняет его юношеское сердце чувством нежности и обожания: «Не судья тебе я за грехи былого...» О былом благополучии и знатности рода Буниных будущий писатель знает и по семейным преданиям, по «гербовнику», и по литературным источникам. «Я происхожу из старинного дворянского рода,— пишет Бунин в своих автобиографических заметках,— давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Буннина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи».

То обстоятельство, что среди предков Бунина были известные литераторы, он особо подчеркивает,— это связывало его с истоками дворянской культуры, с предтечами и старшими современниками самого Пушкина, своеобразный культ которого в доме Буниных исходил от матери, любившей читать детям («Певуче и мечтательно, на старомодный лад») стихи великого поэта.

Древний дворянский род, в прошлом оставивший столь заметный след в национальной культуре, и — захолустный степной хутор, доведенное до полного упадка хозяйство, заложенные ризы с икон, нависающие сроки уплаты процентов по закладным на имение, унижения перед лицом соседей, местных властей, крестьян. Дети еще при родителях, под родной, хотя и протекающей при каждом дожде крышей, но какая их ждет судьба? Старший брат Юлий, единственный окончивший курс в университете, отбывает дома, после тюрьмы, высылку под гласным надзором за участие в кружках народнического толка; Евгений бросил гимназию, женится на дочери управляющего соседним имением; Иван уходит из четвертого класса гимназии.

Поэт с юности живет в мире сладчайших воспоминаний — и своих воспоминаний детства, еще осененного «старыми липами», еще лелеемого остатками былого помещичьего довольства, и воспоминаний семьи и всей своей среды об этом былом довольстве и красоте, благообразии и гармонии жизни. «Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах...»

Спустя много лет, уже в эмиграции, Бунин забывает, что крушение милого ему мира русской помещичьей усадьбы происходило на его глазах, задолго до Октябрьской революции и большевиков, которым он адресует свои обвинения в разрушении «красы земной», в попрании наследственных святынь его детства, его памяти. Как будто он и не был свидетелем того, как на подворья этих усадеб запросто въезжали на дрожках «князя во князьях» — Лукьяны Степановичи, Тихоны Красовы, Буравчики и множество подобных им, приторговывали остатний лесок, землюцу, а то и саму

усадьбу. Феноменальная память писателя в иных случаях ему явно изменяла.

Поэзия, литературный труд представились молодому Бунину как единственно надежное убежище от «ужаса» и «низости», ожидавших его, недоучившегося гимназиста, «недоросля из дворян», в перспективе жизни. И не только и не столько в материально-правовом отношении, сколько в смысле избежания духовного ожесточения и пошлости мира лавочников и мелких службистов.

Великая русская литература, по понятиям Бунина, была знаменем дворянства, его культуры, его роли в исторической жизни общества. Но дворянин Бунин выступает в литературе с большим историческим опозданием: там уже занимает прочное место целая плеяда родившихся не «под старыми липами», не в наследственных усадьбах, а в купеческих, поповских и мелкопоместных домах, даже в мужицких избах. А идти по пути Толстого с его отказом от привилегий и предрассудков дворянства — это не было судьбой таланта Бунина.

В своеобразной надменной отчужденности Бунина от «низкой» и «ужасной» среды есть что-то похожее на гонор захудалого шляхтича: чем он беднее, тем больше этого гонора. Смолоду Бунин еще отдает известную дань демократическим настроениям: уважительно отзываясь о поэзии Некрасова, пишет восторженную рецензию на стихотворения И. С. Никитина, противопоставляя его здоровый, «дворянский» реализм декадентствующим современникам. Но с годами он все далее отходит от этих настроений своей молодости, правда до конца дней не отступая от своего резко отрицательного, саркастического отношения ко всякого рода «истам» в русской поэзии, доходя здесь и до явных крайностей, как, например, в позднейшей оценке Брюсова, Блока, Маяковского, Есенина.

В интервью газете «Голос Москвы» в 1912 году Бунин говорит об эволюции своих идейно-политических взглядов или увлечений молодости: «Прошел я не очень долгое народничество, затем толстовство, теперь тяготею больше всего к социал-демократам, хотя сторонюсь всякой партийности»¹.

Конечно, «тяготение к социал-демократам» не следует понимать более глубоко, чем близость его в эти годы с М. Горьким. Самое верное здесь — слова об отстранении от «всякой партийности».

В «Жизни Арсеньева» Бунин пишет: «Я просто не мог слушать... когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается «в работе на пользу общества», то есть мужика или рабочего. Я из себя выходил: как, я должен принести себя в жертву какому-

¹ Здесь и ниже газетные интервью И. А. Бунина цитируются по подготовленной для «Нового мира» публикации А. Нинова.

нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу: да и Климу-то не живому, а собирательному... п то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику...»

Несомненно, что «своего батуринского Клима» Бунин любит, готов всячески помочь ему и даже защитить его — все это не расхожится с этикой гуманного помещика, несущего «отеческую» заботу о «своем Климе».

Но было бы неправильным на этом и поставить точку, то есть сказать, что Бунин только и выражает в своих сочинениях это духовное единство помещика и мужика, равно причастных родной земле, национальному укладу, традициям.

Дело в том, что «свой батуринский Клим», изображенный художником в правдивых чертах его бытия и сознания, он уже тем самым становится «собирательным Климом», от этого не уйти, если не уходить от правды жизни, не фальшивить, не лгать. Подлинный художник менее всего волен исказить реальную действительность в соответствии со своими более или менее прочными, но далекими от истины взглядами и убеждениями.

Бунинские образы крестьян и крестьянок наделены такими чертами индивидуальности, что мы, как это бывает только при соприкосновении с настоящим художеством, забываем, что это литературные персонажи, плод фантазии автора. Это живые «батуринские» мужики и бабы, старики и старухи, батраки и отбившиеся от рук «хозяева», неудачники и несчастные «пустоболты». Но они же — во всем своем единичном «батуринском» обличье — теперь уже не только «батуринские» со всеми их бедами и муками, надеждами и отчаянием, уже представители не одного своего «Батурина», и не только одного Подстепья, но всей русской деревни начала века.

Когда Анисья Миняева («Веселый двор»), покинув пустую избу, в полуобмороке от истощения бредет в жаркий, цветущий летний день за двадцать верст к сыну, пустоболту и бродяге, пристроившемуся наконец на «место» в лесной караулке, она для нас как бы не литературный персонаж, а именно та, живая Анисья, каким-то чудом из горькой, мученической своей и безгласной, безвестной жизни занесенная на страницы книги. Ее материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, ее страдания вызывают у нас прежде всего не восхищение мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание помочь этой бедной женщине, накормить, приютить ее старость. Но вместе с тем эта женщина, бредущая проселками и полями, шатающаяся от слабости, жующая какие-то травинки («Горох еще и не наливался. Кабы налился,

наелась бы досыта — и не увидал бы никто»), предстает нам и как образ всей нищей «оголодавшей» деревенской Руси, бредущей среди своих плодородных полей, плутающей по межам и стежкам.

Эта дорога матери к сыну, к слову сказать, написана так, что остается в памяти как одна из самых потрясающих страниц русской классической прозы, и нечего пытаться пересказать своими словами «основное содержание» таких страниц: в них все так плотно, так слитно и незаменимо, что нет, кажется, ни одной строки, ни одной ноты их музыкального течения вне этого «основного содержания».

В отношении людей мужицкого мира в дореволюционных деревенских вещах Бунина все симпатии и неподдельное сочувствие художника на стороне бедных, изнуренных безнадежной нуждой, голодом (почти все его деревенские герои, между прочим, постоянно хотят есть, мечтают о еде — о краюхе хлеба, луковице, картошках с солью), унижениями от власти или капитал имущих. В них его особо трогают покорность судьбе, терпение и стоицизм во всех испытаниях голода и холода, нравственная чистота, вера в бога, простодушные сожаления о прошлом. К людям, так или иначе уже порывающим с этим исконным крестьянским миром, узнавшим соблазн отхожих заработков на фабрике, в городе, на железной дороге, недовольным, непоседливым и «вольным на слова» с их идеалом: «не пахать, не косить, девкам жамки носить...» — Бунин беспощаден. Дениска из «Деревни» — один из таких ненавистных Бунину людей. Примечательно, что не у кого другого, а именно у Дениски автор обнаруживает сверток «литературы», где вкупе со всякой лубочной дрянью находится и брошюра «Роль пролетариата», причем автор заставляет Дениску по его безграмотности исказить второе слово этого заглавия — «проталерията», а также назвать все это вместе «кляповинкой разной».

Бунин искренне любит своих деревенских героев, людей, придавленных «нуждикой», забитых, замордованных, но сохраняющих свою исконную безропотность, смиренномудрие, врожденное чувство красоты земли, жизнелюбие, доброту, непротивительность. Он не унижает их снисходительным — сверху вниз — взглядом и не идеализирует их в сусально-народническом духе, не умиляется по-барски незамысловатостью их понятий — он описывает их так же, как и обитателей усадеб, не подбирая иных, «пейзанских» красок. Но он все же любит их, покамест они остаются «детьми» и в них не пробуждается чувство хотя бы недоумения перед очевидной несправедливостью мироустройства, то есть покамест у них не пробуждается самостоятельное человеческое сознание. Тут они становятся для него чуждыми и ненавистными Денисками или людьми вроде Аверкиева зятя из «Худой травы».

Бунин любит изображать людей пожилых и старых, близких ему памятью о прошлом, которое они склонны видеть больше с хо-

рошей стороны, забывая обо всем дурном и жестоком, — близких и своей душевной настроенностью, чувством природы, складом речи, куда более поэтичным, чем у молодых с их развязностью на городской манер, непочтительностью и цинизмом.

Светел и трогателен батрак Аверкий, добр и благодороден Захар Воробьев, простодушный и милый деревенский богатырь. Замечателен и портрет своего рода сельской знаменитости стовосьмилетнего Таганка, которого в семье уже забывают накормить или сменить ему рубаху. Образ этой крестьянской старости с ее покинутостью и беззащитностью, с униженной в лице ее самой человеческой природой («За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы»), опять же независимо от воли художника, предъявляет страшный счет обществу, социальному устройству жизни, он вызывает к справедливости.

Конечно, это особое пристрастие Бунина к старым людям деревни легко вывести из барского, дворянского представления о гармонических отношениях господ и мужиков в прошлом, которые и ныне, в пору разорения и утраты благообразия деревенской жизни, равно — и мужику и помещику — дороги своей устойчивостью, мудрой простотой, довольством. Но когда перед нами встает со страниц книги исполненный жизни и убедительности образ, мы не обязательно тотчас же «расшифровываем» его «социально-классовую природу» — мы воспринимаем и запоминаем его, он становится частью нашего знания о мире и людях.

Я встречался с героями Бунина как со старыми знакомцами, когда впервые читал его книги — я их уже видел и запечатлел в памяти моего деревенского детства и ранней юности. Видел их я и среди людей деревни в незабываемую пору ее великих потрясений и перемен — в канун и в первые годы коллективизации, разъезжая по своей Смоленщине с корреспондентским удостоверением от газеты. Видел молчаливых и несколько благодетных Аверкиев в должностях конюхов, скотников, ночных сторожей; безответных колхозных Однодворок, наделенных непостижимой «двузначностью» и такой ладной бабьей удалью в любой работе и во всех тяготах жизни; беспечных «пустоболтов», табакуров и бездельников Серых и Егоров Минаевых, вечно околачивающихся в конторе правления, любителей сходок, собраний, толчен и горлодерства на людях; видел «древних деньми» Таганков и Иванушек среди бурного деревенского мира тех лет; видел, конечно, и тех людей новой деревни — энтузиастов, агитаторов и вожakov из самой крестьянской массы, которых Бунин не мог ни видеть, ни предвидеть.

Однако еще в 1903 году Бунин чутким ухом художника хорошо расслышал те новые интонации в крестьянских голосах, которые уже не только не оставляли сомнений относительно противопоме-

щичьих настроений, но были явными признаками предгрозового времени. Достаточно напомнить о таких рассказах, как «Золотое дно» или «Сны», печатавшихся в сборнике «Знание» под общим заглавием «Чернозем» и очень высоко оцененных скупым на похвалы Чеховым.

Свидетельство художника о назревавших в канун революции настроениях крестьянской массы тем более значительно, что художник этот был не только далек от революционных взглядов, но всей душой связан с тем миром помещичьих усадеб, для которых «красные петухи», упомянутые в «Снах», были грозным, памятным со времен пугачевщины знамением.

Чуткость и острота восприятия Буниным процессов, происходивших в деревне в канун, во время и после революции 1905 года, пожалуй, нигде не сказывается в такой недвусмысленности, как в главном произведении его «деревенского цикла» — повести «Деревня».

«Деревня», написанная в 1909—1910 годах, в период наибольшей близости Бунина с Горьким, означала наивысшую степень сближения бунинской музыки с современной действительностью в ее реальном развороте.

Повесть эта для читателей и критики, в частности марксистской, явилась неожиданностью, опровергнувшей привычные представления и суждения о Бунине. «Кто бы мог подумать,— писал В. Воровский,— что утонченный поэт, увлекавшийся в последнее время столь далекими от нашей современности экзотическими картинами Индии... поэт вообще несколько «не от мира сего», по крайней мере не от болящего мира наших дней,— за что, вероятно, и удостоился академических лавров,— и вдруг чтобы этот поэт написал такую архиреальную, «грубую» на вкус «утонченных» господ, пахнущую перегноем и прелыми лаптями вещь, как «Деревня».

«Деревня» перенасыщена материалом действительности, современным первой русской революции, отголосками общероссийских политических событий, толками, слухами, предположениями, полными бурных надежд и горьких разочарований тех лет. Здесь все: и пылающие вдалеке помещичьи усадьбы, и попытка мужицкого самоуправления в самой Дурновке, принадлежащей теперь Тихону Красову, правнуку крепостного, затравленного борзыми помещика Дурново; и «озорство» на дорогах, и бегство помещиков в города, и казачьи сотни, вызванные для защиты их, и конституция, и монополия на водку, и рассказы о хитроумных дипломатических маневрах министра «Вити» (Витте), и ночные страхи имущих, и беспечная, разгульная удаля несимущих, и необозримое половодье народного недовольства, медленно входящее в берега «правопорядка».

Густота и плотность жизненного материала в повести поистине необычная и для самого Бунина, и для того классического, как бы замедленного строя повествования, какого он, при всем очевидном своеобразии его письма, держался ранее. Он всегда предпочитал рассказывать о том, что было вчера, что минуло и чему уже подведен какой-то итог, — на всем у него милый его художническому сердцу элегический отпечаток воспоминания. Здесь он словно бы еще и не выбрался из сумятицы и горячки революционной поры, из ее многолюдства и разногласия, споров и пересудов. Кажется, что повесть написана в те самые дни и месяцы, а не четыре-пять лет спустя.

В «Деревне» немного героев с именами и прямым участием в событиях, развивающихся в ней, — гораздо больше безымянного сельского и уездного люда, мужиков, покупателей в лавке Тихона Красова, нищих, странников, уездных торговцев, девок и баб на поденщине, почных сторожей. — и почти все они что-то вспоминают, о чем-то рассказывают, называют множество людей, которые в натуре не появляются на страницах повести.

Сгущение темных красок в изображении деревенской действительности иногда кажется даже переходящим в крайности, в выборочное экспонирование уродств, жестокости, цинизма и кретинизма. Тут и сходные с нравами диких племен примеры сжигания со свету стариков в семьях как раз не бедных; и «уступка» жен мужьями по сходной цене; и дикая похвальба «пустоболта» Серого тем, как он хитро выслеживал дочь, «снохавшуюся» с парнем Егоркой, да и «прихватил», и «всю поясницу ей изрубил» «кнутиком похоженьким», и Егорку заставил жениться.

Было бы несправедливым сказать, что только Бунин, в силу своей принадлежности к дворянскому классу, видел деревню той поры в таком мрачном свете. Младший его современник, писатель из крестьян Иван Вольнов, в своей автобиографической «Повести о днях моей жизни», стремился как бы «перекрыть» Бунина по части всяческих «ужасов» деревенского быта. Конечно, и у Бунина и у Вольнова особая «беспоощадность» в показе деревни и мужика в значительной степени была здоровой реакцией на идеализированное и слащавое освещение этого материала в позднепародийской литературе. Но своеобразное полемическое «антибунинское» заострение деревенской темы у Вольнова состояло в утверждении им особых прав на эту тему в литературе: не барину, мол, писать о темных сторонах мужицкого мира, мы тут лучше знаем всю, так сказать, подноготную.

Однако сопоставление бунинской «Деревни» и вольновской «Повести» как художественных свидетельств о «правде деревенской жизни» более выгодно для «барина» Бунина, чем для «мужика» Вольнова.

Первый, при всей его «беспощадности», следуя художественному такту, избегает подавать деревенские «ужасы» в непосредственной картине. Живьем ободранный мужиком бык бегает у Бунина «за сценой», в изустной молве, — это слух, полулегенда той поры («деревенских беспорядков», но не прямое утверждение автора («Ночной разговор»)).

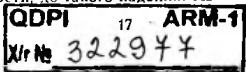
У Вольнова же все мужицкие «художества» — дикое пьянство, избивание жен и детей, истязания животных, смертоубийства и т. п. подаются как зарисовки с натуры, как эпизоды, свидетелем которых был сам автор, ведущий свое повествование от первого лица. И странная вещь: эта «натуральность» ослабляет у читателя впечатление реальности описываемого, подлинности свидетельства. Например, при несомненном соответствии исторической правде в общем смысле, картина погрома барской усадьбы, нагромождения трупов крестьян и охраняющих усадьбу солдат расхолаживает какой-то своей условностью, неправдоподобием.

Это стремление удивить, поразить читателя необычайностью «правды-матки» о деревенской действительности, даже рассмешить его несообразностями и крайней глупостью поступков и речей крестьян долго держалось в приемах изображения деревни нашими так называемыми крестьянскими писателями. Менее других был подвержен этой слабости своеобразного щегольства «мужицким колоритом» суровый и достаточно «беспощадный» С. Подъячев. Но она, эта слабость, с очевидностью сказалась позднее, например, в «Брусках» Ф. Папферова с их натуралистическими излишествами описаний, воспроизведения местных речений и т. п.

Название повести Бунина соответствует «концепции», высказываемой наставником Кузьмы Красова, уездным чудачком и философом Балашкиным, о том, что Россия вся есть деревня, и, таким образом, безнадежно горькие судьбы дикой и нищей деревни — это судьбы России. «Повесть моя, — говорил Бунин в своем интервью «Одесскому листку» в 1910 году, — представляет собою картины деревенской жизни, по, кроме жизни деревни, я хотел нарисовать в ней и картины вообще всей русской жизни».

Глубокий пессимизм повести, безрадостные ее картины и подпадаемые вылоды сейчас представляются в значительной степени тогда уже подготовившими автора к разрыву с родиной. В период после «Деревни» он еще напишет много замечательных по мастерству рассказов и много стихов, но некий свой решающий духовный перелом Бунин пережил и выразил в «Деревне».

В ту пору он еще умеет трезво и резко оценивать политическую современность и неприемлемое для него искусство периода реакции. «Часто думалось мне за эти годы, — говорит он в 1914 году, — будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как бы страдал он, если



бы дожид до 3-й, до 4-й Думы, до толков... до Саниных... до гнусавых кликов о солнце, столь великолепных в атмосфере военно-полевых судов, до изломавшихся, изоглавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности, до той свирепой ахиней, которая читается теперь писателями по городам под видом лекций, до дней славы Пурешкевича, Распутина, Макса Линдера, слона Ямбо и Игоря Северянина».

Позднее, в августе 1917 года, в письме к Горькому он уже склонен себя считать провидцем исторических судеб России под иным знаком: «Чуть не весь день уходит на газеты... И ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси».

3

При всем том, что сказано о «деревенских» вещах Бунина, об отразившейся в них ограниченности взглядов автора, они на поверку оказались более долговечными, чем его произведения, посвященные собственно «вечным» темам — любви, смерти. Эта сторона его творчества, получившая преимущественное развитие в эмигрантский период, не составляет в нем того, что принадлежит в литературе исключительно Бунину. Там реализм его делает заметные уступки модернистским поветриям, то есть тому, от чего Бунин в своих высказываниях отрекался до конца дней и чему противостоит все здоровое, земное в произведениях его наиболее продуктивной творческой поры.

Но и во многих лучших вещах, при всем своем эстетическом здоровье, приверженности реалистическим традициям, богатстве жизненного материала, он не свободен от той несколько эстетизированной философичности, которая невольно сближала его с ненавистным ему «модным» искусством упадка. Уже его ранний рассказ «На край света», посвященный расставанию с родными местами переселенцев, отправляющихся с семьями в далекий, неведомый путь на новые земли, заканчивается характернейшей для Бунина апелляцией к бесконечности вселенной и безмолвию исторической древности.

«И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги. Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи

обозов и стай, много людей, много горя и радости видели эти курганы. Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!» Этой красивой концовкой вдруг как бы снимается вся острота ответа на земной вопрос о бедственной крестьянской судьбе, о безмерных народных страданиях.

«Звезды» и «курганы», безмолвно вопрошающие на муравьиные беды и печали людей, становятся неизменными атрибутами всей буниной поэзии. Они как бы освобождают сознание художника от ответственности за все неурядицы и бедствия рода человеческого, и в том числе за судьбу не только «собирающего», но и «своего батурина Клим». В самом деле: о чем толковать, о чем хлопотать и тревожиться перед лицом вселенной и вечности, перед лицом неизбежной смерти?

«Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти,— говорит Бунин в «Жизни Арсеньева».— Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я».

«Обостренное чувство смерти» именно «в силу столь же обостренного чувства жизни» было, как известно, отнюдь не чуждо и Толстому и Достоевскому. Но оно не освобождало их от обязательств перед «преходящими» бедами и муками людей, от ответственности — пусть своеобразно понимаемой — за судьбы человечества, не служило укрытием для душевного эгоизма, как это было у значительной части русской интеллигенции в годы реакции после революции 1905 года. У Бунина есть немало общего с настроениями и философией этой интеллигенции.

Основное настроение стихотворной лирики Бунина — элегичность, созерцательность, грусть как привычное душевное состояние. И пусть, по Бунину, это чувство грусти не что иное, как желание радости, естественное, здоровое чувство, но у него любая, самая радостная картина мира неизменно вызывает такое состояние души.

Я не знаю ни у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста «лирического героя», — он как бы не сводит глаз с песочных часов своей жизни, следя за необратимо убегавшей струйкой времени. Все ценнейшее, сладчайшее в жизни он видит, только когда оно становится воспоминанием минувшего.

И тебя так нежно я любил,
Как меня когда-то ты любила...

Все как было. Только жизнь прошла...

Правда, поэзии Бунина в высшей степени присуще постоянное стремление найти в мире «сочетанье прекрасного и вечного», обре-

сти желанную непреходящность, укрепиться хотя бы в чувстве вселенского и, так сказать, всевременного единства жизни, слиться с этим единством, раствориться в круговороте природы, в смене бесконечной чреды веков.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет.
Но весело бродить и знать, что все проходит.
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет...

В напряженном самовнушении этого чувства слиянности отдельного, личного существования с «вечностью» и «бесконечностью» поэт обращается к образам древности, видит свое «я» обогащенным тысячелетиями, сохранившими на слое пыли в древнеегипетской гробнице следы человеческой ноги...

Смерть и любовь — почти неизменные мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе. Любовь — причем любовь земная, телесная, человеческая — может быть, единственное возмещение всех недостатков, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни. Но любовь чаще всего непосредственно смыкается со смертью и даже как бы одухотворена ее близостью в своей краткости и обреченности. Любовные сюжеты у Бунина чаще всего разрешаются смертью. Иногда такие развязки любовных историй кажутся даже искусственными, неожиданными эпилогами, как, например, в «Лике».

Бунину представляется пошлым развитие любви в браке, в семье. В той же «Лике» герой со страхом и возмущением думает о возможности появления у них с возлюбленной детей — тут конец любви и вообще «ужас и низость», как в перспективе мелкочиновничьей карьеры, нарисованной поэту в юности старшим братом и заставившей его разрыдаться.

Смерть как завершение любви предпочтительнее «пошлости» возвращения к будничной реальности после «солнечного удара» нежданной встречи или законного брака после первоначальной запретной близости. Любовь, продолжающуюся в браке, даже в старости способную на верность и нежность, Бунин замечает только у простых людей, — например, у батрака Аверкия и его старухи, на руках которой он умирает.

В чеховской «Даме с собачкой», где в самом заглавии объявлено нечто пошловатое, любовная история начинается с заурядного курортного знакомства, с незамедлительной близости, которая и не предполагает быть ничем иным, как курортным эпизодом. Но этот эпизод, вопреки обычной, утвержденной в мировой литературе схеме — в начале красота и восторг зарождающегося чувства, в конце скука и пошлость, — этот эпизод вырастает в настоящее большое чувство, противостоящее пошлости и ханжеству и бросающее им вызов.

Бунину чуждо подобное решение любовной коллизии, у него любовь по самой своей сути обречена, в конце концов, либо на пошлость, либо на смерть.

Перед лицом любви и смерти, по Бунину, стираются сами собой социальные, классовые, имущественные грани, разделяющие людей — перед ними все равны. Аверкий из «Худой травы» умирает в углу своей бедной избы; безымянный господин из Сан-Франциско умирает, только что собравшись хорошо пообедать в ресторане первоклассного отеля на побережье теплого моря. Но смерть одинаково ужасна своей неотвратимостью. Между прочим, когда этот наиболее известный из бунинских рассказов толкуют только в смысле обличения капитализма и символического предвестия его гибели, то как бы упускают из виду, что для автора гораздо важнее мысль о подверженности и миллионера общему концу, о ничтожности и эфемерности его могущества перед лицом одинакового для всех смертных итога.

Суходольская дворовая девушка Наталья, безумно влюбившаяся в молодого барина Петра Петровича, крадет принадлежащее ему зеркальце, крадет, не сознавая своего поступка, и, жестоко наказанная этим же Петром Петровичем, остриженная и с позором отправленная на дальний пустынный хутор пасти гусей, до конца жизни преданно обожает его, молится за него. И здесь главное для Бунина не в бесчеловечной жестокости крепостных времен, хотя он и не смягчает ее, а в этой удивительной способности простой крестьянки на такую большую, безответную и самоотверженную любовь, перед властью которой все равны. Так, барин из «Грамматики любви», влюбленный в свою крепостную и имевший от нее сына, после смерти ее сходит от любви с ума, создает в доме свособразный культ памяти покойной возлюбленной и умирает с ее именем на устах.

Поздний Бунин в «Митиной любви», «Деле корнета Елагина» в книге «Темные аллеи» и многих рассказах уже нередко с заметной болезненностью и чуждой великим образцам русской литературы натуралистической «пряностью» сосредоточивается на этих неизменных мотивах любви и смерти. Тема любви, при всем мастерстве и отточенности стиля, приобретает порой у Бунина уж очень прямолинейно чувственный характер и выступает в форме эротических мечтаний старости. Тема же смерти все более обволакивается религиозно-мистической окраской.

Разумеется, здесь сказывалась не одна только «социально-классовая природа» поэта. Здесь и возраст, обостривший и без того «обостренное чувство смерти», и модные влияния западной литературы, и особые условия жизни вне родины, отрешенности от больших вопросов народной жизни, наконец, одиночество.

Если есть люди с «обостренным чувством смерти», причем люди, представляющие не обязательно лишь классы, покидающие историческую сцену, то большинство людей на свете, по условиям своей каждодневной жизни, изнурительного труда, озабоченности прокормлением семьи, сведением концов с концами, не всегда могут себе позволить роскошь отвлеченных размышлений о таинстве смерти. Мысли о смерти там неотрывны от опасений за судьбу близких и могут нести в себе лишь горечь жизненных тягот, безнадёжности усилий, потраченных на то, чтобы прожить по-человечески. Философические углубления в проблемы смерти как таковой чаще занимают тех, у кого нет иных — больших или малых, но более неотложных задач и забот.

Правда, немалое количество людей, даже и свободных от забот о куске хлеба на завтрашний день, с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертны, все там будем, вообще не впускают в круг своих размышлений полной реальности собственного конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере, в удобное для них время. Не думаю, чтобы эти люди представляли собой социалистический идеал духовного развития. Такая беззаботность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти, нередко оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться чем угодно — вплоть до предательства. Я не хочу, конечно, сказать, что люди с обостренным чувством смерти во всех случаях лучше людей, лишенных этого чувства. Но ясное и мужественное сознание пределов, которых не миновать, вместе с жизнелюбием и любовью к людям, чувство ответственности перед обществом и судом собственной совести за все, что делаешь и должен еще успеть сделать на этом свете, — позиция более достойная, чем самообман и бездумная трата скупой отпущенной на все про все времени.

Никогда смерть не будет безразличной для человеческого сознания, ни при каком идеальном общественном устройстве и самой счастливой личной судьбе. Но нераздельность человека и человечества, между прочим, выражается и в том, что утверждено народной мудростью: на миру и смерть красна. Какую-то долю — большую или меньшую — этого неизбежного бремени отдельного человека берут на себя его близкие и те «далекие», для которых он честно потрудился на земле и выполнил свой долг перед ними. Наедине с самим собой — понятно, не в смысле физического, а нравственного одиночества — с этим испытанием человеку справляться гораздо труднее. Нужны мостки, которые соединяют одного со всеми или многими, ему подобными, нуждающимися и заслуживающими, как и он, участия и поддержки перед неизбежным порогом — далек ли он, близок ли.

Тема эта сама по себе не только не противопоказана художнику, но можно даже сказать, что ни один из великих так или иначе не обходился без нее в своем творчестве. И раз уж зашла речь об этом предмете, занимающем такое большое место во всей поэзии Бунина, я позволю себе привести здесь две цитаты, может быть, и необязательные для данного изложения, но запечатлевшиеся в памяти, подобно дорогим и незабываемым строчкам стихов, произведениям возвышенной поэтической мысли.

В глубокой старости Лев Толстой, всю жизнь проживший в неотступных и напряженных размышлениях о смерти, записывает в своем дневнике:

«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный угол, солнце... И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

Такой же поэтической силы полна мысль Достоевского, когда он, словами одного из своих героев, рисует картину возможного в будущем счастья людей, которое будет способно заменить собою иллюзорное прибежище веры в загробную жизнь:

«Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече».

Замечательно, между прочим, что оба эти мужественные и жизнеутверждающие высказывания двух столь различных в своей гениальной индивидуальности писателей как бы подсвечены этими лучами заходящего солнца — образ, обычно привлекаемый в искусстве для выражения идеи конца, печали, прощания.

Среди написанного Буниным в эмиграции много прекрасных в целом произведений или страниц, ради которых можно принять и менее значительные, и даже просто отмеченные знаком возраста, естественного угасания сил художника. Но когда читаешь подряд его вещи эмигрантского периода, то при всем их мастерстве, отделанности, доведенной до высшей степени, невозможно отстранить впечатление, что ты это уже читал раньше, что художник извлекает из своей памяти недосказанные прежде подробности, а иногда и просто повторяется.

Конечно, может быть, здесь сказывается особая острота впечатления от первого знакомства с Буниным, которого я читал

и усердно перечитывал в молодости по его «нивскому» собранию сочинений, но все же нельзя не отметить, что заграничные его вещи отличаются пехотой «обезжиренностью» или дистиллированностью. — это уже не та родниковая вода, выражаясь словами Толстого, от которой зубы ломит. И в сущности, не удивительно: ведь для него «часы жизни остановились» в смысле пополнения запасов памяти новыми впечатлениями той жизни, которую он только и мог описывать.

Мы, например, еще по дореволюционной автобиографии писателя знаем трогательный эпизод, где юноша Бунин возвращается с почты, перечитывая в полученном там журнале свое первое напечатанное стихотворение, и по дороге через лесок собирает ландыши. Этот же эпизод рассказан, с некоторыми изменениями, и в «Арсеньеве», и ему же посвящено стихотворение «Ландыш»...

Но это еще не предмет для упрека художнику — могут быть излюбленные мотивы, к которым он не раз и не два возвращается. Хуже, когда он возвращается к написанным вещам, поправляя их в соответствии со своими позднейшими настроениями и взглядами.

«Поправок» и купюр в известных читателю вещах немало в собрании сочинений издательства «Петрополис», вышедшем в 30-х годах. Иногда это одна опущенная или замененная строка, но часто и такие малые, как бы только стилистические, исправления подсказаны очевидным стремлением вытравить в прошлом Бунине элементы демократических оценок явлений и фактов описываемой действительности.

Что же касается вновь написанного в эмиграции, помимо общеизвестных крупных произведений, как «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» с их общеизвестными достоинствами и изъянами, помимо таких превосходных рассказов, как «Солнечный удар», там есть вещи настолько принижающие талант Бунина, что славное литературное имя его обязывает нас оставить их за бортом даже такого вменяемого издания, как нынешнее собрание сочинений.

Странно видеть по датам некоторых вещей, что они написаны в такие сложные, полные драматизма периоды в жизни родины поэта, а посвящены порой бог весть каким далеким от всякой жизни темам: «таинственным» любовным причудам, «страшным случаям», анекдотам ушедшего в небытие времени. Такие темы немало занимают места в книге «Темные аллеи» и других рассказах последних лет. И надо всем этим — как застоявшийся дым — тоска безнадежная, болезненное переживание старости, страх смерти, неотступная дума о ней.

Небезызвестный В. Набоков, отрасль знатнейшей и богатейшей в России семьи Набоковых, представитель верхушечной части

эмиграции, литератор, пишущий на английском языке, в своей автобиографической книге «Другие берега», переведенной им самим на русский, рассказывает, между прочим, о встречах с Буниным. «Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть...» Со снисходительной иронией шлоба и космополита Набоков рассказывает, как Бунин пригласил его в ресторан (это было вскоре после Нобелевской премии) «для задушевной беседы». «К сожалению,— пишет Набоков,— я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музыки — и задушевных бесед... К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом».

В заключение В. Набоков незаметно переходит на пародирование бунинского стиля, выдавая, как и положено эпигону, незаурядные способности к имитации: «...в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи».

Легко себе представить, на какой холод и отчужденность натолкнулся старый писатель в лице этого младшего своего современника и бывшего соотечественника. Человеку преуспевающему, довольному собой, рисуящемуся тем, что, мол, занятия энтомологией, открытие на земном шаре нового, еще одного вида бабочек, составляют больший предмет его честолюбия, чем литература,— этому человеку, отказавшемуся даже от родного языка, не понять было мучительной тоски настоящего поэта по родной земле, ее степям и речкам, перелескам и овражкам, снегам и ранней весенней зелени, по родной речи в ее живом народном звучании.

Это была смертельная тоска, и дело уже представлялось непоправимым — писатель сам углубил разрыв с отчизной. В своих «Воспоминаниях», где, в частности, представлена целая портретная галерея русских советских писателей, он уже спорит не с нами, и не нас критикует, нас просто пет,— и обращается не к русскому, хотя бы даже эмигрантскому читателю, а к некоей третьей стороне, способной принять все дурное и злопахотельское, что можно о нас порассказать в ослеплении старческой раздражительности. Это — крайность падения, и потому так тяжело об этом говорить, сохраняя симпатии и уважение к Бунину.

Нет, дело не просто в том, что этот писатель прожил полжизни в эмиграции. В эмиграции смолodu и до конца дней жили и умерли на чужбине Герцен и Огарев, и эта пора была расцветом их талантов, откликавшаяся славой и почитанием на родине их и во всей Европе. В эмиграции жили целые поколения русских революционеров. В эмиграции много лет жил и работал Ленин.

Все дело в том, что родину можно покидать только ради нее самой, ради ее свободы и всенародного блага. И тогда жизнь вдалеке от нее, самая трудная, не страшна и может давать высочайшее удовлетворение чувством неразрывности с ней. У Бунина такого чувства быть не могло, и последствия этого были губительны для него, — нет надобности быть здесь столь же подробным, как при рассмотрении того Бунина, который остается для нас выдающимся мастером, достойным своих великих предшественников в русской литературе, приобщившим к достояниям нашей национальной культуры свою заметную и незаменимую долю.

Здесь я так или иначе касался тех сторон творчества Бунина, которые могут в иных случаях вызвать недоумение или внутреннее возмущение у нынешнего читателя, особенно у впервые открывающего для себя этого художника. Но даже тогда, когда речь идет не о «мотивах», не об оттенках ущербных настроений Бунина, с наибольшей отчетливостью выступающих в заграничных вещах, но и об отдельных недвусмысленно антидемократических, реакционных его высказываниях, мы не можем теперь просто вычеркнуть их в тексте произведений. Это было бы все равно, что вычеркивать, например, в «Воскресении» Толстого цитаты из Евангелия, приводимые в конце этой книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми.

Однако всему есть предел. Бунинские писания, подобные его дневникам 1917—1919 годов «Окаянные дни», где язык искусства, выскателный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу «его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук», застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения, — эти писания мы решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих «Днях», не уступающих в контрреволюционности более известным у нас «Дням» Шульгина.

Здесь мы должны были выбирать: либо, отвергая Бунина — реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скатывавшегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом; либо, принимая все лучшее в нем, что составляет достояние нашей национальной культуры, нашей русской литературы, отвергнуть все то темное, эгоистическое и антигуманистическое, что он говорил и писал, когда переставал быть художником. Выбор этот давно сделан, и мы по праву сосредоточиваем внимание и интерес на чудесном поэтическом даре Бунина, который, как всякое подлинное явление этого рода, всегда остается не до конца разгаданным, не полностью истолкованным и оттого не менее пленительным.

Бунин родился, вырос и определился как художническая натура «в том плодородном Подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым» («Автобиографические заметки»).

У него не было возможности явиться в литературе первооткрывателем неизвестных до него этнографических богатств родного края — ландшафта, народных типов, социально-исторических особенностей, как, например, у Мамина-Сибиряка с его горно-рудным и заводским Уралом, где новизна жизненного материала сама по себе имела ценность оригинальности даже при более или менее непритязательной форме. Усадебная, полевая и лесная флора Орловщины, типы мужиков и помещиков этой полосы были не в новинку русской литературе уже со времен «Записок охотника». Но это была его родная полоса, он ее по-своему и долго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь. Он может многообразно приумножать его накоплением позднейших наблюдений, изучением жизни в природе и по книгам, но заменить эту основу основ поэтического постижения мира невозможно ничем, как невозможно заменить в своей памяти родную мать другой, хотя бы и самой прекрасной женщиной. Тот мир, который с рождения окружал Бунина, наполнял его дорогими и неповторимыми впечатлениями, уже как бы не принадлежал только ему — он уже был широко открыт и утвержден в искусстве художниками, ранее Бунина воспитанными этим миром. Бунин мог только продолжить их, развивать до крайнего и тончайшего совершенства в деталях, частностях и оттенках великое мастерство своих предшественников. На этом пути меньший талант, чем бунинский, почти с неизбежностью должен был «засахариться», утончиться до эпигонства и формализма. Бунину удалось сказать свое слово, которое не прозвучало в литературе повторением сказанных до него слов о его родной земле, о людях, живших на ней, о времени, которое, правда, не могло не быть у него иным по сравнению со временем, отраженным в творениях его учителей в литературе.

Бесспорная и непреходящая художническая заслуга Бунина прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом,

возникает как бы непосредственно из наблюдаемого художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы. Возникнув из живой жизни, конечно, преобразенной и обобщенной творческой мыслью художника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов. Может быть, зарождение этого жанра прослеживается и из большей глубины по времени, но ближайшим классическим образцом его являются, конечно, «Записки охотника».

В наиболее развитом виде эта русская форма связывается с именем Чехова. одного из трех «богов» Бунина в литературе (первые два — Пушкин и Толстой).

Бунин, как и Чехов, в своих рассказах и повестях пленяет читателя иными средствами, чем внешняя занимательность, «загадочность» ситуации, заведомая исключительность персонажей. Он приковывает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись, и так бы и не отметили для себя никогда без его, художника, подсказки. И подсказка эта несколько не унижает нас, как на экзамене, — она является в форме нашего собственного, совместного с художником открытия. Отсюда — наше повышающее самооценку чувство равенства с художником в чуткости, прозорливости, тонкой догадке. Словом, это и есть тот контакт читателя с писателем, приобщение некоему волнующему секрету, известному только им двоим, которые означают, что их встреча произошла при посредстве настоящего художественного произведения. Кто из нас бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!» Недаром иногда люди свою способность к восприятию произведений искусства принимают за способность создавать их, и это нередко бывает жизненной драмой человека.

О взаимоотношениях художника со временем можно сказать, что он никогда не бывает влюблен только в свое, нынешнее время без некоего идеального образа в прошлом. Художнику дороги те черты его времени, которые связывают его время с предшествующим, продолжают традиционную красоту его, сообщают настоящему глубину и прочность. В любой новизне своего времени художник ищет связей с милой его сердцу «старинной». Слабый художник при этом впадает в обычный грех идеализации прошлого

и противопоставления его настоящему. У сильного художника лишь обостряется чувство познания, которая может ему представляться неполноценной, лишенной красоты, уродливой, неправомерной исторически, но она для него — реальность, на которую закрыть глаза он не может.

Идеалом Бунина в прошлом была пора расцвета дворянской культуры, устойчивости усадебного быта, за дымкой времени как бы утрачивавшего характер жестокости, бесчеловечности крепостнических отношений, на которых покоилась вся красота, вся поэзия того времени. Но как бы ни любил он ту эпоху, как бы ни желал родиться и прожить в ней всю свою жизнь, будучи ее плотью и кровью, ее любящим сыном и певцом, как художник он не мог обходиться одним этим миром сладких мечтаний. Он принадлежал своему времени с его неблагообразием, дисгармоничностью и неуютностью, и мало кому давалась такая зоркость на реальные черты действительности, бесповоротно разрушавшей все красоты мира, бесконечно дорогого ему по заветным семейным преданиям и по образцам искусства.

Из всех ценностей того уходящего мира оставалась прелесть природы, менее заметно, чем общественная жизнь, изменяющейся во времени и повторяемостью своих явлений создающей иллюзию «вечности» и непреходящести, по крайней мере, хоть этой радости жизни. Отсюда — особо обостренное чувство природы и величайшее мастерство изображения ее в поэзии Бунина.

Своих читателей, независимо от того, где они родились и выросли, Бунин делает как бы своими земляками, уроженцами его родных мест с их хлебными полями, синей черноземной грязью весенне-осенних и белой, тучной пылью летних степных дорог, с овражками, заросшими дубняком, со степными, покалеченными ветром лозинами (ракитами) вдоль гребель и деревенских улиц, с березовыми и липовыми аллеями усадеб, с травянистыми рощицами в полях и тихими луговыми речками. Особыми чарами обладают его описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, в саду, на деревенской улице и в поле.

Когда он выводит нас в раннее весеннее легкоморозное утро на подворье захолустной степной усадьбы, где хрустит ледок, натянутый над вчерашними лужицами, или в открытое поле, где из края в край ходит молодая рожь в серебряно-матовых отливах, или в грустный, поредевший и почерневший осенний сад, полный запахов мокрой листвы и лежалых яблок, или в дымную, крутящуюся ночную вьюгу по дороге, утыканной растрепанными соломенными вешками, — все это приобретает для нас натуральность и остроту лично пережитых мгновений, щемящей сладости личного воспоминания.

Подобно музыке, ни одно из самых восхитительных и волнующих явлений природы не усваивается нами, не входит нам в душу с первого раза, покамест не открывается нам повторно, не становится воспоминанием. Если нас трогает нежная игольчатая зелень весенней травки, или впервые в этом году услышанные кукушка и соловей, или тоненькое и печальное кукареку молодых петушков ранней осени; если мы блаженно и растерянно улыбаемся, вдыхая запах черемухи, распустившейся при майском холоде; если отголосок далекой песни в вечернем летнем поле прерывает строй наших привычных забот и размышлений,— значит, все это доходит до нас не впервые и вызывает в нашей душе воспоминания, имеющие для нас бесконечную ценность и сладость как бы краткого возвращения в нашу молодость, в годы детства. Собственно, с этой способности к таким мгновенным, но памятным переживаниям начинается человек с его способностью любви к жизни и к людям, к родной земле и самоотверженной готовностью сделать для них что-то нужное и хорошее.

Бунин — не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы. Он великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщаящий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям...

По части красок, звуков и запахов, «всего того,— выражаясь словами Бунина,— чувственного, вещественного, из чего создан мир», предшествующая и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков.

В старости Бунин вспоминал в своей насквозь автобиографической «Жизни Арсеньева»: «...зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги...» Поистине «внешние чувства» как средства проникновения постижения чувственного мира у него были феноменальны от рождения, но еще и необычайно развиты с юных лет постоянным упражнением уже в чисто художнических целях.

Звяканье гайки, ослабшей на конце оси дрожек,— какая это случайная, необязательная мелочь, но из-за этого звука мы вспоминаем столь значительный приезд помещика — арендатора барских садов в разоряющуюся усадьбу, даже забыв его имя. Шум кустов под ветром, «как будто бегущих куда-то», — именно бегущих куда-то, это и нам так всегда казалось, а Бунин только напомнил, — шум, поразительный по выражению глубокой печали

какого-то пастушеского полевого одиночества и сиротства. Отличить «запах росистого лопуха от запаха сырой травы» — это дано далеко не каждому, кто и родился, и вырос, и жизнь прожил у этих лопухов и этой травы, но, услышав о таком различии, тотчас согласится, что оно точно и ему самому памятно.

О запахах в стихах и прозе Бунина стоило бы написать отдельно и подробно — они играют исключительную роль среди других его средств распознавания и живописания мира сущего, места и времени, социальной принадлежности и характера изображаемых людей. Исключительно «душистый», элегически-раздумчивый рассказ «Антоновские яблоки» как бы непосредственно навеян автору запахом этих плодов осеннего сада, лежащих в ящике письменного стола в кабинете с окнами на шумную городскую улицу. Он полон этих яблочных запахов «меда и осенней свежести» и поэзии прощания с прошлым, откуда лишь доносится старинная песня подгулявших «на последние деньги» обитателей степных захолустных усадеб.

Помимо густо наполняющих все его сочинения запахов, присущих временам года, деревенскому циклу полевых и иных работ, запахов, знакомых нам и по описаниям других, — талого снега, весенней воды, цветов, травы, листвы, пашни, сена, хлебов, огородов и тому подобного, — Бунин слышит и запоминает еще множество запахов, свойственных, так сказать, историческому времени, эпохе. Это запахи веничков из перекасти-поле, которыми в старину чистили платье; плесени и сырости нетопленного барского дома; курной избы; серных спичек и махорки; вонючей воды из водовозки; москательных товаров, ванили и рогожи в лавках торгового села; воска и дешевого ладана; каменноугольного дыма в хлебных степных просторах, пересеченных железной дорогой... А за выходом из этого деревенского и усадебного мира в города, столицы, заграницы и далекие экзотические моря и земли — еще множество других разительных и памятных запахов.

Эта сторона бунинской выразительности, сообщающая всему, о чем рассказывает писатель, особую натуральность и приметность — во всех планах, от тонко лирического до едкосаркастического, — прочно прижилась и развивается в нашей современной литературе — у самых разных по природе и таланту писателей.

Правда, можно было бы возразить, что Бунин не является тут первооткрывателем. Уже в 80-х годах прошлого столетия Эдмон Гонкур сетует в «Дневнике» на то, что вслед за «глазом» и «ухом» в литературе появляется «нос» как средство постижения действительности. Он имеет в виду в первую очередь Золя с его «носом охотничьей собаки», принесшего в литературу «антиэстетические» запахи городского рынка и т. п. Однако бунинские «обонятельные» приемы выражения вполне независимы от фран-

цузского натурализма и никогда не запечатлевают крайностей «неблагоухания».

К слову сказать, современная западная литература, помимо прочих внешних чувств, широко пользуется физиологическим «вкусом» (кажется, это пошло от М. Пруста). Хемингуэй, Ремарк, Генрих Бёль с утонченной детализацией фиксируют ощущения своих героев при разжевывании пищи, питье, курении. Но здесь уж можно говорить о некоторой замене чувств ощущениями. Бунину это чуждо.

Бунин, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Л. Толстого, знает природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времен года и сад, и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный тракт, обезлюдивший с прокладкой «чугунки». Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под деревом, — он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые, он большой, между прочим, знаток лошадей и их статей, красоте, норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам, особо подкупающий характер невыдуманности, подлинности, неувядаемой ценности художнического свидетельства о земле, по которой он ходил.

Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и артистичными картинками и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе. Человека с его радостями и страданиями как объект изображения ничто не может заменить в искусстве — никакая прелесть одного только предметно-чувственного мира, никакие «красоты природы» сами по себе.

Когда сам Бунин в большом стихотворении «Листопад», имеющем обычно поэмой, в мастерски развернутой сложной метафоре, — лес — терем вдовы Осени перед зимой, — с яркой и даже щеголеватой живописностью даст все краски осеннего леса («лиловый, золотой, багряный»), но ограничивается безотносительным к человеческим делам и думам этой поры настроением красивого увядания и угасания природы, то, как ни хвали эту живопись, она оставляет впечатление какой-то мертвенности, попросту — не берет за живое...

Непреодолимая художественная ценность «Записок охотника» в том, что автор в них менее всего рассказывает о собственно охотничьих делах и не ограничивается описаниями природы. Чаще

всего только по возвращении с охоты — на ночлеге — или по пути на охоту происходят те встречи «охотника» и волнующие истории из народной жизни, которые стали таким незаменимым художественным документом целой эпохи. Из охотничьих же рассказов и очерков много нашего писателя мы ничего или почти ничего не узнаем о жизни и труде деревень или поселков, в окрестностях которых он охотится и ведет свои тончайшие фенологические наблюдения над дневной и ночной жизнью леса и его обитателей, над повадками своих собак и т. п.

Бунин отлично, с детских лет, по крови, так сказать, знал всякую охоту, но не был таким уж завзятым охотником. Он редко остается один в лесу или в поле, разве что скачет куда-нибудь верхом или бродит пешком — с ружьем или без ружья — в дни одолевающих его раздумий и смятений. Его тянет и в заброшенную усадьбу, и на деревенскую улицу, и в любую избу, и в сельскую лавку, и в кузницу, и на мельницу, и на ярмарку, и на покос к мужикам, и на гумно, где работает молотилка, и на постоянный двор — словом, туда, где люди, где копошится, поет и плачет, бранится и спорит, пьет и ест, справляет свадьбы и поминки пестрая, взбаламученная жизнь поздней пореформенной поры.

О глубоко, пристально, не из третьих рук полученном знании этой жизни Букиным можно сказать примерно то же, что о его знании на слух, на нюх и на глаз всякого растения и цветения, заморозков и метелей, весенних распутиц и летних жаров. Таких подробностей, таких частностей народной жизни литература не касалась, полагая, может быть, их уже лежащими за пределами искусства. Бунин, как мало кто до него в нашей литературе, знает жите-быте, нужды, житейские расчеты и мечтания и мелкопоместного барина, часто стоящего уже на грани самой настоящей бедности, и «оголодавшего» мужика, и тучнеющего, набирающего силу сельского торгаша, и попа с причтом, и мещанина, скупщика или арендатора, шныряющего по деревням в чаянии «оборота», и бедняка учителя, и сельских властей, и барышников, и пришлых с севера, из еще более оголодавших губерний бродячих портных, шорников, косцов, пильщиков. Он показывает быт, жилье, еду и одежду, ухватки и повадки всего этого разношерстного люда в наглядности, порой близкой к натурализму, но как истинный художник всегда знает край, меру — у него нет подробностей ради подробностей, они всегда служат основой музыки, настроению и мысли рассказа.

Первый признак настоящей доброй прозы — это когда хочется ее прочесть вслух, как стихи, в кругу друзей или близких, знатоков или, наоборот, людей малонискушенных — реакция таких слушателей иногда особенно показательна. Мы можем только пожалеть, что так редко прочитываем вслух рассказ или хотя

бы страничку-другую из рассказа, повести, романа наших современников — в кабинете ли редакции, в кругу ли семьи или на дружеской вечеринке. Это у нас как-то даже не принято, и сами прозаики, увы, не настаивают на этом. А ведь в былые времена прозу вслух читал, например, Толстой — «Питомку» В. Слепцова, «Душечку» Чехова, и не по одному разу! Можно вспомнить еще, что рукопись «Бедных людей» Достоевского Григорович с Некрасовым прочли в один присест, чтобы в ту же ночь разбудить молодого автора и поздравить с удачей.

Мы же, не успев прочесть в журнале или книге новую вещь видного прозаика, часто вполне удовлетворены бываем пересказом кого-нибудь из читавших ее и сами пересказываем прочитанное, не испытывая потребности прочесть вслух отрывок. Конечно, этого нельзя объяснить только наличием радио, телевизора и кадров профессиональных чтецов. То, что проза наша лишена такой активной, незаменимой формы распространения, как непрофессиональное чтение вслух, объясняется заметным упадком ее культуры. Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение и с готовностью прощали несовершенство формы, если содержание составляло ценность человеческого документа или новизны жизненного материала. Но подтверждается старая истина, что невнимание писателя к форме способно обернуться невниманием читателя к содержанию.

Использование диалогов для изложения обстоятельств действия и характеристик персонажей, неразличимость авторской речи с речью героев, к стилю которой автор подстраивается, наконец растянутасть, развертывание повести или романа на материале, способном поместиться в небольшом рассказе и т. д. — где уж тут читать вслух сходные у разных авторов по письму и языку повествования, музыкальную, будто с кочки на кочку перескакивающую речь.

Нельзя не остановиться на той отчетливо выраженной у Бунина индивидуальности письма, по какой вообще в русской прозе различаются ее великие мастера — на особой музыкальной организации, если можно так выразиться, этого письма. Мы знаем эту опознавательную в отношении великих наших мастеров особенность: Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова развитый читатель узнает и отличит на слух с полустраницы, прежде того, как уловит детали содержания. Это та музыка, связующая отдельные слова в предложении, предложения в периоде, периоды в главе, главы в дальнейшем укрупненном членении повествования, которую читатель сознательно или бессознательно принимает и невольно следует ей. Сколько раз случается видеть, как человек, читающий книгу про себя, чуть заметно шевелит губами и чуть заметно покачивает головой, подчиняясь беззвучному ритму, за-

ключенному в раскрытой перед ним странице. Это почти то же, что музыкант, читающий про себя нотную запись какого-либо сочинения, с которым он знакомится впервые или возобновляет его в памяти.

Эта музыкальная оснастка большой русской прозы ничего общего не имеет с так называемой ритмизованной прозой, невыносимой для сколько-нибудь взыскательного слуха безотносительно к содержанию — будь то Златовратский или Андрей Белый.

Природа высокой музыкальной организации прозы — в ритмической основе живой человеческой речи со всеми интонациями, соответствующими предмету ее и степени эмоционального наполнения.

В одной из самых ранних вещей Бунина, о которой я уже упоминал в другой связи, в рассказе «На край света», с большим успехом прочитанном автором в Петербурге на литературном вечере в пользу переселенцев, уже с определенностью звучит музыка бунинской прозы.

И главное в этом рассказе, содержащем в себе лишь один-два намека на индивидуальные судьбы, — это вовсе и не рассказ с точки зрения даже свободных понятий жанра, — главное в нем — эта негромкая, сдержанная, но густая, глубокая музыка народной трагедии. Его невозможно цитировать, этот скорбный и торжественно-строгий рассказ, потому что, выбирая из него отдельные строки, прерываешь удивительно целостную его тональность, и сами эти строки, выпадая из нее, утрачивают в своем звучании, деревенеют.

Но это маленький, в три-четыре странички рассказ молодого, в сущности, как мы говорим, начинающего писателя. А вот крупнейшее произведение зрелого таланта — «Деревня». Она уже основной своей музыкой выделяется из всей прозы Бунина. В противоположность различным вариациям лирико-раздумчивой, замедленной и как бы однозвучной интонации других вещей, здесь с первой строки пролога, — краткой мужицкой родословной взят строгий и жесткий ритм: «Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барин Дурново...» И вся повесть идет в энергическом, нервном, необычном для прежнего Бунина темпе.

Бунин вошел в русскую литературу со своей музыкой прозаического письма, которую не спутаешь ни с чьей иной. Говорят, что так четко определиться ритмически в прозе помогло ему то, что он еще и поэт-стихотворец, всю жизнь писавший наравне с прозой стихи, переводивший западную поэзию. Но это необязательное условие. У Бунина, превосходного поэта, стихи все же занимают подчиненное положение. Толстой же и Чехов никогда

не писали стихов, но кто может отрицать магическую — свою особую у того и другого — музыку их прозаической речи?

Бунин всегда осознавал и в своих суждениях подчеркивал эту музыкальную сторону прозаического письма. В интервью «Московской газете» в 1912 году он говорит, что вообще не принимает «деления художественной литературы на стихи и прозу». Поэтическое единство прозаической и стихотворной речи он видит в сближении их основных особенностей и взаимном обогащении: «...Поэтический язык (в смысле стихотворный. — А. Т.) должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха».

Он и чисто внешним образом подчеркивал принципиальное единство этих двух родов литературы: во многих своих сборниках и даже в «нинском» собрании сочинений он перемежал повести и рассказы стихами. Это могло выглядеть как лишь выражение независимости от тогдашних общепринятых установлений и традиций. Но для самого Бунина это было и своеобразной декларацией верности пушкинскому и лермонтовскому примеру, являвшим гениальное совершенство в обоих основных родах литературного творчества. И по существу бунинская стихотворная поэзия, по крайней мере непосредственно примыкающая к прозе тематически, близка ей и общим настроением, и сходными средствами образного выражения, и всей словесной фактурой.

Стихи Бунина, при их строгой традиционной форме, густо оснащены элементами, характерными для его прозы: живыми интонациями народной речи, необычными для стихов того времени реалистическими деталями описаний природы, быта деревни и мелкопоместной усадьбы. В них можно встретить такие немисляемые по канонам «высокой поэзии», прозаические подробности, как та-зы, подставляемые под каплю с потолка в запущенном барском доме с дырявой крышей («Дворецкий»), или «клячья шерсть и помет» на месте волчьих свадб в зимней степи («Сапсан»).

Однако если вообще проза и стихи являются из двух основных источников всякого настоящего искусства — из впечатлений живой жизни и опыта самого искусства, то о стихах Бунина можно сказать, что они более наглядно, чем его проза, несут на себе отпечаток традиционной классической формы. Не забудем, что Пушкин, Лермонтов и другие русские поэты пришли к Бунину не через посредство школы и даже не через посредство книги самой по себе, а восприняты и впитаны в раннем ребячестве, может быть, еще до овладения грамотой, из поэтической атмосферы родного дома. Они его застали в детской, были семейными святынями, на их портреты он «смотрел как на фамильные». Поэзия была частью живой действительности детства, влиявшей на душу

ребенка, определявшей его склонности и дорогие на всю жизнь эстетические пристрастия. Образы поэзии имели для него такую же личную, интимную ценность впечатлений детства, как и окружающая его природа и все «открытия мира», сделанные в этом возрасте.

Только самого раннего Бунина коснулись влияния современной ему поэзии. В дальнейшем он наглухо отгораживается от всяческих модных поветрий в поэзии, держась образцов Пушкина и Лермонтова, Баратынского и Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского, но оставаясь всегда самобытным.

Конечно, неверно было бы думать, что он так-таки ничего и не воспринял в своем стихе от виднейших поэтов его времени, которых он всю жизнь ругательно ругал, оценивая всех вкупе и как бы не видя разницы между Бальмонтом и Северяниным, Брюсовым и Гиппиус, Блоком и Городецким.

В развитии русского стиха после застойно-эпигонской поры «конца века» заслуги символистов бесспорны. Они расширили ритмические возможности стиха, много сделали по части его музыкального оснащения, обновления рифмы и т. п. Бунин не смог бы стать тем, чем он стал в поэзии, если бы только буквально следовал классическим образцам. И неверно, когда говорят, что стихи его будто бы ритмически однообразны, однотонны. Он пользуется по преимуществу основными классическими двусложными, реже трехсложными размерами, но он наполняет их таким интонационным и словарным богатством живой «прозаической» речи, что эти «ходовые» размеры становятся его, бунинскими размерами. Он вовсе не чужд и таким ритмическим поискам, которые выходят далеко за пределы привычных звучаний, например:

Как все спокойно и как все открыто...

Это ближе всего к уникальному в русской поэзии ритму тютчевского «Как хорошо ты, о море ночное...»

Или белые стихи, ритмическим строем своим как бы предсказывающие, как это ни парадоксально, Пастернака:

Набегает впопыхах
И узорною пеною светится,
И лазурным сиянием реет у скал на песке...

А какая изумительная энергия, краткость и «отрубающая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:

Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток...

Можно было бы еще указать на такие неожиданные у Бунина ритмические образцы, как своеобразный трехсложный размер «Одиночества» («И ветер, и дождик, и мгла...»), как «Старик у хаты веял, подкидывал лопату...» или «Мужичок» («Ельничком, березничком...»), «Аленушка в лесу жила...» и многие другие. Но главное, конечно, не в них, а в том, что поэзия Бунина, долго представлявшаяся его литературным современникам лишь традиционной и даже «консервативной» по форме, живет и звучит, пережив великое множество стихов, выглядевших когда-то по сравнению с его строгой, скромной и исполненной внутреннего достоинства музой сенсационными «открытиями» и заявлявшими о себе шумно до непристойности.

Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии Бунина, как и в его прозе, — это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадьбы жизни, тонкая живопись природы.

Уже менее трогают стихи, посвященные темам экзотического Востока, античности, библейским мотивам или сюжетам древних мифологий, былинно-сказочной русской старине, хотя и здесь остается в силе редкостной выразительности бунинский язык.

Без похвал этому языку, как, впрочем, и описаниям природы, не обходится ни одно высказывание о Бунине. И хотя обе эти материи в отдельном их изложении способны вызвать убыль читательского внимания, но без них действительно не обойтись, говоря об этом мастере. Рассказывают, что, слыша похвалы своему языку, Бунин обычно отшучивался: «Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно замечательный, но я-то тут при чем?» И хотя за этой шуткой чувствуется горечь художника, которому всегда обидно, так сказать, выборочное признание его достоинств, но по существу это очень верно, что у писателя не может быть иного языка, чем его родной язык, язык его народа. Однако у писателя не только может, но и должен быть язык иной, чем у других писателей. И сам Бунин умел строго различать и предпочитать язык одних языку других мастеров слова.

«Хороший колоритный язык народа средней полосы России, — говорил он в 1911 году, — я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов, то это я считаю отвратительным варварством».

Нужно отдать должное его объективности, в данном случае в оценке языка. Он приравнивает чуждого ему по идейной направленности Г. Успенского к одному из своих трех «богов» — Л. Толстому.

Язык Бунина — это язык, сложившийся на основе орловско-курского говора, разработанный и освященный в русской лите-

ратуре целым созвездием писателей — уроженцев этих мест. Язык этот не поражает нас необычностью звучания — даже местные слова и целые выражения выступают в нем уже узаконенными, как бы искони присущими русской литературной речи. И мы, читатели, уроженцы иных областей, обычно с трудом расстающиеся с привычными с детства словечками и предложениями родных мест и с неприязнью относящиеся к замене их иными, порожденными в другой языковой стихии, легко принимаем особенности речи Бунина, густо, как и у Тургенева и у Толстого, пересыпанной областническими словами. Нужно сказать, что после справедливой и своевременной критики М. Горьким языковых неряшеств и крайних увлечений областническим словарем в нашей литературе мы так долго и тщательно ограждали ее от «местных речений», просто сводя дело к нивелированию слога в соответствии с омертвелыми понятиями «правильного языка», что добились той нередко удручающей безъязыкости прозы, когда она воспринимается как перевод с иностранного.

Местные слова, употребляемые с тонким умением и безошибочным тактом, сообщают стихам и прозе Бунина исключительную земную прелесть и как бы ограждают их от «литературы» — всякого рифмованного и нерифмованного сочинительства, лишённого теплой крови живого народного языка.

«Обломный ливень» — непривычному слуху странен этот эпитет, но сколько в нем выразительной силы, дающей почти физическое впечатление внезапного летнего ливня, что вдруг хлынет потоками на землю точно с обломившегося под ним неба.

«Листва муругая» для большинства читателей как будто бы требует пояснительной сноски — какой это цвет, муругий? Но из целостной картины, нарисованной в небольшом и прекрасном стихотворении «Зазимок», и без пояснений очевидно, что речь идет о поздней, жесткой, хваченной морозами коричневатой листве степных дубняков, гонимой свирепым ветром зазимка.

Точно так же редкое, почти неизвестное в литературном обиходе слово «грудки» совершенно не нуждается в пояснении, когда мы его встречаем на своем месте: «Смерзшиеся грудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней». Но слово-то какое звучное, весомое и образное — без него куда беднее было бы описание зимней дороги.

Занятно, что в цейлонском рассказе «Братья» Бунин называет туземную пирогу уж слишком по-русски — дубок, и, однако, это не портит колорита тропического островного побережья: что пирога, что дубок — это долбленная из цельного ствола лодка, и словечко это только как бы напоминает, что этот рассказ, такой далекий по содержанию от орловско-курской земли, пишет русский писатель.

В «Господине из Сан-Франциско» этот певец русских степных просторов, несравненный мастер живописания родной природы, свободно и уверенно ведет за собой читателя по комфортабельным салонам, танцалам и барам океанского парохода — по тем временам являвшего собой чудо техники. Он спускается с ним к «мрачным и знойным недрам преисподней... подводной утробе парохода... где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени».

Попробуйте заменить это простонародное, почти вульгарное слово «гоготали» правильным «хохотали» — и сразу ослабевает адское напряжение этих котлов, устрашающая мощь пламени, от которой содрогается подводная часть корпуса парохода-гиганта, сразу утрачивается сила остальных слов о полуголых людях, загружающих топку углем... А слово то взято опять же из запасов детской и юношеской памяти, из того мира, откуда вышел художник в свои далекие плаванья. Эта память в отношении родной речи, картин природы и сельского быта и бездна всяческих подробностей былой жизни у Бунина удивительным образом сохранилась и в течение целых десятилетий, проведенных им вне родины.

Бунину нельзя не любить и не ценить за его строгое мастерство, за дисциплину строки — ни одной поллой или провисающей — каждая как струна, — за труд, не оставляющий следов труда на его страницах.

В смысле школы, в смысле культуры письма в стихах и прозе молодому русскому, и не только русскому, писателю невозможно миновать Бунина в ряду мастеров, чей опыт попросту обязателен для каждого пишущего. Как бы ни был этот молодой писатель далек от Бунина по своим задаткам и перспективам развития своего дара, в начальной своей поре он должен пройти Бунина. Это научит его постоянному чувству великой ценности родной речи, уменьшь отбирать нужные и незаменимые слова, привычке обходиться малым их числом для достижения наибольшей выразительности — короче, уважению к делу, за которое взялся, к делу, требующему неизменной сосредоточенности, и уважению к тем, ради которых делаешь это дело, — к читателям.

Серьезнейшую тревогу внушает беззаботность относительно формы у наших молодых писателей, отчасти поощряемая критикой, отчасти — примером старших товарищей по роду литературы. С ходу пишутся толстенные романы, потому что нет времени написать, довести многократным возвращением к начатому до совершенной отделки, в меру дарования автора, небольшой рассказ. Пишутся огромные поэмы, и чтобы добраться до полноценной строфы или строки, там нужно «перелопачивать» вороха слов,

строк и строф необязательных, случайных, подвернувшихся как бы при опыте импровизации, зарифмованных с такой приблизительностью и неряшливостью, что созвучия, как полуоборванные пуговицы, держатся на одной ниточке...

Бунин — по времени последний из классиков русской литературы, чей опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безъязыкости и безличности нашей прозы и поэзии. Перо Бунина — ближайший к нам по времени пример подвижнической выискательности художника, благородной сжатости русского литературного письма, ясности и высокой простоты, чуждой мелкотравчатым ухищрениям формы ради самой формы. Если уж говорить все до конца, так придется сказать и о том, что Бунин иногда бывает чрезмерно густ, как «неразведенный бульон», по замечанию Чехова о ранних его рассказах. Однако опасность излишней сгущенности прозы и стихов нам меньше всего сейчас угрожает, как раз нехватка сгущенности, сжатости, подобранности, экономичности письма — главная наша беда сегодня.

Нынешнее собрание сочинений И. А. Бунина, наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор, надо полагать, не залежится на складах подписных изданий и полках магазинов и библиотек. Конечно, и оно не может рассчитывать на безусловный прием у всякого читателя. Читательская масса многослойна, пестра, неоднородна. Для людей, прибегающих к печатной странице как средству только отдыха и отвлечения от каждодневных забот и обязанностей, ищущих в книге хитро завязанного сюжетного узелка, причудливых перекрестий любовной интриги, мелодраматических коллизий и успокоительной округленности концовки, то есть всего того, что отстоит поодаль от реальной серьезной жизни, ее вопросов и требований и широко используется в мировой практике изготовления духовного продукта, который принято называть чтивом, — для таких читателей сочинения Бунина могут и не представить ценной находки, не дошло еще до того. Нужно еще оговориться, что Бунин, конечно, не всегда обладал той магией доходчивости, какая была, скажем, у Чехова, равно пленяющего и самого искушенного, и в самой малой степени подготовленного читателя без привлечения примитивных средств занимательности.

Я не хотел бы здесь быть понятым так, будто я противник вообще занимательности в художественном произведении, сюжетной собранности и насыщенности действием или будто я не знаю у величайших наших художников страниц, исполненных напряженного драматического характера и просто увлекательности в лучшем смысле этого слова. Но я с детских и юношеских лет знавал страст-

ных читателей книг, с уверенностью ставивших «Князя Серебряного» А. К. Толстого или исторические романы Григория Данилевского выше «Войны и мира», да и теперь еще не такая редкость читатель, предпочитающий «Поджигателей» Н. Шпанова «Тихому Дону», хотя, может быть, не всегда высказывающий это свое предпочтение из опасения быть осмеянным.

Бунин — художник строгий и серьезный, сосредоточенный на своих излюбленных мотивах и мыслях, всякий раз решающий для самого себя некую задачу, а не приходящий к читателю с готовыми и облегченными построениями подобий жизни. Сосредоточенный и углубленно думающий художник, хотя бы он рассказывал о предметах по первой видимости малоаналитических, будничных и заурядных, — такой художник вправе рассчитывать и на сосредоточенность, и даже некоторое напряжение, по крайней мере поначалу, со стороны читателя.

Но это можно считать необходимым условием плодотворного «контакта» читателя с писателем, имея в виду, конечно, не одного Бунина, но всякого подлинного художника.

А. Твардовский



Стихотворения

1888 · 1952





1888—1899

* * *

В полночь выхожу один из дома,
Мерзло по земле шаги стучат,
Звездами осыпан черный сад
И на крышах — белая солома:
Трауры полночные лежат.

Ноябрь, 1888

* * *

Пустыня, грусть в степных просторах.
Синеют тучи. Скоро снег.
Леса на дальних косогорах
Как желто-красный лисий мех.
Под небом низким, синеватым
Вся эта сумрачная ширь
И пестрота лесов по скатам
Угрюмы, дики, как Сибирь.
Я перейду луга и доли,
Где серо-сизый, неживой
Осыпался осинник голый
Лимонной мелкою листвою.
Я поднимусь к лесной сторожке —
И с грустью глянут на меня
Ее подслепые окошки
Под вечер сумрачного дня.
Но я увижу на пороге
Дочь молодую лесника:

Малы ее босые ноги,
Мала корявая рука.
От выреза льняной сорочки
Ее плечо еще круглей,
А под сорочкою — две точки
Стоячих девичьих грудей.

1888

* * *

Как все вокруг сурово, снежно,
Как этот вечер сиз и хмур!
В морозной мгле краснеют окна нежно
Из деревенских нищенских конур.

Ночь северная медленно и грозно
Возносит косное величие свое.
Как сладко мне во мгле морозной
Мое звериное жилье!

1888

* * *

Под орган душа тоскует,
Плачет и поет,
Торжествует, негодует,
Горестно зовет:

О благий и скорбный! Будь
Милостив к земле!
Скудны, нищи, жалки люди
И в добре, и в зле!

О Иисусе, в крестной муке
Преклонивший лик!
Есть святые в сердце звуки,—
Дай для них язык!

1889

* * *

На поднебесном утесе, где бури
Свищут в слепящей лазури,—
Дикий, зловонный орлиный приют.

Пью, как студеную воду,
Горную бурю, свободу,
Вечность, летящую тут.

Крым, 1889

ЦЫГАНКА

Вперед большак, подвода,
Старый пес у колеса,—
Вперед опять свобода,
Степь, простор и небеса.

Но притворщица отстала,
Ловко семечки грызет,
Говорит, что в сердце жало,
Яд горючий унесет.

Говорит... А что ж играет
Яркий угольный зрачок?
Солнцем, золотом сияет,
Но бесстрастен и далек.

Сколько юбок! Ногу стройно
Облегают башмачок,
Стан струится беспокойно,
И жемчужна смуглость щек...

Вперед большак, подвода,
Старый пес у колеса,
Счастье, молодость, свобода,
Солнце, степи, небеса.

1889

* * *

Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,
В кустах сваялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.

А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.

И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.

1889

* * *

Седое небо надо мной
И лес раскрытый, обнаженный.
Внизу, вдоль просеки лесной,
Чернеет грязь в листве лимонной.

Вверху идет холодный шум,
Внизу молчанье увяданья...
Вся молодость моя — скитанья
Да радость одиноких дум!

1889

* * *

Один встречаю я дни радостной недели, —
В глуши, на севере... А там у вас весна:
Растаял в поле снег, леса повеселели,
Даль заливных лугов лазурна и ясна;

Стыдливо белая береза зеленеет,
Проходят облака все выше и нежней,
А ветер сушит сад и мягко в окна веет
Теплом апрельских дней...

1889

Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,
Прошел внезапный дождь косыми полосами —
И снова глубоко синеют небеса
Над освеженными лесами.

Тепло и влажный блеск. Запахли медом ржи,
На солнце бархатом пшеницы отливают,
И в зелени ветвей, в березах у межи,
Беспечно иволги болтают.

И весел звучный лес, и ветер меж берез
Уж веет ласково, а белые березы
Роняют тихий дождь своих алмазных слез
И улыбаются сквозь слезы.

1889

В СТЕПИ

Н. Д. Телешову

Вчера в степи я слышал отдаленный
Крик журавлей. И дико и легко
Он прозвенел над тихими полями...
Путь добрый! Им не жаль нас покидать:
И новая цветущая природа,
И новая весна их ожидает
За синими, за теплыми морями,
А к нам идет угрюмая зима:
Засохла степь, лес gloхнет и желтеет,
Осенний ветер, тучи нагоняя,
Открыл в кустах звериные лазы,
Листвой засыпал долы и овраги,
И по ночам в их черной темноте,
Под шум деревьев, свечками мерцают,
Таинственно блуждая, волчьи очи...
Да, край родной не радуется теперь!
И все-таки, кочующие птицы,
Не пробуждает зависти во мне
Ваш звонкий крик, и гордый и свободный.

Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры,
Когда в степи седой туман ночует,
Когда во мгле рассвет едва белеет
И лишь бугры чернеют сквозь туман.
Но я люблю, кочующие птицы,
Родные степи. Бедные селенья —
Моя отчизна; я вернулся к ней,
Усталый от скитаний одиноких,
И понял красоту в ее печали
И счастье — в печальной красоте.

Бывают дни: повеет теплым ветром,
Проглянет солнце, ярко озаряя
И лес, и степь, и старую усадьбу,
Пригреет листья влажные в лесу,
Глядишь — и все опять повеселело.
Как хорошо, кочующие птицы,
Тогда у нас! Как весело и грустно
В пустом лесу меж черными ветвями,
Меж золотыми листьями берез
Синеет наше ласковое небо!
Я в эти дни люблю бродить, вдыхая
Осинников поблекших аромат
И слушая дроздов пролетных крики;
Люблю уйти один на дальний хутор,
Смотреть, как озимь мягко зеленеет,
Как бархатом блестят на солнце пашни
А вдалеке, на жнивьях золотых,
Стоит туман, прозрачный и лазурный.

Моя весна тогда зовет меня,—
Мечты любви и юности далекой,
Когда я вас, кочующие птицы,
С такою грустью к югу провожал!
Мне вспоминается бывшее счастье,
Былые дни... Но мне не жаль былого:
Я не грущу, как прежде, о былом,—
Оно живет в моем безмолвном сердце,
А мир везде исполнен красоты.
Мне в нем теперь все дорого и близко:
И блеск весны за синими морями,
И северные скудные поля,
И даже то, что уж совсем не может
Вас утешать, кочующие птицы,—
Покорность грустной участи своей!

В КОСТЕЛЕ

Гаснет день — и звон тяжелый
В небеса плывет:
С башни старого костела
Колокол зовет.

А в костеле — ожиданье:
Сумрак, гул дверей,
Напряженное молчанье,
Тихий треск свечей.

В блеске их престол чернеет,
Озарен темно;
Высоко над ним желтеет
Узкое окно.

И над всем — Христа распяты:
В диадеме роз,
Скорбно братские объятья
Распростер Христос...

Тишина. И вот, незримо
Унося с земли,
Звонко песня серафима
Разлилась вдали.

Разлилась — и отзывчала:
Заглушил, покрыл
Гром органного хорала
Песнь небесных сил.

Вторит хор ему... Но, боже!
Отчего и в нем
Та же скорбь и горе то же,—
Мука о земном?

Не во тьме ль веков остался
День, когда с тоской
Человек, как раб, склонялся
Ниц перед тобой

И сиял зловещей славой
Пред лицом людей
В блеске молнии кровавой
Блеск твоих очей?

Для чего звучит во храме
Снова скорбный стон,
Снова дымными огнями
Лик твой озарен?

И тебе ли мгла куренья,
Холод темноты,
Запах воска, запах тленья
Мертвые цветы?

Дивен мир твой! Расцветает
Он, тобой согрет,
В небесах твоих сияет
Солнца вечный свет.

Гимн природы животворный
Льется к небесам...
В ней твой храм нерукотворный,
Твой великий храм!

1889

ПОДРАЖАНИЕ ПУШКИНУ

От праздности и лжи, от суетных забав
Я одинок бежал в поля мои родные,
Я странником вступил под сень моих дубрав,
Под их навесы вековые,

И, зноем истомлен, я на пути стою
И пью лесных ветров живительную влагу...
О, возврати, мой край, мне молодость мою,
И юных блеск очей, и юную отвагу!

Ты видишь — я красоты твоей не позабыл
И, сердцем чист, твой мир благословляю...
Обетованному отеческому краю
Я приношу остаток гордых сил.

1890

* * *

В туче, солнце заступающей,
Прокатился гулкий гром,
Ангел, радугой сияющий,
Золотым взмахнул крестом —
И сорвался бурей, холодом,
Унося в пыли бурьян.
И помчался шумно, молодо
Дымным ливнем ураган.

1891

* * *

Ту звезду, что качалась в темной воде
Под кривою раkitой в заглохшем саду,—
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

1891

* * *

Бушует полая вода,
Шумит и глухо, и протяжно.
Грачей пролетные стада
Кричат и весело и важно.

Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
Напоены теплом и светом.

А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу «зайчики» трепещут.

Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковое грет
В затишье гумен и дворов.

Весна, весна! И все ей радо.
Как в забытии каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И теплый запах талых крыш.

Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

1892

СОЛОВЬИ

То разрастаясь, то слабей,
Гром за усадьбой грохотал,
Шумела тополей аллея,
На стекла сумрак набегал.
Все ниже тучи наплывали;
Все ощутительней, свежей
Порывы ветра обведали
Дождем и запахом полей.
В полях хлеба к межам клонились...
А из лощин и из садов —
Отвсюду с ветром доносились
Напевы ранних соловьев.

Но вот по тополям и кленам
Холодный вихорь пролетел...
Сухой бурьян зашелестел,
Окно захлопнулось со звоном,
Блеснула молния огнем...
И вдруг над самой крышей дома
Раздался треск короткий грома
И тяжкий грохот... Все кругом
Затихло сразу и глубоко,
Сад потемневший присмирел, —
И благодатно и широко
Весенний ливень зашумел.

На межи низко наклонились
Хлеба в полях... А из садов
Все так же звучно доносились
Напевы ранних соловьев.

Когда же, медленно слабея,
Дождь отшумел и замер гром,
Ночь переполнила аллен
Благоуханьем и теплом.
Пар, неподвижный и пахучий,
Стоял в хлебах. Спала земля.
Заря чуть теплилась под тучей
Полоской алого огня.
А из лощин, где распускались
Во тьме цветы, и из садов
Лились и в чашах отдавались
Все ярче песни соловьев.

1892

* * *

Гаснет вечер, даль синее,
Солнышко садится,
Степь да степь кругом — и всюду
Нива колосится!
Пахнет медом, зацветает
Белая гречиха...
Звон к вечерне из деревни
Долетает тихо...
А вдали кукушка в роще
Медленно кукует...
Счастлив тот, кто на работе
В поле заночует!

Гаснет вечер, скрылось солнце,
Лишь закат краснеет...
Счастлив тот, кому зарею
Теплый ветер веет;
Для кого мерцают кротко,
Светятся с приветом
В темном небе темной ночью
Звезды тихим светом;

Кто устал на ниве за день
И уснет глубоко
Мирным сном под звездным небом
На степи широкой!

1892

* * *

Еще от дома на дворе
Синеют утренние тени
И под навесами строений
Трава в холодном серебре;
Но уж сияет яркий зной,
Давно топор стучит в сарае
И голубей пугливых стаи
Сверкают снежной белизной.

С зари кукушка за рекою
Кукует звучно вдалеке,
И в молодом березняке
Грибами пахнет и листвою.
На солнце светлая река
Трепещет радостно, смеется,
И гулко в роще отдается
Над нею ладный стук валька.

1892

* * *

В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озимь да пашни — и апрельский день.
Ласково синеет утреннее небо,
Легкой белой зыбью облака плывут,
Важно грач гуляет за сохой на пашне,
Пар блестит над пашней... А кругом поют
Жаворонки в ясной вышине воздушной
И на землю с неба звонко трели льют.

В стороне далекой от родного края
Девушкой-невестой снится мне Весна:
Очи голубые, личико худое,

Стройный стан высокий, русая коса.
Весело ей в поле теплым, ясным утром!
Мил ей край родимый — степь и тишина,
Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский,
И с приветом смотрит на поля она:
На устах улыбка, а в очах раздумье —
Юности и счастья первая весна

1893

* * *

За рекой луга зазеленели,
Веет легкой свежестью воды;
Веселей по рощам зазвенели
Песни птиц на разные лады.

Ветерок с полей тепло приносит,
Горький дух лозины молодой...
О, весна! Как сердце счастья просит!
Как сладка печаль моя весной!

Кротко солнце листья прогревает
И дорожки мягкие в саду...
Не пойму, что душу раскрывает
И куда я медленно бреду!

Не пойму, кого с тоской люблю я,
Кто мне дорог... И не все ль равно?
Счастья жду я, мучась и тоскуя,
Но не верю в счастье уж давно!

Горько мне, что я бесплодно трачу
Чистоту и нежность лучших дней,
Что один я радуюсь и плачу
И не знаю, не люблю людей.

1893

В ПОЕЗДЕ

Все шире вольные поля
Проходят мимо нас кругами;
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.

Вот под горою скит святой
В бору белеет за лугами...
Вот мост железный над рекой
Промчался с грохотом под нами...

А вот и лес! — И гул идет
Под стук колес в лесу зеленом;
Берез веселых хоровод,
Шумя, встречает нас поклоном.

От паровоза белый дым,
Как хлопья ваты, расползаясь,
Плывет, цепляется по ним,
К земле беспомощно склоняясь...

Но уж опять кусты пошли,
Опять деревьев строй редееет,
И бесконечная вдали
Степь развернулась и синееет,

Опять привольные поля
Проходят мимо нас кругами,
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.

1893

★ ★ ★

Ночь идет — и темнеет
Бледно-синий восток...
От одежд ее веет
По полям ветерок.

День был долог и зноен...
Ночь идет и поет
Колыбельную песню
И к покою зовет.

Грустен взор ее темный,
Одинок ее путь...
Спи-усни, мое сердце!
Отдохни... Позабудь.

1893

...И снилось мне, что осенней порой
 В холодную ночь я вернулся домой.
 По темной дороге прошел я один
 К знакомой усадьбе, к родному селу...
 Трещали обмерзшие сучья лозин
 От бурного ветра на старом валу...
 Деревня спала... И со страхом, как вор,
 Вошел я в пустынный, покинутый двор.

И сжалось сердце от боли во мне,
 Когда я кругом поглядел при огне!
 Навис потолок, обвалились углы,
 Повсюду скрипят под ногами полы
 И пахнет печами... Зброшен, забыт,
 Навеки забыт он, родимый наш дом!
 Зачем же я здесь? Что осталось в нем,
 И если осталось — о чем говорит?

И снилось мне, что всю ночь я ходил
 По саду, где ветер кружился и выл,
 Искал я отцом посаженную ель,
 Тех комнат искал, где собиралась семья,
 Где мама качала мою колыбель
 И с нежною грустью ласкала меня, —
 С безумной тоскою кого-то я звал,
 И сад обнаженный гудел и стонал...

1893

МАТЬ

И дни и ночи до утра
 В степи бураны бушевали,
 И вешки снегом заматали,
 И заносили хутора.
 Они врывались в мертвый дом —
 И стекла в рамах дребезжали,
 И снег сухой в старинной зале
 Кружился в сумраке ночном.

Но был огонь — не угасая,
 Светил в пристройке по ночам,
 И мать всю ночь ходила там,

Глаз до рассвета не смыкая.
Она мерцавшую свечу
Старинной книгой заслонила
И, положив дитя к плечу,
Все напевала и ходила...

И ночь тянулась без конца...
Порой, дремотой обвевая,
Шумела тише вьюга злая,
Шуршала снегом у крыльца.
Когда ж буря в порыве диком
Внезапным шквалом налетал,
Казалось ей, что дом дрожал,
Что кто-то слабым, дальним криком
В степи на помощь призывал.
И до утра не раз слезами
Ее усталый взор блестел,
И мальчик вздрагивал, глядел
Большими темными глазами...

1893

КОВЫЛЬ

Что ми шумить, что ми звенить да-
веча рано предъ зорями?

Сл. в Пл. Изор.

1

Что шумит-звенит перед зарею?
Что колышет ветер в темном поле?

Холодеет ночь перед зарею,
Смутно травы шепчутся сухие,—
Сладкий сон их нарушает ветер.
Опускаясь низко над полями,
По курганам, по могилам сонным,
Нависает в темных балках сумрак.
Бледный день над сумраком забрезжил,
И рассвет ненастный задымился...

Что шумит-звенит перед зарею?
Что колышет ветер в темном поле?

Холодеет ночь перед зарею,
Серой мглой подернулись балки...
Или это ратный стан белеет?
Или снова веет вольный ветер
Над глубоко спящими полками?
Не ковыль ли, старый и сонливый,
Он качает, клонит и качает,
Вежи половецкие колышет
И бежит-звенит старинной былью?

II

Ненастный день. Дорога прихотливо
Уходит вдаль. Кругом все степь да степь.
Шумит трава дремотно и лениво,
Немых могил сторожевая цепь
Среди хлебов загадочно синее,
Кричат орлы, пустынный ветер веет
В задумчивых, тоскующих полях,
Да день от туч кочующих темнеет.

А путь бежит... Не тот ли это шлях,
Где Игоря обозы проходили
На синий Дон? Не в этих ли местах,
В глухую ночь, в яругах волки выли,
А днем орлы на медленных крылах
Его в степи безбрежной провожали
И клетком псов на кости созывали,
Грозя ему великою бедой?
— Гей, отзовись, степной орел седой!
Ответь мне, ветер буйный и тоскливый!

...Безмолвна степь. Один ковыль сонливый
Шуршит, склоняясь ровной чередой...

1894

* * *

Могилы, ветряки, дороги и курганы —
Все смерклось, отошло и скрылось из глаз.
За дальней их чертой погас закат румяный,
Но точно ждет чего вечерний тихий час.

И вот идет она, Степная Ночь, с востока...
За нею синий мрак над нивами встает...
На меркнувший закат, грустна и одинока,
Она задумчиво среди хлебов идет.

И медлит на межах, и слушает молчанье...
Глядит вослед зари, где в призрачной дали
Еще мерещутся колосьев очертанья
И слабо брезжит свет над сумраком земли.

И полон взор ее, загадочно-унылый,
Великой кротости и думы вековой
О том, что ведают лишь темные могилы,
Степь молчаливая да звезд узор живой.

1894

* * *

Неуловимый свет разлился над землею,
Над кровлями безмолвного села.
Отчетливей кричат перед зарею
Далеко на степи перепела.

Нет ни души кругом — ни звука, ни тревоги...
Спят безмятежным сном зеленые овсы...
Находясь, кобчик спит на кочке у дороги,
Покрытый пылью матовой росы...

Но уж светлеет даль... Зелено-серебристый,
Неуловимый свет восходит над землей,
И белый пар лугов, холодный и душистый,
Как финиам, плывет перед зарей.

1894

* * *

Если б только можно было
Одного себя любить,
Если б прошлое забыть,—
Все, что ты уже забыла,

Не смущал бы, не страшил
Вечный сумрак вечной ночи:
Утомившиеся очи
Я бы с радостью закрыл!

1894

* * *

Нагая степь пустыней веет...
Уж пал зазимок на поля,
И в черных пашнях снег белеет,
Как будто в трауре земля.
Глубоким сном среди лощины
Деревня спит... Ноябрь идет,
Пруд застывает, и с плотины
Листва поблекшая лозины
Уныло сыплется на лед.

Вот день... Но скупое над землею
Сияет солнце; поглядит
Из-за бугра оно зарею
Сквозь сучья черные раки,
Пригреет кроткими лучами —
И вновь потонет в облаках...
А ветер жидкими тенями
В саду играет под ветвями,
Сухой травой шуршит в кустах...

1894

* * *

Что в том, что где-то, на далеком
Морском побережье, валуны
Блестят на солнце мокрым боком
Из набегающей волны?

Не я ли сам, по чьей-то воле,
Вообразил тот край морской,
Осенний ветер, запах соли
И белых чаек шумный рой?

О, сколько их — невыразимых,
Ненужных миру чувств и снов,
Душою в сладкой муке зримых,—
И что они? И чей в них зов?

1895

КОСТЕР

Ворох листьев сухих все сильней, веселей разгорается,
И трещит и пылает костер.
Пышет пламя в лицо; теплый дым на ветру развевается.
Затянул весь лесной косогор.

Лес гудит на горе, низко гнутся березы ветвистые,
Меж стволами качается тень...
Блеском, шумом листвы наполняет леса золотистые
Этот солнечный ветреный день.

А в долине — затишье, светло от орешника яркого,
И по светлой долине лесной
Тянет гарью сухой от костра распаленного, жаркого,
Развевается дым голубой.

Камни, заросли, рвы. Лучезарным теплом очарованный,
В полусне я лежу у куста...
Странно желтой листвой озарен этот дол заколдованный,
Эти лисьи, глухие места!

Ветер стоны несет... Не собаки ль вдали заливаются?
Не рога ли тоскуют, вопят?
А вершины шумят, а вершины скрипят и качаются,
Однотонно шумят и скрипят...

17.IX.95

Лес Жемчужникова

* * *

Когда на темный город сходит
В глухую ночь глубокий сон,
Когда метель, кружась, заводит
На колокольнях перезвон,—

Как жутко сердце замирает!
Как заунывно в этот час,
Сквозь вопли бури, долетает
Колоколов невнятный глас!

Мир опустел... Земля остыла...
А вьюга трупы замела,
И ветром звезды загасила,
И бьет во тьме в колокола.

И на пустынном, на великом
Погосте жизни мировой
Кружится Смерть в веселье диком
И развеивает саван свой!

1895

* * *

Ночь наступила, день угас,
Сон и покой — и всей душою
Я покоряюсь в этот час
Ночному кроткому покою.
Как облегченно дышит грудь!
Как нежно сад благоухает!
Как мирно светит и сияет
В далеком небе Млечный Путь!
За все, что пережито днем,
За все, что с болью я скрываю
Глубоко на сердце своем,—
Я никого не обвиняю.
За счастье минут таких,
За светлые воспоминанья
Благословляю каждый миг
Былого счастья и страданья!

1895

НА ПРОСЕЛКЕ

Веет утро прохладой степною...
Тишина, тишина на полях!
Заросла повиликой-травой
Полевая дорога в хлебах.

В мураве колес утопают,
А за ними, с обеих сторон,
В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,

Серебрится ячмень колосистый,
Зеленеют привольно овсы,
И в колосьях брильянты росы
Ветерок зажигает душистый,

И вливает отраду он в грудь,
И свежает с души он тревоги...
Весел мирный проселочный путь,
Хороши вы, степные дороги!

1895

* * *

Долог был во мраке ночи
Наш неверный трудный путь!
Напрягались тщетно очи
Разглядеть хоть что-нибудь...
Только гнулась и скрипела
Тяжко мачта, да шумело
Море черное, и челн
Уносило и качало
И с разбегу осыпало
Ледяною пылью волн...

Но редет мрак холодный;
Отделились небеса
От седой пучины водной,
И сереют паруса;
Над свалившеюся тучей,
Как над черной горной кручей,
Звезды блещут серебром;
Над кормой огонь сигнальный
Искрой бледной и печальной
Догорает... А кругом,—
Из морской дали туманной,—
Бледным сумраком одет,
Уж сквозит рассвет багряный,
Дышит холодом рассвет!

И все ярче меж волнами,
В брызгах огненно-живых,
В переливах голубых,
Золотое блещет пламя,
И все выше над волной
Глубью радостной, иной
Бирюза сквозит и тает,
И, качая быстрый челн,
Светлой влагой, пылью волн
Море весело кидает!

1895

* * *

Поздний час. Корабль и тих и темен,
Слабо плещут волны за кормой.
Звездный свет да океан зеркальный —
Царство этой ночи неземной.

В царстве безграничного молчанья,
В тишине глубокой сторожат
Час полночный звезды над морями
И в морях таинственно дрожат.

Южный Крест, загадочный и кроткий,
В душу льет свой нежный свет ночной —
И душа исполнена предвечной
Красоты и правды неземной.

1895

МЕТЕЛЬ

Ночью в полях, под напевы метели,
Дремлют, качаясь, березки и ели...
Месяц меж тучек над полем сияет,—
Бледная тень набегает и тает...
Мнится мне ночью: меж белых берез
Бродит в туманном сиянье Мороз.

Ночью в избе, под напевы метели,
Тихо разносится скрип колыбели...
Месяца свет в темноте серебрится —

В мерзлые стекла по лавкам струится...
Мнится мне ночью: меж сучьев берез
Смотрит в безмолвные избы Мороз.

Мертвое поле, дорога степная!
Вьюга тебя замечает ночная,
Спят твои села под песни метели,
Дремлют в снегу одинокие ели...
Мнится мне ночью: не степи кругом —
Бродит Мороз на погосте глухом...

1887—1895

* * *

В окошко из темной каюты
Я высунул голову. Ночь.
Кипящее черное море
Потопом уносится прочь.

Над морем — тупая громада
Стальной пароходной стены.
Торчу из нее и пьянею
От зыбко бегущей волны.

И все забирает налево
Покатая к носу стена,
Хоть должен я верить, что прямо
Свой путь пролагает она.

Все вкось чья-то сила уводит
Наш темный полуночный гроб,
Все будто на нас, а все мимо
Несется кипящий потоп.

Одно только звездное небо,
Один небосвод недвижим,
Спокойный и благостный, чуждый
Всему, что так мрачно под ним.

1896

РОДИНА

Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.

Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

1896

* * *

Ночь и даль седая,—
В инее лесá.
Звездами мерцая,
Светят небеса.

Звездный свет белеет,
И земля окрест
Стынет-цепенеет
В млечном свете звезд.

Тишина пустыни...
Четко за горой
На реке в долине
Треснет лед порой...

Метеор зажжется,
Озаряя снег...
Шорох пронесется —
Зверя легкий бег...

И опять — молчанье...
В бледной мгле равнин,
Затаив дыханье,
Я стою один.

1896

Христос воскрес! Опять с зарею
Редает долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.

Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что бог воистину воскрес!

1896

НА ДНЕПРЕ

За мирным Днепром, за горами
Заря догорала светло,
И тепел был воздух вечерний,
И ясно речное стекло.

Вечернее алое небо
Гляделось в зеркальный затон,
И тихо под лодкой качался
В бездонной реке небосклон...

Далекое, мирное счастье!
Не знаю, кого я любил,
Чей образ, и нежный и милый,
Так долго я в сердце хранил.

Но сердце грустит и донине...
И помню тебя я, как сон —
И близкой, и странно далекой,
Как в светлой реке небосклон...

1896

КИПАРИСЫ

Пустынная Яйла дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская даль,
Шумит внизу прибой, залив кипит волнами,
А здесь — глубокий сон и вечная печаль.

Пусть в городе живых, у синего залива,
Гремит и блещет жизнь... Задумчивой толпой
Здесь кипарисы ждут — и строго, молчаливо
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.

Жизнь не смущает их, минутная, дневная...
Лишь только колокол вечерний с берегов
Перекликается, звеня и занывая,
С могильной стражею белеющих крестов.

1896

* * *

Вьется путь в снегах, в степи широкой.
Вот — луга и над оврагом мост,
Под горой — поселок одинокий,
На горе — заброшенный погост.

Ни души в поселке; не краснеют
Из-под крыш вечерние огни;
Слепо срубы в сумерках чернеют...
Знаю я — покинуты они.

Пахнет в них холодною золою,
В печку провалилася труба,
И давно уж смотрит нежилою,
Мертвой и холодною изба.

Под застрехи ветер жесткий дует,
Сыплет снегом... Только он один
О тебе, родимый край, тоскует
Посреди пустых твоих равнин!

Путь бежит, в степи метель играет,
Хмуро сходит долгой ночи тень...
О, пускай скорее умирает
Этот жуткий, этот тусклый день!

1897

* * *

Отчего ты печально, вечернее небо?
Оттого ли, что жаль мне земли,
Что туманно синее безбрежное море
И скрывается солнце вдали?

Отчего ты прекрасно, вечернее небо?
Оттого ль, что далеко земля,
Что с прощальною грустью закат угасает
На косых парусах корабля

И шумят тихим шумом вечерние волны
И баюкают песней своей
Одинокое сердце и грустные думы
В беспредельном просторе морей?

1897

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Холодный ветер, резкий и упорный,
Кидает нас, и тяжело грести;
Но не могу я взоров отвести
От бурных волн, от их пучины черной.

Они кипят, бушуют и гудят,
В ухабах их, меж зыбкими горами,
Качают чайки острыми крылами
И с воплями над бездною скользят.

И ветер вторит диким завываньем
Их жалобным, но радостным стенаньям,
Потяжелее выбирает вал,

Напрягши грудь, на нем взметает пену
И бьет его о каменную стену
Прибрежных мрачных скал.

1897

НА ХУТОРЕ

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Сел ты на лежанку, поднял тихий взгляд —
И звучит гитара удалю печальной
Песне беззаботной, старой песне в лад.

«Где ты закатилось, счастье золотое?
Кто тебя развеял по чистым полям?
Не взойти над степью солнышку с заката,
Нет пути-дороги к невозвратным дням!»

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Брови ты приподнял, грустен тихий взгляд...
Не судья тебе я за грехи бывшего!
Не веротишь жизни прожитой назад!

1897

* * *

Скачет пристяжная, снегом обдаёт...
Сонный зимний ветер надо мной поет,
В полусне волнуясь, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит.

Эй, проснися, ветер! Подыми пургу,
Задымись метелью белою в лугу,
Загуди поземкой, закружись в степи,
Крикни вместо песни: «Постыдись, не спи!»

Безотраден путь мой! Каждый божий день —
Глушь лесов да холод-голод деревень...
Стыдно мне и больно... Только стыд-то мой
Слишком скоро гаснет в тишине немой!

Сонный зимний ветер надо мной поет,
Усыпляет песней, воли не дает,
Путь заносит снегом, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит...

1897

* * *

Беру твою руку и долго смотрю на нее,
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело:
Вот в этой руке — все твое бытие,
Я всю тебя чувствую — душу и тело.

Что надо еще? Возможно ль блаженнее быть?
Но Ангел мятежный, весь буря и пламя,
Летающий над миром, чтоб смертною страстью губить,
Уж мчитя над нами!

1898

* * *

Поздно, склонилась луна,
Море к востоку черно, тяжело,
А под луною, на юг,
Блещет оно, как стекло.

Там, под усталой луной,
У озаренных песков и камней,
Что-то темнеет, рябит
В неводе сонных лучей.

Там, под усталой луной,
У позлащенных камней и песков,
Чудища моря ползут,
Двигается много голов.

Поздняя ночь, мы одни
В этой степной и безлюдной стране,
В мертвом молчанье ее,
При заходящей луне.

Поздняя ночь все свежей,
Звездный все глубже, синей небосклон,
Дикою пахнет травой,
Запахом древних времен.

И холодеют пески,
Холодны милые руки твои...
К югу склонилась луна.
Выпита чаша до дна,
Древняя чаша любви.

1898

* * *

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала, — луна сияла
В ее окно, — и одеяла
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, —
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

1898

* * *

При свете звезд померкших глаз сиянье,
Косящий блеск меж гробовых ресниц,
И сдавленное знойное дыханье,
И это сердце — сердце диких птиц!

1898

НА ДАЛЬНОМ СЕВЕРЕ

Так небо низко и уныло,
Так сумрачно вдали,
Как будто время здесь застыло,
Как будто край земли.

Густое чахлое полесье
Стоит среди болот,
А там — угрюмо в поднебесье
Уходит сумрак вод.

Уж ночь настала, но свинцовый
Дневной не меркнет свет.
Немая тишь в глуши сосновой,
Ни звука в море нет.

И звезды тускло, недвижимо
Горят над головой,
Как будто их зажег незримо
Сам ангел гробовой.

1898

ПЛЕЯДЫ

Стемнело. Вдоль аллей, над сонными прудами,
Бреду я наугад.
Осенней свежестью, листвою и плодами
Благоухает сад.

Давно он поредел, — и звездное сиянье
Белеет меж ветвей.
Иду я медленно, — и мертвое молчанье
Царит во тьме аллей.

И звонок каждый шаг среди ночной прохлады.
И царственным гербом
Горят холодные алмазные Плеяды
В безмолвии ночном.

1898

* * *

И вот опять уж по зарям
В выси, пустынной и привольной,
Станицы птиц летят к морям,
Чернея цепью треугольной.

Ясна заря, безмолвна степь,
Закат алеет, разгораясь...
И тихо в небе эта цепь
Плывет, размеренно качаясь.

Какая даль и вышина!
Глядишь — и бездной голубою
Небес осенних глубина
Как будто тает над тобою.

И обнимает эта даль,—
Душа отдаться ей готова,
И новых, светлых дум печаль
Освобождает от земного.

1898

* * *

Листья падают в саду...
В этот старый сад, бывало,
Ранним утром я уйду
И блуждаю где попало.
Листья кружатся, шуршат,
Ветер с шумом налетает —
И гудит, волнуясь, сад
И угрюмо замирает.
Но в душе — все веселей!
Я люблю, я молод, молод:
Что мне этот шум аллей
И осенний мрак и холод?
Ветер вдаль меня влечет,
Звонко песнь мою разносит,
Сердце страстно жизни ждет,
Счастья просит!

Листья падают в саду,
Пара кружится за парой...
Одиноко я бреду
По листве в аллее старой.
В сердце — новая любовь,
И мне хочется ответить
Сердцу песнями — и вновь
Беззаботно счастье встретить.
Отчего ж душа болит?
Кто грустит, меня жалея?
Ветер стонет и пылит
По березовой аллее,
Сердце слезы мне теснят,
И, кружась в саду угрюмом,
Листья желтые летят
С грустным шумом!

1898

* * *

Таинственно шумит лесная тишина,
Незримо по лесам поет и бродит Осень...
Темнеет день за днем,— и вот опять слышна
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен.

«Пусть по ветру летит и кружится листва,
Пусть заметет она печальный след бывшего!
Надежда, грусть, любовь — вы, старые слова,
Как блеклая листва, не расцветете снова!»

Угрюмо бор гудит, несутся листья вдаль...
Но в шумном ропоте и песне безнадежной
Я слышу жалобу: в ней тихая печаль,
Укор былой весне, и ласковый и нежный.

И далеко еще безмолвная зима...
Душа готова вновь волнениям предаваться,
И сладко ей грустить и грустью упиваться,
Не внемля голосу ума.

1898

* * *

В пустынной вышине,
В открытом океане небосклона
Восток сияет ясной бирюзой.
В степной дали
Погасло солнце холодно и чисто,
Свеж, звонок воздух над землей,
И тишина царит,—
Молчание осеннего заката
И обнаженных черных тополей...
Как хороши пустынные аллеи!

Иду на юг,
Смотрю туда, где я любил когда-то,
Где грусть моя далекая живет...
А там встают,
Там медленно плывут и утопают
В глубоком океане небосклона,
Как снеговые горы, облака...
Как холодны и чисты изваянья
Их девственных алеющих вершин!
Как хороши безлюдные равнины!

Багряная листва,
Покрытая морозною росой,
Шуршит в аллее под моей ногой...
Вот меркнет даль,
Темнеет сад, краснее запад рдеет,
В холодной и безмолвной красоте
Все застывает, медленно мертвея,
И веет холод ночи на меня,
И я стою, безмолвием объятый...
Как хороша, как одинока жизнь!

1898

* * *

Все лес и лес. А день темнеет;
Низы синеют, и трава
Седой росой в лугах белеет...
Проснулась серая сова.

На запад сосны вереницей
Идут, как рать сторожевых,
И солнце мутное Жар-Птицей
Горит в их дебрях вековых.

1899

* * *

Как светла, как нарядна весна!
Погляди мне в глаза, как бывало,
И скажи: отчего ты грустна?
Отчего ты так ласкова стала?

Но молчишь ты, слаба, как цветок...
О, молчи! Мне не надо признанья:
Я узнал эту ласку прощанья, —
Я опять одинок!

1899

* * *

Нынче ночью кто-то долго пел.
Далеко скитаясь в темном поле,
Голос грустной удалью звенел,
Пел о прошлом счастье и о воле.

Я открыл окно и сел на нем.
Ты спала... Я долго слушал жадно...
С поля пахло рожью и дождем,
Ночь была душиста и прохладна.

Что в душе тот голос пробудил,
Я не знаю... Но душа грустила,
И тебя так нежно я любил,
Как меня когда-то ты любила.

1899

Зеленоватый свет пустынной лунной ночи,
 Далеко под горой — морской пустынный блеск...
 Я слышу на горах осенний ветер в соснах
 И под обрывом скал — невнятный шум и плеск.

Порою блеск воды, как медный щит, светлеет.
 Порой тускнеет он и зыбью взор томит...
 Как в полусне сижу... Осенний ветер веет
 Соленой свежестью — и все кругом шумит.

И в шорохе глухом и гуле горных сосен
 Я чувствую тоску их безнадежных дум,
 А в шумном плеске волн — лишь холод лунной
 ночи

Да мертвый плеск и шум.

1899



1900—1902

* * *

Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес.
Но мирно розовый мерцает Антарес
На южных небесах, куда прозрачным дымом
Нисходит Млечный Путь к лугам необозримым.
С опушки на луга гляжу из-под ветвей,
И дышит ночь теплом, и сердце верит ей,—
Колосьям божьих нив, на гнездах смолкшим птицам,
Мерцанью кротких звезд и ласковым зарницам,
Играющим огнем вокруг немой земли
Пред взором путника, звенящего вдали
Валдайским серебром, напевом беззаботным
В просторе полевом, спокойном и дремотном.

1900

* * *

Затрепетали звезды в небе,
И от зари, из-за аллей,
Повеял чистый, легкий ветер
Весенней свежестью полей.

К закату, точно окрыленный,
Спешу за ним, и жадно грудь
Его вечерней ласки ищет
И счастья в жизни потонуть.

Не верю, что умру, устану,
Что навсегда в земле усну,—
Нет,— упоенный счастьем жизни,
Я лишь до солнца отдохну!

1900

* * *

Нет солнца, но светлы пруды,
Стоят зеркалами литыми,
И чаши недвижной воды
Совсем бы казались пустыми,
Но в них отразились сады.

Вот капля, как шляпка гвоздя,
Упала — и, сотнями игол
Затоны прудов бороздя,
Сверкающий ливень запрыгал —
И сад зашумел от дождя.

И ветер, играя листвою,
Смешал молодые березки,
И солнечный луч, как живой,
Зажег задрожавшие блески,
А лужи налил синевою.

Вон радуга... Весело жить
И весело думать о небе,
О солнце, о зреющем хлебе
И счастьем простым дорожить:

С открытой бродить головой,
Глядеть, как рассыпали дети
В беседке песок золотой...
Иного нет счастья на свете.

1900

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листе сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихую вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет;
Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая —
И снова все кругом замрет.

Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой —
Предвестник долгого несчастья.
Глубоко, странно лес молчал
И на заре, когда с заката
Пурпурный блеск огня и алата
Пожаром терем освещал.

Потом угрюмо в нем стемнело.
Луна восходит, а в лесу
Ложатся тени на росу...
Вот стало холодно и бело
Среди полян, среди сквозной
Осенней чащи помертвелой,
И жутко Осени одной
В пустынной тишине ночной.

Теперь уж тишина другая:
Прислушайся — она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.
О, мертвый сон осенней ночи!
О, жуткий час ночных чудес!
В серебристом и сыром тумане
Светло и пусто на поляне;
Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой
Как будто смерть себе пророчит;
Сова и та молчит: сидит
Да тупо из ветвей глядит,
Порою дико захохочет,
Сорвется с шумом с высоты,
Взмахнувши мягкими крылами,
И снова сядет на кусты
И смотрит круглыми глазами,
Вода ушастью головой
По сторонам, как в изумленье;
А лес стоит в оцепененье,
Наполнен бледной, легкой мглой
И листьев сыростью гнилой...

Не жди: наутро не проглянет
На небе солнце. Дождь и мгла
Холодным дымом лес туманят,—
Недаром эта ночь прошла!
Но Осень затаит глубоко
Все, что она пережила
В немую ночь, и одиноко

Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,
Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьи очи
Зеленым светятся огнем!
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по шавам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой усыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, все умертвив...

Трубят рога в полях далеких,
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких
Ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев, за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воеет рог туринный,
Скликая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разносит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горностаевом шугае,
Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,
Видна ей синева долин
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:
Туда от зимних бурь и вьюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру
Свой одинокий путь направит

И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.

Прости же, лес! Прости, прощай,
День будет ласковый, хороший,
И скоро мягкой порошей
Засеребрится мертвый край.
Как будут странны в этот белый
Пустынный и холодный день
И бор, и терем опустелый,
И крыши тихих деревень,
И небеса, и без границы
В них уходящие поля!
Как будут рады соболя,
И горностаи, и купицы,
Резвясь и греясь на бегу
В сугробах мягких на лугу!
А там, как буйный пляс шамана,
Ворвутся в голую тайгу
Ветры из тундры, с океана,
Гудя в крутящемся снегу
И завывая в поле зверем.
Они разрушат старый терем,
Оставят колья и потом
На этом острове пустом
Повесят инеи сквозные,
И будут в небе голубом
Сиять чертоги ледяные
И хрусталем и серебром.
А в ночь, меж белых их разводов,
Взойдут огни небесных сводов,
Заблещет звездный щит Стожар —
В тот час, когда среди молчанья
Морозный светится пожар,
Расцвет полярного сиянья.

1900

НА РАСПУТЬЕ

На распустье в диком древнем поле
Черный ворон на кресте сидит.
Заросла бурьяном степь на воле,
И в траве заржавел старый щит.

На распутье люди начертали
Роковую надпись: «Путь прямой
Много бед готовит, и едва ли
Ты по нем воротишься домой.

Путь направо без коня оставит —
Побредешь один и сир и наг,—
А того, кто влево путь направит,
Встретит смерть в незнаемых полях...»

Жутко мне! Вдали стоят могилы...
В них бывшее дремлет вечным сном...
«Отзовися, ворон чернокрылый!
Укажи мне путь в краю глухом».

Дремлет полдень. На тропах звериных
Тлеют кости в травах. Три пути
Вижу я в желтеющих равнинах...
Но куда и как по ним идти?

Где равнина дикая граничит?
Кто, пугая чуткого коня,
В тишине из синей дали кличет
Человечьим голосом меня?

И один я в поле, и отважно
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...
Черный ворон сумрачно и важно,
Полусонный, на кресте сидит.

1900

ВИРЬ

Где ельник сумрачный стоит
В лесу зубчатым темным строем,
Где старый позабытый скит
Манит задумчивым покоем,

Есть птица Вирь. Ее убор
Весь серо-аспидного цвета,
Головка в хохолке, а взор
Исполнен скорбного привета.

Она так жалостно поет,
С такою нежностью глубокой,
Что, если к скиту забредет
Случайно путник одинокий,

Он не покинет те места:
Лес молчаливый и унылый
И скорбной песни красота
Полны неотразимой силы!

И вот, когда в лесу пустом
Горит заря, а ельник черный
Стоит на фоне золотом
Стеною траурно-узорной,

С какой отрадой ловит он
Все, что зарей еще печальней:
Вечерний колокольный звон,
Напевы женщин в роще дальней,

И гул сосны, и ветерка
Однообразный шелест в чаще...
Невыразима их тоска,
И нет ее больней и слаще!

Когда же лес, одетый тьмой,
Сгустится в ней и тьма сольется
С его могильной бахромой,—
Вирь в темноте тревожно вьется,

В испуге бьется средь ветвей,
Тоскливо стонет и рыдает,
И тем тоскливей, тем грустней,
Чем человек больней страдает...

1900

В ОТЪЕЗЖЕМ ПОЛЕ

Сумрак ночи к западу уходит,
Серой мглой над черной пашней бродит,
По бурьянам стелется к земле...
Звезды стали тусклы и далеки,
Небеса туманны и глубоки,
Но восток уж виден в полумгле.

Лошади продрогли. Север дышит
Ветром ночи и полынь колышет...
Вот и утро! — В колеях дорог
Грязь чернеет, лужи заалели...
Томно псы голодные запели...
Встань, труби в холодный, звонкий рог!

1900

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

Прошли дожди, апрель теплеет.
Всю ночь — туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синее
В далеких просеках в бору.

И тихо дремлет бор зеленый.
И в серебре лесных озер —
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!

1900

* * *

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;
На рассвете в долинах теплом и черемухой вест,
Соловьи до рассвета поют.

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы...
Все цветет и поет, молодые надежды тая...
О весенние зори и теплые майские росы!
О далекая юность моя!

1900

* * *

Не угас еще вдали закат,
И листва сквозит узором четким,
А под ней уж серебрится сад
Светом и таинственным и кротким:

Народился месяц молодой.
Робко он весенними зарями
Светит над зеркальной водой,
По садам сияя меж ветвями.

Завтра он зарею выйдет вновь
И опять напомним, одинокий,
Мне весну, и первую любовь,
И твой образ, милый и далекий...

1900

* * *

Когда деревья в светлый майский день
Дорожки осыпают белым цветом
И ветерок в аллее, полной светом,
Струит листвы узорчатую тень,
Я свой привет из тихих деревень
Шлю девушкам и юношам-поэтам:
Пусть встретит жизнь их ласковым приветом,
Пусть будет светел их весенний день,
Пусть их мечты развеет белым цветом!

1900

* * *

Лес шумит невнятным, ровным шумом...
Лепет листьев клонит в сон и лень...
Петухи в далекой караулке
Распевают про весенний день.

Лес шумит невнятным, тихим шумом...
Хорошо и беззаботно мне
На траве, среди берез зеленых,
В тихой и безвестной стороне!

1900

Еще утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сочного бора —
Предрассветная теплая мгла.

Еще ранние птицы не пели,
Чуть сереютверху небеса,
Влажно-зелены темные ели,
Пахнет летнею хвоей роса.

И пускай не светает подольше.
Этот медленный путь по лесам,
Эта ночь — не воротится больше,
Но легко пред разлукою нам...

Колокольчик в молчании бора
То замрет, то опять запоеет...
Тихо ночь по долинам идет...
Еще утро не скоро, не скоро.

1900

ПО ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРЕ

Засинели, темнеют равнины...
Далеко, далеко в тишине
Колокольчик поет, замирая...
Мне грустней и больнее вдвойне.

Вот уж звук его плачет чуть слышно;
Вот и пыль над простором немым,
По широкой пустынной дороге,
Опускаясь, темнеет, как дым...

Но душа еще ждет и тоскует...
О, зачем ты и ночью и днем
Вспоминаешься мне так призывно?
Отчего ты везде и во всем?

Вслед заре, уходящей к закату,
Умирающим звукам вослед
Посылаю тебе мою душу —
Мой печальный и нежный привет!

1900

Ночь печальна, как мечты мои.
 Далеко в глухой степи широкой
 Огонек мерцает одинокий...
 В сердце много грусти и любви.

Но кому и как расскажешь ты,
 Что зовет тебя, чем сердце полно!
 — Путь далек, глухая степь безмолвна.
 Ночь печальна, как мои мечты.

1900

РАССВЕТ

Высоко поднялся и белеет
 Полумесяц в бледных небесах.
 Сумрак ночи прячется в лесах.
 Из долин зеленых утром веет.

Веет юной радостью с полей.
 Льется, как серебряное пенье,
 Звон костела, слава воскресенье...
 Разгорайся, новый день, светлей!

Выйди в небо, солнце, без ненастья,
 Возродися в блеске и тепле,
 Возвести опять по всей земле,
 Что вся жизнь — день радости и счастья!

1900

РОДНИК

В глуши лесной, в глуши зеленой,
 Всегда тенистой и сырой,
 В крутом обраде под горой
 Бьет из камней родник студеный:

Кипит, играет и спешит,
 Крутятся хрустальными клубами,
 И под ветвистыми дубами
 Стеклом расплавленным бежит.

А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.

1900

УЧАН-СУ

Свежее, слаще воздух горный.
Невнятный шум идет в лесу:
Поет веселый и проворный,
Со скал летящий Учан-Су!
Глядишь — и, точно застывая,
Но в то же время ропот свой,
Свой легкий бег не прерывая,—
Прозрачной пылью снеговой
Несется вниз струя живая,—
Как тонкий флер, сквозит огнем,
Скользит со скал фатой венчальной
И вдруг, и пеной и дождем
Свергаясь в черный водоем,
Бушует влагою хрустальной...

1900

ЗНОЙ

Горячо сухой песок сверкает,
Сушит зной на камнях невода.
В море — штиль, и ласково плескает
На песок хрустальная вода.

Чайка в светлом воздухе блеснула...
Тень ее спустилась надо мной —
И в сиянье солнца потонула...
Клонит в сон и ослепляет зной...

И лежу я, упоенный зноем.
Снится сад мне и прохладный грот,
Кипарисы неподвижным строем
Стерегут там звонкий водомет.

Старый мрамор под ветвями тисов
Молодыми розами увит,
И горит залив меж кипарисов,
Точно синим пламенем налит...

1900

ЗАКАТ

Корабли в багряном зареве заката
В океан выходят — и на небесах
Вырастают мачты стройного фрегата
В черных парусах.

Медленно плывет он в зареве далеком
И другой выводит в лоно темных вод...
Скажешь: это снялся в трауре глубоком
Погребальный флот.

1900

СУМЕРКИ

Все — точно в полусне. Над серою водой
Сползает с гор туман, холодный и густой,
Под ним гудит прибой, зловеще разрастаясь,
А темных голых скал прибрежная стена,
В дымящийся туман погружена,
Лениво курится, во мгле небес теряясь.

Суров и дик ее могучий вид!
Под шум и гул морской она в дыму стоит,
Как неугасший жертвенник титанов,
И Ночь, спускаясь с гор, вступает точно в храм,
Где мрачный хор поет в седых клубах туманов
Торжественный хорал неведомым богам.

1900

* * *

На мертвый якорь кинули бакан,
И вот, среди кипящего залива,
Он прыгает и мечется тоскливо,
И звон его несется сквозь туман.

Осенний мрак сгущается вдали,
Подходит ночь,— и по волнам тяжелым
Ныряют и качаются за молом
Рыбацкие пустые корабли.

И мачты их средь темной высоты
Чертят туман все шире и быстрее,
И плавают среди тумана реи,
Как черные могильные кресты.

1900

* * *

К побережью моря длинная аллея
Ведет вдали как будто в небосклон:
Там море подымается, синее
Меж позабытых мраморных колонн.

Там на прибой идут ступени стройно
И львы лежат, как сфинксы, над горой:
Далеко в море важно и спокойно
Они глядят вечернюю порой.

А на скамье меж ними одиноко
Сидит она... Нет имени для ней,
Но знаю я, что нежно и глубоко
Она с душой сроднилась моей.

Я ль не любил? Я ль не искал мятежно
Любви и счастья юность разделить
С душою женской, чистою и нежной,
И жизнь мою в другую перелить?

Но та любовь, что душу посещала,
Оставила в душе печальный след,—
Она звала, она меня прельщала
Той радостью, которой в жизни нет.

И от нее я взял воспоминанья
Лишь лучших дней и уж не ту люблю,
Кого любил... Люблю мечты созданья
И снова о несбыточном скорблю.

Вечерняя безмолвная аллея
Зовет меня к скалистым берегам,
Где море подымается, синяя,
К пустынным и далеким небесам.

И горько я и сладостно тоскую,
И грезится мне светлая мечта,
Что воскресит мне радость неземную
Печальная земная красота.

1900

* * *

Открыты жнивья золотые,
И светлой кажутся мечтой
Простор небес, поля пустые
И день, прохладный и пустой.

Орел, с дозорного кургана
Взмахнувший в этой пустоте,
Как над равниной океана
Весь четко виден в высоте.

И на кургане одиноком,
Сдержав горячего коня,
Степь от заката до востока
В прозрачной дали вижу я.

Как низко, вольно и просторно
Степных отав раскинут круг!
И как легко фатой узорной
Плывут два облачка на юг!

1900

* * *

Был поздний час — и вдруг над темнотой,
Высоко над уснувшею землею,
Прорезав ночь оранжевой чертой,
Взвилась ракета бешеной змеею.

Стремительный порыв ее вознес.
Но миг один — и в темноту, в забвенье
Уже текут алмазы крупных слез,
И медленно их тихое паденье.

1901

* * *

Зеленый цвет морской воды
Сквозит в стеклянном небосклоне,
Алмаз предутренней звезды
Блестит в его прозрачном лоне.

И, как ребенок после сна,
Дрожит звезда в огне денницы,
А ветер дует ей в ресницы,
Чтоб не закрыла их она.

1901

* * *

Раскрылось небо голубое
Меж облаков в апрельский день.
В лесу все серое, сухое,
И паутиной пала тень.

Змея, шурша листвою дубовой,
Зашевелилась в дупле
И в лес пошла, блестя лиловой,
Пятнистой кожей по земле.

Сухие листья, запах пряный,
Атласный блеск березняка...
О миг счастливый, миг обманный,
Стократ блаженная тоска!

1901

* * *

Зарницы лик, как сновиденье,
Блеснул — и в темноте исчез.
Но увидал я на мгновение
Всю даль и глубину небес.

Там, в горнем свете, встали горы
Из розоватых облаков,
Там град и райские соборы —
И снова черный пал покров.

Вот задрожал и вспыхнул снова —
И снова блещущий восторг,
Вновь мрак томления земного
Господь десницею расторг.

Не так же ль в радости случайной
Мечта взмахнет порой крылом —
И вдруг блеснет небесной тайной
Все потонувшее в былом?

1901

* * *

На глазки синие, прелестные
Нисходит сумеречный хмель:
Качайте, ангелы небесные,
Все тише, тише колыбель.

В заре сгорели тучки вешние,
И поле мирное темно:
Светите, дальние, нездешние,
Огни в открытое окно.

Усни, усни, дитя любимое,
Цветок, свернувший лепестки
Лампадка, бережно хранимая
Заботой божеской руки.

1901

НОЧЬ И ДЕНЬ

Старую книгу читаю я в долгие ночи
При одиноком и тихом дрожащем огне:
«Все мимолетно — и скорби, и радость, и песни,
Вечен лишь бог. Он в ночной неземной тишине».

Ясное небо я вижу в окно на рассвете.
Солнце восходит, и горы к лазури зовут:
«Старую книгу оставь на столе до заката.
Птицы о радости вечного бога поют!»

1901

* * *

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доньше
Снега хранят мой одинокий след.

На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.

И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радуется привет!

На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине.

1901

* * *

Еще и холоден и сыр
Февральский воздух, но над садом
Уж смотрит небо ясным взглядом,
И молодеет божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,
Слезится снег недавней стужи,
А с неба на кусты и лужи
Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят
Деревья в лоне небосклона,
И сладко слушать у балкона,
Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

1901

* * *

Высоко в просторе неба,
Все сияя белизною,
Вышло облачко на полдень
Над равниной водяною.

Из болот оно восстало,
Из холодного тумана —
И замлело, засияло
В синей стали океана...

— Не затем ли ты возникло,
Чтобы в вечном отразиться?
Не затем ли ввысь стремилось,
Чтоб под солнцем раствориться?

Вышло облачко высоко,
Стало тонкое, сквозное,
Улыбнулось одиноко —
И угасло в ярком зное.

1901

* * *

Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей
В лоне океана, в раковине тесной,
Рос он одиноко, как цветок безвестный,
На обломках мшистых мертвых кораблей.

Бурею весенней выброшен со дна,
Он лежал в прибое на побережье диком,
Где носились чайки над водою с криком,
Где его качала шумная волна...

Мил мне жемчуг нежный на груди твоей!
Сладко упиваясь юной красотой,
В светлом божьем мире я брожу мечтою,—
В небе, в блеске солнца, в тишине морей,

С перлами морскими под водой цвету,
Рассыпаюсь в рифах влагой голубою —
И одно есть счастье: разделить с тобою
Эту радость жизни, эту красоту!

1901

* * *

Дымится поле, рассвет белеет,
В степи туманной кричат орлы,
И дико-звонок их плач голодный
Среди холодной плывущей мглы.

В росе их крылья, в росе бурьяны,
Благоухают поля со сна...
Зарею сладок твой бодрый холод,
Твой томный голод,— твой зов, весна!

Ты победила,— вся степь дымится,
Над степью властно кричат орлы,
И тучи жарким горят пожаром,
И солнце шаром встает из мглы!

1901

Гроза прошла над лесом стороною,
 Был теплый дождь, в траве стоит вода...
 Иду один тропинкою лесною,
 И в синеве вечерней надо мною
 Слезою светлой искрится звезда.

Иду — и вспоминается мерцанье
 Мне звезд иных... глубокий мрак ресниц,
 И ночь, и тучи жаркое дыханье,
 И молодой грозы благоуханье,
 И трепет замирающих зарниц...

Все пронеслось, как бурный вихрь весною,
 И все в душе я сохраню, любя...
 Слезою светлой блещет надо мною
 Звезда весны за чашей кружевною...
 Как я любил тебя!

1901

В СТАРОМ ГОРОДЕ

С темной башни колокол уныло
 Возвещает, что закат угас.
 Вот и снова город ночь сокрыла
 В мягкий сумрак от усталых глаз.

И нисходит кроткий час покоя
 На дела людские. В вышине
 Грустно светят звезды. Все земное
 Смерть, как страж, обходит в тишине.

Улицей бредет она пустынной,
 Смотрит в окна, где чернеет тьма...
 Всюду глухо. С важностью старинной
 В переулках высятся дома.

Там в садах платаны зацветают,
 Нежно веет раннюю весной,
 А на окнах девушки мечтают,
 Упиваясь свежестью ночной,

И в молчанье только им не страшен
Близкой смерти медленный дозор,
Сонный город, думы черных башен
И часов задумчивый укор.

1901

* * *

Отошли закаты на далекий север,
Но всю ночь хранится солнца алый след.
Тихо в темном поле, сладко пахнет клевер,
Над землею брезжит слабый полусвет.

Это — ночи робких молодых мечтаний,
Предраcсветный сумрак в чутком полусне.
Это — ночи грусти и воспоминаний,
Думы на закате о былой весне.

1901

* * *

Облака, как призраки развалин,
Встали на заре из-за долин.
Теплый вечер темен и печален,
В темном доме я совсем один.

Слабым звоном люстра отвечает
На шаги по комнате пустой...
А вдали заря зарю встречает,
Ночь зовет бессмертной красотой.

1901

* * *

Спокойный взор, подобный взору лани,
И все, что в нем так нежно я любил,
Я до сих пор в печали не забыл,
Но образ твой теперь уже в тумане.

А будут дни — угаснет и печаль,
И засинеет сон воспоминанья,
Где нет уже ни счастья, ни страданья,
А только всепрощающая даль.

1901

* * *

За все тебя, господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.

Я одинок и ныне — как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нем Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю — с тобой.

1901

* * *

Высоко наш флаг трепещет,
Гордо вздулся парус полный,
Встал, огромный и косой;

А навстречу зыбью плещет,
И бегут — змеятся волны
Быстрой, гибкой полосой.

Изумруд горит, сверкая,
В ней, как в раковине тесной,
Медью светит на борта;

А кругом вода морская
Так тяжка и полновесна,
Точно ртутью налита.

Ходит зыбкими буграми,
Ходит мощно и упруго,
Высоко возносит челн —

И бегущими горами
Принимают друг от друга
Нас крутые гребни волн.

1901

* * *

Полями пахнет, — свежих трав,
Лугов прохладное дыханье!
От сенокосов и дубрав
Я в нем ловлю благоуханье.

Повеет ветер — и замрет...
А над полями даль темнеет,
И туча из-за них растет, —
Закрыла солнце и синеет.

Нежданной молнии игра,
Как меч, блеснувший на мгновенье,
Вдруг озарит из-за бугра —
И снова сумрак и томленье...

Как ты таинственна, гроза!
Как я люблю твоё молчанье,
Твое внезапное блистанье, —
Твои безумные глаза!

1901

ИЗ АПОКАЛИПСИСА

И я узрел: отверста дверь на небе,
И прежний глас, который слышал я,
Как звук трубы, гремевшей надо мною,
Мне повелел: войди и зри, что будет.

И дух меня мгновенно осенил.
И се — на небесах перед очами
Стоял престол, на нем же был Сидящий.

И сей Сидящий, славою сияя,
Был точно камень яспис и сардис,
И радуга, подобная смарагду,
Его престол широко обняла.

И вокруг престола двадесять четыре
Других престола было, и на каждом
Я видел старца в ризе белоснежной
И в золотом венце на голове.

И от престола исходили гласы,
И молнии, и громы, а пред ним —
Семь огненных светильников горели,
Из коих каждый был господний дух.

И пред лицом престола было море,
Стеклянное, подобное кристаллу,
А посреди престола и окрест —
Животные, число же их четыре.

И первое подобно было льву,
Тельцу — второе, третье — человеку
Четвертое — летящему орлу.

И каждое из четырех животных
Три пары крыл имело, а внутри
Они очей исполнены без счета
И никогда не ведают покоя,
Взывая к Славе: свят, свят, свят, господь,
Бог вседержитель, коий пребывает
И был во веки века и грядет!

Когда же так взывают, воздавая
Честь и хвалу Живущему вовеки,
Сидящему во славе на престоле,
Тогда все двадесать четыре старца
Ниц у престола падают в смирение
И, поклоняясь Сущему вовеки,
Кладут венцы к престолу и рекут:

«Воистину достоин восприяти
Ты, господи, хвалу, и честь, и силу
Затем, что все тобой сотворено
И существует волею твоею!»

* * *

Не слышать еще тяжкого грома за лесом,—
Только сполох зарниц пробегает в вершинах.
Лапы елей висят неподвижным навесом,
И запуталась хвоя в сухих паутинах.

Если ж молния вспыхнет, как пламя над горном,
Раскрываются чащи в изломах неверных,
Точно древние своды во храмах пещерных,
В подземелье Перуна, высоком и черном!

1901

* * *

Любил он ночи темные в шатре,
Степных кобыл залихватое ржанье,
И перед битвой волчье завыванье,
И коршунов на сумрачном бугре.

Страсть буйной мощи силясь утолить,
Он за врагом скакал как исступленный,
Чтоб дерзостью погони опьяненной,
Горячей кровью землю напоить.

Стрелою скиф насквозь его пробил,
И там, где смерть ему закрыла очи,
Восстал курган — и темный ветер ночи
Дождем холодных слез его кропил.

Прошли века, но слава древней были
Жила в веках... Нет смерти для того,
Кто любит жизнь, и песни сохранили
Далекое наследие его.

Они поют печаль воспоминаний,
Они бессмертье прошлого поют
И жизни, отошедшей в мир преданий,
Свой братский зов и голос подают.

1901

* * *

Это было глухое, тяжелое время.
Дни в разлуке текли, я как мертвый блуждал;
Я коня на закате седлал
И в безлюдном дворе ставил ногу на стремя.

На горе меня темное поле встречало.
В темноту, на восток, направлял я коня —
И пустынная ночь окружала меня
И, склонивши колосья, молчала.

И, молчанью внимая, я тихо склонялся
Головой на луку. Я без мысли глядел
На дорожную пыль, и душой холодел,
И в холодной тоске забывался.

1901

* * *

Моя печаль теперь спокойна,
И с каждым годом все ясней
Я вижу даль, где прежде знойно
Синела дымка летних дней...

Так в тишине приморской виллы
Слышнее осенью прибой,
Подобный голосу Сибиллы,
Бесстрастной, мудрой и слепой.

Так на заре в степи широкой
Слышнее колокол вдали,
Спокойный, вещий и далекий
От мелких горестей земли.

1901

* * *

Звезды ночи осенней, холодные звезды!
Как угрюмо и грустно мерцаете вы!
Небо тускло и глухо, как купол собора,
И заливы морские — темны и мертвы.

Млечный Путь над заливами смутно белеет,
Точно саван ночной, точно бледный просвет
В бездну Вечных Ночей, в запредельное небо,
Где ни скорби, ни радости нет.

И осенние звезды, угрюмо мерца
Безнадежным мерцанием тусклых лучей,
Говорят об иной — о предвечной печали
Запредельных Ночей.

1901

* * *

Шумели листья, облетая,
Лес заводил осенний вой...
Каких-то серых птичек стая
Кружилась по ветру с листвою.

А я был мал, — беспечной шуткой
Смятение их казалось мне:
Под гул и шорох пляски жуткой
Мне было весело вдвойне.

Хотелось вместе с вихрем шумным
Кружиться по лесу, кричать —
И каждый мертвый лист встречать
Восторгом радостно-безумным!

1901

* * *

Светло, как днем, и тень за нами бродит
В нагих кустах. На серебре травы
Луна с небес таинственно обводит
Сияние вокруг темной головы.

Остановясь, ловлю твой взор прощальный,
Но в сердце холод мертвенный таю —
И бледный лик, загадочно-печальный,
Под бледною луной не узнаю.

1901

Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья,
 Как проносится ветер в беспомощно-зыбком саду.
 На кусты и полны в тоске припадают деревья:
 «Пронеси, вольный ветер, скорей эту жуткую ночь!»

С неземною печалью глядит затуманенный месяц...
 Ветер в жутком восторге проносится в черных кустах:
 «Достигайте в несчастье радости мук беспредельных!
 Приготовьтесь к Великому мукой великих потерь!»

1901

ОТРЫВОК

В окно я вижу груды облаков,
 Холодных, белоснежных, как зимою,
 И яркость неба влажно-голубого.
 Осенний полдень светел, и на север
 Уходят тучи. Клены золотые
 И белые березки у балкона
 Сквозят на небе редкою листвою,
 И хрусталем на них сверкают льдинки.
 Они, качаясь, тают, а за домом
 Бушует ветер... Двери на балконе
 Уже давно заклеены к зиме,
 Двойные рамы, топленные печи —
 Все охраняет ветхий дом от стужи,
 А по саду пустому кружит ветер
 И, листья подметая по аллеям,
 Гудит в березах старых... Светел день,
 Но холодно, — до снега недалеко.

Я часто вспоминаю осень юга...
 Теперь на Черном море непрерывно
 Бушуют бури: тусклый блеск от солнца,
 Скалистый берег, бешеный прибой
 И по волнам сверкающая пена...
 Ты помнишь этот берег, окаймленный
 Ее широкой снежною грядой?
 Бывало, мы сбегим к воде с обрыва
 И жадно ловим ветер. Вольно веет
 Он бодростью и свежестью морской;

Срывая брызги с бурного прибоя,
Он влажной пылью воздух наполняет
И снежных чаек носит над волнами.
Мы в шуме волн кричим ему навстречу,
Он валит с ног и заглушает голос,
А нам легко и весело, как птицам...

Все это сном мне кажется теперь.

1901

ЭПИТАЛАМА

Озарен был сумрак мрачный
В старом храме, и сиял
Чистый образ новобрачной
При огнях, в фате прозрачной,
Под молитвенный хорал.

А из окон ночь синела;
Зимний вечер темен был,
Вьюга в сумраке шумела,
Грустно с колоколом пела,
Подымая снег с могил...

Сохрани убор венчальный,
Сохрани цветы твои:
В жизни краткой и печальной
Светит только безначальный,
Непорочный свет любви!

1901

Морозное дыхание метели
Еще свежо, но улеглась метель.
Белеет снега мшистая постель,
В сугробах стыннут траурные ели.

Ночное небо низко и черно,—
Лишь в глубине, где Млечный Путь белеет,
Сквозит его таинственное дно
И холодом созвездий пламенеет.

Обрывки туч порой темнеют в нем...
Но стынет ночь. И низко над землею
Усталый вихрь шипящею змеею
Скользит и жжет своим сухим огнем.

1901

НА ОСТРОВЕ

Люблю я наш обрыв, где дикою грядою
Белеют стены скал, смотря на дальний юг,
Где моря синего раскинут полукруг,
Где кажется, что мир кончается водою,
И дышится легко среди безбрежных вод.

В веселый летний день, когда на солнце блещет
Скалистый известняк и в каждый звонкий грот
Зеленая вода хрустальной влагой плещет,
Люблю я зной, и ширь, и вольный небосвод,
И острова пустынные высоты.

Ласкают их ветры, и волны лижут их,
А чайки зоркие заглядывают в гроты,—
Косятся в чуткий мрак пещер береговых
И вдруг, над белыми утесами взмывая,
Сверкают крыльями в просторах голубых,
Кого-то жалобно и звонко призывая.

1901

* * *

Не устану воспевать вас, звезды!
Вечно вы таинственны и юны.
С детских дней я робко постигаю
Темных бездн сияющие руны.

В детстве я любил вас безотчетно,—
Сказкою вы нежною мерцали.
В молодые годы только с вами
Я делил надежды и печали.

Вспоминая первые признанья,
Я ищу меж вами образ милый...
Дни пройдут — вы будете светиться
Над моей забытою могилой.

И быть может, я пойму вас, звезды,
И мечта, быть может, воплотится,
Что земным надеждам и печалям
Суждено с небесной тайной слиться!

1901

* * *

Перед закатом набежало
Над лесом облако — и вдруг
На взгорье радуга упала,
И засверкало все вокруг.

Стеклянный, редкий и ядреный,
С веселым шорохом спеша,
Промчался дождь, и лес зеленый
Затих, прохладою дыша.

Вот день! Уж это не впервые:
Прольется — и уйдет из глаз...
Как эти ливни золотые,
Пугая, радовали нас!

Едва лишь добежим до чащи —
Все стихнет... О росистый куст!
О взор, счастливый и блестящий,
И холодок покорных уст!

1902

* * *

Багряная печальная луна
Висит вдали, но степь еще темна,
Луна во тьму свой теплый отблеск сеет,
И над болотом красный сумрак реет.
Уж поздно — и какая тишина!

Мне кажется, луна оцепенеет:
Она как будто выросла со дна
И допотопной розою краснеет.

Но меркнут звезды. Даль озарена.
Равнина вод на горизонте млеет,
И в ней луна столбом отражена.
Склонив лицо прозрачное, светлеет
И грустно в воду смотрится она.

Поет комар. Теплом и гнилью веет.

1902

СМЕРТЬ

Спокойно на погосте под луною...
Крестов объятья, камни и сирень...
Но вот наш склеп,— под мраморной стеною,
Как темный призрак, вытянулась тень.

И жутко мне. И мой двойник могильный
Как будто ждет чего-то при луне...
Но я иду — и тень, как раб бессильный,
Опять ползет, опять покорна мне!

1902

ЛЕСНАЯ ДОРОГА

В березовом лесу, где распевают птицы,
Где в шелковой траве сквозь тень лучи горят,
Темнеют холмики — могил забытых ряд,
А под березами, как юные черницы,
Смирненно елочки зеленые стоят.

Был здесь когда-то скит, как говорят преданья,
И десять девственников, отрекшись от земли,
В нем приняли обет святого созерцанья,
Держали строгий пост и, как цветы, цвели
Под пенье божьих птиц и странников сказанья.

Был здесь дремучий бор, в народе говорят,
Был долгий стан татар, в лесах кипели битвы;
Потом был этот край спокоен и богат,
И древний скудный скит и подвиги молитвы
Забылись, точно сон, уж много лет назад.

Немало было снов,— зачем нам помнить их?
И вот опять весна. В лесу все зеленеет,
Лес сенокоса ждет, а небосклон синее
Меж белых облаков, среди вершин лесных,
И на глазах трава в полдневном зное млеет.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,
Но весело бродить и знать, что все проходит,
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет,
Похуда над землей заря зарю выводит
И молодая жизнь родится в свой черед.

Бежит зеленый лес, поют и свищут птицы,
А вон и озеро, песчаный, белый скат...
Пошел! И бубенцы играют и гремят,
В колесах, как лучи, блестят на солнце спицы,
И кружева теней по лошадям скользят...

1902

* * *

Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена
И небо меж снастей синее в вышине,
Люблю твой бледный лик, печальная Селена,
Твой безнадежный взор, сопутствующий мне.
Люблю под шорох волн рыбацкие напевы,
И свежесть от воды — ночные вздохи волн,
И созданный мечтой, манящий образ девы,
И мой бесцельный путь, мой одинокий челн.

1902

* * *

Если б вы и сошлись, если б вы и смирились,—
Уж не той она будет, не той!
Кто вернет тот закат, как навек вы простились,
Темный взор, засиявший слезой?

Дни бегут — и теперь от бывшего остались
Только думы о том, чего нет,
Лишь цветы, что цвели в день, когда вы венчались,
Да поблекший портрет!

1902

Крест в долине при дороге,
 А на нем, на ржавых копьях
 У подножия распятия,
 Из степных цветов венок...
 Как был ясен южный вечер!
 Как любил я вечерами
 Уходить в простор долины,
 К одинокому кресту!

Тяжело в те дни мне было.
 Я был молод, я навеки
 С тем, кому я отдал душу,
 Расставался в эти дни.
 Чья же грусть мою смиряла?
 Кто, задумчивый и кроткий,
 Сплел в долине при дороге
 Из степных цветов венок?

За широкою долиной,
 В балках, даль полей синела,
 Южный августовский вечер
 Был спокоен, тих и ясен,
 А в долине кто-то пел.
 И звала меня, томила
 Даль полей, что поздним летом
 Так прекрасна и бесстрашна,
 Так безлюдна и грустна.

1902

Как все спокойно и как все открыто!
 Как на земле стало тихо и бедно!
 Сад осыпается,— все в нем забыто,
 Небо велико и холодно-бледно...

Небо далекое, не ты ли, немое,
 Меня пугаешь своим простором?
 Здесь, в этой бедности, где все родное,
 Встречу я осень радостным взором.

Еще рассеян огонь листопада,
И редкие краски ласково-ярки;
Еще синицы свищут из сада,
И как им тихо в забытом парке!

И только ночью, когда бушует
Осенний ветер, все чуждо снова...
И одинокое сердце тоскует:
О, если бы близость сердца родного!

1902

БРОДЯГИ

На позабытом тракте к Оренбургу,
В бесплодной и холмистой котловине
Большой, глухой дороги на восток,
Стоит в лугу холщовая кибитка
И бродит кляча в путах. Ни души
Нет на лугу, — цыган в кибитке дремлет,
И девочка-подросток у дороги
Сидит себе одна и равнодушно,
С привычной скукой, смотрит на закат:
На солнце, уходящее за пашню,
На блеск лучей над темным косогором.
Наморщив лоб от ветра, вся в лохмотьях,
Она следит в безлюдье за холодным,
Печальным солнцем, тенью от холма
И алой пылью, веющей с дороги
Из-под копыт кобылы, — то молчит,
То будто грезит, — что-то напевает...
Какая глушь! Какая скудость жизни!
Какие заунывные напевы!

Вот вечереет, солнце в тучку село,
Темнеет в котловине, ветер дует,
И ночь идет... Пошли господь бродягам
Не думать днем и не слышать, как ночью
Шатается в сухом бурьяне ветер
И что-то шепчет, словно в забытии!
Спи под кибиткой, девочка! Проснешься —
Буди отца больного, запрягай —
И снова в путь... А для чего, — кто скажет?
Жизнь, как могила в поле, молчалива.

1902

ЭПИТАФИЯ

Я девушкой, невестой умерла.
Он говорил, что я была прекрасна,
Но о любви я лишь мечтала страстно,—
Я краткими надеждами жила.

В апрельский день я от людей ушла,
Ушла навек покорно и безгласно —
И все ж была я в жизни не напрасно:
Я для его любви не умерла.

Здесь, в тишине кладбищенской аллеи,
Где только ветер веет в полусне,
Все говорит о счастье и весне.

Сонет любви на старом мавзолее
Звучит бессмертной грустью обо мне,
А небеса синеют вдоль аллеи.

1902

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ОБЕРЛАНДЕ

Лазурным пламенем сияют небеса...
Как ясен зимний день, как восхищают взоры
В безбрежной высоте изваянные горы,—
Титанов снеговых полярная краса!

На скатах их, как сеть, чернеются леса,
И белые поля сквозят в ее узоры,
А выше, точно рать, бредет на косогоры
Темно-зеленых пихт и елей полоса.

Зовут их горный мир, зовут снегов пустыни,
И тянет к ним уйти,— быть вольным, как дикарь,
И целый день дышать морозом на вершине.

Уйти и чувствовать, что ты — пигмей и царь,
Что над тобой, как храм, воздвигся купол синий
И блещет Зильбергори, как ледяной алтарь!

1902

КОНДОР

Громады гор, зазубренные скалы
Из океана высятся грядой.
Под ними берег, дикий и пустой,
Над ними кондор, тяжкий и усталый.

Померк закат. В ущелья и провалы
Нисходит ночь. Гонимый темнотой,
Уродливо-плечистый и худой,
Он медленно спускается на скалы.

И долгий крик, звенящий крик тоски,
Вдруг раздается жалобно и властно
И замирает в небе. Но бесстрастно

Синеет море. Скалы и пески
Скрывает ночь — и веет на вершине
Дыханьем смерти, холодом пустыни.

1902

* * *

Широко меж вершин дубравы
Струилась синяя река;
Благоухая, сохли травы,
Дымясь, курились облака.

Дымясь, вставали из-за леса
На склон небес — и вот одно
Могучим обликом Зевеса
Воздвигло снежное руно...

Но тает призрак величавый —
И снова светозарный сон,
И снова меж вершин дубравы —
Лазури пламенный затон.

1902



1903—1906

СЕВЕРНАЯ БЕРЕЗА

Над озером, над заводью лесной —
Нарядная зеленая береза...
«О девушки! Как холодно весной:
Я вся дрожу от ветра и мороза!»

То дождь, то град, то снег, как белый пух,
То солнце, блеск, лазурь и водопады...
«О девушки! Как весел лес и луг!
Как радостны весенние наряды!»

Опять, опять нахмурилось, — опять
Мелькает снег и бор гудит сурово...
«Я вся дрожу. Но только б не измять
Зеленых лент! Ведь солнце будет снова».

15.1.03

ПОРТРЕТ

Погост, часовенка над склепом,
Венки, лампадки, образа
И в раме, перевитой крепом, —
Большие ясные глаза.

Сквозь пыль на стеклах, жарким светом
Внутри часовенка горит.
«Зачем я в склепе, в полдень, летом?» —
Незримый кто-то говорит.

Кокетливо-проста прическа,
И пелеринка на плечах...
А тут повсюду — капли воска
И банты крепа на свечах,

Венки, лампадки, пахнет тленьем....
И только этот милый взор
Глядит с веселым изумленьем
На этот погребальный вадор.

Март, 1903?

МОРОЗ

Так ярко звезд горит узор,
Так ясно Млечный Путь струится,
Что занесенный снегом двор
Весь и блестит и фосфорится.

Свет серебристо-голубой,
Свет от созвездий Ориона,
Как в сказке, льется над тобой
На снег морозный с небосклона.

И фосфором дымится снег,
И видно, как мерцает нежно
Твой ледяной душистый мех,
На плечи кинутый небрежно,

Как серьги длинные блестят
И потемневшие зеницы
С посторгом жадности глядят
Сквозь серебристые ресницы.

21.VII.03

* * *

Норд-остом жгут пылающие зори.
Острей горит Вечерняя звезда.
Зеленое взволнованное море
Еще огромней, чем всегда.

Закат в огне, звезда дрожит алмазом.
Нет, рыбаки воротятся не все!
Ледяно-белым, страшным глазом
Маяк сверкает на косе.

25.VIII.03

ПОСЛЕ БИТВЫ

Воткнув копье, он сбросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жег...
Осенней сухью жарко дуло с юга.

И умер он. Окостенел, застыл,
Припав к земле тяжелой головою.
И ветер волосами шевелил,
Как ковылем, как мертвую травю.

И муравьи закопошились в них...
Но равнодушно все вокруг молчало,
И далеко среди полей нагих
Копье, в курган воткнутое, торчало.

31.VIII.03

* * *

На окне, серебряном от инея,
За ночь хризантемы расцвели.
В верхних стеклах — небо ярко-синее
И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радостно и молодо.
Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.

VIII.03

В сумраке утра проносится призрак Одина —
Там, где кончается свет.
Северный ветер, Оди́ну вослед,
На побережьях Лохлина
Гонит туманы морей по земле,
Свищет по вереску... Тень исполина
Вдруг вырастает во мгле —
Правит коня на побережья Лохлина.
Конь по холодным туманам идет,
Тонет, плывет и ушами прядет,
Белым дыханием по ветру пышет,
Вереска свист завывающий слышит,
Голову тянет к нему... А взмахнет
Ветер морской — и в туманах Лохлина
Шлем золоченый блеснет!
— Утром проносится призрак Одина.

30.XII.03

ЖЕНА АЗИСА

Неверную меняй на рис.
Древнее, симферопольское

Уличив меня в измене,
Мой Али, — он был Азис,
Божий праведник, — в Сюрени¹
Променял меня на рис.

Умер новый мой хозяин,
А недавно и Али,
И на гроб его с окраин
Все калек поползли.

Шли и женщины толпами,
Побрела и я шутя,
Розу красную губами
Подведенными крутя.

¹ С ю р е н ь — древнее татарское название Симферополя. (Примеч.
И. А. Бунина.)

Вот и роща, и пригорок,
Где зарыт он... Ах, Азис!
Ты бы должен был раз сорок
Променять меня на рис.

1903

КОВСЕРЬ

Мы дали тебе Ковсерь.
Коран

Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны
Солончаков нагие берега.
Но воды в них — небесно-изумрудны
И шелк песков белее, чем снега.

В шелках песков лишь сизые полыни
Растит аллах для кочевых отар,
И небеса здесь несказанно сини,
И солнце в них — как адский огонь, Сакар.

И в знойный час, когда мираж зеркальный
Сольет весь мир в один великий сон,
В безбрежный блеск, за грань земли печальной,
В сады Джиннат уносит душу он.

А там течет, там льется за туманом
Река всех рек, лазурная Ковсерь,
И всей земле, всем племенам и странам
Сулит покой. Терпи, молись — и верь.

1903

* * *

Звезды горят над безлюдной землею.
Царственно блещет святое созвездие Пса:
Вдруг потемнело — и огненно-красной змеею
Кто-то прорезал над темной землей небеса.

Путник, не бойся! В пустыне чудесного много.
Это не вихри, а джинны тревожат ее,
Это архангел, слуга милосердного бога,
В демонов ночи метнул золотое копье.

1903

НОЧЬ АЛЬ-КАДРА

В эту ночь ангелы сходят с неба.

Каран

Ночь Аль-Кадра. Сошлись, слились вершины,
И выше к небесам воздвиглись их чаалмы.

Пел муаззин. Еще алеют льдины,
Но из теснин, с долин уж дышит холод тьмы.

Ночь Аль-Кадра. По темным горным склонам
Еще спускаются, слоятся облака.

Пел муаззин. Перед Великим Троном
Уже течет, дымясь, Алмазная Река.

И Гавриил — неслышно и незримо —
Обходит спящий мир. Господь, благослови

Незримый путь святого пилигрима
И дай земле твоей ночь мира и любви!

1903

* * *

Далеко на севере Капелла
Блещет семицветным огоньком,
И оттуда, с поля, тянет ровным,
Ласковым полуночным теплом.
За окном по лопухам чернеет
Тень от крыши; дальше, на кусты
И на живные, лунный свет ложится,
Как льняные белые холсты.

1903

* * *

Проснулся я внезапно, без причины.
Мне снилось что-то грустное — и вдруг
Проснулся я. Сквозь голые осины
В окно глядел туманный лунный круг.

Усадьба по-осеннему молчала.
Весь дом был мертв в полночной тишине,
И, как ребенок брошенный, кричала
Ушастая пустушка на гумне.

1903

* * *

Старик у хаты веял, подкидывал лопату,
Как раз к святому Спасу покончив с молотьбой.
Старуха в черной плахте белила мелом хату
И обводила окна каймою голубой.

А солнце, розовея, в степную пыль садилось —
И тени ног столбами ложились на гумно,
А хата молодела — зарделась, застыдилась —
И празднично блестело протертое окно.

1903

* * *

Уж подсыхает хмель на тыне.
За хуторами, на бахчах,
В нежарких солнечных лучах
Краснеют бронзовые дыни.

Уж хлеб свезен, и вдалеке,
Над старою степною хатой,
Сверкает золотой заплатой
Крыло на сером ветряке.

1903

* * *

Там, на припеке, спят рыбацкие ковши;
Там низко над водой склоняются кистями
Темно-зеленые густые камыши;
Полдневный ветерок змеистыми струями

Порой зашелестит в их потайной глуши,
Да чайка вдруг блеснет серебристыми крылами
С плаксивым возгласом тоскующей души —
И снова плавни спят, сияя зеркалами.

Над тонким их стеклом, где тонет небосвод.
Нередко облако восходит и глядится
Блещающим столбом в зеркальный сон болот —

И как светло тогда в бездонной чаше вод!
Как детски верится, что в бездне их таится
Какой-то дивный мир, что только в детстве снится!

1903

* * *

Первый утренник, серебряный мороз!
Тишина и звонкий холод на заре.
Свежим глянец зеленеет след колес
На серебряном просторе, на дворе.

Я в холодный обнаженный сад пойду —
Весь рассеян по земле его наряд.
Бирюзой сияет небо, а в саду
Красным пламенем настурции горят.

Первый утренник — предвестник зимних дней.
Но сияет небо ярче с высоты,
Сердце стало и трезвей и холодней.
Но как пламя рдеют поздние цветы.

1903

* * *

Обрыв Яйлы. Как руки фурий,
Торчит над бездною из скал
Колючий, искривленный бурей,
Сухой и звонкий астрагал.

И на заре седой орленок
Шипит в гнезде, как василиск,
Завидев за морем спросонок
В тумане сизом красный диск.

1903

КАНУН КУПАЛЫ

Не туман белеет в темной роще,
Ходит в темной роще богоматерь,
По зеленым взгорьям, по долинам
Собирает к ночи божьи травы.

Только вечер им остался сроку,
Да и то уж солнце на исходе:
Застят ели черной хвоей запад,
Золотой иконостас заката...

Уж в долинах сыро, пали тени,
Уж луга синеют, пали росы,
Пахнет под росой медуница,
Золотой венец по роще светит.

Как туман, бела ее одежда,
Голубые очи точно звезды.
Соберет она цветы и травы
И снесет их к божьему престолу.

Скоро ночь — им только ночь осталась,
А наутро срежут их косами,
А не срежут — солнце сгубит зноем.
Так и скажет сыну богоматерь:

«Погляди, возлюбленное чадо,
Как земля цвела и красовалась!
Да недолог век земным утехам:
В мире Смерть, она и Жизнью правит».

Но Христос ей молвит: «Мать! не солнце,
Только землю тьма ночная кроет:
Смерть не семя губит, а срезает
Лишь цветы от семени земного.

И земное семя не иссякнет.
Скосит Смерть — Любовь опять посеет.
Радуйся, Любимая! Ты будешь
Утешаться до скончанья века!»

1903

МИРА

Тебя зовут божественною, Мира.
Царицею в созвездии Кита.
Таинственна, как талисманы Пирра,
Твоей недолгой жизни красота.

Ты, как слеза, прозрачна и чиста,
Ты, как рубин, блистишь среди эфира,
Но не за блеск и дивные цвета
Тебя зовут божественною, Мира.

Ты в сонме звезд, среди ночных огней,
Нежнее всех. Не ты одна играешь,
Как самоцвет: есть ярче и пышней.

Но ты живешь. Ты меркнешь, умираешь —
И вновь горишь. Как феникс древних дней,
Чтоб возродиться к жизни — ты сгораешь.

1903?

ДИЗА

Вечернее зимнее солнце
И ветер меж сосен играют,
Алеют снега, а в светлице
Янтарные пятна мелькают.

Мохнатые тени от сосен,
Играя, сквозят позолотой
И по столу ходят; а Диза
В светлице одна, за работой.

На бронзу волос, на ланиты,
На пальцы и руки широко
Вечернее льется сиянье,
А думы далеко, далеко.

Тяжелое зимнее море
Грохочет за фьордом в утесах,
И стелется по ветру пена
И стынет на снежных откосах;

Качаются с криками чайки
И падают в пену и тают...
Но звонкой весенней слюдою
Давно уж откосы блистают!

Пусть ночи пожарами светят
И рдеют закаты, как раны,
Пусть ветер бушует,— он с юга,
Он гонит на север туманы!

Пусть милый далеко,— он верен...
И вот на вечернее солнце,
На снег, на зеленые ветви
Она загляделась в оконце.

Забыты узоры цветные,
Забыты точеные пальцы,
И тихо косою играют
Прозрачные тонкие пальцы.

И тихо алеют ланиты,
Сияя, как снег, белизною,
И взоры так мягки и ярки,
Как синее небо весною.

(1903)

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ

Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря,
В древней могиле, на диком песчаном побережье.
Долго трудился он; долго слагал воедино
То, что гробница хранила три тысячи лет, как святыню,
И прочитал он на чаше
Древнюю повесть безмолвных могил и гробниц:

«Вечно лишь море, безбрежное море и небо,
Вечно лишь солнце, земля и ее красота,
Вечно лишь то, что связует незримою связью
Душу и сердце живых с темной душою могил».

(1903)

МОГИЛА ПОЭТА

Мрамор гробницы его — в скорбной толпе кипарисов:
Радостней светит меж них синее лоно небес.
Ангел изваян над ним с опрокинутым свечком жизни:
Ярче пылает огонь, смертью поверженный ниц!

(1903)

КОЛЬЦО

В белом песке золотое блеснуло кольцо.
Я задремал над Днепром у широкого плеса,
Знойною ласкою ветер повеял в лицо,
Легкой прохладой и запахом свежего теса...
Ярко в воде золотое блеснуло кольцо.

Как его вымыли волны на отмели белой! —
Точно к венчанию... Искрился солнечный блеск,
Видел я плахты, сорочки и смуглое тело,
Слышал я говор, веселые крики и плеск...
Жадной толпою сошлись они к отмели белой!

Жадно дыша, одевались они на песке,
Лоснились косы, и карие очи смеялись,
С звонкими песнями скрылись они вдалеке,
Звонко о берег прозрачные волны плескались...
Чье-то кольцо золотится в горячем песке.

О, красота, тишина и раздолье Днепра!
Помню, как ветер в лугах серебрил верболозы,
Помню, как реяла дальних миражей игра...

(1903)

ЗАПУСТЕНИЕ

Домой я шел по скату вдоль Оки,
По перелескам, берегом нагорным,
Любуясь сталью вьющейся реки
И горизонтом низким и просторным.
Был теплый, тихий, серенький денек,
Среди берез желтел осинник редкий,
И даль лугов за их прозрачной сеткой
Синела чуть заметно — как намек.

Уже давно в лесу замолкли птицы,
Свистели и шуршали лишь синицы,
Я уставал, кругом все лес пестрел,
Но вот на перевале, за ложиной,
Фруктовый сад листвою покраснел,
И глянул флигель серою руиной.
Глеб отворил мне двери на балкон,
Поговорил со мною в позе чинной,
Принес мне самовар — и по гостиной
Полился нежный и печальный стон.
Я в кресло сел, к окну, и, отдыхая,
Следил, как замолкал он, потухая.

В тиши звенел он чистым серебром,
А я глядел на клены у балкона,
На вишенник, красневший под бугром...
Вдали синели тучки небосклона
И умирал спокойный серый день,
Меж тем как в доме, тихом, как могила,
Неслышно одиночество бродило
И реяла задумчивая тень.
Пел самовар, а комната беззвучно
Мне говорила: «Пусто, брат, и скучно!»

В соломе, возле печки, на полу,
Лежала груда яблок; паутины
Под образом качались в углу,
А у стены темнели клавесины.
Я тронул их — и горестно в тиши
Раздался звук. Дрожащий, романтический,
Он жалок был, но я душой привычной
В нем уловил напев родной души:
На этот лад, исполненный печали,
Когда-то наши бабушки певали.

Чтоб мрак спугнуть, я две свечи зажег,
И весело огни их заблестели,
И побежали тени в потолок,
А стекла окон сразу посинели...
Но отчего мой домик при огне
Стал и бедней и меньше? О, я знаю —
Он слишком стар... Пора родному краю
Сменить хозяев в нашей стороне.
Нам жутко здесь. Мы все в тоске, в тревоге...
Пора свести последние итоги.

Печален долгий вечер в октябре!
Любил я осень позднюю в России.
Любил лесок багряный на горе,
Простор полей и сумерки глухие,
Любил стальную, серую Оку,
Когда она, теряясь лентой длинной
В дали лугов, широкой и пустынной,
Мне навевала русскую тоску...
Но дни идут, наскучило ненастье —
И сердце жаждет блеска дня и счастья.

Томит меня немая тишина.
Томит гнезда родного запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупое в нем мерцает огонек.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А ночь долга, и новый день далек.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!

Мне на покой давно, давно пора...
Поля, леса — все гложет без заботы...
Я жду веселых звуков топора,
Жду разрушенья дерзостной работы,
Могучих рук и смелых голосов!
Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,
Вновь расцвела из праха на могиле,
Я изнемог, и мертвый стук часов
В молчании осенней долгой ночи
Мне самому внимать нет больше мочи!»

(1903)

ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой...
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один — без жены...

Сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

(1903)

ТЕНЬ

Высоко в небе месяц ясный,
Затих волны дремотный плеск.
Как снежно-золотое поле,
Сияет в море лунный блеск.

Плыла меж небом и землею
Над морем тучка, наплыла
На край луны — и вдруг широко
Нас мягкой тенью обняла.

Далеко золотое поле
Покрылось матовым стеклом,
И ветер, шелестя травой,
Пахнул полуночным теплом.

Счастливым и глубоким вздохом
Волна вздохнула в полусне —
И как доверчиво, как нежно
Ты вся прижалася ко мне!

Но вспыхнул блеск на горизонте,
Тень по горам в леса ушла —
И снова мы сидим недвижно,
И снова ночь, как день, светла.

Спит море под луною ясной,
Блестит на влажных камнях мох...
О, ночь любви! Ужель и в счастье
Нам нужен хоть единый вздох?

(1903)

ГОЛУБИ

Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом.
Опустошен поблекший сад дождями.

Как лунный камень, холодно и бледно
Над садом небо. Ветер в небе гонит
Свинцовые и дымчатые тучи,
И крупный ливень с бурей то и дело
Бежит, дымится по саду... Но если
Внезапно глянет солнце, что за радость
Овладевает сердцем! Жадно дышишь
Душистым влажным воздухом, уходишь
С открытой головою по аллее,
Меж тем как над аллеей все приветней
Синеет небо яркое — и вдруг
С гумна стрелою мчится белый турман
И снежным комом падает к балкону,
За ним другой — и оба долго, долго
Пьют из лазурной лужи, поднимая
Свои головки кроткие... Замрешь,
Боясь их потревожить, весь охвачен
Какой-то робкой радостью, и мнится,
Что пьют они не дождевую воду,
А чистую небесную лазурь.

(1903)

СУМЕРКИ

Как дым, седая мгла мороза
Застыла в сумраке ночном.
Как привидение, береза
Стоит, серая, за окном.

Таинственно в углах стемнело,
Чуть светит печь, и чья-то тень
Над всем простерлася несмело,—
Грусть, провожающая день,

Грусть, разлитая на закате
В полупомеркнувшей золе,
И в тонком теплом аромате
Сгоревших дров, и в полумгле,

И в тишине,— такой угрюмой,
Как будто бледный призрак дня
С какою-то глубокой думой
Глядит сквозь сумрак на меня.

(1903)

ПЕРЕД БУРЕЙ

Тьма затопляет лунный блеск,
За тучу входит месяц полный,
Холодным ветром дышат волны,
И все растет их шумный плеск.

Вот на мгновенье расступился
Зловещий мрак, и, точно ртуть,
По гребням волн засеребрился
Дрожащий отблеск — лунный путь.

Но как за ним сгустились тучи!
Как черный небосклон велик!..
О ночь! Сокрой во тьме свой лик,
Свой взор, тревожный и могучий!

(1903)

В КРЫМСКИХ СТЕПЯХ

Синеет снеговой простор,
Померкла степь. Белее снега
Мерцает девственная Вега
Над дальним станом крымских гор.

Уж сумрак пал, как пепел сизый,
Как дым угасшего костра:
Лишь светится багряной ризой
Престол аллы — Шатер-Гора.

⟨1903⟩

ЖАСМИН

Цветет жасмин. Зеленой чашей
Иду над Теремом с утра.
Вдали, меж гор — простой, блестящий
И четкий конус серебра.

Река шумит, вся в искрах света,
Жасмином пахнет жаркий лес.
А там, вверху — зима и лето:
Январский снег и синь небес.

Лес замирает, млеет в зное;
Но тем пышней цветет жасмин.
В лазури яркой — неземное
Великолепие вершин.

VI.04

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Свой дикий чум среди снегов и льда
Воздвигла Смерть. Над чумом — ночь полгода.
И бледная Полярная Звезда
Горит недвижно в бездне небосвода.

Вглядись в туманный призрак. Это Смерть.
Она сидит близ чума, устремила
Незрячий взор в полуночную твердь —
И навсегда Звезда над ней застыла.

1904

Набегает впотьмах
 И узорною пеною светится
 И лазурным сиянием реет у скал на песке...
 О, божественный отблеск незримого — жизни, мерцающей
 В мириадах незримых существ!

Ночь была бы темна,
 Но все море насыщено тонкою
 Пылью света, и звезды над морем горят.
 В полусвете все видно: и рифы, и взморье зеркальное,
 И обрывы прибрежных холмов.

В полусвете ночном
 Под обрывами волны качаются —
 Переполнено зыбкое, звездное зеркало волн!
 Но, колеблясь упруго, лишь изредка складки тяжелые
 Набегают на влажный песок.

И тогда, фосфорясь,
 Загораясь мистическим пламенем,
 Рассыпаясь по гравию кипенью бледных огней,
 Море светит сквозь сумрак таинственно, тонко и трепетно,
 Озаряя песчаное дно.

И тогда вся душа
 У меня загорается радостью:
 Я в пригоршни ловлю закипевшую пену волны —
 И сквозь пальцы течет не вода, а сапфиры, — несметные
 Искры синего пламени, Жизни!

1904

ПЕРЕКРЕСТОК

Я долго в сумеречном свете
 Шел одиноко на закат.
 Но тьма росла — и с перекрестка
 Я тихо повернул назад.

Чуть брезжил полусвет заката.
 Но после света как мертва,
 Как величава и угрюма
 Ночного неба синева!

И бледны, бледны звезды неба...
И долго быть мне в темноте,
Пока они теплей и ярче
Не засияют в высоте.

1904

ОГНИ НЕБЕС

Огни небес, тот серебристый свет,
Что мы зовем мерцаньем звезд небесных,—
Порою только неугасший свет
Уже давно померкнувших планет.
Светил, давно забытых и неизвестных.

Та красота, что мир стремится вперед,
Есть тоже след былого. Без возврата
Сгорим и мы, свершая в свой черед
Обычный путь, но долго не умрет
Жизнь, что горела в нас когда-то.

И много в мире избранных, чей свет,
Теперь еще незримый для незрящих.
Дойдет к земле чрез много, много лет...
В неизвестном сонме мудрых и творящих
Кто знает их? Быть может, лишь поэт.

(1903—1904)

РАЗВАЛИНЫ

Над синим понтон — серые руины,
Остатки древней греческой тюрьмы.
На юг — морские зыбкие равнины,
На север — голые холмы.

В проломах стен — корявые оливы
И дреза, сопутница руин,
А под стенами — красные обрывы
И волн густой аквамарин.

Угрюмо здесь, в сырых подземных кельях;
Но весело тревожить сон темниц,
Переключаться с эхом в подземельях
И видеть небо из бойниц!

Давно октябрь, но не уходит лето:
Уж на холмах желтеет шелк травы,
Но воздух чист — и сколько в небе света,
А в море нежной синевы!

И тихи, тихи старые руины.
И целый день, под мерный шум валов,
Слежу я в море парус бригадины,
А в небесах — круги орлов.

И усыпляет моря шум атласный.
И кажется, что в мире жизни нет:
Есть только блеск, лазурь и воздух ясный,
Простор, молчание и свет.

⟨1903—1904⟩

КОСОГОР

Косогор над разлужьем и пашни кругом,
Потускневший закат, полумрак...
Далеко за извалами крест над холмом —
Неподвижный ветряк.

Как печальна заря! И как долго она
Тлеет в сонном просторе равнин!
Вот чуть внятная девичья песня слышна...
Вот заплакала лунь... И опять тишина...
Ночь, безмолвная ночь. Я один.

Я один, а вокруг темнота и поля,
И ни звука в просторе их нет...
Точно проклят тот край, тот народ, где земля
Так пустынна уж тысячу лет!

⟨1903—1904⟩

РАЗЛИВ

Паром, скрипя, ушел. В разлив, по тусклой зыби,
Сквозь муть лиловых туч румянится заря.
На темном кряже гор, в их сумрачном изгибе,
Померкнули в лесу кресты монастыря.

(1903—1904)

...И снилось мне, что мы, как в сказке,
Шли вдоль пустынных берегов
Над диким синим лукоморьем,
В глухом бору, среди песков.

Был летний светозарный полдень,
 Был жаркий день, и озарен
 Весь лес был солнцем, и от солнца
 Веселым блеском напоен.

Узорами ложились тени
На теплый розовый песок,
И синий небосклон над бором
Был чист и радостно-высок.

Играл зеркальный отблеск моря
В вершинах сосен, и текла
Вдоль по коре, сухой и жесткой,
Смола, прозрачнее стекла...

Мне снилось северное море,
Лесов пустынные края...
Мне снилась даль, мне снилась сказка —
Мне снилась молодость моя.

142

РОЗЫ

Блистая, облака лепились
В лазури пламенного дня.
Две розы под окном раскрылись —
Две чаши, полные огня.

В окно, в прохладный сумрак дома,
Глядел зеленый знойный сад,
И сена душная истома
Струила сладкий аромат.

Порою, звучный и тяжелый,
Высоко в небе грохотал
Громовый гул... Но пели пчелы,
Звенели мухи — день сиял.

Порою шумно пробегали
Потоки ливней голубых...
Но солнце и лазурь мигали
В зеркально-зыбком блеске их —

И день сиял, и млели розы,
Головки томные клоня,
И улыбались сквозь слезы
Очами, полными огня.

⟨1903—1904⟩

НА МАЯКЕ

В пустой маяк, в лазурь оконных впадин,
Осенний ветер дует — и, звеня,
Гудит вверх. Он влажен и прохладен,
Он опьяняет свежестью меня.

Остановясь на лестнице отвесной,
Гляжу в окно. Внизу шумит прибой
И зыбь бежит. А выше — свод небесный
И океан туманно-голубой.

Внизу — шум воли, а наверху, как струны,
Звенит-поет решетка маяка.
И все плывет: маяк, залив, буруны,
И я, и небеса, и облака.

⟨1903—1904⟩

В ГОРАХ

Катится диском золотым
Луна в провалы черной тучи,
И тает в ней, и льет сквозь дым
Свой блеск на каменные кручи.

Но погляди на небосклон:
Луна стоит, а дым мелькает...
Не Время в вечность убегает,
А нашей жизни бледный сон!

(1903—1904)

ШТИЛЬ

На плоском взморье — мертвый зной и штиль.
Слепит горячий свет, струится воздух чистый,
Расплавленной смолой сверкает черный киль
Рыбацкого челна на мели золотистой.

С нестройным криком голых татарчат
Сливается порой пронзительный и жалкий,
Зловещий визг серебряной рыбалки.
Но небо ясно, отмели молчат.

Разлит залив зеркальностью безбрежной,
И глубоко на золоте песка,
Под хрусталем воды, снят белоснежный
Недвижный отблеск маяка.

(1903—1904)

НА БЕЛЫХ ПЕСКАХ

На белых песках от прилива
Немало осталось к заре
Сверкающих луж и затонов —
Зеркальных полос в серебре.

Немало камней самоцветных
Осталось на дюнах нагих,
И смотрит, как ангел лазурный,
Весеннее утро на них.

А к западу сумрак теснится,
И с сумраком, в сизый туман,
Свивается сонный, угрюмый,
Тяжелый удав — Океан.

(1903—1904)

САМСОН

Был ослеплен Самсон, был господом обижен,
Был чадами греха поруган и унижен
И приведен на пир. Там, опустив к земле
Незрячие глаза, он слушал смех и клики,
Но мгла текла пред ним — и в этой жуткой мгле
Пылали грозные архангельские лики.
Они росли, как смерч, — и вдруг разверзлась твердь,
Прорезал тьму глагол: «Восстань, мой раб любимый!»
И просиял слепец красой непостижимой,
Затрепетал, как кедр, и побледнел, как смерть.
О, не пленит его теперь Ваала хохот,
Не обольстит очей ни пурпур, ни виссон! —
И целый мир потряс громовый гул и грохот:
Зане был слеп Самсон.

(1903—1904)

СКЛОН ГОР

Склон гор, сады и минарет.
К звездам стремятся кипарисы,
Спит море. Теплый лунный свет
Позолотил холмы и мысы.

И кроток этот свет: настал
Час мертвой тишины — уж клонит
Луна свой лик, уж между скал
Протяжно полуночник стонет.

И замер аромат садов.
Узорный блеск под их ветвями
Стал угасать среди цветов,
Сплетаясь с длинными тенями.

И неподвижно Ночь сидит
Над тихим морем: на колено
Облокотилась, — глядит
На валуны, где тает пена.

Передразсветный лунный свет
Чуть золотит холмы и мысы.
Свечой желтеет минарет,
Чернеют маги-кипарисы,

Блестя, ушел в морской простор
Залив зеркальными луками,
Таинственно вершины гор
Мерцают вечными снегами.

(1903—1904)

САПСАН

В полях, далеко от усадьбы,
Зимует просяной омет.
Там табунятся волчьи свадьбы,
Там клочья шерсти и помет.
Воловьёв ребра у дороги
Торчат в снегу — и спал на них
Сапсан, стервятник космогоний,
Готовый взвиться каждый миг.

Я застрелил его. А это
Грозит бедой. И вот ко мне
Стал гость ходить. Он до рассвета
Вкруг дома бродит при луне.
Я не видал его. Я слышал
Лишь хруст шагов. Но спать невмочь.
На третью ночь я в поле вышел...
О, как была печальна ночь!

Когтистый след в снегу глубоком
В глухие степи вел с гумна.
На небе мглистом и высоком
Плыла холодная луна.
За валом, над привадой в яме,
Серо маячила ветла.
Даль над пустынными полями
Была таинственно светла.

Облитый этим странным светом,
Подавлен мертвой тишиной,
Я стал — и бледным силуэтом
Упала тень моя за мной.
По небесам, в туманной мути,
Сияя, лунный лик нырял
И серебристым блеском ртути
Слюду по насту озарял.

Кто был он, этот полуночный
Незримый гость? Откуда он
Ко мне приходит в час урочный
Через сугробы под балкон?
Иль он узнал, что я тоскую,
Что я один? что в дом ко мне
Лишь снег да небо в ночь немую
Глядят из сада при луне?

Быть может, он сегодня слышал,
Как я, покинув кабинет,
По темной спальне в залу вышел,
Где в сумраке мерцал паркет,
Где в окнах небеса синели,
А в этой сини четко встал
Черно-зеленый конус ели
И острый Сириус блистал?

Теперь луна была в зените,
На небе плыл густой туман...
Я ждал его, — я шел к раките
По насту снеговых полян,
И если б враг мой от привады
Внезапно прянул на сугроб,
Я б из винтовки без пощады
Пробил его широкий лоб.

Но он не шел. Луна скрывалась,
Луна сияла сквозь туман,
Бежала мгла... И мне казалось,
Что на снегу сидит Сапсан.
Морозный иней, как алмазы,
Сверкал на нем, а он дремал,
Седой, зобастый, круглоглазый,
И в крылья голову вжимал.

И был он страшен, непонятен,
Таинственн, как этот бег
Туманной мглы и светлых пятен,
Порою озарявших снег,—
Как воплотившаяся сила
Той Воли, что в полночный час
Нас страхом всех соединила —
И сделала врагами нас.

9.1.05

РУССКАЯ ВЕСНА

Скучно в лощинах березам,
Туманная муть на полях,
Конским размокшим навозом
В тумане чернеется шлях.

В сонной степной деревушке
Пахучие хлебы пекут.
Медленно две побирušки
По деревушке бредут.

Там, среди улицы, лужи,
Зола и весенняя грязь,
В избах угар, а снаружи
Завалинки тлеют, дымясь.

Жмурясь, сидит у амбара
Овчарка на ржавой цепи.
В избах — темно от угара,
Туманно и тихо — в степи.

Только петух беззаботно
Весну воспекает весь день.
В поле тепло и дремотно,
А в сердце счастливая лень.

10.1.05

* * *

В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины,
Струится из окна веселый летний свет,
Хрустальным золотом ложась на клавишины,
На ветхие ковры и выцветший паркет.

Вкруг дома глушь и дичь. Там клены и осины,
Приюты горлинок, шиповник, бересклет...
А в доме рухлядь, тлен: повсюду паутины,
Все двери заперты... И так уж много лет.

В глубокой тишине, таинственно сверкая,
Как мелкий перламутр, беззвучно моль плывет.
По стеклам радужным, как бархатка сухая,
Тревожно бабочка лиловая снует.

Но фортки нет в окне, и рама в нем — глухая.
Тут даже моль недолго наживет!

29.VII.05

* * *

Старик сидел, покорно и уныло
Поднявши брови, в кресле у окна.
На столике, где чашка чаю стыла,
Сигара нагоревшая струила
Полоски голубого волокна.

Был зимний день, и на лицо худое,
Сквозь этот легкий и душистый дым,
Смотрело солнце вечно молодое,
Но уж его сиянье золотое
На запад шло по комнатам пустым.

Часы в углу своею четкой мерой
Отмеривали время... На закат
Смотрел старик с беспомощною верой...
Рос на сигаре пепел серый,
Струился сладкий аромат.

23.VII.05

* * *

Осень. Чащи леса.
Мох сухих болот.
Озеро белесо.
Бледен небосвод.

Отцвели кувшинки,
И шафран отцвел.
Выбиты тропинки,
Лес и пуст и гол.

Только ты красива,
Хоть давно суха,
В кочках у залива
Старая ольха.

Женственно глядишься
В воду в полусне —
И засеребришься
Прежде всех к весне.

1905

* * *

Бегут, бегут листы раскрытой книги,
Бегут, струятся к небу тополя,
Гул молотьбы слышней идет из риги,
Дохнули ветром рощи и поля.
Помещик встал и, окна закрывая,
Глядит на юг... Но туча дождевая
Уже прошла. Опять покой и лень.
В горячем свете весело и сухо
Блестит листвою под окнами сирень;
Зажглась река, как золото; старуха
Несет сажать махотки на плетень;
Кричит петух; в крапиву за наседкой
Спешит десяток желтеньких цыплят...
И тени штор узорной легкой сеткой
По конскому лечебнику пестрят.

1905

* * *

Мы встретились случайно, на углу.
Я быстро шел — и вдруг как свет зарницы
Вечернюю прорезал полумглу
Сквозь черные лучистые ресницы.

На ней был креп,— прозрачный легкий газ
Весенний ветер извевал на мгновение,
Но на лице и в ярком блеске глаз
Я уловил бывшее оживление.

И ласково кивнула мне она,
Слегка лицо от ветра наклонила
И скрылась за углом... Была весна...
Она меня простила — и забыла.

1905

ОГОНЬ НА МАЧТЕ

И сладостно и грустно видеть ночью
На корабле далеком в темном море
В ночь уходящий топовый огонь.
Когда все спит на даче и сквозь сумрак
Одни лишь звезды светятся, я часто
Сажу на старой каменной скамейке,
Над скалами обрыва. Ночь тепла,
И так темно, так тихо все, как будто
Нет ни земли, ни неба — только мягкий
Глубокий мрак. И вот вдали, во мраке,
Идет огонь — как свечечка. Ни звука
Не слышно на побережье,— лишь сверчки
Звенят в горе чуть уловимым звоном,
Будя в душе задумчивую нежность,
А он уходит в ночь и одиноко
Висит на горизонте, в темной бездне
Меж небом и землею... Пойте, пойте,
Сверчки, мои товарищи ночные,
Баюкайте мою ночную грусть!

1905

* * *

Все море — как жемчужное зеркало,
Сирень с отливом млечно-золотым.
В дожде закатном радуга сияла.
Теперь душист над саклей тонкий дым.

Вон чайка села в бухточке скалистой,—
Как поплавок. Влетает иногда,
И видно, как струею серебристой
Сбегаёт с лапок розовых вода.

У берегов в воде застыли скалы,
Под ними светит жидкий изумруд.
А там, вдали,— и жемчуг и опалы
По золотистым яхонтам текут.

1905

* * *

Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном:
В черном узоре ветвей — месяца рог золотой.

Слышу, поют петухи. Узнаю по напевам печальным
Поздний, таинственный час. Выйду на снег, на крыльцо.

Замерло все и застыло, лучатся жестокие звезды,
Но до костей я готов в легком промерзнуть меху.

Только бы видеть тебя, умирающий в золоте месяца,
Золотом блещущий снег, легкие тени берез

И самоцветы небес: янтарно-зеленый Юпитер,
Сириус, дерзкий сапфир, синим горящий огнем.

Альдебарана рубин, алмазную цепь Ориона
И уходящий в моря призрак серебристый — Арго.

1905

* * *

Густой зеленый ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шел олень, могучий, тонконогий,
К спине откинув тяжкие рога.

Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь елку гнул и белым зубом скреб —
И много хвойных крестиков, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб.

Вот снова след, размеренный и редкий,
И вдруг — прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон — и ветки,
Обитые рогами на бегу...

О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной,
Он красоту от смерти уносил!

1905

СТАМБУЛ

Облезлые худые кобели
С печальными, молящими глазами —
Потомки тех, что из степей пришли
За пыльными скрипучими возами.

Был победитель славен и богат,
И затопил он шумною ордою
Твои дворцы, твои сады, Царьград,
И предался, как сытый лев, покою.

Но дни летят, летят быстрее птиц!
И вот уже в Скутари на погосте
Чернеет лес, и тысячи гробниц
Белеют в кипарисах, точно кости.

И прах веков упал на прах святынь,
На славный город, ныне полудикий,
И вой собак звучит тоской пустынь
Под византийской ветхой базиликой.

И пуст Сераль, и смолк его фонтан,
И высохли столетние деревья...
Стамбул, Стамбул! Последний мертвый стан
Последнего великого кочевья!

1905

* * *

Тонет солнце, рдяным углем тонет
За пустыней сизой. Дремлет, клонит
Головы баранта. Близок час:

Мы проводим солнце, обувь скинем
И свершим под звездным, темным, синим
Милосердым небом свой намаз.

Пастухи пустыни, что мы знаем!
Мы, как сказки детства, вспоминаем
Минареты наших отчих стран.

Разверни же, Вечный, над пустыней
На вечерней тверди темно-синей
Книгу звезд небесных — наш Коран!

И склонив колени, мы закроем
Очи в сладком страхе, и омоем
Лица холодеющим песком,

И возвысим голос, и с мольбою
В прахе разольемся пред тобою,
Как волна на берегу морском.

1905

Ра-Озирис, владыка дня и света,
Хвала тебе! Я, бог пустыни, Сет,
Горжусь врагом: ты, побеждая Сета,
В его стране царил пять тысяч лет.

Ты славен был, твоя ладья воспета
Была стократ. Но за ладьей вослед
Шел бог пустынь, бог древнего завета —
И вот, о Ра, плоды твоих побед:

Безносый сфинкс среди полей Гизеха,
Ленивый Нил да глыбы пирамид,
Руины Фив, где гулко бродит эхо,
Да письма в куски разбитых плит,

Да обелиск в блестящей политуре,
Да пыль песков на пламенной лазури.

1905

ПОТОП

Халдейские мифы

Когда ковчег был кончен и наполнен
И я, царь Касисадра, Ксисутрос,
Зарыл в Сиппаре хартии закона,
Раздался с неба голос: «На закате
На землю хлынет ливень. Затвори
В ковчеге дверь». И вот настало время
Войти в ковчег. Со страхом ждал я ночи,
И в страхе затворил я дверь ковчеха
И в страхе поручил свою судьбу
Бусуркургалу, кормчему. А утром
Поднялся вихрь — и тучи охватили
Из края в край всю землю. Роману
Гремел среди небес. Нэбó и Сарру
Согласно надвигались по долинам
И по горам. Нергал дал волю ветру.
Нинип наполнил реки, и несли
Смерть и погибель Гении. До неба
Достигли воды. Свет потух во мраке,
И брат не видел брата. Сами боги
К вершинам Анну в страхе поднялись
И на престолах плакали, и с ними
Истара горько плакала. Шесть дней
И семь ночей свирепствовали в мире
Вихрь, ураган и ветер — наконец.
С рассветом дня, смирились. Воды пали.
И ливень стих. Я плакал о погибших,
Носясь по воле волн, — и предо мною,
Как бревна, трупы плавали. Я плакал,
Открыв окно и увидавши солнце.

1905

ЭЛЬБУРС

Иранский миф

На льдах Эльбурса солнце всходит.
На льдах Эльбурса жизни нет.
Вокруг него на небосводе
Течет алмазный круг планет.

Туман, взползающий на скаты,
Вершин не в силах достягнуть:
Одним небесным Иазатам
К венцу земли доступен путь.

И Митра, чье святое имя
Благословляет вся земля,
Восходит первый между ними
Зарей на льдистые поля.

И светит ризой златотканой
И озирает с высоты
Истоки рек, пески Ирана
И гор волнистые хребты.

(1905)

ПОСЛУШНИК

Грузинская песня

«Брат, как пасмурно в келье!
Белый снег лежит в ущелье.
Но на скате, на льдине,
Видел я подснежник синий».

«Брат, ты бредишь, ты бледен!
Горный край суров и беден.
Монастырь наш высоко.
До весны еще далеко».

«Не пугайся, брат милый!
Скоро смолкнет бред унылый —
К ночи вьюга пустыни
Занесет подснежник синий!»

(1905)

ХАЯ-БАШ

(Мертвая голова)

Ночь идет, — молись, слуга пророка.
Ночь идет — и Хая-Баш встает.
Ветер с гор, он крепнет — и широко,
Как сааз, туманный бор поет.

Ты уже высоко, — от аула
Ты уже далеко. А в бору
Зимней стужей с Хая-Баш пахнуло,
Задымились сосны на ветру.

Вас у перевала только двое —
Ты да конь. А бор померк, дымит.
Звонкий ветер в крепкой синей хвое
Все звончей и сумрачней шумит.

Где ты заночуешь? Зябнет тело,
Зябнет сердце... Конь не пил с утра...
Видишь ли сквозь сосны? Побелела
Хая-Баш, гранитная гора.

Там нависло небо низко, низко,
Там снега и зимняя тоска...
А уж если своды неба близко —
Значит, смерть близка.

(1905)

ТЭМДЖИД

Он не спит, не дремлет.

Коран

В тихом старом городе Скутари,
Каждый раз, как только надлежит
Быть середине ночи, — раздается
Грустный и задумчивый Тэмджид.

На середине между ранним утром
И вечерним сумраком встают
Дервиши Желвети и на башне
Древний гимн, святой Тэмджид поют.

Спят сады и спят гробницы в полночь,
Спит Скутари. Все, что спит, молчит.
Но под звездным небом с темной башни
Не для спящих этот гимн звучит:

Есть глаза, чей скорбный взгляд с тревогой,
С тайной мукой в сумрак устремлен,
Есть уста, что страстно и напрасно
Призывают благодатный сон.

Тяжела, темна стезя земная.
Но зачтется в небе каждый вздох:
Спите, спите! Он не спит, не дремлет,
Он вас помнит, милосердый бог.

(1905)

ТАЙНА

Элиф. Лам. Мим.

Коран

Он на клинокдохнул — и жало
Его сирийского кинжала
Померкло в дымке голубой:
Под дымкой ярче заблестали
Узоры золота на стали
Своей червонною резьбой.

«Во имя бога и пророка.
Прочти, слуга небес и рока,
Свой бранный клич: скажи, каким
Девизом твой клинок украшен?»
И он сказал: «Девиз мой страшен.
Он — тайна тайн: Элиф. Лам. Мим».

«Элиф. Лам. Мим? Но эти знаки
Темны, как путь в загробном мраке:
Сокрыв их тайну Мохаммед...»
«Молчи, молчи! — сказал он строго, —
Нет в мире бога, кроме бога,
Сильнее тайны — силы нет».

Сказал, коснулся ятаганом
Чела под шелковым тюрбаном,
Окинул жаркий Атмейдан
Ленивым взглядом хищной птицы —
И тихо синие ресницы
Опять склонил на ятаган.

(1905)

С ОСТРОГОЙ

Костер трещит. В фелюке свет и жар.
В воде стоят и серебрятся щуки,
Белеет дно... Бери трезубец в руки
И не спеши. Удар! Еще удар!

Но поздно. Страсть — как сладостный кошмар,
Но сил уж нет, противны кровь и муки...
Гаси, гаси — вали с борта фелюки
Костер в Лиман... И чад, и дым, и пар!

Теперь легко, прохладно. Выступают
Туманные созвездья в полутьме.
Волна качает, рыбы засыпают...
И вверх лицом ложусь я на корме.

Плыть — до зари, но в море путь не скучен.
Я задремлю под ровный стук уключин.

(1905)

МИСТИКУ

В холодный зал, луною освещенный,
Ребенком я вошел.
Тенями рам старинных испещренный,
Блестел вощенный пол.

Как в алтаре, высоки окна были,
А там, в саду — луна,
И белый снег, и в пудре снежной пыли —
Столетняя сосна.

И в страхе я в дверях остановился:
Как в алтаре,
По залу ладан сумрака дымился,
Сквозя на серебре.

Но взгляд упал на небо: небо ясно,
Луна чиста, светла —
И страх исчез... Как часто, как напрасно
Детей пугает мгла!

Теперь давно мистического храма
Мне жалок темный бред:
Когда идешь над бездной — надо прямо
Смотреть в лазурь и свет.

⟨1905⟩

СТАТУЯ РАБЫНИ-ХРИСТИАНКИ

Не скрыть от дерзких взоров наготы,
Но навсегда я очи опустила:
Не жаль земной, мгновенной красоты, —
Я красоту небесную сокрыла.

⟨1903—1905⟩

ПРИЗРАКИ

Нет, мертвые не умерли для нас!
Есть старое шотландское преданье,
Что тени их, незримые для глаз,
В полночный час к нам ходят на свиданье,

Что пыльных арф, висящих на стенах,
Таинственно касаются их руки
И пробуждают в дремлющих струнах
Печальные и сладостные звуки.

Мы сказками предания зовем,
Мы глухи днем, мы дня не понимаем;
Но в сумраке мы сказками живем
И тишине доверчиво внимаем.

Мы в призраки не верим; но и нас
Томит любовь, томит тоска разлуки...
Я им внимал, я слышал их не раз,
Те грустные и сладостные звуки!

⟨1903—1905⟩

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

Она молчит, она теперь спокойна.
Но радость не вернется к ней: в тот день,
Когда его могилу закидали
Сырой землей, простилась с нею радость.

Она молчит, — ее душа теперь
Пуста, как намогильная часовня,
Где над немой гробницей день и ночь
Горит неугасимая лампада.

⟨1903—1905⟩

ВЕРШИНА

Леса, скалистые теснины —
И целый день, в конце теснин,
Громада снеговой вершины
Из-за лесных глядит вершин.

Селений нет, ущелья дики,
Леса синеют и молчат,
И серых скал нагие пики
На скатах из лесов торчат.

Но целый день, — куда ни кину
Вдоль по горам смущенный взор, —
Лишь эту белую вершину
Повсюду вижу из-за гор.

Она полнеба заступила,
За облака ушла венцом —
И все смирилось, все застыло
Пред этим льдистым мертвецом.

⟨1903—1905⟩

ТРОПАМИ ПОТАЕННЫМИ

Тропами потаенными, глухими
В лесные чащи сумерки идут.
Засыпанные листьями сухими,
Леса молчат — осенней ночи ждут.

Вот крикнул сыч в пустынном буераке...
Вот темный лист свалился, чуть шурша...
Ночь близится: уж реет в полумраке
Ее немая, скорбная душа.

(1903—1905)

В ОТКРЫТОМ МОРЕ

В открытом море — только небо,
Вода да ветер. Тяжело
Идет волна, и низко кренит
Фелюка серое крыло.

В открытом море ветер гонит
То свет, то тень — и в облака
Сквозит лазурь... А ты забыта,
Ты бесконечно далека!

Но волны, пенясь и качаясь,
Идут, бегут навстречу мне —
И кто-то синими глазами
Глядит в мелькающей волне.

И что-то вольное, живое,
Как эта синяя вода,
Опять, опять напоминает
То, что забыто навсегда!

(1903—1905)

ПОД ВЕЧЕР

Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу...
В окно зарница глянула тревожно...
Притихший соловей в сирени на валу
Выводит трели осторожно.

Гром, проворчав в саду, скатился за гумно;
Но воздух меркнет, небо потухает...
А тополь тянется в открытое окно
И ладаном благоухает.

(1903—1905)

СКВОЗЬ ВЕТВИ

Осень листья темной краской метит:
Не уйти им от своей судьбы!
Но светло и нежно небо светит
Сквозь нагие черные дубы,

Что-то неземное обещает,
К тишине уводит от забот —
И опять, опять душа прощает
Промелькнувший, обманувший год!

(1903—1905)

КЕЛЬЯ

День распогодился с закатом.
Сквозь стекла в старый кабинет
Льет солнце золотистый свет;
Широким палевым квадратом
Окно рисует на стене,
А в нем бессильно, как во сне,
Скользит трепещущим узором
Тень от березы над забором...
Как грустно на закате мне!

Зачем ты, солнце, на прощанье,
В своем сиянье золотом,
Вошло в мой одинокий дом?
Он пуст, в нем вечное молчанье!
Я был спокоен за трудом,
Я позабыл твоё сиянье:
Зачем же думы о былом
И это грустное веселье
В давно безлюдной, тихой келье?

(1903—1905)

СУДРА

Жизнь вперед, до старости далеко.
Но вот и я уж думаю о ней...
О, как нам будет в мире одиноко!
Как грустно на закате дней!

Умершие оставили одежды —
Их носит бедный Судра. Так и мне
Оставит жизнь не радость и надежды,
А только скорбь о старине.

Мы проживем, быть может, не напрасно;
Но тем большее будет до конца
С улыбкою печальной и безгласной
Влачить одежды мертвеца!

(1903—1905)

ОГОНЬ

Нет ничего грустней ночного
Костра, забытого в бору.
О, как дрожит он, потухая
И разгораясь на ветру!

Ночной холодный ветер с моря
Внезапно залетает в бор:
Он, бешено кружась, бросает
В костер истлевший хвойный сор —

И пламя вспыхивает жадно,
И тьма, висевшая шатром,
Вдруг затрепещет, открывая
Стволы и ветви над костром.

Но ветер пролетает мимо,
Теряясь в черной высоте,
И ветру отвечает гулом
Весь бор, невидный в темноте,

И снова затопляет тьмою
Свет замирающий... О, да!
Еще порыв, еще усилье —
И он исчезнет без следа,

И явственней во мраке станет
Звон сонной хвои, скрип стволов
И этот жуткий, все растущий,
Протяжный гул морских валов.

(1903—1905)

НЕБО

В деревне капали капли,
Был теплый солнечный апрель.
Блестели вывески и стекла,
И празднично белел отель.

А над деревней, над горами,
Раскрыты были небеса,
И по горам, к вершинам белым,
Шли темно-синие леса.

И от вершин, как мрамор чистых,
От изумрудных ледников
И от небес зеленоватых
Тянуло свежестью снегов.

И я ушел к зиме, на север.
И целый день бродил в лесах,
Душой теряясь в необъятных
Зеленоватых небесах.

И, радуясь, душа стремилась
Решить одно: зачем живу?
Зачем хочу сказать кому-то,
Что тянет в эту синеву,

Что прелесть этих чистых красок
Словами выразить нет сил,
Что только небо — только радость
Я целый век в душе носил?

(1903—1905)

НА ВИНОГРАДНИКЕ

На винограднике нельзя дышать. Лоза
Пожухла, сморщилась. Лучистый отблеск моря
И белизна шоссе спят огнем глаза,
А дача на холме, на голом косогоре.

Скрываюсь в дом. О, рай! Прохладно и темно,
Все ставни заперты... Но нет, и здесь не скрыться:
Прямой горячий луч блестит сквозь щель в окно —
И понемногу тьма редет, золотится.

Еще мгновение — и приглядишься к ней,
И будешь чувствовать, что за стеною — море,
Что за стеной — шоссе, что нет нигде теней.
Что вся земля горит в сияющем просторе!

(1903—1905)

ОКЕАНИДЫ

В полдневный зной, когда на щепень,
На валуны прибрежных скал,
Кипя, встает за гребнем гребень,
Крутясь, идет за валом вал,—

Когда изгиб прибоя блещет
Зеркально-вогнутой грядой
И в нем сияет и трепещет
От гребня отблеск золотой,—

Как весел ты, о буйный хохот,
Звонящий смех Океанид,
Под этот влажный шум и грохот
Летящих в пене на гранит!

Как звучно море под скалами
Дробит на солнце зеркала
И в пене, вместе с зеркалами,
Клубит их белые тела!

(1903—1905)

СТОН

Как розовое море — даль пустынь.
Как синий лотос — озеро Мерида.
«Встань, сонный раб, и свой шалаш покинь:
Уж озлатилась солнцем пирамида».

И раб встает. От жесткого одра
Идет под зной и пламень небосклона.
Рассвет горит. И в пышном блеске Ра
Вдали звучат стенания Мемнона.

(1903—1905)

В ГОРНОЙ ДОЛИНЕ

Бледно-зеленые грустные звезды...

Помню темнеющий лес,
Сырьсть и сумерки в горной долине,
Холод осенних небес.

Жадно и долго стремился я, звезды,

К вам, в вышину...

Что же я встретил? Нагие граниты,
Сумерки, страх, тишину...

Бледны и грустны вы, горные звезды:

Вы созерцаете смерть.

Что же влечет к вам? Зачем же так тянет
Ваша бездонная твердь?

(1903—1905)

ОРМУЗД

Ни алтарей, ни истуканов,
Ни темных капищ. Мир одет
В покровы мрака и туманов:
Боготворите только Свет.

Владыка Света весь в едином —
В борьбе со Тьмой. И потому
Огни зажгите по вершинам:
Возненавидьте только Тьму.

Ночь третью мира властно правит.
Но мудрый жаждет верить Дню:
Он в мире радость солнца славит,
Он поклоняется Огню.

И, возложив костер на камень,
Всю жизнь свою приносит в дар
Тебе, неугасимый Пламень,
Тебе, всевидящий Датар!

(1903—1905)

ДЕНЬ ГНЕВА

Апокалипсис. VI

...И Агнец снял четвертую печать.
И услышал я голос, говоривший:
«Восстань, смотри!» И я взглянул: конь бледен,
На нем же мощный всадник — Смерть. И Ад
За нею шел, и власть у ней была
Над четвертью земли, да умерщвляет
Мечом и голодом, мором и зверями.

И пятую он снял печать. И видел
Я под престолом души убиенных,
Волившие: «Доколе, о владыко,
Не судишь ты живущих на земле
За нашу кровь?» И были им даны
Одежды белоснежные, и было
Им сказано: да починут, покуда
Сотрудники и братья их умрут,
Как и они, за словеса господни.

Когда же снял шестую он печать,
Взглянул я вновь, и вот — до оснований
Потрясся мир, и солнце стало мрачно,
Как вретисще, и лик луны — как кровь;
И звезды устремились вниз, как в бурю
Незрелый плод смоковницы, и небо
Свилось, как свиток хартий, и горы,
Колеблясь, с места двинулись; и все
Цари земли, вельможи и владыки,
Богатые и сильные, рабы
И вольные — все скрылися в пещеры,
В ущелья гор, и говорят горам
И камням их: «Падите и сокройте
Нас от лица сидящего во славе
И гнева Агнца: ибо настает
Великий день его всеисильной кары!»

(1903—1905)

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ КААБЫ

Он драгоценной яшмой был когда-то,
Он был неизреченной белизны —
Как цвет садов блаженного Джинната,
Как горный снег в дни солнца и весны.

Дух Гавриил для старца Авраама
Его нашел среди песков и скал,
И гении хранили двери храма,
Где он жемчужной грудой сверкал.

Но шли века — со всех концов вселенной
К нему неслись молитвы, и рекой
Текли во храм, далекий и священный,
Сердца, обремененные тоской...

Аллах! Аллах! Померк твой дар бесценный —
Померк от слез и горести людской!

(1903—1905)

ЗА ИЗМЕНУ

Вспомни тех, что покинули
страну свою ради страха смерти.

Коран

Их господь истребил за измену несчастной отчизне,
Он костями их тел, черепами усеял поля.
Воскресил их пророк: он просил им у господя жизни.
Но позора Земли никогда не прощает Земля.

Две легенды о них прочитал я в легендах Востока.
Милосерда одна: воскрешенные пали в бою.
Но другая жестока: до гроба, по слову пророка,
Воскрешенные жили в пустынном и диком краю.

В день восстанья из мертвых одежды их черными стали,
В знак того, что на них — замогильного тления след,
И до гроба их лица, склоненные долу в печали,
Сохранили свинцовый, холодный, безжизненный цвет.

(1903—1905)

ГРОБНИЦА САФИИ

Горный ключ по скатам и оврагам,
Полусонный, убегает вниз.
Как чернец, над белым саркофагом
В синем небе замер кипарис.

Нежные, как девушки, мимозы
Льют под ним узор своих ветвей,
И цветут, благоухают розы
На кустах, где плачет соловей.

Ниже — дикий берег и туманный,
Еле уловимый горизонт:
Там простор воздушный и безгранный,
Голубая бездна — Геллеспонт.

Мир тебе, о юная! Смиренно
Я целую белое тюрьба:
Пять веков бессмертна и нетленна
На Востоке память о тебе.

Счастлив тот, кто жизнью мир пленяет.
Но стократ счастливей тот, чей прах
Веру в жизнь бессмертную вселяет
И цветет легендами в веках!

(1903—1905)

ЧИБИСЫ

Заплакали чибисы, тонко и ярко
Весенняя светится синь,
Обвяла дорога, где солнце — там жарко,
Сереет и сохнет полынь.

На серых полях — голубые озера,
На пашнях — лиловая грязь.
И чибисы плачут — от света, простора,
От счастья — плакать, смеясь.

13.IV.06

КУПАЛЬЩИЦА

Смугла, ланиты побледнели,
И потемнел лучистый взгляд.
На молодом холодном теле
Струится шелковый наряд.

Залив опаловою гладью
В дали сияющей разлит.
И легкий ветер смольной прядью
Ее волос чуть шевелит.

И млеет знойно-голубое
Подобье гор — далекий Крым.
И горяча тропа на зное
По виноградникам сухим.

1906

НОВЫЙ ГОД

Ночь прошла за шумной встречей года...
Сколько сладкой муки! Сколько раз
Я ловил, сквозь блеск огней и говор,
Быстрый взгляд твоих влюбленных глаз!

Вышли мы, когда уже светало
И в церквах затеплились огни...
О, как мы любили! Как томились!
Но и здесь мы были не одни.

Молча шла ты об руку со мною
По середине улиц. Городок
Точно вымер. Мягко веял влажный
Тающего снега холодок...

Но подъезд уж близок. Вот и двери...
О, прощальный милый взгляд! «Хоть раз,
Только раз прильнуть к тебе всем сердцем
В этот ранний, в этот сладкий час!»

Но сестра стоит, глядит бесстрастно.
«Доброй ночи!» Сдержанный поклон,
Стук дверей — и я один. Молчанье,
Бледный сумрак, предрассветный звон...

⟨1906⟩

ИЗ ОКНА

Ветви кедра — вышивки зеленым
Темным плюшем, свежим и густым,
А за плюшем кедра, за балконом —
Сад прозрачный, легкий, точно дым:

Яблони и сизые дорожки,
Изумрудно-яркая трава,
На березах — серые сережки
И ветвей плакучих кружева,

А на кленах — дымчато-сквозная
С золотыми мушками вуаль,
А за ней — долинная, лесная,
Голубая, тающая даль.

(1906)

ЗМЕЯ

Покуда март гудит в лесу по голым
Снастям ветвей, — бесцветна и плоска,
Я сплю в дупле. Я сплю в листе тяжелым,
Холодным сном — и жду: весна близка.

Уж в облаках, как синие оконца,
Сквозит лазурь... Подсохло у корней,
И мотылек в горячем свете солнца
Припал к листе... Я шевелюсь под ней,

Я развиваю кольца, опьяняюсь
Теплом лучей... Я медленно ползу —
И вновь цвету, горю, меняюсь,
Ряжусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу.

Где суше лес, где много пестрых листьев
И желтых мух, там пестрый жгут — змея.
Чем жарче день, чем мухи золотистей —
Тем ядовитей я.

(1906)

НЕВОЛЬНИК

Песок, серебристый и горячий,
Вожу я к морю на волах,
Чтоб усыпать дорожки к даче,
Как снег, белеющий в скалах.

И скучно мне. Все то же, то же:
Волы, скрипучий трудный путь,
Иссохшее речное ложе,
Песок, сверкающий, как ртуть.

И клонит голову дремота.
И мнится, что уж много лет
Я вижу кожу бегемота —
Горы морщинистый хребет,

И моря синий треугольник,
И к морю длинный след колес...
Я покорился. Я невольник,
Живу лишь сонным ядом грез.

(1903—1906)

ПЕЧАЛЬ

На диких скалах, средь развалин —
Рать кипарисов. Она гудит
Под ветром с моря. Угрюм, печален
Пустынный остров, нагой гранит.

Уж берег темен — заходят тучи.
Как крылья чаек, среди камней
Мелькает пена. Прибой все круче,
Порывы ветра все холодней.

И кто-то скорбный, в одежде темной,
Стоит над морем... Вдали — печаль
И сумрак ночи...

(1903—1906)

ПЕСНЯ

Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.

Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши... А я черна, худа.
Утопает белый парус в море —
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду...
Не дождусь — с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

⟨1903—1906⟩

ДЕТСКАЯ

От пихт и елей в горнице темней,
Скучней, старинней. Древнее есть что-то
В уборе их. И вечером красней
Сквозь них зари морозной позолота.

Узорно-легкой, мягкой бахромой
Лежит их тень на рдеющих обоях —
И грустны, грустны сумерки зимой
В заброшенных помещичьих покаях!

Сидишь и смотришь в окна из угла
И думаешь о жизни старосветской...
Увы! Ведь эта горница была
Когда-то нашей детской!

⟨1903—1906⟩

РЕЧКА

Светло, легко и своенравно
Она блестит среди болот
И к старым мельницам так плавно
Несет стекло весенних вод.

Несет — и знать себе не хочет,
Что там, над омутом в лесу,
Безумно Водяной грохочет,
Стремглав летя по колесу,—

Пылит на мельницах помолом,
Трясет и жернов и привод —
И, падая, в бреду тяжелом
Кружит седой водоворот.

⟨1903—1906⟩

ПАХАРЬ

Легко и бледно небо голубое,
Поля в весенней дымке. Влажный пар
Врезаю я — и лезут на подвои
Пласты земли, бесценный божий дар.

По борозде спеша за сошниками,
Я оставляю мягкие следы —
Так хорошо разутыми ногами
Ступать на бархат теплой борозды!

В лилово-синем море чернозема
Затерен я. И далеко за мной,
Где тусклый блеск лежит на кровле дома,
Струится первый зной.

⟨1903—1906⟩

ДВЕ РАДУГИ

Две радуги — и золотистый, редкий
Весенний дождь. На западе вот-вот
Блеснут лучи. На самой верхней ветке
Садов, густых от майских непогод,
На мрачном фоне тучи озаренной
Чернеет точкой птица. Все свежей
Свет радуг фиолетово-зеленый
И сладкий запах ржи.

⟨1903—1906⟩

ЗАКАТ

Вдыхая тонкий запах четок,
Из-за чернеющих решеток
Глядят монахи на посад,
На синь лесов и на закат.

Вся келья в жарком, красном блеске:
Костром в далеком перелеске
Гнездо Жар-Птицы занялось
И за сосною тонет вкось.

Оно сгорает, но из дыма
Встают, слагаются незримо
Над синим сумраком земли
Туманно-сизые кремни.

(1903—1906)

ЧУЖАЯ

Ты чужая, но любишь,
Любишь только меня.
Ты меня не забудешь
До последнего дня.

Ты покорно и скромно
Шла за ним от венца.
Но лицо ты склонила —
Он не видел лица.

Ты с ним женщиной стала,
Но не девушка ль ты?
Сколько в каждом движенье
Простоты, красоты!

Будут снова измены...
Но один только раз
Так застенчиво светит
Нежность любящих глаз.

Ты и скрыть не умеешь,
Что ему ты чужда...
Ты меня не забудешь
Никогда, никогда!

(1903—1906)

АПРЕЛЬ

Туманный серп, неясный полумрак,
Свинцово-тусклый блеск железной крыши,
Шум мельницы, далекий лай собак,
Таинственный зигзаг летучей мыши.

А в старом палисаднике темно,
Свежо и сладко пахнет можжевельник,
И сонно, сонно светится сквозь ельник
Серпа зеленоватое пятно.

(1903—1906)

ДЕТСТВО

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок — как шелк... Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол — гигант, тяжелый, величавый.

Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного света.

(1903—1906)

ПОМОРЬЕ

Белый полдень, жар нестерпимый,
Мох, песок, шелюг да сосны...
Но от сосен тени нет,

Облака легки, высоки,
Солнце в бледной поволоке —
Всюду знойный белый свет.

Там за хужиной помора,
За песками косогора,
Голой мачты виден шест...

Но и море гладью млечной,
Серебристой, бесконечной
Простирается окрест.

А на отмели песчаной
Спит помор, от солнца пьяный,
Тонко плачется комар,

И на икрах обожженных,
Летним зноем обожженных,
Блещет бронзовый загар.

(1903—1906)

ДОННИК

Брат, в запыленных сапогах,
Швырнул ко мне на подоконник
Цветок, растущий на парах,
Цветок засухи — желтый донник.

Я встал от книг и в степь пошел...
Ну да, все поле — золотое,
И отовсюду точки пчел
Плывут в сухом вечернем зное.

Толчется сеткой мошкара,
Шафранный свет над полем реет —
И, значит, завтра вновь жара
И вновь сухомель. А хлеб уж зреет.

Да, зреет и грозит нуждой,
Быть может, голодом... И все же
Мне этот донник золотой
На миг всего, всего дороже!

(1903—1906)

У ШАЛАША

Распали костер, сумей
Разозлить его блестящих,
Убегающих, свистящих
Золотых и синих змей!

Ночь из тьмы пустого сада
Дышит холодом прудов,
Прелых листьев и плодов —
Ароматом листопада.

Здесь же яркий зной и свет,
Тени пляшут по аллеям,
И бегущим жарким змеям,
Их затеям — счета нет!

⟨1903—1906⟩

ТЕРЕМ

Высоко стоит луна.
Тени елей резки, четки.
Я — в светлице у окна,
Я бледнее полотна...
В серебре пруты решетки.

Мать, отец — все спят давно.
Я с распушенной косою
Загляделася в окно...
Я бледна, как полотно,
Как поляна под росой.

Подоконник не велик,
Все же можно здесь прижаться...
С неба смотрит лунный лик —
И у ног на половики
Клетки белые ложатся.

Да и я — как в серебре,
Испещренная крестами...
Долги ночи в сентябре!
Но усну лишь на заре,
Истомленная мечтами.

⟨1903—1906⟩

ГОРЕ

Меркнет свет в небесах.
Скачет князь мелкоколосьем, по топам, где сохнет осока.
Реют сумерки в черных еловых лесах,
А по елкам мелькает, сверкает — сорока.

Станет князь, поглядит:
Нет сороки! Но сердце недоброе чует.
Снова скачет — и снова сорока летит,
Перелесьем кочует.

Болен сын... Верно, хуже ему...
Погубили дитя переходные старцы-калики!
Ночь подходит... И что-то теперь в терему?
Скачет князь — и все слышит он женские крики.

А в лесу все темней,
А уж конь устает... Поспешай,— недалеко!
Вот и терем... Но что это? Сколько огней!
Нагадала сорока.

⟨1903—1906⟩

ДЮНЫ

За сизыми дюнами — северный тусклый туман.
За сизыми дюнами — серая даль океана.
На зыби холодной, у берега — черный баклан,
На зыби маячит высокая шейка баклана.

За сизыми дюнами — север. Вдали иногда
Проходят, как тени, норвежские старые шхуны —
И снова все пусто. Холодное небо, вода,
Туман синеватый и дюны.

⟨1903—1906⟩

КАМЕННАЯ БАБА

От зноя травы сухи и мертвы.
Степь — без границ, но даль синее слабо.
Вот остов лошадиной головы.
Вот снова — Каменная Баба.

Как сонны эти плоские черты!
Как первобытно-грубо это тело!
Но я стою, боюсь тебя... А ты
Мне улыбаешься несмело.

О дикое исчадье древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовержцем?
— Не бог, не бог нас создал. Это мы
Богов творили рабским сердцем.

(1903—1906)

ЭСХИА

Я содрогаюсь, глядя на твои
Черты немые, полные могучей
И строгой мысли. С древней простотой
Изваян ты, о старец. Бесконечно
Далеки дни, когда ты жил, и мифом
Теперь те дни нам кажутся. Ты страшен
Их древностью. Ты страшен тем, что ты,
Незримый в мире двадцать пять столетий,
Незримо в нем присутствуешь доньше,
И пред твоею славой легендарной
Бессильно Время.— Рок неотвратим,
Все в мире предначертано Судьбою,
И благо поклоняющимся ей,
Всесильной, осудившей на забвенье
Дела всех дел. Но ты пред Адрастеей
Склонил чело суровое с таким
Величием, с такою мощью духа,
Какая подобает лишь богам
Да смертному, дерзнувшему впервые
Восславить дух и дерзновенье смертных!

(1903—1906)

У БЕРЕГОВ МАЛОЙ АЗИИ

Здесь царство Амазонок. Были дики
Их буйные забавы. Много дней
Звучали здесь их радостные клики
И ржание купавшихся коней.

Но век наш — миг. И кто укажет ныне,
Где на пески ступала их нога?
Не ветер ли среди морской пустыни?
Не эти ли нагие берега?

Давно унес, развеял ветер южный
Их голоса от атих берегов...
Давно слизал, размыл прибой жемчужный
С сырых песков следы подков...

⟨1903—1906⟩

АГНИ

Лежу во тьме, сраженный злою силой.
Лежу и жду, недвижный и немой:
Идут, поют над вырытой могилой,
Несут огни,— вещают жребий мой.

Звенят в щиты, зовут меня домой,
В стоустый вопль сливают плач унылый.
Но мне легко: ты, Агни светлокрылый,
Спасешь меня, разъединишь со тьмой.

Смотрите, братья, недруги и други,
Как бог, гудя, охватит мой костер,
Отсвечивая золотом в кольчуге!

Смирите скорбь рыдающих сестер:
Бог взял меня и жертвою простер,
Чтоб возродить на светозарном Юге!

⟨1903—1906⟩

СТОЛП ОГНЕННЫЙ

В пустыне раскаленной мы блуждали,
Томительно нам знойный день светил,
Во мгlistые сверкающие дали
Туманный столп пред нами уходил.

Но пала ночь — и скрылся столп туманный,
Мираж исчез, свободней дышит грудь —
И пламенем к земле обетованной
Нам Ягве указывает путь!

⟨1903—1906⟩

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Апокалипсис, I

Я, Иоанн, ваш брат и соучастник
В скорбях и царстве господ, был изгнан
На Патмос за свидетельство Христа.

Я осенен был духом в день воскресный
И слышал за собою как бы трубный
Могучий глас: «Я Альфа и Омега».

И обратился, дабы видеть очи
Того, кто говорит, и, обратившись,
Увидел семь светильников золотых.

И посреди их пламенников — мужа,
Подиром облеченного по стану
И в поясе из золота — по персям.

Глава его и волосы сияли,
Как горный снег, как белая ярина,
И точно пламень огненный — глаза.

Стопы его — халколиван горящий,
Как будто раскаленные в горниле,
И глас его был шумом многих вод.

Семь звезд в его деснице, меч струился
Из уст его, и лик его — как солнце,
Блистающее в славе сил своих.

И, увидав, я пал пред ним, как мертвый.

(1903—1906)

СОН

Из книги пророка Даниила

Царь! вот твой сон: блистал перед тобою
Среди долин огромный истукан,
Поправший землю глиняной стопою.

Червонный лик был истукану дан,
Из серебра имел он грудь и длани,
Из меди — бедра мощные и стан.

Но пробил час, назначенный заране,—
И сорвался в долину сам собой
Тяжелый камень с дальней горной грани.

Царь! пробил час, назначенный судьбой:
Тот камень пал, смешав металлы с глиной,
И поднял прах, как пыль над молотьбой.

Бог сокрушил металла блеск в единый
И краткий миг: развеял без следа,
А камень стал великою вершиной.

Он овладел вселенной. Навсегда.

(1903—1906)

АТЛАНТ

...И долго, долго шли мы плоскогорьем,
Меж диких скал — все выше, выше, к небу,
По спутанным кустарникам, в тумане,
То закрывавшем солнце, то, как дым,
По ветру проносившемся пред нами —
И вдруг обрыв, бездонное пространство
И глубоко в пространстве — необъятный,
Туманно восходящий к горизонту
Своей воздушно-зыбкою равниной
Лилово-синий южный Океан!
И сатана спросил, остановившись:
«Ты веришь ли в предания, в легенды?»

Еще был март, и только что мы вышли
На высший из утесов над обрывом,
Навстречу нам пахнуло зимней бурей,
И увидал я с горной высоты,
Что пышность южных красок в Океане
Ее дыханьем мгlistым смягчена
И что в горах, к востоку уходящих
Излучиной хребтов своих, белеют,
Сквозь тусклость отдаления, снега —
Заоблачные царственные кряжи
В холодных вечных саванах своих.
И Дух спросил: «Ты веришь ли в Атланта?»

Крепясь, стоял я на скале, а ветер
Сорвать меня пытался, проносясь
С звенящим завываньем в низкорослых,
Измятых, искривленных бурей соснах,
И доносил из глубины глухой
Широкий шум — шум Вечности, протяжный
Шум дальних волн... И, как орел, впервые
Взмахнувший из родимого гнезда
Над ширью Океана, был я счастлив
И упоен твоею первозданной
Непостижимой силою, Атлант!
«О да, Титан, я верил, жадно верил».

(1903—1906)

ЗОЛОТОЙ НЕВОД

Волна ушла — блестят, как золотые,
На солнце валуны.
Волна идет — как из стекла литые,
Идут бугры волны.

По ним скользит, колышется медуза,
Живой морской цветок...
Но вот волна изнемогла от груза
И пала на песок,

Зеркальной зыбью блещет и дробится,
А солнце под водой
По валунам скользит и шевелится,
Как невод золотой.

(1903—1906)

НОВОСЕЛЬЕ

Весна! темнеет над аулом,
Свет фиолетовый мелькнул —
И горный кряж стократным гулом
Ответил на громовый гул.

Весна! Справляя новоселье,
Она веселый катит гром,
И будит звучное ущелье,
И сыплет с неба серебром.

⟨1903—1906⟩

ДАГЕСТАН

Насторожись, стань крепче в стремяна.
В ущелье мрак, шумящие каскады.
И до небес скалистые громады
Встают в конце ущелья — как стена.

Над их челом — далеких звезд алмазы.
А на груди, в зловещей темноте,
Лежит аул: дракон тысячеглазый
Гнездится в высоте.

⟨1903—1906⟩

НА ОБВАЛЕ

Печальный берег! Сизые твердыни
Гранитных стен до облака встают,
А ниже — хаос каменный пустыни,
Лавина щебня, дьявола приют.

Но нищета смиренна. Одиноко
Она ушла на берег — и к скале
Прилипла сакля... Верный раб пророка
Довольствуется малым на земле.

И вот — жилье. Над хижинкой убогой
Дымок синее... Прыгает коза...
И со скалы, нависшей над дорогой,
Блестят агатом детские глаза.

⟨1903—1906⟩

АЙЯ-СОФИЯ

Светильники горели, непонятный
Звучал язык,— великий шейх читал
Святой Коран,— и купол необъятный
В угрюмом мраке пропадал.

Кривую саблю вскинув над толпою,
Шейх поднял лик, закрыл глаза — и страх
Царил в толпе, и мертвою, слепою
Она лежала на коврах...

А утром храм был светел. Все молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине.

И голуби в нем, рея, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

(1903—1906)

К ВОСТОКУ

Вот и скрылись, позабылись снежных гор чалмы.
Зной пустыни, путь к востоку, мертвые холмы.

Каменистый, красно-серый, мутный океан
На восток уходит, в знойный, в голубой туман.

И все жарче, шире веет из степей теплынь,
И все суше, слаще пахнет горькая полынь.

И холмы все безнадежней. Глина, роговик...
День тут светел, бесконечен, вечер синь и дик.

И едва стемнеет, смеркнет, где-то между скал,
Как дитя, как джинн пустыни, плачется шакал,

И на мягких крыльях совки трепетно парят,
И на тусклом небе звезды сумрачно горят.

(1903—1906)

ПУТЕВОДНЫЕ ЗНАКИ

Он ставит путеводные знаки.

Коран

Бог для ночных паломников в Могребе
Зажег огни — святые звезды Пса.
Привет тебе, сверкающая в небе
Алмазно-синяя роса!

Путь по пескам от Газы до Арима
Бог оживил приметами, как встарь.
Привет вам, камни — четки пилигрима.
В пустыне ведшие Агарь!

Костями бог усеял все дороги,
Как след гиен среди ущелий Ти.
Привет вам, почивающие в божестве,
Нам проторившие пути!

(1903—1906)

МУДРЫМ

Герой — как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб — сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.

А трус живет. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком.
О да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:
Как огонек под кизяком.

(1903—1906)

ЗЕЛЕНЫЙ СТЯГ

Ты почишь в ларце, в драгоценном ковчеге,
Ветхий деньми, Эски,
Ты, сзывавший на брань и святые набег
Чрез моря и пески.

Ты уснул, но твой сон — золотые виденья.
Ты сквозь сорок шелков
Дышишь запахом роз и дыханием тленья —
Ароматом веков.

Ты покоишься в мире, о слава Востока!
Но сердца покорил
Ты навек. Не тебя ль над главою пророка
Воздвигал Гавриил?

И не ты ли царишь над Востоком доныне?
Развернися, восстань —
И восстанет Ислам, как самумы пустыни,
На священную брань!

Проклят тот, кто велений Корана не слышит.
Проклят тот, кто угас
Для молитвы и битв, — кто для жизни не дышит,
Как бесплодный Геджас.

Ангел смерти сойдет в гробовые пещеры, —
Ангел смерти сквозь тьму
Вопрошает у мертвых их символы веры:
Что мы скажем ему?

(1903—1906)

СВЯЩЕННЫЙ ПРАХ

Пыль, по которой Гавриил
Свой путь незримый совершает
В полночный час среди могил,
Целит и мертвых воскрешает.

Прах, на который пала кровь
Погибших в битве за свободу,
Благоговенье и любовь
Внушает мудрому народу.

Прильни к нему, благослови
Миг созерцания святыни —
И в битву мести и любви
Восстань, как ураган пустыни.

(1903—1906)

АВРААМ

Коран, VI

Был Авраам в пустыне темной ночью
И увидал на небесах звезду.
«Вот мой господь!» — воскликнул он. Но в полночь
Звезда зашла — и свет ее померк.

Был Авраам в пустыне пред рассветом
И восходящий месяц увидал.
«Вот мой господь!» — воскликнул он. Но месяц
Померк и закатился, как звезда.

Был Авраам в пустыне ранним утром
И руки к солнцу радостно простер.
«Вот мой господь!» — воскликнул он. Но солнце
Свершило день и закатилось в ночь.

Бог правый путь поведал Аврааму.

(1903—1906)

САТАНА БОГУ

И когда мы сказали ангелам:
падите ниц перед Адамом, все пали,
кроме Эблиса, сотворенного из огня.

Коран

Я — из огня, Адам — из мертвой глины,
И ты велишь мне пред Адамом пасты!
Что ж, сей в огонь листву сухой маслины —
Смирять листвою его живую страсть.

О, не смиришь! Я только выше вскину
Свой красный стяг. Смотри: уж твой Адам
Охвачен мной! Я выжгу эту глину,
Я, как гончар, закал и звук ей дам.

(1903—1906)

ЗЕЙНАБ

Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин:
Чем душнее в палатках пустыни,
Чем стремительней дует палящий хамсин,
Тем вода холоднее в кувшине.

Зейнаб, свежесть очей! Ты строга и горда:
Чем безумнее любишь — тем строже.
Но сладка, о, сладка ледяная вода,
А для путника — жизни дороже!

(1903—1906)

БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ

В пустыне красной над пророком
Летел архангел Гавриил
И жгучий зной в пути далеком
Смягчал сияньем белых крыл.

И я в пути, и я в пустыне.
И я, не смея отдохнуть,
Как Магомет к святой Медине,
Держу к заветной цели путь.

Но зной не жжет — твоим приветом
Я и доныне осенен:
Мир серебристым, нежным светом
Передо мною напоен.

(1903—1906)

ПТИЦА

Мы привязали к шее каждого его птицу.

Коран

На всех на вас — на каждой багрянице,
На каждом пыльном рубище раба —
Есть амулет, подобный вещей птице,
Есть тайный знак, и этот знак — Судьба.

От древности, когда Он путь свой начал,
Он совершал его среди гробов:
Он, проходя, свои следы означил
Зловещей белизною черепов.

Хамсин на них горячей мглою дует,
Песок, струясь, бежит по их костям.
Всем чуждая, на них сова ночует
Среди могильных ям.

⟨1903—1906⟩



1906—1911

ЗА ГРОБОМ

Я не тушил священного огня.

Книга Мертвых

В подземный мир введет на суд Отца
Сын, Ястреб-Гор. Шакал-Анубис будет
Класть на весы и взвешивать сердца:
Бог Озирис, бог мертвых, строго судит.

Я погребен, как раб, в песке пустынь.
Пройдут века — и Сирнус, над Нилом
Теперь огнем горящий, станет синь,
Да светит он спокойнее могилам.

И мир забудет, темного, меня.
И на весах потянет солнце мало.
Но я страдал. Я не тушил огня.
И я взгляну без страха в лик Шакала.

1906

МАГОМЕТ В ИЗГНАНИИ

Духи над пустыней пролетали
В сумерки, над каменистым логом.
Скорбные слова его звучали
Как источник, позабытый богом.

На песке, босой, с раскрытой грудью,
Он сидел и говорил, тоскуя:
«Предан я пустыне и безлюдью,
Отрешен от всех, кого люблю я!»

И сказали Духи: «Недостойно
Быть пророку слабым и усталым».
И пророк печально и спокойно
Отвечал: «Я жаловался скалам».

1906

* * *

Огромный, красный, старый пароход
У мола стал, вернувшись из Сиднея.
Белеет мол, и, радостно синяя,
Безоблачный сияет небосвод.

В тиши, в тепле, на солнце, в изумрудной
Сквозной воде, склонясь на левый борт,
Гигант уснул. И спит пахучий порт,
Спят грузчики. Белеет мол безлюдный.

В воде прозрачной виден узкий киль,
Весь в ракушках. Их слой зелено-ржавый
Нарос давно... У Суматры, у Явы,
В Великом океане... в зной и штиль.

Мальчишка-негр в турецкой грязной феске
Висит в бадье, по борту, красит бак —
И от воды на свежий красный лак
Зеркальные восходят арабески.

И лак блестит под черною рукой,
Слепит глаза... И мальчик-обезьяна
Сквозь сон поет... Простой напев Судана
Звучит в тиши всем чуждою тоской.

VIII.06

* * *

Люблю цветные стекла окон
И сумрак от столетних лип,
Звенящей люстры серый кокон
И половиц прогнивших скрип.

Люблю неясный винный запах
Из шифоньерок и от книг
В стеклянных невысоких шкапах,
Где рядом Сю и Патерик.

Люблю их синие странички,
Их четкий шрифт, простой набор,
И серебро икон в божничке,
И в горке матовый фарфор.

И вас, и вас, дагерротипы,
Черты давно поблекших лиц,
И сумрак от столетней липы,
И скрип прогнивших половиц.

1906

* * *

И скрип и визг над бухтой, наводненной
Буграми влаги пенисто-зеленой:
Как в забыти, шатаются над ней
Кресты нагих запутанных снастей,
А чайки с криком падают меж ними,
Сверкая в ряях крыльями тугими,
Иль белою яичной скорлупой
Скользят в волне зелено-голубой.
Еще бегут поспешно и высоко
Лохмотья туч, но ветер от востока
Уж дал горам лиловые цвета,
Чеканит грани снежного хребта
На синем небе, свежем и блестящем,
И сыплет в море золотом кипящим.

1906

* * *

Луна еще прозрачна и бледна,
Чуть розовеет пепел небосклона,
И золотится берег. Уж видна
Тень кипариса у балкона.

Пойдем к обрывам. Млеющей волной
Вода переливается. И вскоре
Из края в край под золотой луной
Затеплится и засияет море.

Ночь будет ясная, веселая. Вдали.
На рейде, две турецких бригадины.
Вот поднимают парус. Вот зажгли
Сигналы — изумруды и рубины.

Но ветра нет. И будут до зари
Они дремать и медленно качаться,
И будут в лунном свете фонари
Глазами утомленными казаться.

1906

* * *

Проснусь, проснусь — за окнами в саду
Все тот же снег, все тот же блеск полярный.
А в зале сумрак. Слушаю и жду:
И вот опять — таинственный, коварный,
Чуть слышный треск... Конечно, пол иль мышь.
Но как насторожишься, как следишь
За кем-то, притаившимся у двери
В повисшей без движения портъере!
Но он молчит, он замер. Тюль гардин
Сквозит в голубоватом лунном блеске
Да чуть мерцают — искорками льдин —
Под люстрой стеклянные подвески.

1906

* * *

Ограда, крест, зеленая могила,
Роса, простор и тишина полей...
— Благоухай, звенящее кадило,
Дыханием рубиновых углей!

Сегодня год. Последние напевы,
Последний вздох, последний фимиам...
— Цветите, зрейте, новые посевы,
Для новых жатв! Придет черед и вам.

1906

ПЕТРОВ ДЕНЬ

Девушки-русалочки,
Нынче наш последний день!
Свет за лесом занимается,
Побледнели небеса,
Собираются с дубинами
Мужики из деревень
На опушку, к морю сизому
Холодного овса...
Мы из речки — на долину,
Из долины — по отвесу,
По березовому лесу —
На равнину,
На восток, на ранний свет,
На серебряный рассвет,
На овсы,
Вдоль по жемчугу
По сизому росы!
Девушки-русалочки,
Звонко стало по лугам.
Забелела речка в сумраке,
В алеющем пару,
Пнями пахнет лес березовый
По откосам, берегам,—
Густ и зелен он, кудрявый,
Поутру...
Поутру вода тепла,
Холодна трава седая,
Вся медовая, густая,
Да идут на нас с дрекольем из села.
Что ж! Мы стаей на откосы,
На опушку — из берез,
На бегу растреплем косы,
Упадем с разбега в росы
И до слез
Щекотать друг друга будем,
Хохотать и, назло людям,
Мять овес!
Девушки-русалочки,
Стойте, поглядите на рассвет:
Бел-восток алеет, ширится,—
Широко зарей в полях,
Ни души-то нету, милые,
Только ранний алый свет

Да холодный крупный жемчуг
На стеблях...
Мы, нагие,
Всем чужие,
На опушке, на поляне,
Бледны, по пояс в пару,—
Нам пора, сестрицы, к няне,
Ко двору!
Жарко в небе солнце божье
На Петров играет день,
До Ильи сулит бездожде,
Пыль, сухмень —
Будут знойные зарницы
Зарить хлеб,
Будет омут наш, сестрицы,
Темен, слеп!

1906

* * *

Растет, растет могильная трава,
Зеленая, веселая, живая,
Омыла плиты влага дождевая,
И мох покрыл ненужные слова.

По вечерам заплакала сова,
К моей душе забывчивой взывая,
И старый склеп, руина гробовая,
Таит укор... Но ты, земля, права!

Как нежны на алеющем закате
Кремля далеких синих облаков!
Как вырезаны крылья ветряков
За темною долиною на скате!

Земля, земля! Весенний сладкий зов!
Ужель есть счастье даже и в утрате?

1906

ВАЛЬС

Похолодели лепестки
Раскрытых губ, по-детски влажных —
И зал плывет, плывет в протяжных
Напевах счастья и тоски.

Сиянье люстр и зыбь зеркал
Слились в один мираж хрустальный —
И веет, веет ветер бальный
Теплом душистых опахал.

1906

* * *

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:
Слева месяц над морем светил,
Справа остров темнел — пропадали вдали
Дюны скудной родимой земли.

Старый дом рыбака голубою стеной
Там мерцал над кипящей волной.
Но в заветном окне не видал я огня:
Ты забыла, забыла меня!»

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:
Поздний месяц над морем светил,
Золотая текла по волнам полоса
И как в сказке неслись паруса.

Лебединою грудью белели они,
И мерцали на мачтах огни.
Но в светлице своей не зажгла я огня:
Ты забудешь, забудешь меня!»

1906

* * *

Геймдаль искал родник божественный.
Геймдаль, ты мудрости алкал —
И вот настал твой час торжественный
В лесах, среди гранитных скал.

Они молчат, леса полночные,
Ручьи, журча, едва текут,
И звезды поздние, восточные
Их вещий говор стерегут.

И шлем ты снял — и холод счастья
По волосам твоим прошел:
Миг обручения, миг причастия
Как смерть был сладок и тяжел.

Теперь ты мудр. Ты жаждал знания —
И все забыл. Велик и прост,
Ты слышишь мхов произрастание
И дрожь земли при свете звезд.

1906

ПУГАЧ

Он сел в глуши, в шатре столетней ели.
На яркий свет, сквозь ветви и сучки,
С безумным удивлением глядели
Сверкающие золотом зрачки.

Я выстрелил. Он вздрогнул — и бесшумно
Сорвался вниз, на мох корней витых.
Но и во мху блестят, глядят безумно
Круги зрачков лучисто-золотых.

Раскинулись изломанные крылья,
Но хищный взгляд все так же дик и зол,
И сталь когтей с отчаяньем бессилья
Вонзается в ружейный скользкий ствол.

(1906)

ДЯДЬКА

За окнами — снега, степная гладь и ширь,
На переплетах рам — следы ночной пурги...
Как тих и скучен дом! Как съежился снегирь
От стужи за окном. — Но вот слуга. Шаги.

По комнатам идет седой костлявый дед,
Несет вечерний чай: «Опять глядишь в углы?
Небось, все писем ждешь, депеш да эстафет?»
Не жди. Ей не до нас. Теперь в Москве — балы».

Смутясь, глядит барчук на строгие очки,
На седину бровей, на розовую плешь...
— Да нет, старик, я так... Сыграем в дурачки,
Пораньше ляжем спать... Каких уж там депеш!

(1906)

СТРИЖИ

Костел-маяк, примета мореходу
На ребрах гор, скалистых и нагих,
Звонит зимой, в туман и непогоду,
А нынче — штиль; закат и чист и тих.

Одни стрижи, — как только над горою
Начнет гранит вершины розоветь, —
Скользаят в пролетах башни и порою
Чуть слышно будят медь.

(1906)

НА РЕЙДЕ

Люблю сухой, горячий блеск червонца,
Когда его уронят с корабля
И он, скользнув лучистой каплей солнца,
Прорежет волны у руля.

Склонясь с бортов, с невольною улыбкой
Все смотрят вниз. А он уже исчез.
Вверх по корме струится глянец зыбкий
От волн, от солнца и небес.

Как жар горят червонной медью гайки
Под серебристым тентом корабля.
И плавают на снежных крыльях чайки,
Косясь на волны у руля.

(1906)

«Ковчег под предводительством осла —
Вот мир людей. Живите во Вселенной.
Земля — вертеп обмана, лжи и зла.
Живите красотой неизменной.

Ты, мать-земля, душе моей близка —
И далека. Люблю я смех и радость,
Но в радости моей — всегда тоска,
В тоске всегда — таинственная сладость!»

И вот он посох странника берет:
Простите, келий сумрачные своды!
Его душа, всем чуждая, живет
Теперь одним — дыханием свободы.

«Вы все рабы. Царь вашей веры — Зверь:
Я свергну трон слепой и мрачной веры.
Вы в капище: я распахну вам дверь
На блеск и свет, в лазурь и бездну Сферы.

Ни бездне бездн, ни жизни грани нет.
Мы остановим солнце Птолемея —
И вихрь миров, несметный соим планет,
Пред нами развернется, пламенея!»

И он дерзнул на все — вплоть до небес.
Но разрушение — жажда созиданья,
И, разрушая, жаждал он чудес —
Божественной гармонии Созданья.

Глаза сияют, дерзкая мечта
В мир откровений радостных уносит.
Лишь в истине — и цель и красота.
Но тем сильнее сердце жизни просит.

«Ты, девочка! ты, с ангельским лицом,
Поющая над старой звонкой лютней!
Я мог твоим быть другом и отцом...
Но я один. Нет в мире бесприютней!

Высоко нес я стяг своей любви.
Но есть другие радости, другие:
Оледенив желанья свои,
Я только твой, познание, — софия!»

И вот опять он странник. И опять
Глядит он вдаль. Глаза блестят, но строго
Его лицо. Враги, вам не понять,
Что бог есть Свет. И он умрет за бога.

«Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут богом — жизнью, красотой.
Живя и умирая, мы живем
Единою, всемирною Душою.

Ты, с лютнею! Мечты твоих очей
Не эту ль Жизнь и Радость отражали?
Ты, солнце! вы, созвездия ночей!
Вы только этой Радостью дышали».

И маленький тревожный человек
С блестящим взглядом, ярким и холодным,
Идет в огонь. *«Умерший в рабский век
Бессмертием венчается — в свободном!*

Я умираю — ибо так хочу.
Развей, палач, развей мой прах, презренный!
Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —
Он мысль мою развеет по Вселенной!»

(1906)

МОСКВА

Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город... Март, весна.
И холодно и низко в мезонине,
Немало крыс, но по ночам — чудесно.
Днем падают капли, греет солнце,
А ночью подморозит, станет чисто,
Светло — и так похоже на Москву,
Старинную, далекую. Усядусь,
Огня не зажигая, возле окон,
Облитых лунным светом, и смотрю
На сад, на звезды редкие... Как нежно
Весной ночное небо! Как спокойна
Луна весною! Теплятся, как свечи,

Кресты на древней церковке. Сквозь ветви
В глубоком небе ласково сияют,
Как золотые кованые шлемы,
Головки мелких куполов...

(1906)

* * *

Леса в жемчужном инее. Морозно.
Поет из телеграфного столба
То весело, то жалобно, то грозно
Звонящим гулом темная судьба.

Молчит и внемлет белая долина.
И все победней, ярче и пышней
Горит, дрожит и блещет хвост павлина
Стоцветными алмазами над ней.

21.11.07

ПРОВОДЫ

Забил буграми жемчуг, заklubился,
Взрывая малахиты под рулем.
Земля плывет. Отходит, отделился
Высокий борт. И мы назад плывем.

Мол опустел. На сор и зерна жита,
Свистя, слетелись голуби. А там
Дрожит корма, и длинный жезл бушприта
Отходит и чертит по небесам.

Куда теперь? Март, сумерки... К вечерне
Звонят в порту... Душа весной полна,
Полна тоской... Вон огонек в таверне...
Но нет, домой. Я пьян и без вина.

1907

ДИЯ

Штиль в безгранично-светлом Ак-Денизе.
Зацвел миндаль. В ауле тишина
И теплый блеск. В мечети на карнизе,
Воркуя, ходят, ходят турмана.

На скате под обрывистым утесом
Журчит фонтан. Идут оттуда вниз
Уступы крыш по каменным откосам,
И безграничный виден Ак-Дениз.

Она уж там. И весел и спокоен
Взгляд быстрых глаз. Легка, как горный джинн.
Под шелковым бешметом детски-строен
Высокий стан... Она нальет кувшин,

На камень сбросит красные папучи
И будет мыть, топтать в воде белье...
— Журчи, журчи, звени, родник певучий,
Она глядится в зеркало твое!

1907

ГЕРМОН

Великий Шейх, седой и мощный друг,
Ты видишь все: пустыню Джаулана,
Геннисарет, долины Иордана
И божий дом, ветхозаветный Луз.

Как белый шелк, сияет твой бурнус
Над синевой далекого Ливана,
И сам Христос, смиренный Иисус,
Дышал тобою, радость каравана.

В скалистых недрах спит Геннисарет
Под серою стеной Тивериады.
Повсюду жар, палящий блеск и свет
И допотопных кактусов ограды —

На пыльную дорогу в Назарет
Один ты веешь сладостью прохлады.

1907

* * *

На пути под Хевроном,
В каменистой широкой долине,
Где по скатам и склонам
Вековые маслины серели на глине,

Поздней ночью я слышал
Плач ребенка — шакала.
Из-под черной палатки я вышел,
И душа моя грустно чего-то искала.
Неподвижно светили
Молчаливые звезды над старой,
Позабытой землею. В могиле
Почивал Авраам с Исааком и Саррой.
И темно было в древней гробнице Рахили.

1907

ГРОБНИЦА РАХИЛИ

«И умерла, и схоронил Иаков
Ее в пути...» И на гробнице нет
Ни имени, ни надписей, ни знаков.

Ночной порой в ней светит слабый свет,
И купол гроба, выбеленный мелом,
Таинственно бледностью одет.

Я приближаюсь в сумраке несмело
И с трепетом целую мел и пыль
На этом камне, выпуклом и белом...

Сладчайшее из слов земных! Рахиль!

1907

ИЕРУСАЛИМ

Это было весной. За восточной стеной
Был горячий и радостный зной.
Зеленела трава. На припеке во рву
Мак кропил огоньками траву.

И сказал проводник: «Господин! Я еврей
И, быть может, потомок царей.
Погляди на цветы по сионским стенам:
Это все, что осталось нам».

Я спросил: «На цветы?» И услышал в ответ:
«Господин! Это праотцев след,
Кровь погибших в боях. Каждый год, как весна,
Красным маком восходит она».

В полдень был я на кровле. Кругом, подо мной,
Тоже кровлей, — единой, сплошной,
Желто-розовой, точно песок, — возлежал
Древний город и зноем дышал.

Одинокая пальма вставала над ним
На холме опахалом своим,
И мелькали, сверлили стрижи тишину,
И далеко я видел страну.

Морем серых холмов расстилалась она
В дымке сизого мглистого сна,
И я видел гористый Моав, а внизу —
Ленту Мертвой воды, бирюзу.

«От Галгала до Газы, — сказал проводник, —
Край отцов ныне беден и дик.
Иудея в гробах. Бог раскинул по ней
Семя пепельно-серых камней.

Враг разрушил Сион. Город тлел и сгорал —
И пророк Иеремия собрал
Теплый прах, прах золы, в погасавшем огне
И рассеял его по стране:

Да родит край отцов только камень и мак!
Да исчахнет в нем всяческий злак!
Да пребудет он гол, иссушен, нелюдим —
До прихода реченного им!»

1907

ХРАМ СОЛНЦА

Шесть золотистых мраморных колонн,
Безбрежная зеленая долина,
Ливан в снегу и неба синий склон.

Я видел Нил и Сфинкса-исполина,
Я видел пирамиды: ты сильнее,
Прекрасней, допотопная руина!

Там глыбы желто-пепельных камней,
Забутые могилы в океане
Нагих песков. Здесь радость юных дней.

Патриархально-царственные ткани —
Снегов и скал продольные ряды —
Лежат, как пестрый талес, на Ливане.

Под ним луга, зеленые сады
И сладостный, как горная прохлада,
Шум быстрой малахитовой воды.

Под ним стоянка первого Номада.
И пусть она забвенна и пуста:
Бессмертным солнцем светит колоннада.

В блаженный мир ведут ее врата.

Баальбек, 6.V.07

* * *

Чалма на мудром — как луна
С ее спокойствием могильным.
Луна светла и холодна
Над Ак-Сараем, жарким, пыльным.

Что для нее все наши дни,
Закаты с горестным изаном
И эти бледные огни
В гнезде скалистом и туманном!

1907

ВОСКРЕСЕНИЕ

В апрельский жаркий полдень, по кремнистой
Дороге меж цветущими садами
Пришел монах, высокий францисканец.
К монастырю над синим южным морем.
«Кто там?» — сказал привратник из-за двери.
«Брат во Христе», — ответил францисканец.
«Кого вам надо?» — «Брата Габриэля».
«Он нынче занят — пишет Воскресенье».
Тогда монах сорвал с ограды розу,
Швырнул во двор — и с недовольным видом
Пошел назад. А роза за оградой
Рассыпалась на мрамор черным пеплом.

1907

Шла сиротка пыльною дорогой,
На стели боялась заблудиться.
Встретился прохожий, глянул строго,
К мачехе велел ей воротиться.

Долгими лугами шла сиротка,
Плакала, боялась темной ночи.
Повстречался ангел, глянул кротко
И потупил ангельские очи.

По пригоркам шла сиротка, стала
Подниматься тропочкой неровной.
Встретился господь у перевала,
Глянул милосердно и любовно.

«Не трудись,— сказал он,— не разбудишь
Матери в ее могиле тесной:
Ты моей, сиротка, дочкой будешь»,—
И увел сиротку в рай небесный.

1907

СЛЕПОЙ

Вот он идет проселочной дорогой,
Без шапки, рослый, думающий, строгий,
С мешками, с палкой, в рваном армячишке,
Держась рукой за плечико мальчишки.

И звонким альтиком, жалобным и страстным,
Поет, кричит мальчишка,— о прекрасном
Об Алексее, божьем человеке,
Под недовольный, мрачный бас калеки.

«Вы пожалейте,— плачет альт,— бездомных!
Вы наградите, люди, сирых, темных!»
И бас грозит: «В аду, в огне сгорите!
На пропитанье наше сотворите!»

И, угрожая, властным, мерным шагом
Идет к избушке ветхой над оврагом,
Над скудной балкой вдоль иссохшей речки,
А там одна старуха на крылечке.

И крестится старуха и дрожащей
Рукою ищет грошик завалящий
И жалко плачет, сморщивая брови,
Об окаянной грешнице Прасковье.

1907

НОВЫЙ ХРАМ

По алтарям, пустым и белым,
Весенний ветер дул на нас,
И кто-то сверху капал мелом
На золотой иконостас.

И звучный гул бродил в колоннах,
Среди лесов. И по лесам
Мы шли в широких балахонах,
С кистями, в купол, к небесам.

И часто, вместе с малярами,
Там пели песни. И Христа,
Что слушал нас в веселом храме,
Мы написали неспроста.

Нам все казалось, что под эти
Простые песни вспомнит он
Порог на солнце в Назарете,
Верстак и кубовый хитон.

1907

КОЛИБРИ

Трава пестрит — как разглядеть змею?
Зеленый лес раскинул в жарком свете
Сквозную тень, узорчатые сети, —
Они живут в неведенье, в раю.

Поют, ликут, спорят голосами,
Огнем хвостов... Но стоит невпопад
Взглянуть в траву — и прянет пестрый гад:
Он метко бьет раскосыми глазами.

1907



Кошка в крапиве за домом жила.
Дом обветшалый молчал, как могила.
Кошка в него по ночам приходила
И замирала напротив стола.

Стол обращен к образам — позабыли,
Стол как стоял, так остался. В углу
Каплями воск затвердел на полу —
Это горевшие свечи оплыли.

Помнишь? Лежит старичок-холостяк:
Кротко закрыты ресницы — и кротко
В черненький галстук воткнулась борода...
Свечи пылают, дрожит нависающий мрак...

Темен теперь этот дом по ночам.
Кошка приходит и светит глазами.
Угол мерцает во тьме образами.
Ветер шумит по печам.

1907



Присела на могильнике Савуре
Старуха Смерть, глядит на людный шлях.
Цветущий лен полоскою лазури
Синеет на полях.

И говорит старуха Смерть: «Здорово,
Прохожие! Не надо ли кому
Льняного погребального покрова? —
Не дорого возьму».

И говорит Савур-курган: «Не каркай!
И саван — прах. И саван обречен
Истлеть в земле, чтоб снова вырос яркий
Небесно-синий лен».

1907

* * *

Свежа в апреле ранняя заря.
В тени у хат хрустит ледок стеклянный.
Причастницы к стенам монастыря
Несут детей — исполнить долг желанный.

Прими, господь, счастливых матерей,
Отверзи храм с блистающим престолом —
И у святых своих дверей
Покрой их звоном благостно-тяжелым.

30.VI.07

* * *

Там иволга, как флейта, распевала,
Там утреннее солнце пригревало
Труд муравьев — живые бугорки.
Вдруг пегая легавая собака,
Тропинкой добежав до буерака,
Залаяла. Я быстро взвел курки.

Змея? Барсук? — Плетенка с костяникой.
А на березе девочка — и дикий
Испуг в лице и глазках: над ручьем
Дугой береза белая склонилась —
И вот она вскарабкалась, схватилась
За ствол и закачалась на нем.

Поспешно повернулся я, поспешно
Пошел назад... Младенчески-безгрешно
И радостно откликнулась душа
На этот ужас милый... Вся пестрела
Березовая роща, флейта пела —
И жизнь была чудесно хороша.

1907

* * *

Щебечут пестрокрылые чекканки
На глиняных могильных бугорках.
Дорога в Мекку. Древние стоянки
В пустыне, в зное, на песках.

Где вы, хаджи? Где ваши дромадеры?
Вдали слюдой блестят солончаки.
Кругом погост. Бугры рогаты, серы,
Как голых седел арчаки.

Дамаск, 1907

НИЩИИ

Возноси хвалы при уходе звезд.

Коран

Все сады в росе, но теплы гнезда —
Сладок птичий лепет, полусон.
Возноси хвалы — уходят звезды,
За горами заалел Гермон.

А потом, счастливый, босоногий,
С чашкой сядь под ивовый плетень:
Мир идущим пыльною дорогой!
Славьте, братья, новый божий день!

Дамаск, 1907

* * *

«Тут покоится хан, покоривший несметные страны,
Тут стояла мечеть над гробницей вождя:
Учь толак бош ослун! Эти камни, бурьяны
Пахнут мускусом после дождя».

И сидел я один на крутом и пустом косогоре.
Горы хмурились в горах синеющих туч.
Вольный ветер с зеленого дальнего моря
Был блаженно пахуч.

1907

ТЕЗЕЙ

Тезей уснул в венке из мирт и лавра.
Зыбь клонит мачту в черных парусах.
Зеленым золотом горит звезда Кентавра
На южных небесах.

Забыв о ней, гребцы склоняют вежды,
Поют в дремоте сладкой... О Тезей!
Вновь пропитал Кентавр ткань праздничной одежды
Палящим ядом змей.

Мы в радости доверчивы, как дети.
Нас тешит мирт, пьянит победный лавр.
Один Эгей не спал над морем в звездном свете,
Когда восходил Кентавр.

1907

ПУСТОШЬ

Мир вам, в земле почившие! — За садом
Погост рабов, погост дворовых наших:
Две десятины пустоши, волнистой
От бугорков могильных. Ни креста,
Ни деревца. Местами уцелели
Лишь каменные плиты, да и то
Изъеденные временем, как оспой...
Теперь их скоро выберут — и будут
Выпахивать то пористые кости,
То суздальские черные иконки...

Мир вам, давно забытые! — Кто знает
Их имена простые? Жили — в страхе,
В неизвестности — почили. Иногда
В селе ковали цепи, засекали,
На поселенье гнали. Но стихал
Однообразный бабий плач — и снова
Шли дни труда, покорности и страха...
Теперь от этой жизни уцелели
Лишь каменные плиты. А пройдет
Железный плуг — и пустошь всколосится
Густою рожью. Кости удобряют...

Мир вам, неотомщенные! — Свидетель
Великого и подлого, бессильный
Свидетель зверств, расстрелов, пыток, казней,
Я, чье чело отмечено навеки
Клеймом раба, невольника, холопа,

Я говорю почившим: «Спите, спите!
Не вы одни страдали: внуки ваших
Владык и повелителей испили
Не меньше вас из горькой чаши рабства!»
1907

КАИН

Баальбек воздвиг в безумии Каин.
Сирийск. предания

Род приходит, уходит,
А земля пребывает вовек...
Нет, он строит, возводит
Храм бессмертных племен — Баальбек.

Он — убийца, проклятый,
Но из рая он дерзко шагнул.
Страхом Смерти объятый,
Все же первый в лицо ей взглянул.

Жадно ищущий бога,
Первый бросил проклятье ему.
И, достигнув порога,
Пал, сраженный, увидевши — тьму.

Но и в тьме он восславит
Только Знание, Разум и Свет —
Башню Солнца поставит,
Вдавит в землю незыблемый след.

И глаза великана
Красной кровью свирепо горят,
И долины Ливана
Под великою ношей гудят.

Синекудрый, весь бурый,
Из пустыни и зноя литой,
Опоясан он шкурой,
Шкурой льва, золотой и густой.

Он спешит, он швыряет,
Он скалу на скалу громоздит.
Он дрожит, умирает...
Но творцу отомстит, отомстит!

(1906—1907)

ПУГАЛО

На задворках, за ригами
Богатых мужиков,
Стоит оно, родимое,
Одиннадцать веков.

Под шапкою лохматою —
Дубинка-голова.
Крестом по ветру треплется
Пустые рукава.

Старновкой — чистым золотом! —
Набит его чекмень,
На зависть на великую
Соседних деревень...

Он, огород-то, выпахан,
Уж есть и лебеда.
И глинка означается, —
Да это не беда!

Не много дел и пугалу...
Да разве огород
Такое уж сокровище? —
Пугался бы народ!

(1906—1907)

НАСЛЕДСТВО

В угольной — солище, запах кипариса...
В ней круглый год не выставляли рам.
Покой любила тетушка Лариса,
Тепло, уют... И тихо было там.

Пол мягко устлан — коврики, попоны...
Все старомодно — кресла, туалет,
Комод, кровать... В углу на юг — иконы,
И сколько их в божничке — счету нет!

Но, тетушка, о чем вы им молились,
Когда шептали в требник и псалтырь
Да свечи жгли? Зачем не удалились
Вы заживо в могилу — в монастырь?

Приемышу с молоденькой женою
Дала приют... «Скучненько нам втроем,
Да что же делать-с! Давит тишиною
Вас домик мой? Так не живите в нем!»

И молодые сели, укатили...
А тетушка скончалась в тишине
Лишь прошлый год... Вот филин и в могиле,
Я Крезом стал... Да что-то скучно мне!

Дом развалился, темен, гнил и жалок,
Варок раскрыт, в саду — мужицкий скот,
Двор в лопухах... И сколько бойких галок
Сидит у трубы!.. Но вот и «старый» ход.

По-прежнему дверь в залу туалетом
Заставлена в угольной. На столах
Алеет пыль. Вечерним низким светом
Из окон солнце блещет в зеркалах.

А в образничке — суздальские лики
Угодников. Уж сняли за долги
Оклады с них. Они угрюмы, дики
И смотрят друг на друга как враги.

Бог с ними! С паутиною, пенькою
Я вырываю раму. Из щелей
Бегут двухвостки. Садам и рекою
В окно пахнуло... Так-то веселей!

Сад вечереет. Слаще и свежее
Запахло в нем. Прозрачный месяц встал.
В угольной ночью жутко... Да Кошечки
Мне нипочем: я тетушку видал!

⟨1906—1907⟩

НЯНЯ

В старой темной девичьей,
На пустом ларе,
Села, согревается...
Лунно на дворе,
Иней синим бисером
На окне блестит,
Над столом висячая
Лампочка коптит...

Что-то вспоминается?
Отчего в глазах
Столько скорби, кротости?..
Лапти на ногах,
Голова закутана
Шалью набивной,
Полушубок старенький...
«Здравствуй, друг родной!
Что ж ты не сказала?»
Поднялась, трясет
Головою дряхлою
И к руке идет,
Кланяется низенько...
«В дом иди». — «Иду-с».
«Как живется-может?»
«Что-то не пойму-с».
«Как живешь, я спрашивал,
Все одна?» — «Одна-с».
«А невестка?» — «В городе-с.
Позабыла нас!»
«Как же ты с внучатами?»
«Так вот и живу-с».
«Нас-то вспоминала ли?»
«Всех как наяву-с».
«Да не то: не стыдно ли
Было не прийти?»
«Боязно-с: а ну-кася
Да помрешь в пути».
И трясет с улыбкою,
Грустной и больной,
Головой закутанной,
И следит за мной,
Ловит губ движения...
«Ну, идем, идем,
Там и побеседуем
И чайку попьем».

(1906—1907)

НА ПЛЮЩИХЕ

Пол навощен, блестит паркетом.
Столовая озарена
Полуденным горячим светом.
Спит кот на солнце у окна:

Мурлыкает и томно шурит
Янтарь зрачков, как леопард,
А бабушка — в качалке, курит
И думает: «Итак, уж март!

А там и праздники, и лето,
И снова осень...» Вдруг в окно
Влетело что-то, — вдоль буфета
Мелькнуло светлое пятно.

Зажглось, блеснув, в паркетном воске —
И вновь исчезло... Что за шут?
А! это улицей подростки,
Как солнце, зеркало несут.

И снова думы: «Оглянуться
Не успеваешь — года нет...»
А в окна, сквозь гардины, льются
Столбы лучей, горячий свет,

И дым, ленивою куделью
Сливаясь с светлой полосой,
Синеет, тает... Как за слью
В далекой просеке, весной.

(1906—1907)

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

На севере есть розовые мхи,
Есть серебристо-шелковые дюны...
Но темных сосен звонкие верхи
Поют, поют над морем, точно струны.

Послушай их. Стань, прислонись к сосне:
Сквозь грозный шум ты слышишь ли их нежность?
Но и она — в певучем полусне...
На севере отрадна безнадежность.

(1906—1907)

ТЯСИНА

Болото тихой северной страны
В осенних сумерках таинственной погоста.
Цветут цветы. Мы не поймем их роста
Из заповедных недр, их сонной глубины.

Порой, грустя, мы вспоминаем что-то...
Но что? Мы и земле и богу далеки...
В гробах трясин рождаются огоньки...
Во тьме родится свет... Мы — огоньки болота.
(1906—1907)

ОДИН

Он на запад глядит — солнце к морю спускается.
Светит по морю красным огнем.
Он застыл на скале — ветхий плащ развевается
От холодного ветра на нем.

Опираясь на меч, он глядит на багровую
Чешую беспредельных зыбей.
Но не видит он волн — только думу суровую
Означают изгибы бровей.

Древен мир. Он древней. Плащ Одина как вретище.
Ржа веков — на железном мече...
Черный ворон Хугин, скорбной Памяти детище,
У него на плече.
(1906—1907)

САТУРН

Рассеянные огненные зерна
Произрастают в мире без конца.
При виде звезд душа на миг покорна:
Непостижим и вечен труд творца.

Но к полночи восходит на востоке
Мертвец Сатурн — и блещет, как свинец...
Воистину зловещи и жестоки
Твои дела, творец!

(1906—1907)

С КОРАБЛЯ

Для жизни жизнь! Вот пенные буруны
У сизых каменистых берегов.
Вон красный киль давно разбитой шхуны...
Но кто жалеет мертвых рыбаков?

В сыром песке на солнце сохнут кости...
Но радость неба, свет и бирюза,
Еще свежей при утреннем норд-осте —
И блеск костей лишь радует глаза.

(1906—1907)

ОБВАЛ

В степи, с обрыва, на сто миль
Морская ширь открыта взорам.
Внизу, в стремнине — глина, пыль,
Щепа и кости с мелким сором.

Гудели ночью тополя,
В дремоте море бушевало —
Вдруг тяжко охнула земля,
Весь берег дрогнул от обвала!

Сегодня там стоят, глядят
И алой, белой повиликой
На солнце зонтики блестят
Над бездной пенистой и дикой.

Никто не знал, что здесь — погост,
Да и теперь — кому он нужен!
Весенний ветер свеж и прост,
Он только с молодостью дружен!

Внизу — щепа, гробы в пыли...
Да море берег косит, косит
Серпами волн — и от земли
Далеко сор ее уносит!

(1906—1907)

Вдоль этих плоских знойных берегов
Лежат пески, торчат кусты дзарига.
И моря пышноцветное индиго
Равниною глядит из-за песков.

Нет даже чаек. Слабо проползает
Шуршащий краб. Желтеют кости рыб.
И берегов краснеющий изгиб
В лиловых полутонах исчезает.

(1906—1907)

БАЛАГУЛА

Балагула убегает и трясет меня.
Рыжий Айзик правит парой и сосет тютю.
Алый мак во ржи мелькает — лепестки огня.
Золотятся, льются нити телеграфных струн.

«Айзик, Айзик, вы заснули!» — «Ха! А разве пан
Едет в город с интересом? Пан — поэт, артист!»
Правда, правда. Что мне этот грязный Аккерман?
Степь привольна, день прохладен, воздух сух и чист.

Был я сыном, братом, другом, мужем и отцом.
Был в довольстве... Все насмарку! Все не то, не то!
Заплачу за путь венчальным золотым кольцом,
А потом... Потом в таверну: вывезет лото!

(1906—1907)

ИЗ АНАТОЛИЙСКИХ ПЕСНЕЙ

ДЕВИЧЬЯ

Свежий ветер дует в сумерках
На скалистый островок.
Закачалась чайка серая
Под скалой, как поплавок.

Под крыло головку спрятала
И забылась в полусне.
Я бы тоже позабылась
На качающей волне!

Поздно ночью в саклю темную
Грусть и скуку принесешь.
Поздно ночью с милым встретишься,
Да и то когда заснешь!

(1906—1907)

РЫБАЦКАЯ

Летом в море легкая вода,
Белые сухие паруса,
Иглами стальными в невода
Сыплется под баркою хамса.

Осенью не весел Трапезонд!
В море вьюга, холод и туман,
Ходит головами горизонт,
В пену зарывается бакан.

Тяжела студеная вода,
Буря в ночь осеннюю дерзка,
Да на волю гонит из гнезда
Лютая голодная тоска!

(1906—1907)

ЗАКОН

Во имя бога, вечно всеблагого!
Он, давший для писания тростник,
Сказал: блюди написанное слово
И делай то, что обещал язык.

Приняв закон, прими его вериги.
Иль оттолкни — иль всей душою чти:
Не будь ослом, который носит книги
Лишь потому, что их велят нести.

(1906—1907)

МАНДРАГОРА

Цветок Мандрагора из могил расцветает,
Над гробами зарытых возле виселиц черных.
Мертвый соками тленья Мандрагору питает —
И она расцветает в травах диких и сорных.

Брат Каин, взрастивший Мандрагору из яда!
Бог убийцу, быть может, милосердно осудит.
Но палач — не убийца: он — исчадие ада,
И цветок, полный яда, бог тебе не забудет!

(1906—1907)

РОЗЫ ШИРАЗА

Пой, соловей! Они томятся:
В шатрах узорчатых мимоз,
На их ресницах серебрятся
Алмазы томных крупных слез.

Сад в эту ночь — как сад Ирема.
И сладострастна и бледна,
Как в шакнизир, тайник гарема,
В узор ветвей глядит луна.

Белеет мел стены неясно.
Но там, где свет, его атлас
Горит так зелено и страстно,
Как изумруд змеинных глаз.

Пой, соловей! Томят желанья.
Цветы молчат — нет слов у них:
Их сладкий зов — благоуханья,
Алмазы слез — покорность их.

(1906—1907)

С ОБЕЗЬЯНОЙ

Ай, тяжела турецкая шарманка!
Бредет худой согнувшийся хорват
По дачам утром. В юбке обезьянка
Бежит за ним, смешно поднявши зад.

И детское и старческое что-то
В ее глазах печальных. Как цыган,
Сожжен хорват. Пыль, солнце, зной, забота...
Далеко от Одессы на Фонтан!

Ограды дач еще в живом узоре —
В тени акаций. Солнце из-за дач
Глядит в листву. В аллеях блещет море...
День будет долог, светел и горяч.

И будет сонно, сонно. Черепицы
Стеклом светиться будут. Промелькнет
Велосипед бесшумным махом птицы,
Да прогремит в немецкой фуре лед.

Ай, хорошо напиться! Есть копейка,
А вон киоск: большой стакан воды
Даст с томною улыбкою еврейка...
Но путь далек... Сады, сады, сады...

Зверок устал, — взор старичка-ребенка
Томит тоской. Хорват от жажды пьян.
Но пьет зверок: лиловая ладонка
Хватает жадно пенистый стакан.

Поднявши брови, тянет обезьяна,
А он жует засохший белый хлеб
И медленно отходит в тень платана...
Ты далеко, Загреб!

(1906—1907)

МЕКАМ

Мекам — восторг, священное раденье,
Стремление желанное постичь.
Мекам — тоска, блаженное томленье
И творчества беззвучный жадный клич.

К мечте безумец руки простирает
И алчет бога видеть наяву.
Завет гласит: «Узревший — умирает».
Но смерть есть приближенье к божеству.

Благословенна сладостная мука
Трудов моих! Я творчеству отдаю
Всю жизнь мою: на расстоянье лука
Ведет меня к желанному меку.

(1906—1907)

БЕССМЕРТНЫЙ

Ангел Смерти в Судный день умрет:
Истребит живущих — и со стоном
Прилетит к аллаху — и прострет,
Бездыханный, крылья перед троном.

Ангел Мести, грозный судия!
На твоём стальном клинке иссечен
Грозный клич: «Бессмертен только Я.
Трепещите! Ангел Мести вечен».

(1906—1907)

КАИР

Английские солдаты в цитадели
Глядят за Нил, на запад. От Али
До пирамид, среди долин, в пыли.
Лежит Каир. Он сух и сер в апреле.

Бил барабан, и плакал музззин.
В шафранно-сизой мути, за пустыней,
Померк закат. И душой мутно-синий
Вечерний воздух. Близится хамсин.

Веселыми несметными огнями
Горит Каир. А сфинкс от пирамид
Глядит в ночную бездну — на Апит
И темь веков. Бог Ра в могиле. В яме.

(1906—1907)

ИСТАР

Луна, бог Син, ее зарей встречает.
Она свой путь свершает на быке,
Ее тигра звездная венчает,
Стрела и лук лежат в ее руке.

Царица битв, она решает битвы,
Судья царей, она неправым мстит —
И уж ни дым, ни фимиам молитвы
Ее очей тогда не обольстит.

Но вот весна. Среди речного пара
Свой бледный лик подымлет Синь, луна —
И как нежна становится Истара!

Откинув лук, до чресл обнажена,
Таинственна и сладостна, как чара,
С какой мольбой ждет страстных ласк она!
(1906—1907)

АЛЕКСАНДР В ЕГИПТЕ

К оракулу и капищу Сиваха
Шел Александр. Дыханием костра
Дул ветер из пустыни. Тучи праха
Темнили свет и рвали ткань шатра.

Из-под шатра с верблюда, в тучах пыли,
Он различал своих проводников:
Два ворона на синих крыльях плыли,
Борясь с косыми вихрями песков.

И вдруг упали вихри. И верблюды
Остановились: медленно идет
Песками змей, весь черный. Изумруды
Горят на нем. Глаза — как мутный лед.

Идет — и вот их двое: он, Великий,
И змей, дрожащий в солнечном огне,
Рогатый, мутноглазый, черноликий,
Весь в самоцветах пышных, как в броне.

«Склони чело и дай дорогу змею!» —
Вещает змей. И замер царь... О да!
Кто назовет вселенную своею?
Кто властелином будет? И когда?

Он, символ и зловещий страж Востока,
Он тоже царь: кто ж примет власть богов?
— Не вы, враги. Грядущий бог далеко.
Но он придет, друг темных рыбаков!

(1906—1907)

БОГ

Дул с моря бриз, и месяц чистым рогом
Стоял за длинной улицей села.
От хаты тень лежала за порогом,
А хата бледно-белою была.

Дул южный бриз, и ночь была тепла.
На отмелях, на берегу отлогом,
Волна, шумя, вела беседу с богом,
Не поднимая сонного чела.

И месяц наклонялся к балке темной,
Грустя, светил на скалы, на погост.
А бог был ясен, радостен и прост:

Он в ветре был, в моей душе бездомной —
И содрогался синим блеском звезд
В лазури неба, чистой и огромной.

7.VI.08

САВАОФ

Я помню сумрак каменных аркад.
В середине свет — и красный блеск атласа
В сквозном узоре старых царских врат,
На золотой стене иконостаса.

Я помню купол грубо-голубой:
Там Саваоф, с простертыми руками,
Над скудною и темною толпой,
Царил меж звезд, повитых облаками.

Был вечер, март, сияла синева
Из узких окон, в куполе пробитых,
Мертво звучали древние слова.

Весенний отблеск был на скользких плитах —
И грозная седая голова
Текла меж звезд, туманами повитых.

28.VII.08

ГАЛЬЦИОНА

Когда в волне мелькнул он мертвым ликом,
К нему на сердце кинулась она —
И высоко, с двойным звенящим криком,
Двух белых чаек вынесла волна.

Когда зимой, на этом взморье диком,
Крутая зыбь мутна и солона,
Они скользят в ее пучину с криком —
И высоко выносит их волна.

Но есть семь дней: смолкает Гальциона,
И для нее щадит пловцов Эол.
Как серебро, светло морское лоно,

Чернеет степь, на солнце дремлет вол...
Семь мирных дней проводит Гальциона
В камнях, в гнезде. И внуков ждет Эол.

28.VII.08

В АРХИПЕЛАГЕ

Осенний день в лиловой крупной зыби
Блистал, как медь. Эол и Посейдон
Вели в снастях певучий долгий стон.
И наш корабль нырял подобно рыбе.

Вдали был мыс. Высоко на изгибе,
Сквозя, вставал неровный ряд колонн.
Но песня рей меня клонила в сон —
Корабль нырял в лиловой крупной зыби.

Не все ль равно, что это старый храм,
Что на мысу — забытый портик Феба!
Запомнил я лишь ряд колонн да небо.

Дым облаков курился по горам,
Пустынный мыс был схож с ковригой хлеба.
Я жил во сне. Богов творил я сам.

12.VIII.08

БОГ ПОЛДНЯ

Я черных коз пасла с меньшей сестрой
Меж красных скал, колючих трав и глины.
Залив был синь. И камни, грея спины,
На жарком солнце спали под горой.

Я прилегла в сухую тень маслины
С корявой серебристою корой —
И он сошел, как мух звенящий рой,
Как свет сквозной горячей паутины.

Он озарил мне ноги. Обнажил
Их до колен. На серебре рубашки
Горел огнем. И навзничь положил.

Его объятья сладостны и тяжки.
Он мне сосцы загаром окружил
И научил варить настой ромашки.

12.VIII.08

ГОРНЫЙ ЛЕС

Вечерний час. В долину тень сползла.
Сосною пахнет. Чисто и глубоко
Над лесом небо. Млечный змей потока
Шуршит слышней вдоль белого русла.

Слышней звенит далекий плач козла.
Острой стрекочет легкая сорока.
Гора, весь день глядевшая с востока,
Свой алый пик высоко унесла.

На ней молились Волчьему Зевесу.
Не раз, не раз с вершины этих скал
И дым вставал, и пели гимны лесу,
И медный нож в руках жреца сверкал.

Я тихо поднял древнюю завесу.
Я в храм отцов забытый путь искал.

14.VIII.08

ИЕРИХОН

Скользят, текут огни зеленых мух.
Над Мертвым морем знойно и туманно
От блеска звезд. Песок вдали — как манна.
И смутный гул, дрожа, колдует слух.

То ропот жаб. Он длится неустанно,
Зовет, томит... Но час полночный глух.
Внимает им. быть может, только Дух
Среди камней в пустыне Иоанна.

Там, между звезд, чернеет острый пик
Горы Поста. Чуть теплится лампадка.
Внизу истома. Приторно и сладко

Мимозы пахнут. Сахарный тростник
Горит от мух... И дремлет Лихорадка,
Под жабий бред откинув бледный лик.

14.VIII.08

КАРАВАН

Звон на верблюдах, ровный, полусонный,
Звон бубенцов подобен роднику:
Течет, течет струею отдаленной,
Баюкая дорожную тоску.

Давно затих базар неугомонный.
Луна меж пальм сияет по песку.
Под этот звон, глухой и однотонный,
Вожак прилег на жесткую луку.

Вот потянуло ветром, и свежее
Вздохнула ночь... Как сладко спать в седле,
Склонясь лицом к верблюжьей теплой шее!

Луна зашла. Поет петух в Рамлаэ.
И млечной синью горы Иудеи
Свой зыбкий кряж означили во мгле.

15.VIII.08

ДОЛИНА ИОСАФАТА

Отрада смерти страждущим дана.
Вы побелели, странники, от пыли,
Среди врагов, в чужих краях вы были.
Но вот вам отдых, мир и тишина..

Гора полдневным солнцем сожжена,
Русло Кедрона ветры иссушили.
Но в прах отцов вы посохи сложили,
Вас обрела родимая страна.

В ней спят цари, пророки и левиты.
В блаженные обители ея
Всех, что в чужбине не были убиты,
Сбирает милосердый Судия.

По жестким склонам каменные плиты
Стоят раскрытой Книгой Бытия.

20.VIII.08

БЕДУИН

За Мертвым морем — пепельные грани
Чуть видных гор. Полдневный час, обед.
Он выкупал кобылу в Иордане
И сел курить. Песок как медь нагрет.

За Мертвым морем, в солнечном тумане,
Течет мираж. В долине — зной и свет,
Воркует дикий голубь. На герани,
На олеандрах — вешний алый цвет.

И он дремотно поет, воспевая
Зной, олеандр, герань и тамариск.
Сидит как ястреб. Пегая абая

Сползает с плеч... Поэт, разбойник, гикс.
Вон закурил — и рад, что с тонким дымом
Сравнил в стихах вершины за Сиддимом.

20.VIII.08

ЛЮЦИФЕР

В святой Софии голуби летали,
Гнусил мулла. Эректеон был нем.
И боги гомерических поэм
В цустых музеях стыли и скучали.

Великий Сфинкс, исполненный печали,
Лежал в песках. Израиль, чуждый всем,
Сбирал, рыдая, ржавые скрижали.
Христос покинул жадный Вифлеем.

Вот Рай, Ливан. Рассвет горит багряно.
Снег гор — как шелк. По скатам из пещер
Текут стада. В лугах — моря тумана...

Мир Апеля! Дни чистых детских вер!
Из-за нагих хребтов Антиливана
Блестает, угасая, Люцифер.

20.VIII.08

ИМРУ-УЛЬ-КАЙС

Ушли с рассветом. Опустили
Песчаные бугры.
Полз синий дым. И угли кровью рдели
Там, где вчера чернели их шатры.
Я слез с седла — и пряный запах дыма
Меня обвеял теплотой.
При блеске солнца был невыразимо
Красив огонь прозрачно-золотой.

Долина серая, нагая,
Как пах осла. В колодце гниль и грязь.
Из-за бугров моря текут, сверкая
И мутно серебрясь.
Но тут семь дней жила моя подруга:
Я сел на холм, где был ее намет.
Тут ветер дует с севера и юга —
Он милый след не заметет.

Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как верблюды, легла и отдалила
От головы крестец.

Песок остыл. Холодный, безответный,
Скользит в руке, как змей.
Горит, играет перстень самоцветный —
Звезда любви моей.

21.VIII.08

* * *

Открыты окна. В белой мастерской
Следы отъезда: сор, клочки конверта.
В углу стоит прямой скелет мольберта.
Из окон тянет свежестью морской.

Дни все светлей, все тише, золотистей —
И ни полям, ни морю нет конца.
С корявой, старой груши у крыльца
Спадают розовые листья.

28.VIII.08

ХУДОЖНИК

Хрустя по серой гальке, он прошел
Покатый сад, взглянул по водоемам,
Сел на скамью... За новым белым домом
Хребет Яйлы и близок и тяжел.

Томясь от зноя, грифельный журавль
Стоит в кусте. Опушена косица,
Нога — как трость... Он говорит: «Что, птица?
Недурно бы на Волгу, в Ярославль!»

Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его — как сизы
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом.

«С крыльца с кадилом сходит толстый поп,
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,
Защелкает, взвосьется от забора —
И ну плясать и стучать клювом в гроб!»

В груди першит. С шоссе несется пыль,
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
«Да-с, водевиль... Все прочее есть гиль».

1908

ОТЧАЯНИЕ

...И нового порфирой облекли
И назвали владыкою Ирана.
Нож отняли у прежнего тирана,
Но с робостью, с поклоном до земли.

В Испании — рев варварского стана,
Там с грязью мозг копытами толкли...
Кровоточит зияющая рана
В боку Христа.— Ей, господи, внимли!

Я плакал в злобе; плакал от позора,
От скорби — и надежды: я года
Молчал в тоске бессилья и стыда.
Но я так жадно верил: скоро, скоро!

Теперь лишь стоны слышны. В эти дни
Звучит лишь стон... Лама савахфани?

1908

* * *

В полях сухие стебли кукурузы.
Следы колес и блеклая ботва.
В холодном море — бледные медузы
И красная подводная трава.

Поля и осень. Море и нагие
Обрывы скал. Вот ночь, и мы идем
На темный берег. В море — летаргия
Во всем великом таинстве своем.

«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный
Туманный блеск...» Ни неба, ни земли.
Лишь звездный блеск висит под нами — в мутной
Бездонно-фосфорической пыли.

(1908)

ТРОН СОЛОМОНА

На письмана исчезнувших народов
Похожи руны Времени — значки
Вдоль старых стен и полутемных сводов,
Где завелись точильщики-жучки.

Царь Соломон повелевал ветрами,
Был маг, мудрец. «Недаром сеял я,—
Сказал господь.— Какими же дарами
Венчать тебя, царь, маг и судия?»

«Сев славных дел венчает солнце славы,—
Ответил царь.— Вот гении пустынь
Покорны мне. Но гении лукавы,
Они не чтут ни долга, ни святынь.

Трон Мудрости я им велел построить.
Но я умру — и, бросив труд, в Геджас
Уйдут они. Ты мог мне жизнь устроить:
Сокрой от них моей кончины час».

«Да будет так»,— сказал господь. И годы
Текли в труде. И был окончен трон:
Из яшмы древней царственной породы,
Из белой яшмы был изваян он.

Под троном львы, над троном кондор горный,
На троне — царь. И ты сокрыл, творец,
Что на копье склоняется в упорной,
Глубокой думе — высохший мертвец.

Но рухнет он! Древко копья из кедра,
Оно — как сталь. Но уж стучат жучки!
Стучат, стучат — и рассыпают щедро
Зловещие, могильные значки.

⟨1906—1908⟩

РЫБАЛКА

Вода за холодные серые дни в октябре
На отмелях спала — прозрачная стала и чистая.
В песке обнаженном оттиснулась лапка лучистая:
Рыбалка сидела на утренней ранней заре.

В болоте лесном, под высоким коричневым шпажником,
Где щепкая тина с листвою купав сплетена,
Все лето жила, тосковала о дружке она,
О дружке, убитой заезжим охотником-бражником.

Зарею она улетела на дальний Дунай —
И горе забудет. Но жизнь дорожит и рыбалкою:
Ей надо помучить кого-нибудь песенкой жалкою —
И Груня жалкует, поет... Вспоминай, вспоминай!

(1906—1908)

БАБА-ЯГА

Гулкий шум в лесу нагоняет сон —
К ночи на море пал сырой туман.
Окружен со всех с четырех сторон
Темной осенью островок Буян.

А еще темней — мой холодный сруб.
Где ни вздуть огня, ни топить не смей,
А в окно глядит только бурый дуб,
Под которым смерть закопал Кощей.

Я состарилась, изболелась вся —
Десять сот годов берегу ларец!
Будь огонь в светце — я б погрелась,
Будь дрова в печи — похлебала б щец.

Да огонь — в морях мореходу весть,
Да на много верст слышен дым от лык...
Черт тебе велел к черту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!

(1906—1908)

ДИКАРЬ

Над стремью скал — чернеющий орел.
За стремью — синь, туманное поморье.
Он как во сне к своей добыче шел
На этом поднебесном плоскогорье.

С отвесных скал летели вниз кусты,
Но дерзость их безумца не страшила:
Ему хотелось большей высоты —
И бездна смерти бездну довершила.

Ты знаешь, как глубоко в синеву
Уходит гриф, ужаленный стрелой?
И он напруг тугую тетиву —
И зашумели крылья над скалою,

И потонул в бездонном небе гриф,
И кровь, звездой упавшую оттуда
На берега, на известковый риф,
Смыл океан волною изумруда.

(1906—1908)

НАПУТСТВИЕ

«За погостом Скутари, за черным
Кипарисовым лесом...» — «О мать!
Страшно воздухом этим тлетворным
Молодому дышать!»

«Там шалаш, в шалаше — прокаженный...»
«Пощади свежесть сердца!..» — «Склонись
До земли и рукой обнаженной
Гнойной язвы коснись».

«Мать! Зачем? Разве душу и тело
Я не отдал тебе?» — «Замолчи.
Ты идешь на великое дело:
Ждут тебя палачи».

Тверже стали, орлиного когтя
Безнадежное сердце. Склонись —
И рукой, обнаженной до локтя,
Смертной язвы коснись».

(1906—1908)

ПОСЛЕДНИЕ СЛЕЗЫ

Изнемогла, в качалке задремала
Под дачный смех. Синели небеса.
Зажглась звезда. Потом свежее стало.
Взошла луна — и смолкли голоса.

Текла и млела в море полоса.
Стекло балконной двери заблестало.
И вот она проснулась и устало
Поправила сухие волоса.

Подумала. Полюбовалась далью.
Взяла ручное зеркальце с окна —
И зеркальце сверкнуло синей сталью.

Ну да, виски белеют: седина.
Бровь поднята, измучена печалью.
Светло глядит холодная луна.

(1906—1908)

РЫБАЧКА

— Кто там стучит? Не встану. Не открою
Намокшей двери в хижине моей.
Тревожна ночь осеннюю порою —
Рассвет еще тревожней и шумней.

«Тебя пугает гул среди камней
И скрежет мелкой гальки под горою?»
— Нет, я больна. И свежестью сырою
По одеялу дует из сеней.

«Я буду ждать, когда уgomонится
От бури охмелевшая волна
И станет блеклым золотом струиться
Осенний день на лавку из окна».

— Уйди! Я ночевала не одна.
Он был смелей. Он моря не боится.

(1906—1908)

ВИНО

— На Яйле зазеленели буки,
Покраснела стройная сосна:
Отчего на севере, в разлуке
Чувствует душа, что там весна?

«В дни, когда на лозах виноградных
Распуститься цветцу суждено,
В погребах, и темных и прохладных,
Бродит золотистое вино».

(1906—1908)

ВДОВЕЦ

Железный крюк скрипит над колыбелью,
Луна глядит в окно на колыбель:
Луна склоняет лик и по ущелью,
Сквозь сумрак, тянет млечную кудель.

В горах светло. На дальнем горном кряже,
Весь на виду, чернеет скит армян.
Но встанет мгла из этой бледной пряжи —
Не разглядит засады караван.

Пора, пора, — уж стекла запотели!
Разбойник я... Да вот, на смену мне,
Сам ангел сна подходит к колыбели.
Чуть серебрясь при меркнувшей луне.

(1906—1908)

ХРИСТЯ

Христя угощает кукол на сговоре —
За степною хатой, на сухих бахчах.
Степь в горячем блеске млеет, точно море,
Тыквы светят медью в солнечных лучах.

Собрались соседи к «старой бабе» Христе,
Пропивают дочку — чай и водку пьют.
Дочка — в разноцветной плахте и в монисте,
Все ее жалеют — и поют, поют!

Под степною хатой, в жарком аромате
Спелого укропа, возятся в золе
Желтые цыплята. Мать уснула в хате,
Бабка — в темной клуне, тыквы — на земле.

(1906—1908)

КРУЖЕВО

Весь день метель. За дверью, у соседа,
Стучат часы и каплет с окон лед.
У барышни-соседки с мясоеда
Поет щегол. А барышня плетет.

Сидит, выводит крестики и мушки,
Бела, как снег, скромна, как лен в степи.
Темно в уездной крохотной избушке,
Наскучили гремучие коклюшки,
Весна идет... Да как же быть? Терпи.

Синеет дым метели, вьются галки
Над старой колокольной... День прошел,
А толку что? — Текут с окна мочалки,
И о весне поет дурак щегол.

(1906—1908)

ТУМАН

Сумрачно, скучно светает заря.
Пахнет листвою и мокрыми гумнами.
Воют и тянут за рогом пса
Гончие сворами шумными.

Тянут, стихают — и тонут следы
В темном тумане. Людская чуть курится.
Сонно в осиннике квохчут дрозды.
Чаша и дремлет и хмурится.

И до печальных вечерних огней
В море туманных лесов, за долинами,
Будет стонать все скучней и скучней
Рог голосами звериными.

Сиракузы. 25.III.09

ПОСЛЕ
МЕССИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

На темном рейде струнный лад.
Огни и песни в Катанее...
В дни скорби любим мы нежнее,
Канцоны сладостней звучат.

И величаво-одинок
На звездном небе конус Этны.
Где тает бледный, чуть заметный,
Чуть розовеющий венок.

15.IV.09

В мелкоколесье пело глухо, строго.
Вместе с ночью туча надвигалась,
По кустам, на тучу, шла дорога,
На ветру листва, дрожа, мешалась...
Леший зорко в темь глядел с порога.

Он сидел и слушал, как кукушки
Хриплым смехом где-то хохотали,
Как визжали совы и с опушки,
После блеска, гулы долетали...
Дед-лесник мертвецки спал в избушке.

Одностовалка на столе лежала
Вместе с жесткой, черной коркой хлеба,
Как бельмо, окошко отражало
Скудный свет нахмуренного неба...
Над окошком шарило, шуршало.

И пока шуршало, деду снилось,
Что в печурке, где лежат онучи,
Загорелось: тлеет, задымилось...
И сухим огнем сверкали тучи,
И в стекло угрюмо муха билась.

25.V.09

СЕНОКОС

Среди двора, в батистовой рубашке,
Стоял барчук и, щурясь, звал: «Корней!»
Но двор был пуст. Две пегие дворняжки,
Щенки, катались в сене. Все синей
Над крышами и садом небо млело,
Как сказочная сонная река.
Все горячей палило зноем тело.
Все радостней белели облака,
И все душней благоухало сено...

«Корней, седлай!» Но нет, Корней в лесу,
Осталась только скотница Елена
Да пчельник Дрон... Щенок замял осу
И сено взрыл... Молочный голубь комом
Упал на крышу скотного варка...
Везде открыты окна... А над домом
Так серебрится тополь, так ярка
Листва вверху — как будто из металла,
И воробы шныряют то из зала,
В тенистый палисадник, в бересклет,
То снова в зал... Покой, лазурь и свет...

В конюшне полусумрак и прохладно,
Навозом пахнет, сбруей, лошадьми,
Касаточки щебечут... И Ами,
Соскучившись, тихонько ржет и жадно
Косит свой глаз лилово-золотой
В решетчатую дверку... Стременами
Звенит барчук, подняв седло с уздой,
Кладет, подпруги ловит — и ушами
Прядет Ами, вдруг сделавшись стройней
И выходя на солнце. Там к кадушке
Склоняется — блеск, небо видит в ней
И долго пьет... И солнце жжет подушки,
Луку, потник, играя в серебре...

А через час заходят побирушки:
Слепой и мальчик. Оба на дворе
Сидят как дома. Мальчик босоногий
Заглядывает в окна, на пороге
Стоит и медлит... Робко входит в зал,
С восторгом смотрит в светлый мир зеркал.
Касается до клавиш фортепьяно —

И, вздрогнув, замирает: звонко, странно
И весело в хоромах! — На балкон
Открыта дверь, и солнце жарким светом
Зажгло паркет, и глубоко паркетом
Зеркальный отблеск двери отражен,
И воробьи крикливою станицей
Прносятся у самого стекла
За золотой, сверкающею птицей,
За иволгой, скользящей, как стрела.

3.VII.09

СОБАКА

Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами
На вьюжный двор, на снег, прилипший к раме.
На метлы гулких, дымных тополей.

Вздыхая, ты свернулась потеплей
У ног моих — и думаешь... Мы сами
Тоним себя — тоской иных полей,
Иных пустынь... за пермскими горами.

Ты вспоминаешь то, что чуждо мне:
Седое небо, тундры, льды и чумы
В твоей студеной дикой стороне.

Но я всегда делю с тобою думы:
Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.

4.VIII.09

МОГИЛА В СКАЛЕ

То было в полдень, в Нубии, на Ниле.
Пробили вход, затеплили огни —
И на полу преддверия, в тени,
На голубом и тонком слое пыли,
Нашли живой и четкий след ступни.

Я, путник, видел это. Я в могиле
Дышал теплом сухих камней. Они
Сокрытое пять тысяч лет хранили.

Был некий день, был некий краткий час,
Прощальный миг, когда в последний раз
Вдохнул здесь тот, кто узкою стопою
В атласный прах вдавил свой узкий след.

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет
Умножил жизнь, мне данную судьбою.

6.VIII.09

ПОЛНОЧЬ

Ноябрь, сырая полночь. Городок,
Весь меловой, весь бледный под луною,
Подавлен безответной тишиною.
Приливный шум торжественно-широк.

На мачте коменданта флаг намок.
Вверху, над самой мачтой, над сквозною
И мутной мглой, бегущей на восток,
Скользит луна зеркальной белизною.

Иду к обрывам. Шум грознее. Свет
Таинственней, тусклее и печальней.
Волна качает сваи под купальной.

Вдали — седая бездна. Моря нет.
И валуны, в шипящей серой пене,
Блестят внизу, как спящие тюлени.

6.VIII.09

РАССВЕТ

Как стая птиц, в пустыне одиноко
Белеет форт. За ним — пески, страна
Нагих бугров. На золоте востока
Четка и фиолетова она.

Рейд солнца ждет. Из черных труб «Марокко»
Восходит дым. Зеленая волна
Стальной сажой, блестками полна,
Качает мерно, плавно и широко.

Вот первый луч. Все окна на борту
Зажглись огнем. Вот пар взлетел — и трубы
Призывно заревели в высоту.

Подняв весло, гребец оскалил зубы:
Как нежно плачет колокол в порту
Под этот рев торжественный и грубый!

13.VIII.09

ПОЛДЕНЬ

Горит хрусталь, горит рубин в вине.
Звездой дрожит на скатерти в салоне.
Последний остров тонет в небосклоне.
Где зной и блеск слились в горячем сне.

На баке бриз. Там, на носу, на фоне
Сухих небес, на жуткой крутизне,
Сидит ливнец в белом балахоне,
Глядит на снег, кипящий в глубине.

И влажный шум над этой влажной бездной
Клонит в дрему. И острый ржавый нос,
Не торопясь, своей броней железной
В снегу врезает синий купорос.

Сквозь купорос, сквозь радугу от пыли,
Струясь, краснеет киноварь на киле.

14.VIII.09

ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

14.VIII.09

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Как в гору, шли мы в зыбь, в слепящий блеск заката.
Холмилась и росла лиловая волна.
С холма на холм лилось оранжевое золото,
И глубь небес была прозрачно-зелена.

Дым из жерла трубы летел назад. В упругом
Кимвальном пенье рей дрожал холодный гул.
И солнца лик мертвел. Громада моря кругом
Объяла горизонт. Везувий потонул.

И до бортов вставал и, упадая, мерно
Шумел разверстый вал. И гребень, закипев,
Сквозил и розовел, как пенное Фалерно,—
И малахит скользил в кроваво-черный зев.

(9.VI.09)

ПРОМЕТЕЙ В ПЕЩЕРЕ

Вокруг пещеры гул. Над нами мрак. Во мраке,
Краснея, светятся глаза моей собаки.
Огонь, и в них огонь! Из-под глухой стены,
Где сбилось стадо коз, они устремлены
За вход, в слепую ночь, на клики чад Нероя,
Туда, где с пены волн, что прядают, белея,
Срывает брызги вихрь, где блещут космы грив,
Дымящихся внутри, и буйный их прилив
Снегами топит брег.— Вот грохот колесницы
Идет торжественно над темной высотой:
Я глохну, я слежу крутящиеся спицы,
Что мечут на бегу свой отблеск золотой,
И слепну от огня.— Привет тебе, Державный!
Теперь тебя твой враг приветствует как равный!

(10.VI.09)

МОРСКОЙ ВЕТЕР

Морского ветра свежее дыханье
Из темноты доходит, как привет.
На дачах глушь. И поздней лампы свет
Осенней ночи слушает молчанье.

Сон с колотушкой бродит — и о нем
Скучает кто-то, дальний, бесприютный.
Нет ни звезды. Один Юпитер мутный
Горит в выси мистическим огнем.

Волна и ветер с темных побережий
Доносят запах ржавчины — песка,
Сырых ракушек, сгнивших тростников.

Привет полночный, ласковый и свежий,
Мне чьей-то вольной кажется душой:
Родной мечтам и для земли — чужой.

(8.VIII.09)

СТОРОЖ

И снова вечер, сухо позлативший
Дороги, степь и удлинивший тень;
И бледный лик, напротив солнца всплывший;
И четко в ясном воздухе застывший
Среди бахчей курень.

Стар сторож, стар! И слаб и видит плохо.
А век бы жил!.. Так тихо в курене.
Что слышен треск подсохшего гороха...
Да что кому до старческого вздоха
О догоревшем дне!

(16.VIII.09)

БЕРЕГ

За окном весна сияет новая.
А в избе — последняя твоя
Восковая свечка — и тесовая
Длинная ладья.

Причесали, нарядили, справили,
Полотном закрыли бледный лик —
И ушли, до времени оставили
Твой немой двойник.

У него ни имени, ни отчества,
Ни друзей, ни дома, ни родни:
Тихи гробового одиночества
Роковые дни.

Да пребудет в мире, да поконится!
Как душа свободная твоя,
Скоро, скоро в синем море скроется
Белая ладья.

(16.VIII.09)

СПОР

— Счастливы мы, фессалийцы! Черное, с розовой пеной,
Пахнет нагретой землей наше густое вино.
Хлеб от вина лиловет. Кусок овечьего сыру,
Влажно-соленый, крутой, горную свежесть хранит.

«Крит позабыл ты, хвостун! Мастика хмельнее и слаще:
Палуба ходит, скользит, парус сияет, как снег,
Пляшут зеленые волны — и пьяная цепь рулевая,
Скрежеща, вдоль бортов ползает ржавой змеей».

(17.VIII.09)

ЗВЕЗДОПОКЛОННИКИ

Мир не забудет веры древних лет.
Звездопоклонники пустыни,
На ваших лицах — бледный зной планет,
Вы камни чтите как святыни.

Ваш край до шлака пламенем сожжен,
Ваш бог чертил столь грозные скрижали,
Что никогда его имен
Вы даже мыслить не дерзали.

Как сон прошли Христос и Магомет.
Вы и доныне не забыли
Ночных служений таинству планет
И безыменной древней Силе.

(1906—1909)

ПРОЩАНИЕ

Поблекший дол под старыми платанами,
Иссохшие источники и рвы
Усеяны лиловыми тюльпанами
И золотом листвы.

Померкло небо, солнце закатилось,
Холодный ветер дует. И слеза,
Что в голубых глазах твоих светилась,
Бледна, как бирюза.

(1906—1909)

ПЕСНЯ

Зацвела на воле
В поле бирюза.
Да не смотрят в душу
Милые глаза.

Помню, помню нежный,
Безмятежный лен.
Да далеко где-то
Зацветает он.

Помню, помню чистый
И лучистый взгляд.
Да поднять ресницы
Люди не велят.

(1906—1909)

СПОЛОХИ

Взвевая легкие гардины
И раздувая свет зарницы,
Ночная близилась гроза.

Метался мрак, зеркал глубины
Ловили золото божницы
И чьи-то жуткие глаза.

Я замерла, не понимая,
В какой я горнице. Крапива,
Шумя, бежала под окном.

Зарница, яркая, немая,
Мне говорила торопливо
Все об одном, все об одном.

Впервые нынче мы не лгали,—
Дрожа от радости, впервые
Сняла я тяжелое кольцо —

И в глубине зеркал мелькали
Покровы черно-гробовые
И чье-то бледное лицо.

(1906—1909)

НОЧНЫЕ ЦИКАДЫ

Прибрежный хрящ и голые обрывы
Степных равнин луной озарены.
Хрустальный звон сливает с небом нивы.

Цветы, колосья, травы им полны,
Он ни на миг не молкнет, но не будит
Бесстрастной предрассветной тишины.

Ночь стелет тень и влажный берег студит,
Ночь тянет вдаль свой невод золотой —
И скоро блеск померкнет и убудет.

Но степь поет. Как колос налитой,
Полна душа. Земля зовет: спешите
Любить, творить, пьянить себя мечтой!

От бледных звезд, раскинутых в зените,
И до земли, где стынет лунный сон,
Текут хрустально трепетные нити.

Из сонма жизней соткан этот звон.

10.IX.10

ПИЛИГРИМ

Стал на ковер, у якорных цепей,
Босой, седой, в коротеньком халате,
В большой чалме. Свежеет на закате,
Ночь впереди — и тело радо ей.

Стал и простер ладони в муть зыбей:
Как раб хранит заветный грош в заплате,
Хранит душа одну мечту — о плате
За труд земной — и все скупей, скупей.

Орлиный клюв, глаза совы, но кротки
Теперь они: глядят туда, где синь
Святой страны, где слезы звезд — как четки
На смуглой кисти Ангела Пустынь.

Открыто все: и сердце и ладони...
И блещут, блещут слезы в небосклоне.

(1906—1910)

О ПЕТРЕ-РАЗБОЙНИКЕ

В воскресенье, раньше литургии,
Раньше звона раннего, сидели
На скамье, под ветхой белой хатой,
Мать да сын — и на море глядели.

— Милый сын, прости старухе старой:
Расскажи ей, отчего скучаешь, —
Головой, до времени чубарой,
Сумрачно и горестно качаешь?

Милый сын мой, в праздник люди кротки,
Небо ясно, горы в небе четки,
Синь залив, долины золотятся,
Сквозь весенний тонкий пар глядятся.

— Был я, мать, в темнице в Цареграде.
В кандалах холодных, на затворе,
За железной ржавою решеткой,
Да зато под ней шумело море.

Море пеной рассыпало гребни
По камням, на мелком сизом щебне,
И на щебне этом чьи-то дети,
Дети в красных фесочках, играли...

— Милый сын! Не дети: чертенята.
— Мать, молчи. Я чахну от печали.

В воскресенье, после литургии.
После полдня, к мужу подходила
Статная нарядная хозяйка,
Ласково за стол его просила.

Он сидел под солнцем, непокрытый.
Черный от загара и небритый,
Тер полою красного жупана
По горячей стали ятагана.

— Господин! Что вижу? Ты — в работе,
Двор не прибран, куры на омете,
Ослик бродит, кактус обгрызает,
Ян все утро с крыши не слезает.

Господин мой! Чем ты недоволен?
Ты ль не счастлив, не богат, не волен?

— Был, жена, я в пытке и на дыбе.
Восемь лет из плена видел воду,
Белый парус в светлых искрах зыби,
Голубые горы — и свободу...

— Господин! Свободу? Из темницы?
— Замолчи. Пират вольнее птицы.

В воскресенье божье, на закате
Было пусто в темной старой хате...
Кто добром разбойника помянет?
Как-то он на Страшный суд предстанет?

⟨1906—1910⟩

В ПЕРВЫЙ РАЗ

Ночью лампа на окне стояла,
Свет бросала в черный мокрый сад:
Желтую лесовку озаряла
И цветник, расцветший в листопад.

Нянька у окна, на табурете,
Штопала чулочки... Перед сном,
Раздеваясь, поглядели дети
На листву и мальвы под окном.

И пока дремали, забывались,
Думали о чем-то — в первый раз:
Сказкой нерассказанной казались
Дом, и сад, и этот поздний час.

Дом был стар, как терем у Кошеля,
Расцветала пестрядь у стекла,
И на свет глядела ночь, чернея...
Но зачем ты, нянька, не спала!

(1906—1910)

ПРИ ДОРОГЕ

Окно по ночам голубое,
Да ветхо и криво оно:
Сквозь стекла расплющенный месяц
Как тусклое блещет пятно.

Дед рано ложится, а внучке
Неволя: лежи и не спи
Да думай от скуки. А долги
Осенние ночи в степи!

Вчера чумаки проходили
По шляху под хатой. Была
Морозная полночь. Блестели
Колеса, рога у вола.

Тянулась арба за арбою,
И месяц глядел как живой
На шлях, на шагавшие тени.
На борозды с мерзлой ботвой...

У Каспия тони, там хватит
Работы на всех — и давно
Ушла бы туда с чумаками,
Да мило кривое окно.

28.1.11.

Гелуан (под Каиром)

★ ★ ★

Океан под ясною луной,
Теплой и высокой, бледнолицей,
Льется гладкой, медленной волной,
Озаряясь жаркою зарницей.

Всходят горы облачных громад:
Гавриил, кадя небесным Силам,
В темном фирмиаме царских врат
Блещет огнедышащим кадилом.

Индийский океан

25.11.11

★ ★ ★

Мелькают дали, черные, слепые,
Мелькает океана мертвый лик:
Бог разверзает бездны голубые,
Но лишь на краткий миг.

«Да будет свет!» Но гаснет свет, и сонный
Тяжелый гул растет вослед за ним:
Бог, в довременный хаос погруженный,
Мрак сотрясает ропотом своим.

26.11.11

НОЧЛЕГ

Мир — лес, ночной приют птицы.

Брамины

В вечерний час тепло во мраке леса,
И в теплых водах меркнет свет зари.
Пади во мрак зеленого навеса —
И, приютившись, замри..

А ранним утром, белым и росистым,
Взмахни крылом, среди листвы шурша,
И растворишься, исчезни в небе чистом —
Вернись на родину, душа!

Индийский океан, 11.11

ЗОВ

Как старым морякам, живущим на покое,
Все снится по ночам пространство голубое
И сети зыбких вант, — как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски,
Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья
Велят они вставать — в те страны, в те моря,
Где только бы тогда я кинул якоря,
Когда б заветную увидел Атлантиду.
В родные гавани вовеки я не ввижу,
Но знаю, что и мне, в предсмертных снах моих,
Все будет сниться сеть канатов смоляных
Над бездной голубой, над зыбью океана:
Да чутко встану я на голос Капитана!

8.VII.11

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

Те часики с эмалью, что впотьмах
Бежали так легко и торопливо,
Давным-давно умолкли. И крапива
Растет в саду на мусорных холмах.

Тот маятник лучистый, что спесиво
Соразмерял с футляром свой размах,
Лежит в пыли чердачного архива.
И склеп хранит уж безыменный прах.

Но мы служили праведно и свято.
В полночный час нас звезды серебрят,
Днем солнце озащает — до заката.

Позеленел наш медный циферблат.
Но стрелку нашу в диске циферблата
Ведет сам бог. Со всей вселенной в лад.

⟨1906—1911⟩

ИСТОЧНИК ЗВЕЗДЫ

Сирийский апокриф

В ночь рождения Исы,
Святого, любимого богом,
От востока к закату
Звезда уводила волхвов.

В ночь рождения Исы
По горным тропам и дорогам
Шли волхвы караваном
На таинственный зов.

Камнем крови, рубином
Горела звезда перед ними,
Протекала, склонялась —
И стала, служенье свершив:

За долиной, на склоне —
Шатры и огни в Рефаиме,
А в долине — источник
Под ветвями олив.

И волхвы, славословя,
Склонились пред теми огнями
И сказали. «Мы видим
Святого селенья огни».

И верблюды припали
К холодной воде меж камнями:
След копыт и доныне
Там, где пили они.

А звезда покатилась
И пала в источник чудесный:
Кто достоин — кто видит
В источнике темном звезду?

Только чистые девы,
Невесты с душой невестной,
Обрученные богу,
Но и то — раз в году.

(1906—1911)

МАТЕРИ

Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кровать
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»

Бывало, раздевает няня
И полушепотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К ее плечу меня клонит.

Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь...
Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кровати,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки...
Не ты ли ангелом была?

(1906—1911)

БЕЗ ИМЕНИ

Курган разрыт. В тяжелом саркофаге
Он спит, как страж. Железный меч в руке.
Поют над ним узорной вязью саги,
Беззвучные, на звучном языке.

Но лик сокрыт — опущено забрало.
Но плащ истлел на ржавленной броне.
Был воин, вождь. Но имя Смерть украла
И унеслась на черном скакуне.

(1906—1911)

ЛИМОННОЕ ЗЕРНО

В сырой избушке шорника Лукьяна
Старуха-бабка в донышке стакана
Растила золотистое зерно.
Да, видно, нам не ко двору оно.

Лукьян нетрезв, старуха как ребенок,
И вот однажды пестренький цыпленок,
Пища, залез на лавку, на хомут,
Немножко изловчился — и капут!

(1906—1911)

МУЖИЧОК

Ельничком, березничком — где душа захочет —
В Киев пробирается божий мужичок.
Смотрит, нет ли ягодки? Горбится, бормочет,
Съест и ухмыляется: я, мол, дурачок.
«Али сладко, дедушка?» — «Грешен: сладко, внучек».
«Что ж, и на здоровье. А куда идешь?»
«Я-то? А не ведаю. Вроде вольных тучек.
Со крестом да с верой всякий путь хорош».
Ягодка по ягодке — вот и слава богу:
Сыты. А завидим белые холсты,
Подойдем с молитвою, глянем на дорогу,
Сдернем, сунем в сумочку — и опять в кусты.

(1906—1911)

ДВОРЕЦКИЙ

Ночник горит в холодном и угрюмом
Огромном зале скупое и темно.
Дом окружен зловещим гулом, шумом
Столетних лип, стучащихся в окно.

Дождь льет всю ночь. То чудится, что кто-то
К крыльцу подъехал... То издали
Несется крик... А тут еще забота:
Течет сквозь крышу, каплет с потолка.

Опять вставай, опять возись с тазами!
И все при этом скудном ночнике,
С опухшими и сонными глазами,
В подштанниках и ветхом сюртучке!

⟨1906—1911⟩

КРИНИЦА

Торчит журавль над шахтой под горой.
Зарей в лугу краснеет плахта,
Гремит ведро — и звучною игрой,
Глубоким гулом вторит шахта.

В ее провале, темном и сыром —
Бездонный блеск. Журавль склоняет шею,
Скрипит и, захлебнувшись серебром,
Опять возносится над нею.

Плывет, качаясь, тяжелое ведро,
Сверкает жемчуг — и медленно вдоль луга
Идет она — и стройное бедро
Под красной плахтой так упруго.

⟨1906—1911⟩

ПЕСНЯ

На пирах веселых,
В деревнях и селах
Проводил ты дни.

Я в лесу сидела
Да в окно глядела
На кусты и пни.

Девки пряли, шили,
Дети с нянькой жили,
Я всегда одна —

Ласковой черницы,
Тише пленной птицы
И бледнее льна.

Я ли не любила?
Я ли не молила.
Чтоб господь помог?

А года летели,
Волоса седали...
И замок твой рог.

Солнце пред закатом
Бродит по палатам,
Вдоль дубовых стен.

Да оно не греет,
Да душа не смеет
Кинуть долгий плен.

.(1906—1911)

ЗИМНЯЯ ВИЛЛА

Мистраль качает ставни. Целый день
Печет дорожки солнце. Но за домом,
Где ледяная утренняя тень,
Мороз крупной лежит по водоемам.

На синеве и белый новый дом,
И белая высокая ограда
Слепят глаза. И слышится кругом
Звнящий полусонный шелест сада.

Качаясь, пальмы клонятся. Их жаль,—
Они дрожат, им холодно от блеска
Далеких гор... Проносится мистраль,
И дом белеет слишком резко.

.(1906—1911)

ПАМЯТИ

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты — раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель —
Певучий звон... Все — только мысль и звуки!

То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.

(1906—1911)

БЕРЕЗКА

На перевале дальнем, на краю
Пустых небес, есть белая березка:
Ствол, искривленный бурями, и плоско
Раскинутые сучья. Я стою,
Любуясь ею, в желтом голом поле.

Оно мертво. Где тень, пластами соли
Лежит мороз. Уж солнца низкий свет
Не греет их. Уж ни листочка нет
На этих сучьях, буро-красноватых,
Ствол резко-бел в зеленой пустоте...

Но осень — мир. Мир в грусти и мечте,
Мир в думах о прошедшем, об утратах.
На перевале дальнем, на черте
Пустых полей, березка одинока.
Но ей легко. Ее весна далеко.

(1906—1911)





1912—1917

ПСКОВСКИЙ БОР

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.

Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам,

Где зернь краснеет на калине,
Где гниль покрыта ржавым мхом
И ягоды туманно-сини
На можжевельнике сухом.

23.VII.12

ДВА ГОЛОСА

— Ночь, сынок, непроглядная,
А дорога глуха...

— Троеперого знахарю
Я отнес петуха.

— Лес, дремучий, разбойничий,
Темен с давних времен...

— Нож булатный за пазухой,
Горячо наточен!

— Реки быстры и холодны,
Перевозчики спят...

— За рекой ветер высушит
Мой нехитрый наряд!

— А когда же мне, дитяtko,
Ко двору тебя ждать?

— Уж давай мы как следует
Попрощаемся, мать!

23.VII.12.

ПРАЩУРЫ

Голоса с берега и с корабля

«Лицом к туманной зыби хороните
На берегу песчаном мертвецов...»

— Плыдем в туман. Над мачтою, в зените —
Туманный лик... Чей это слабый зов?

«Мы дышим ночью, морем и туманом,
Нам хорошо в его сыром пару...»

— А! На холме, пустынном и песчаном,
Полночный вихрь проносится в бору!

«Мы ль не любили зыбь и наши юмы?
Мы ль не крепили в бурю паруса?»

— В туман холодный, медленный, угрюмый,
Скрывается песчаная коса.

24.VII.12.

* * *

Ночь зимняя мутна и холодна,
Как мертвая, стоит в выси луна.
Из радужного бледного кольца
Глядит она на след мой у крыльца,

На тень мою, на молчаливый дом
И на кустарник в инее густом.
Еще блестит оконное стекло,
Но волчьей мглой поля заволокло,
На севере огни полных звезд
Горят из мглы, как из пушистых гнезд.

Снег меж кустов, туманно-голубой,
Осыпан жесткой серою крупой.
Таинственным дыханием гоним,
Туман плывет, — и я мешаюсь с ним.

И меркнет тень, и двинулась луна,
В свой бледный свет, как в дым, погружена,
И кажется, вот-вот и я пойму
Незримое — идущее в дыму
От тех земель, от тех предвечных стран,
Где гробовой чернеет океан,
Где, наступив на ледяную Ось,
Превыше звезд восстал Великий Лось —
И отражают бледные снега
Стоцветные горящие рога.

25.VII.12

НОЧНАЯ ЗМЕЯ

Глаза козюли, медленно ползущей
К своей норе ночью сонной пущей,
Горят, как угли. Сумрачная мгла
Стоит в кустах — и вот она зажгла
Два ночника, что зажигать дано ей
Лишь девять раз, и под колючей хвоей
Влачит свой жгут так тихо, что сова,
Плывя за ней, следит едва-едва
Шуршанье мхов. А ночь темна в июле,
А враг везде — и страшен он козюле
В ночном бору, где смолк обычный шум:
Она сосредоточила весь ум,
Всю силу зла в своем горящем взгляде,
И даже их, ежей, идущих сзади,
Пугает яд, когда она в пути
Помедлит, чтоб преграду обойти,

Головку приподымет, водит жалом
Над мухомором, сморщенным и алым,
Глядит на пни, торчащие из ям,
И светит полусонным муравьям.

28.VII.12

НА ПУТИ ИЗ НАЗАРЕТА

На пути из Назарета
Встретил я святую деву.
Каменистая синела
Самария вокруг меня,
Каменистая долина
Шла по ней, а по долине
Семенял ушастый ослик
Меж посевов ячменя.

Тот, кто гнал его, был в пыльном
И заплатанном кунбазе.
Стар, с блестящими глазами,
Сизо-черен и курчав.
Он, босой и легконогий,
За хвостом его поджатым
Гнался с палкою, вилая
От колючек сорных трав.

А на нем, на этом дробном,
Убегавшем мелкой рысью
Сером ослике, сидела
Мать с ребенком на руках:
Как спокойно поднялися
Аравийские ресницы
Над глубоким теплым мраком,
Что сиял в ее очах!

Поклонялся я, Мария,
Красоте твоей небесной
В странах франков, в их капеллах,
Полных золота, огней,
В полумраке величавом
Древних рыцарских соборов,
В полумгле стоцветных окон
Сакристий и алтарей.

Там, под плитами, починют
Короли, святые, папы,
Имена их полустерты
И в забвении дела.
Там твой сын, главой поникший,
Темный ликом, в муках крестных.
Ты же — в юности нетленной:
Ты, и скорбная, светла.

Золотой венец и ризы
Белоснежные — я всюду
Их встречал с восторгом тайным:
При дорогах, на полях,
Над бурунами морскими,
В шуме волн и криках часек,
В темных каменных пещерах
И на старых кораблях.

Корабли во мраке, в бурях
Лишь тобой одной хранимы.
Ты — Звезда морей: со скрипом
Зарываясь в пене их
И огни свои качая,
Мачты стойко держат парус,
Ибо кормчему незримо
Светит свет очей твоих.

Над безумием бурунов
В ясный день, в дыму прибоя,
Ты цветешь цветами радуг,
Ночью, в черных пастях гор,
Озаренная лампадой,
Ты, как лилия, белеешь,
Благодатно и смиренно
Преклонив на четки взор.

И к стопам твоим пречистым,
На алтарь твой в бедной нише
При дорогах меж садами,
Всяк свой дар приносим мы:
Сирота-служанка — ленту,
Обрученная — свой перстень,
Мать — свои святые слезы,
Запоньяр — свои псалмы.

Человечество, венчая
Властью божеской тиранов,
Обагрят руки кровью
В жажде злата и раба,
И само еще не знает,
Что оно иного жаждет,
Что еще раз к Назарету
Приведет его судьба!

31.VII.12

В СИЦИЛИИ

Монастыри в предгориях глухих,
Наследие разбойников морских,
Обитатели забытые, пустые —
Моя душа жила когда-то в них:
Люблю, люблю вас, келии простые,
Дворы в стенах тяжелых и нагих,
Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!

1.VIII.12

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

«Дай мне звезду, — твердит ребенок сонный, —
Дай, мамочка...» Она, обняв его,
Сидит с ним на балконе, на ступеньках,
Ведущих в сад. А сад, степной, глухой,
Идет, темнея, в сумрак летней ночи,
По скату к балке. В небе, на востоке,
Краснеет одинокая звезда.

«Дай, мамочка...» Она с улыбкой нежной
Глядит в худое личико: «Что, милый?»
«Вон ту звезду...» — «А для чего?» — «Играть...»

Лепечут листья сада. Тонким свистом
Сурки в степи скликаются. Ребенок
Спит на колене матери. И мать,
Обняв его, вздохнув счастливым вздохом,
Глядит большими грустными глазами
На тихую далекую звезду.

Прекрасна ты, душа людская! Небу,
Бездонному, спокойному, ночному,
Мерцанью звезд подобна ты порой!

1.VIII.12

БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ

Едет стрелок в зеленые луга,
В тех ли лугах осока да куга,
В тех ли лугах все чемёр да цветы,
Вешней водою низы налиты.
— Белый Олень, Золотые Рога!
Ты не топчи заливные луга.

Прянул Олень, увидавши стрелка,
Конь богатырский шатнулся слегка,
Плеткой стрелок по Оленю стebнул,
Крепкой рукой самострел натянул,
Да опустилась на гриву рука:
Белый Олень, погубил ты стрелка!

— Ты не стebай, не стреляй, молодец,
Примешь ты скоро заветный венец,
В некое время сгожусь я тебе,
С луга к веселой приду я избе:
Тут и забавам стрелецким конец —
Будешь ты дома сидеть, молодец.

Стану, Олень, на дворе я с утра,
Златом рогов освечу полдвора.
Сладким вином поезжан напою,
Всех особливей невесту твою:
Чтоб не мочила слезами лица,
Чтоб не боялась кольца и венца.

1.VIII.12

АЛИСАФИЯ

На песок у моря синего
Золотая верба клонится.
Алисафия за братьями
По песку морскому гонится.

— Что ж вы, братья, меня кинули?
Где же это в свете видано?
— Покорись, сестра: ты батюшкой
За морского Змея выдана.

— Воротитесь, братья милые!
Хоть еще раз прощаемся!
— Не гонись, сестра: мы к мачехе
Поспешаем, ворочаемся.

Золотая верба по ветру
Во все стороны клонилась.
На сырой песок у берега
Алисафия садилась.

Вот и солнце опускается
В огневую зыбь помория,
Вот и видит Алисафия:
Белый конь несет Егория.

Он с коня слезает весело,
Отдает ей повод с плеткою:
— Дай уснуть мне, Алисафия,
Под твоей защитой кроткою.

Лег и спит, и дрогнет с холоду
Алисафия покорная.
Тяжелеет солнце рдяное,
Стала зыбь к закату черная.

Закипела она пеною,
Зашумела, закурчавилась:
— Встань, проснись, Егорий-батюшка!
Шуму на море прибавилось.

Поднялась волна и на берег
Шибко мчит глаза змеинные:
— Ой, проснись, — не медли, суженый,
Ни минуты ни единые!

Он не слышит. спит, поконится.
И заплакала, закрылася
Алисафия — и тяжкая
По щеке слеза скатилась

И упала на Егория,
На лицо его, как олово.
И вскочил Егорий на ноги,
И срубил он Змею голову.

Золотая верба, звездами
Отягченная, склоняется,
С нареченным Алисафия
В божью церковь собирается.

VIII.12

ПОТОМКИ ПРОРОКА

Немало царств, немало стран на свете.
Мы любим тростниковые ковры,
Мы ходим не в кофейни, а в мечети,
На солнечные тихие дворы.

Мы не купцы с базара. Мы не рады,
Когда вступает пыльный караван
В святой Дамаск, в его сады, ограды:
Нам не нужны подачки англичан.

Мы терпим их. Но ни одежды белой,
Ни белых шлемов видеть не хотим.
Написано: чужому зла не делай.
Но и очей не подымай пред ним.

Скажи привет, но помни: ты в зеленом.
Когда придут, гляди на кипарис,
Гляди в лазурь. Не будь хамелеоном,
Что по стене мелькает вверх и вниз.

VIII.12

Шипит и не встает верблюд,
Ревут, урчат бока скотины.
— Ударь ногой. Уже поют
В рассвете алом муэззины.

Стамбул жемчужно-сер вдали,
От дыма сизо на Босфоре,
В дыму выходят корабли
В седое Мраморное море.

Дым смешан с холодом воды,
Он пахнет медом и ванилью,
И вами, белые сады,
И кизяком, и росной пылью.

Выносит красный самовар
Грек из кофейни под каштаном,
Баранов гонят на базар,
Проснулись нищие за ханом:

Пора идти, глядеть весь день
На зной и блеск, и все к востоку,
Где только птиц косая тень
Бежит по выжженному дроку.

VIII.12

УГОЛЬ

Могол Тимур принес малютке-сыну
Огнем горящий уголь и рубин.
Он мудрый был: не к камню, не к рубину
В восторге детском кинулся Имин.

Могол сказал: «Кричи и знай, что пленка
Уже легла на меркнувший огонь».
Но бог мудрей: бог пожалел ребенка —
Он сам подул на детскую ладонь.

VIII.12

СУДНЫЙ ДЕНЬ

В щит золотой, висящий у престола,
Копьем ударит ангел Израфил —
И саранчой вдоль сумрачного дола
Мы потечем из треснувших могил.

Щит загудит — и ты восстанешь, боже,
И тень твоя падет на судный дол,
И будет твердь подобна красной коже,
Повергнутой кожевником в рассол.

8.VIII.12

НОЯБРЬСКАЯ НОЧЬ

Туман прозрачный по полям
Идет навстречу мне,
Луны касаясь по краям,
Мелькая в вышине.
В полях не мало борозд, ям,
Невидных при луне.

Что там? Не речки ль полоса?
Нет, это зеленыя.
Блестит холодная роса
На гриве у коня —
И дышат ладаном леса,
Раскрытые до пня.

8.VIII.12

ЗАВЕСА

Так говорит господь: «Когда, мой раб любимый,
Читаешь ты Коран среди врагов моих,
Я разделяю вас завесою незримой,
Зане смешон врагам мой сладкозвучный стих».

И сокровенных чувств, и тайных мыслей много
От вас я утаил. Никто моих путей,
Никто моей души не знает, кроме бога:
Он сам нас разделил завесою своей.

8.VIII.12

РИТМ

Часы, шипя, двенадцать раз пробили
В соседней зале, темной и пустой,
Мгновения, бегущие чередой
К безвестности, к забвению, к могиле.

На краткий срок свой бег остановили
И вновь узор чеканят золотой:
Заворожен ритмической мечтой,
Вновь отдаюсь меня стремящей силе.

Раскрыв глаза, гляжу на яркий свет
И слышу сердца ровное биенье,
И атих строк размеренное пенье,
И мыслимую музыку планет.

Все ритм и бег. Бесцельное стремленье!
Но страшен миг, когда стремленье нет.

9.VIII.12

* * *

Как дым пожара, туча шла.
Молчала старая дорога.
Такая тишина была,
Что в ней был слышен голос бога,
Великий, жуткий для земли
И внятный не земному слуху,
А только внемлющему духу.
Жгло солнце. Блеклые, в пыли,
Серели травы. Степь роняла
Беззвучно зерна — рожь текла
Как бы крупинками стекла
В суглинок жаркий. Тонко, вяло,
Седые крылья распустив,
Птенцы грачей во ржи кричали.
Но в духоте песчаных нив
Терялся крик. И вырастали
На юге тучи. И листва
Ветлы, склоненной к их подножью,
Вся серебристой млела дрожью —
В грядущем страхе божества.

10.VIII.12

ГРОБНИЦА

Глубокая гробница из порфира.
Клоки парчи и два крутых ребра.
В костях руки — железная секира,
На черепе — венец из серебра.

Надвинут он на черные глазницы,
Сквозит на лбу, блестящем и пустом.
И тонко, сладко пахнет из гробницы
Истлевшим кипарисовым крестом.

10.VIII.12

СВЕТЛЯК

Леса, пески, сухой и теплый воздух,
Напев сверчков, таинственно простой.
Над головою — небо в бледных звездах,
Под хвоей — сумрак, мягкий и густой.

Вот и она, забытая, глухая,
Часовенка в бору: издалека
Мерцает в ней, всю ночь не потухая,
Зеленая лампадка светляка.

Когда-то озаряла нам дорогу
Другая в этой сумрачной глуши...
Но чья святей? Равно угоден богу
Свет и во тьме немеркнувшей души.

Под Себежем, 24.VIII.12

СТЕПЬ

Синий ворон от падали
Алый клюв поднимал и глядел.
А другие косились и прядали,
А кустарник шумел, шелестел.

Синий ворон пьет глазки до донушка,
Собирает по косточкам дань.
Сторона ли моя ты, сторонуща,
Вековая моя глухомань!

21.IX.12

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА

Среди кривых стволов, среди ветвей корявых
Ползет молочный дым: окуривают сад.
Все яблони в цвету — и пот, в зеленых травах,
Огни, как языки, краснеют и дрожат.

Бесцветный запад чист — жди к полночи мороза.
И соловьи всю ночь поют из теплых гнезд
В дурмане голубом дымящего навоза,
В серебряной пыли туманно-ярких звезд.

2.III.13

МАТРОС

Ночью в море крепко спать хотелось,
Измотало зыбью нашу барку,
На носу — угодника Николу,
На корме — малиновый фонарик.

А пришли к Патрасу — рассветает,
Море заштило, зеленеет,
На востоке, светлом, апельсином,
Розовеют снеговые горы.

У кого есть деньги, тот в кофейне,
Пьет мастику или чай с лимоном —
Э, успею выспаться! Скорее
Дай мне сыру и вина покрепче!

Сладко ослабею, сытый, пьяный,
Забурлю кальяном, а хозяин
Будет усмехаться — и от смеха
Нос его короткий станет клювом.

8.III.13

СВЯТОГОР

В чистом поле, у камня Алатыря,
Будит конь Святогора-богатыря:
Грудью пал на колчан Святогор.
Ворон по полю плавает, каркая.
Свет-заря помутилася жаркая.

Месяц встал на полночный дозор.

Ой, не спит Святогор,— притворяется!
Конь легонько копытом касается
До плеча в золоченой резьбе:
«Я ль не сытый пшеницею яровой?
Я ль не крытый полоною жаровой?
Мне ль Ивана носить на себе?»

В чистом поле, у камня Алатыря,
Светит месяц по шлему богатыря:
Принял божью смерть Святогор.
Конь вадыхает, ревет по-звериному:
Он служил господину единому!
А Иван распахнул бел шатер:

Он ползет по росе, подкрадывается,
Он татаринoм диким гоняется,
Он за гриву хватает коня.
Ночь за ночью идет, ворон каркает,
Ветром конь вкруг Алатыря шаркает,
Стременами пустыми звеня.

Анакапри, 8.III.13

ЗАВЕТ СААДИ

Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.

Трапезонд, VI.13

ДЕДУШКА

Дедушка ест грушу на лежанке,
Деснами кусает спелый плод.
Поднял плеч костлявые останки
И втянул в них череп, как урод.

Глазки — что коринки, со звериной
Пустотой и грустью. Все забыл.
Уж запасся гробовой холстиной,
Но к еде — какой-то лютый пыл.

Чует: отовсюду обступила,
Смотрит на лежанку, на кровать
Ждущая, томительная Сила...
И спешит, спешит он — дожевать.

19.VIII.13

МАЧЕХА

У меня, сироты, была мачеха злая.
В избу пустую ночью пришла я:

В темные леса гнала меня мати
Жито сырое молоть, просевати.

Много смолоча я — куры не пели,
Слышу — дверные крюки заскрипели,

Глянула — вижу железные роги,
Черную Мати, косматые ноги.

Брала меня Мати за правую руку,
Вела меня Мати к венцу да на муку.

За темные леса, за синие боры,
За быстрые реки, за белые горы.

Ой, да я леса прошла со свечами,
В плынь я плыла по рекам со слезами,

В трубы по белым горам я трубила:
Слушайте, люди, кого я любила!

20.VIII.13

ОТРАВА

Свекровь-госпожа в терему до полдён заспалась:
Спи, рódная, спи, я одна, молода, убралась!
Серьгу и кольцо я в бору колдуну отдала,
Питье на меду да на сладком корню развела.

И черен и смолен зеленый за теремом бор.
Сынок твой воротится, сыщёт под лавкой топор:
«Сынок, не буди меня: клонит старуху ко сну.
Сруби мне два дерева — ель да рудую сосну».

— Ии, ель на постель, а сосну? — «А ее на кровать:
На бархате смольном в гробу золотом почивать,
На хвое примятой княгиню положите вы,
С болотною мятой округ восковой головы...»

Уж как же я буду за церковью выть, голосить!
Уж как же я выйду на ране покосы косить!
В коралл, в костянику я косы свои уберу,
Шальною и дикой завьюсь, замотаюсь в бору!

20.VIII.13

МУШКЕТ

Видел сон Мушкет:
Видел он азовские подолья,
На бурьяне, на татарках — алый цвет,
А в бурьяне — ржавых копий колья.

Черт повил в жгуты,
Засушил в крови казачьи чубы.
Эх, Мушкет! А что же делал ты?
Видишь ли оскаленные зубы?

Твой крестовый брат
В Цареграде был посажен на кол.
Брат зовет Мушкета в Цареград —
И Мушкет проснулся и заплакал.

Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток.

И турецкий хан
Отрубил ему башку седую,
И швырнули ту башку в лиман,
И плыла она, качаясь, в даль морскую.

И глядела ввысь, —
К господу глаза ее глядели.
И господь утешил: «Не журись,
Не тужи, Мушкет, — попы тебя отпели».

VIII.13

ВЕНЕЦИЯ

Восемь лет в Венеции я не был...
Всякий раз, когда вокзал минуешь
И на пристань выйдешь, удивляет
Тишина Венеции, пьянеешь
От морского воздуха каналов.
Эти лодки, барки, маслянистый
Блеск воды, огнями озаренной,
А за нею низкий ряд фасадов
Как бы из слоновой грязной кости,
А над ними синий южный вечер,
Мокрый и ненастный, но налитый
Синевою мягкой, лиловой,—
Радостно все это было видеть!

Восемь лет... Я спал в давно знакомой
Низкой, старой комнате, под белым
Потолком, расписанным цветами.
Утром слышу — колокол: и звонко
И певуче, но не к нам взывает
Этот чистый одинокий голос,
Голос давней жизни, от которой
Только красота одна осталась!
Утром косо розовое солнце
Заглянуло в узкий переулок,
Озаряя отблеском от дома,
От стены напротив — и опять я
Радостную близость моря, воли
Ощутил, увидевши над крышей,
Над бельем, что по ветру трепалось,
Облаков сиреневые клочья
В жидком, влажно-бирюзовом небе.
А потом на крышу прибежала
И белое снимала, напевая,
Девушка с раскрытой головою,
Стройная и тонкая... Я вспомнил
Капри, Грациэллу Ламартина...
Восемь лет назад я был моложе,
Но не сердцем, нет, совсем не сердцем!

В полдень, возле Марка, что казался
Патриархом Сирии и Смирны,
Солнце, улыбаясь в светлой дымке,
Перламутром розовым слепило.

Солнце пригревало стены Дожей,
Площадь и воркующих, кипящих
Сизых голубей, клевавших зерна
Под ногами щедрых форестьеров.
Все блестело — шляпы, обувь, трости,
Щурились глаза, сверкали зубы,
Женщины, весну напоминая
Светлыми нарядами, раскрыли
Шелковые зонтики, чтоб шелком
Озаряло лица... В галерее
Я сидел, спросил газету, кофе
И о чем-то думал... Тот, кто молод,
Знает, что он любит. Мы не знаем —
Целый мир мы любим... И далеко,
За каналы, за лежавший плоско
И сиявший в тусклом блеске город,
За лагуны Адрии зеленой,
В голубой простор глядел крылатый
Лев с колонны. В ясную погоду
Он на юге видит Апеннины,
А на сизом севере — тройные
Волны Альп, мерцающих над синью
Платиной горбов своих ледяных...

Вечером — туман, молочно-серый,
Дымный, непроглядный. И пушисто
Зеленеют в нем огни, столбами
Фонари отбрасывают тени.
Траурно Большой канал чернеет
В россыпи огней, туманно-красных,
Марк тяжел и древен. В переулках —
Слякоть, грязь. Идут посередине,
В опере как будто. Сладко пахнут
Крепкие сигары. И уютно
В светлых галереях — ярко блещут
Их кафе, витрины. Англичане
Покупают кружево и книжки
С толстыми шершавыми листами,
В переплетах с золоченой вязью,
С грубыми застежками... За мною
Девочка пристряла — все касалась
До плеча рукою, улыбаясь
Жалостно и робко: «Mi d'un soldo!»¹

¹ «Дай мне сольдо!» (ит.)

Долго я сидел потом в таверне.
Долго вспоминал ее прелестный
Жаркий взгляд, лучистые ресницы
И лохмотья... Может быть, арабка?

Ночью, в час, я вышел. Очень сыро,
Но тепло и мягко. На пьяцетте
Камни мокры. Нежно пахнет морем,
Холодно и сыро воню скользких
Темных переулков, от канала —
Свежестью арбуза. В светлом небе
Над пьяцеттой, против папских статуй
На фасаде церкви — бледный месяц:
То сияет, то за дымом тает,
За осенней мглой, бегущей с моря.
«Не заснул, Энрико?» — Он беззвучно,
Медленно на лунный свет выводит
Длинный черный катафалк гондолы,
Чуть склоняет стан — и вырастает,
Стоя на корме ее... Мы долго
Плыли в узких коридорах улиц,
Между стен высоких и тяжелых...

В этих коридорах — баржи с лесом,
Барки с солью: стали и ночуют.
Под стенами — свая и ступени,
В плесени и слизи. Сверху — небо,
Лента неба в мелких бледных звездах...
В полночь спит Венеция, — быть может,
Лишь в притонах для воров и пьяниц,
За вокзалом, светят щели в ставнях,
И за ними глухо слышны крики,
Буйный хохот, споры и удары
По столам и столикам, залитым
Марсалай и вермутом... Есть прелесть
В этой поздней, в этой чадной жизни
Пьяниц, проституток и матросов!
«Но amato, amo, Desdemona»¹, —
Говорит Энрико, напевая,
И, быть может, слышит эту песню
Кто-нибудь вот в этом темном доме —
Та душа, что любит... За оградой

¹ «Я любил, люблю, Дездемона» (ит.).

Вижу садик; в чистом небосклоне —
Голые, прозрачные деревья,
И стеклом блестят они, и пахнет
Сад вином и медом... Этот винный
Запах листьев тоньше, чем весенний!
Молодость груба, жадна, ревнива,
Молодость не знает счастья — видеть
Слезы на ресницах Дездемоны,
Любящей другого...

Вот и светлый
Выход в небо, в лунный блеск и воды!
Здравствуй, небо, здравствуй, ясный месяц,
Перелив зеркальных вод и тонкий
Голубой туман, в котором сказкой
Кажутся вдали дома и церкви!
Здравствуйте, полночные просторы
Золотого млеющего взморья
И огни чуть видного экспресса,
Золотой бегущие цепочкой
По лагунам к югу!

30.VIII.13

Теплой ночью, горною тропинкой,
Я иду в оливковом лесу.
Вижу в небе белый, ясный месяц,
В сердце радость мирную несу.

Свет и тень по мне проходят сетью.
Редкий лес похож на серый сад.
Над горой далекой и высокой
Две звезды полночные лежат.

Вот и дома. Белый, ясный месяц —
Против белой мазанки моей.
И всю ночь хрустальными ручьями
Звон цикад журчит среди камней.

4.IX.13

МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА

Опять знакомый дом...

Огарев

Могильная плита, железная доска,
В густой траве врастающая в землю,—
И мне печаль могил понятна и близка,
И я родным преданьям внемлю.
И я «люблю людей, которых больше нет»,
Любовью всепрощающей, сыновней.
Последний их побег, я не забыл их след
Под старой, обветшалою часовней.
Я молодым себя, в своем простом быту,
На бедном их погосте вспоминаю.
Последний их побег, под эту же плиту
Приду я лечь — и тихо лягу — с краю.

6.IX.13

ПОСЛЕ ОБЕДА

Сквозь редкий сад шумит в тумане море —
И тянет влажным холодом в окно.
Сирена на туманном косяке
Мычит и мрачно и темно.

Лишь гимназистка с толстыми косами
Одна не спит, — одна живет иным,
Хватая жадно синими глазами
Страницу за страницей «Дым».

6.IX.13

ГОСПОДЬ СКОРБЯЩИЙ

Воззвал господь, скорбящий о Сионе,
И Ангелов Служения спросил:
«Погибли стяги, воинство и кони,—
Что сделал Царь, покорный богу Сил?»

И Ангелы Служения сказали:
«Он вретищем завесил тронный зал,
Он потушил светильники в том зале,
Он скорбь свою молчанием связал».

Воззвал господь: «И я завешу тьмою,
Как вретищем, мной созданную твердь,
Я потушу в ней солнце и сокрою
Лицо свое, да правит в мире Смерть!»

И отошел с покинутого трона
К тем тайникам, чье имя — Мистарим,
И плакал там о гибели Сиона,
Для Ангелов Служения незрим.

Капри, 10.III.14

ИАКОВ

Иаков шел в Харан и ночевал в пути,
Затем что пала ночь над той пустыней древней.
Царь говорит рабам: «Вот должен друг прийти.
Гасите все огни,— во мраке мы душевной».

Так повелел господь гасить светило дня,
Чтоб тайную вести с Иаковым беседу.
Чтоб звать его в ночь: «Восстань, бори меня —
И всей земле яви мой знак, мою победу!»

Капри, 10.III.14

МАГОМЕТ И САФИЯ

Сафия, проснувшись, заплетает ловкой
Голубой рукою пряди черных кос:
«Все меня ругают, Магомет, жидовкой». —
Говорит сквозь слезы, не стирая слез.

Магомет, с усмешкой и любовью глядя,
Отвечает кротко: «Ты скажи им, друг:
Авраам — отец мой, Моисей — мой дядя,
Магомет — супруг».

24.III.14

* * *

Плакала ночью вдова:
Нежно любила ребенка, но умер ребенок.
Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава,
Звезды светили, и плакал в закуте козленок.

Плакала мать по ночам.
Плачущий ночью к слезам побуждает другого:
Звезды слезами текут с небосклона ночного,
Плачет господь, рукава прижимая к очам.

24.III.14

ТОРА

Был с богом Моисей на дикой горной круче,
У врат небес стоял как в жертвенном дыму:
Сползали по горе грохочущие тучи —
И в голосе громов бог говорил ему.

Мешалось солнце с тьмой, основы скал дрожали,
И видел Моисей, как зиждилась Она:
Из белого огня — раскрытые скрижали,
Из черного огня — святые письма.

И стиль — незримый стиль, чертивший их узоры, —
Бог о главу вождя склоненного отер,
И в пламенном венце шел восприемник Торы
К народу своему, в свой стан и в свой шатер.

Воспойте песнь ему! Он радостней и краше
Светильника Седьми пред божьим алтарем:
Не от него ль зажгли мы пламенники наши,
Ни света, ни огня не уменьшая в нем?

Рим, 24.III.14

НОВЫЙ ЗАВЕТ

С Иосифом господь беседовал в ночи,
Когда святая мать с младенцем почивала:

«Иосиф! Близок день, когда мечи
Перекуют народы на орала.
Как нищая вдова, что плачет в час ночной
О муже и ребенке, как пророки
Мой древний дом оплакали со мной,
Так проливает мир кровавых слез потоки.
Иосиф! Я расторг с жестокими завет.

Исполни в радости господнее веленье:
Встань, возвратись в мой тихий Назарет —
И всей земле яви мое благоволение».

Рим, 24. III.14

ПЕРСТЕНЬ

Рубины мрачные цвели, чернели в нем,
Внутри пурпурно-кровяные,
Алмазы вспыхивали розовым огнем.
Дробясь, как слезы ледяные.

Бесценными играл заветный перстень мой,
Но затаенными лучами:
Так светит и горит сокрытый полутьмой
Старинный образ в царском храме.

И долго я глядел на этот божий дар
С тоскою, смутной и тревожной,
И опускал глаза, переходя базар,
В толпе крикливой и ничтожной.

7.1.15

Москва

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

7.1.15

Москва

* * *

Просыпаюсь в полумраке.
В занесенное окно
Смуглым золотом Исакий
Смотрит дивно и темно.

Утро сумрачное снежно,
Крест ушел в густую мглу.
За окном уютно, нежно
Жмутся голуби к стеклу.

Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.

17.1.15
Петербург

СВЯТОЙ ЕВСТАФИИ

Ловец великий перед богом,
Я алчен в молодости был.
В восторге буйном, злом и строгим,
По горным долам и отрогам
Я расточал мой ловчий пыл.

— Простите, девственные сени
Языческих родимых мест.
Ты сокрушил мои колени,
Смиренный Ваор, голгофский Крест.

Вот дал я волю пестрым сворам,
Узду коню: рога, рога
Летят над лиственным узором,
А я — за ними, пьян простором,
Погоней, жаждою врага.

— Простите, девственные сени,
Поющий лес, гремящий бор.
Ты сокрушил мои колени,
Голгофский Крест, смиренный Ваор:

Мрак и стволы великой чащи,
Органной труб умолкший ряд,
Ваор и смиренный и грозящий,
И Крест из пламени, горящий
В рогах, откинутых назад.

27.VIII.15
Васильевское

ПОЭТУ

В глубоких колодцах вода холодна,
И чем холоднее, тем чище она.
Пастух нерадивый напьется из лужи
И в луже напоит отару свою,
Но добрый опустит в колодезь бадью,
Веревку к веревке привяжет потуже.

Бесценный алмаз, оброненный в ночи,
Раб ищет при свете грошовой свечи,
Но зорко он смотрит по пыльным дорогам,
Он ковшиком держит сухую ладонь,
От ветра и тьмы ограждая огонь —
И знай: он с алмазом вернется к чертогам.

27.VIII.15

Васильевское

* * *

Взойди, о Ночь, на горний свой престол,
Стань в бездне бездн, от блеска звезд туманной,
Мир тишины исполни первою данной
И сонных вод смири немой глагол.

В отверстый храм земли, небес, морей
Вновь прихожу с мольбою и тоскою:
Коснись, о Ночь, целящею рукою,
Коснись чела как божий иерей.

Дала судьба мне слишком щедрый дар,
Виденья дня безмерно ярки были:
Росистый хлад твоей спитрахили
Да утолит души мятежный жар.

31.VIII.15

Васильевское

НЕВЕСТА

Я косы девичьи плела,
На подоконнике сидела,
А ночь созвездьями цвела,
А море медленно шумело,

И степь дрожала в полусне
Своим таинственным журчаньем...
Кто до тебя вошел ко мне?
Кто, в эту ночь перед венчаньем,
Мне душу истомил такой
Любовью, нежностью и мукой?
Кому я отдалась с тоской
Перед последнею разлукой?

2.IX.15

* * *

Роса, при бледно-розовом огне
Далекого востока, золотится.
В степи сидит пустушка на копне.
В степи рассвет, в степи роса дымится.

День впереди, столь радостный для нас,
А сзади ночь, похожая на тучу.
Спят пастухи. Бараны сбились в кучу,
Сверкая янтарями спящих глаз.

2.IX.15

ЦЕЙЛОН

Гора Алагалла

В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни,
В болотистых низах, в долинах рек — потоп.
Слоны залезли в грязь, стоят, поднявши бивни,
Сырые хоботы закинувши на лоб.

На тучах зелень пальм — безжизненной металла,
И, тяжело заступив графитный горизонт,
Глядит из-за лесов нагая Алагалла,
Как сизый мастодонт.

10.IX.15

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Пустынник нам сказал: «Благословен господь!
Когда я изнурял бунтующую плоть,
Когда я жил в бору над Малым Танаисом,
Я так скорбел порой, что жаловался крысам,
Сбегавшимся из нор на скудный мой обед,
Да спас меня господь от вражеских побед.
И знаете ли чем, какой утехой сладкой?
Я забавлял себя своею сирой хаткой,
Я мел в горах нашел — и за год раза три
Белил ее, друзья, снаружи и внутри.
Ах, темен, темен мир, и чувствуют лишь дети,
Какая тишина и радость в белом цветел!»

10.IX.15

ОДИНОЧЕСТВО

Худая компаньонка, иностранка,
Купалась в море вечером холодным
И все ждала, что кто-нибудь увидит,
Как выбежит она, полунагая,
В трико, прилипшем к телу, из прибоя.
Потом, надев широкий балахон,
Сидела на песке и ела сливы,
А крупный пес с гремящим лаем прядал
В прибрежную сиреневую кипень
И жаркой пастью радостно кидался
На черный мяч, который с криком «hop!»
Она швыряла в воду... Загорелся
Вдали маяк лучистою звездой...
Сырел песок, взошла луна над морем,
И по волнам у берега ломался,
Сверкал зеленый глянец... На обрыве,
Что возвышался сзади, в светлом небе,
Чернела одинокая скамья...
Там постоял с раскрытой головою
Писатель, пообедавший в гостях,
Сигару покурил и, усмехнувшись,
Подумал: «Полосатое трико
Ее на зебру делало похожей».

10.IX.15

К пещеру море шумней и мутней,
Парус и дальше и дымней.
Няньки по дачам разносят детей,
Ветер с Финляндии, зимний.

К морю иду — все песок да кусты,
Сосенник сине-зеленый,
С елок холодных срываю кресты,
Иглы из хвои вощенной.

Вот и скамья, и соломенный зонт,
Дальше обрыв — и туманный,
Мглисто-багровый морской горизонт,
Запад зловещий и странный.

А над обрывом все тот же гамак
С томной, капризной девицей,
Стул полотняный и с книжкой чудак,
Гнутый, в пенсне, бледнолицый.

Дремлет, качается в сетке она,
Он ей читает Бальмонта...
Запад темнеет, и свищет сосна,
Тучи плывут с горизонта...

11.IX.15

ВОЙНА

От кипарисовых гробниц
Взлетела стая черных птиц,—
Тюрбэ расстреляно, разбито.
Вот грязный шелковый покров,
Кораны с оттиском подков...
Как грубо конское копыто!

Вот чей-то сад; он черен, гол —
И не о нем ли мой осел
Рыдающим томится ревом?
А я — я, прокаженный, рад
Бродить, вдыхая горький чад,
Что тает в небе бирюзовом:

Пустой, разрушенный, немой,
Отныне этот город — мой,
Мой каждый спуск и переулок,
Мои все туфли мертвецов,
Домов руины и дворцов,
Где шум морской так свеж и гулок!

12.IX.15

ЗАСУХА В РАЮ

От пальм увядших слабы тени.
Ища воды, кричат в тоске
Среброголосые олени
И пожирают змей в песке.

В сухом лазоревом тумане
Очерчен солнца алый круг,
И сам творец сжимает длани,
Таит тревогу и испуг.

12.IX.15

* * *

У нубийских черных хижин
Мы в пути коней поили.
Вечер теплый, тихий, темный
Чуть светил шафраном в Ниле.

У нубийских черных хижин
Кто-то пел, томясь бесстрастно:
«Я тоскую, я печальна
Оттого, что я прекрасна...»

Мыши реяли, дрожали,
Буйвол спал в прибрежном иле,
Пахло горьким дымом хижин,
Чуть светили звезды в Ниле.

12.IX.15

* * *

В жарком золоте заката Пирамиды,
Вдоль по Нилу, на утеху иностранцам,
Шелком в воду светят парусные лодки
И бежит луксорский белый пароход.
Это час, когда за Нилом пальмы четки,
И в Каире блещут стекла алым глянцем,
И хедив в ландо катается, и гиды
По кофейням отдыхают от господ.

А сиреневые дали Нила к югу,
К дикой Нубии, к Порогам, смутны, зыбки
И все так же миру чужды, заповедны,
Как при Хуфу, при Камбизе... Я привез
Лук оттуда и колчан зелено-медный,
Шит из кожи бегемота, дротик гибкий,
Мех пантеры и суданскую кольчугу,
Но на что все это мне — вопрос.

13.IX.15

* * *

Что ты мутный, светел-месяц?
Что ты низко в небе ходишь,
Не по-прежнему сияешь
На серебранные снега?

Не впервой мне, месяц, видеть,
Что окно ее высоко,
Что краснеет там лампадка
За шелковой занавеской.

Не впервой я ворочаюсь
Из кружала наглый, пьяный
И всю ночь сижу от скуки
Под Кремлем с блаженным Ваней.

И когда он спит — дивуюсь!
А ведь кволий да и голый...
Все смеется, все бормочет,
Что башка моя на плахе
Так-то весело подскочит!

13.IX.15

Васильевское

КАЗНЬ

Туманно утро красное, туманно,
Да все светлей, белес на восходе,
За темными, за синими лесами,
За дымными болотами, лугами...
Вставайте, подымайтесь, псковичи!

Роса дождем легла на пыль,
На крыши изб, на торг пустой,
На золото церковных глав,
На мой помост средь площади...
Точите нож, мочите солью кнут!

Туманно солнце красное, туманно,
Кровавое не светит и не греет
Над мутными, над белыми лесами,
Над росными болотами, лугами...
Орите позвончее, бирючи!

— Давай, мужик, лицо умыть,
Сапог обуть, кафтан надеть,
Веди меня, вали под нож
В единый мах — не то держись:
Зубами всех заем, не оторвут!

13.IX.15

ШЕСТИКРЫЛЫЙ

Мозаика в Московском соборе

Алел ты в зареве Батыя —
И потемнел твой жуткий взор.
Ты крылья рыже-золотые
В священном трепете простер.

Узрел ты Грозного юрода
Монашеский истертый шлык —
И навсегда в изгибах свода
Застыл твой большеглазый лик.

14.IX.15

ПАРУС

Звездами вышит парус мой,
Высокий, белый и тугой,
Лик богоматери меж них
Сияет, благостен и тих.

И что мне в том, что берега
Уже уходят от меня!
Душа полна, душа строга —
И тонко светятся рога
Младой луны в закате дня.

14.IX.15

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

По лесам бежала божья мать,
Куньей шубкой запахнув младенца.
Стлалось в небе божье полотенце,
Чтобы ей не сбиться, не плутать.

Холодна, морозна ночь была,
Дива дивьи в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленою дымились,
По кустам сверкали без числа.

Две седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в ярой злобе,
Грызлись, бились и мотались обе,
Тяжело топтались на снегу.

А в дремучих зарослях, впотьмах,
Жались, табунились и дрожали,
Белым паром из ветвей дышали
Звери с бородами и в рогах.

И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.

21.X.15

СКАЗКА О КОЗЕ

Это волчьи глаза или звезды — в стволах на краю
перелеска?

Полночь, поздняя осень, мороз.
Голый дуб надо мной весь трепещет от звездного блеска,
Под ногою сухое хрустит серебро.

Затвердели, как камень, тропинки, за лето набитые.
Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза!
Расцветают, горят на железном морозе несытые
Волчьи, божьи глаза.

29.X.15

Васильевское

СВЯТИТЕЛЬ

Твой гроб, дубовая колода,
Стоял открытый, и к нему
Все шли и шли толпы народа
В душистом голубом дыму.

А на доске, тяжелой, черной,
Был смуглый золотой оклад,
Блистал твой образ чудотворный
В огнях малиновых лампад.

И, осеняя мир десницей
И в шуйцу взяв завет Христа,
Как горько ты, о темнолицый,
Иссохшие смыкал уста!

29.X.15

ЗАЗИМОК

Сивером на холоде
Обжигает желуды,
Листья и кору.
Свищет роща ржавая,
Жесткая, корявая
В поле на юру.

Ходят тучи с ношею,
Мерзлою порошею
Стало чаще дуть,
Сереблятся озими —
Скоро под полозьями
Задымится путь,

Заиграет вьюгою,
И листву муругую
Понесет смелей
По простору вольному,
Гулу колокольному
Стонущих полей!

29.X.15

* * *

Пустыня в тусклом, жарком свете.
За нею — розовая мгла.
Там минареты и мечети,
Их росписные купола.

Там шум реки, базар под сводом,
Сон переулков, тень садов —
И, засыхая, пахнут медом
На кровлях лепестки цветов.

30.X.15

АЛЕНУШКА

Аленушка в лесу жила,
Аленушка смугла была,
Глаза у ней горячие,
Блескучие, стоячие,
Мала, мала Аленушка,
А пьет с отцом — до донушка.
Пошла она в леса гулять,
Дружка искать, в кустах вилять,
Да кто ж в лесу встречается?
Одна сосна качается!
Аленушка соскучилась,
Безделием измучилась,

Зажгла она большой костер,
А в сушь огонь куда востер!
Сожгла леса Аленушка
На тыщу верст, до пенушка,
И где сама девалась —
Доныне не узналося!

〈30. X. 15〉

ИРИСА

Светло в светлице от окна,
Красавице на спится.
За черным деревом луна,
Как зеркальце, дробится.

Комар тоскует в полутьме,
В пуху лебяжьем знойно,
А что порою на уме —
И молвить непристойно.

Ириса дышит горячо,
Встает... А ножки босы,
Открыто белое плечо,
Смолой чернеют косы.

Ступает на ковер она
И на софу садится...
За черным деревом луна,
Склоняясь, золотится.

〈30. X. 15〉

СКОМОРОХИ

Веселые скоморохи,
Люди сметливые,
Поломайтесь, позабавьте
Свет боярина!
Скучно ему во палате!
Днем он выспался,
Шашки, сказки да побаски
Уж приелися.

На лежаночке в павлинах
Сел он, батюшка,
В желтом стеганом халате,
В ярь-мурмулочке.

Шибче, шибче, скоморохи!
Ишь как ожил он!
Глаза узкие, косые
Засветились,

Все лицо его тугое
Смехом сморщилось,
Корешки зубов из рота
Зачернелись...

Ах, недаром вы, собаки,
Виды видывали!
Шибче, шибче! Чтoб соседи
Нам завидовали!

(30.X.15)

МАЛАЙСКАЯ ПЕСНЯ

L'éclair vibre sa flèche...

L. de Lisle¹

Чернеет зыбкий горизонт,
Над белым блеском острых волн
Змеится молний быстрый блеск
И бьет прибой мой узкий челн.

Сырой и теплый ураган
Проносится в сыром лесу,
И сыплет изумрудный лес
Свою жемчужную красу.

Стою у хижины твоей:
Ты на циновке голубой,
На скользких лыках сладко спишь,
И ветер веет над тобой.

Ты спишь с улыбкой, мой цветок.
Пустая хижина твоя,
В ненастный вечер, на ветру,
Благоухает от тебя.

¹ Молния мечет свою стрелу... *Л. де Лиль (фр.)*

Ресницы смольные смежив,
Закрывши длинные глаза,
Окутав бедра кисеей,
Ты изогнулась, как лоза.

Мала твоя тугая грудь,
И кожа смуглая гладка,
И влажная нежна ладонь,
И крепкая кругла рука.

И золотые позвонки
Висят на щиколках твоих,
Янтарных, твердых, как кокос,
И сон твой беззаботный тих.

Но черен, черен горизонт!
Зловеще грому вторит гром,
Темнеет лес, и океан
Сверкает острым серебром.

Твои уста — пчелиный мед.
Твой смех счастливый — щебет птиц,
Но, женщина, люби лишь раз,
Не поднимай для всех ресниц!

Ты легче лани на бегу,
Но вот на лань, из тростников,
Метнулся розовый огонь
Двух желтых суженных зрачков:

О женщина! Люби лишь раз!
Твой смех лукав и лгал твой рот —
Клинок мой медный раскален
В моей руке — и метко бьет.

Вот пьяные твои глаза,
Вот побелевшие уста.
Вздувает буря парус мой,
Во мраке вьется блеск холста.

Клинком я голову отсек
В единый взмах от шеи прочь,
Косою к мачте привязал —
И снова в путь, во мрак и ночь.

Раскалывает небо гром —
И озаряет надо мной
По мачте льющуюся кровь
И лик, качаемый волной.

23.1.16

* * *

В столетнем мраке черной ели
Истлела темная заря,
И светляки в кустах горели
Зеленым дымом янтара.
И на скамье сидел я старой,
И парка сумеречный сон
Меня баюкал смутной чарой
Далеских дедовских времен.
И ты играла в темной зале
С открытой дверью на балкон,
И пела грусть твоей рояли
Про невозвратный небосклон,
Что был над садом — бледный, ровный,
Ночной, июньский, — тот, где след
Души счастливой и любовной,
Души моих далеских лет.

(1907 — 16.VII. 16)

СВЯТОГОР И ИЛЬЯ

На гривастых конях на косматых,
На золотых стремях на разлтых,
Едут братья, меньшей и старшой,
Едут сутки, и двое, и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают — ан гроб, да большой:

Гроб глубокий, из дуба долбленный,
С черной крышей, тяжелой, томленной,
Вот и поднял ее Святогор,
Лег, надвинул и шутит: «А в пору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на божий простор!»

Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул кверху... Да нет, погоди!
«Ты мечом!» — слышен голос из гроба.
Он за меч, — занимается злоба,
Загорается сердце в груди, —

Но и меч не берет: с виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит — там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!

Кинул биться Илья — божья воля.
Едет прочь вдоль широкого поля,
Утирает слезу... Отняла
Русской силы Земля половину:
Выезжай на иную путину,
На иные дела!

23.1.16

СВЯТОЙ ПРОКОПИЙ

Бысть некая зима
Всех зим иных лютейша паче.
Бысть нестерпимый мраз и бурный ветр,
И снег спаде на землю превеликий,
И храмины засыпа, и не токмо
В путех, но и во граде померзаху
Скоты и человецы без числа,
И птицы мертвы падаху на кровли.
Бысть в оны дни:
Святой своим наготствующим телом
От той зимы безмерно пострада.
Единожды он нощию прииде
Ко храминам убогих и хоте
Согреться у них; но ощутивше
Приход его, инии затворяху
Дверь перед ним, инии же его
Бияху и кричаще: — Прочь отсюда,
Отыде прочь, Юроде! — Он в угле
Псов обрете на снеге и соломе,

И ляже посреде их, но бегоша
Те пси его. И возвратися паки
Святой в притвор церковный и седе,
Согнуся и трясыйся и отчаяв
Спасение себе. — Благословенно
Господне имя! Пси и человецы —
Единое в свирепстве и уме.

23.1.16

СОН ЕПИСКОПА ИГНАТИЯ РОСТОВСКОГО

Изрину князя из церкви соборныя в полночь...

Летопись

Сон лютой снился мне: в полночь, в соборном храме,
Из древней усыпальницы княжой,
Шли смерды-мертвецы с дымящими свечами,
Гранитный гроб несли, тяжелый и большой.

Я поднял жезл, я крикнул: «В доме бога
Владыка — я! Презренный род, стоять!»
Они идут... Глаза горят... Их много...
И ни один не обратился вспять.

23.1.16

МАТФЕИ ПРОЗОРЛИВЫИ

М а т ф е й

Ночь и могильный мрак пещеры...
Бушует буря на реке,
Шумят леса... Кто это серый
Вход заслоняет вдалеке?
Опять ты, низкий искусьитель?

Д ь я в о л

Я, прозорливец, снова я!
Черней трубы твоя обитель,
Да ты ведь зорок, как змея,—
Тотчас заметишь!

М а т ф е й

Гнус презренный,
Тебе ль смеяться? Нет лютей
Врага для вас во всей вселенной,
Чем я, низайший из людей.

Д ь я в о л

Ах, прозорливец! Этим людям
Ты враг не менее, чем нам.
Давай уж лучше вместе будем
Ходить за ними по пятам.
Ты мастер зреть их помысленья,
Внедряться в тайну их сердец,
Не вовсе чужд, святой отец,
И я порядочного зренья:
Зачем же бесам враждовать?
Ты разве хуже бес, чем все мы?

М а т ф е й

Молчи, завистливая тать,
Тебе пути мои неведомы.

Д ь я в о л

Ну да, уж где мне! Ты пророк!
Ты разрушаешь наши козни,
Ты топчешь семя зла и розни,
Ты крепко правишь свой оброк!
Ты и стокий и стоухий!
Спроси тебя: «Ты почему
Исследуешь так жадно тьму?»—
Ты тотчас скажешь: «Там, как мухи,
Как червь на падали, кишат
Исчадия земли и ада —
Я не могу терпеть их смрада,
Я на борьбу спускаюсь в ад».
О ненасытная в гордыне
И беспощадная душа!
Нет в мире для тебя святыни,
Нет заповедного ковша,
Нет сокровенного потока:
Во всех ключах ты воду пил
И все хулил: «Вот в этом ил,
А в том — гниющая осока...»

М а т ф е й

Что отвечать мне твари сей,
Столь непотребной, скудоумной?
Мой скорбный рок, мой подвиг трудный
Он мерит мерою своей.
И тьма и хлад в моей пещере...
Одежды ветхи... Сплю в гробу...
О боже! Дай опору вере
И укрепи мя на борьбу!

24.1.16

КНЯЗЬ ВСЕСЛАВ

Князь Всеслав в железы был закован,
В яму брошен братскою рукой:
Князю был жестокий уготован
Жребий, по жестокости людской.
Русь, его призвав к великой чести,
В Кисв из темницы извела.
Да не в час он сел на княжьем месте:
Лишь копьем дотронулся Стола.
Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что теперь, вдали от мира, в схиме,
Вспоминает темный князь Всеслав?

Только звон твой утренний, София,
Только голос Кисва! — Долга
Ночь зимою в Полоцке... Другие
Избы в нем, и церкви, и снега...
Далеко до света, — чуть сереют
Мерзлые окошечки... Но вот
Слышит князь: опять зовут и млеют
Эпоны как бы ангельских высот!
В Полоцке звонят, а он иное
Слышит в тонкой грезе... Что года
Горестей, изгнаний! Неземное
Сердцем он запомнил навсегда.

24.1.16

* * *

Мне вечер, молодой, скучен терем был,
Темен свет-ночник, страшен Спасов лик.
Вотчим-батюшка самоцвет укрыл
В кипарисовый дорогой тайник!

А любезный друг далеко, в торгу,
Похваляется для другой конем,
Шубу длинную волочит в снегу,
Светит ей огнем, золотым перстнем.

24.1.16

* * *

Ты, светлая ночь, полнолунная высь!
Подайся, засов,— распахнишь,
Тяжелая дверь, на морозный простор,
На белый сияющий двор!

Ты, звонкая ночь, сребролунная даль!
Ах, если б не крепкая паль,
Не ржавый замок, не лихой володав,
Не батюшкин ласковый нрав!

24.1.16

БОГОМ РАЗЛУЧЕННЫЕ

В ризы черные одели,—
И ее в свой срок отпели,
Юную княжну.
Ангел келью затворил ей,
Старец-схимник подарил ей
Саван, пелену.

Дни идут. Вдали от света
Подвиг скорбного обета
Завершен княжной.
Вот она в соборе, в раке,
При лампадах, в полумраке,
В тишине ночной.

Смутны своды золотые,
Тайно воинства святые
Светят на стенах,
И стоит, у кипарисной
Дивной раки, с рукописной
Книгою, монах.

Синий бархат гробно вышит
Серебром... Она не дышит,
Лик ее сокрыт...
Но бледнеет он, читая,
И скользит слеза, блистая,
Вдоль сухих ланит.

25.1.16

КАДИЛЬНИЦА

В горах Сицилии, в монастыре забытом,
По храму темному, по выщербленным плитам,
В разрушенный алтарь пастух меня привел,
И увидал я там: стоит нагой престол,
А перед ним, в пыли, могильно-золотая,
Давно потухшая, давным-давно пустая,
Лежит кадильница — вся черная внутри
От угля и смолы, плававших в ней когда-то...

Ты, сердце, полное огня и аромата,
Не забывай о ней. До черноты сгори.

25.1.16

* * *

Когда-то, над тяжелой баркой
С широкодонною кормой,
Немало дней в лазури яркой
Качались снасти надо мной...

Пора, пора мне кинуть сушу,
Вздыхнуть свободней и полней —
И вновь крестить нагую душу
В купели неба и морей!

25.1.16

ДУРМАН

Дурману девочка наелась,
Тошнит, головка разболелась,
Пылают щечки, клонит в сон,
Но сердцу сладко, сладко, сладко:
Все непонятно, все загадка,
Какой-то звон со всех сторон:

Не видя, видит взор иное,
Чудесное и неземное,
Не слыша, ясно ловит слух
Восторг гармонии небесной —
И невесомой, бестелесной
Ее довел домой пастух.

Наутро гробик сколотили.
Над ним попели, покадили,
Мать порыдала... И отец
Прикрыл его тесовой крышкой
И на погост отнес под мышкой...
Ужели сказочке конец?

30.1.16

СОН

По снежной поляне,
При мглистой и быстрой луне,
В безлюдной, немой стороне,
Несут меня сани.

Лежу как мертвец,
Возница мой гонит и воеет,
И лик свой то кажет, то кроет
Небесный беглец.

И мчатся олени,
Глубоко и жарко дыша,
В далекие тундры спеша,
И мчатся их тени —

Туда, где конец
Страны этой бедной, суровой,
Где блещет алмазной подковой
Полярный Венец. —

И мерзлый кочкарник
Визжит и стучит подо мной,
И бог озаряет луной
Снега и кустарник.

30.1.16

ЦИРЦЕЯ

На треножник богиня садится:
Бледно-рыжее золото кос,
Зелень глаз и аттический нос —
В медном зеркале все отразится.

Тонко бархатом риса покрыт
Нежный лик, розовато-телесный,
Каплей нектара, влагой небесной,
Блещут серьги, скользя вдоль ланит.

И Улисс говорит: «О Цирцея!
Все прекрасно в тебе: и рука,
Что прически коснулась слегка,
И сияющий локоть, и шея!»

А богиня с улыбкой: «Улисс!
Я горжусь лишь плечами своими
Да пушком апельсинным меж ними,
По спине убегающим вниз!»

31.1.16

На Альпы к сумеркам нисходят облака.
Все мокро, холодно. Зеленая река
Стремит свой шумный бег по черному ущелью
К морским крутым волнам, гудящим на песке,
И зоркие огни краснеют вдалеке,
Во тьме от Альп и туч, под горной цитаделью.

31.1.16

У ГРОБНИЦЫ ВИРГИЛИЯ

Дикий лавр, и плющ, и розы,
Дети, тряпки по дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм,

Без границы и без края
Моря вольные края...
Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.

Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою землею,
А кому — не все ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Virgiliy,
Не моя и не твоя.

31.1.16

* * *

Синие обои полиняли,
Образа, дагерротипы сняли —
Только там остался синий цвет,
Где они висели много лет.

Позабыло сердце, позабыло
Многое, что некогда любило!
Только тех, кого уж больше нет,
Сохранился незабвенный след.

31.1.16

* * *

На поморни далеком,
В поле, ровном и широком,
Белый мак цветет,
И над пряхою-девицей
В небе месяц бледнолицый
Светит в свой черед.

А девица нитку сучит,
Сердце сонной грезой мучит
Да глядит вперед,
Где до моря-океана,
До полночного тумана
Белый мак цветет.

1.11.16

* * *

Там не светит солнце, не бывает ночи,
Не восходят зори.
За гранитным полем грозно блещет в очи
Смоляное море.

Над его ли зыбью, под великой тучей,
Мечется зарница,
А на белом камне, на скале горючей —
Дивная орлица:

Плещется крылами, красными, как пламень,
В этом море диком,
Все кого-то кличет и о белый камень
Бьется с лютым криком.

1.11.16

* * *

Лиман песком от моря отделен.
Когда садится солнце за Лиманом,
Песок бывает ярко позлащен.

Он весь в рыбалках. Белым караваном
Стоят они на грани вод, на той,
Откуда веет ветром, океаном.

В лазури неба, ясной и пустой,
Та грань чернеет синью вороненой
Из-за косы песчано-золотой.

И вот я слышу ропот отдаленный:
Навстречу крепкой свежести воды,
Вдыхая ветер, вольный и соленый,

Вдруг зашумели белые ряды
И, стоя, машут длинными крылами...
Земля, земля! Несчетные следы

Я на тебе оставил. Я годами
Блуждал в твоих пустынях и морях.
Я мерил неустанными стопами

Твой всюду дорогой для сердца прах:
Но нет, вовек не утолю я муки —
Любви к тебе! Как чайки на песках,

Опять вперед я простираю руки.

6.11.16

ЗЕРКАЛО

Темнеет зимний день, спокойствие и мрак
Нисходят на душу — и все, что отражалось,
Что было в зеркале, померкло, потерялось...
Вот так и смерть, да, может быть, вот так.

В могильной темноте одна моя сигара
Краснеет огоньком, как дивный самоцвет:
Погаснет и она, развеется и след
Ее душистого и тонкого угара...

Кто это заиграл? Чьи милые персты,
Чьи кольца яркие вдоль клавиш побежали?
Душа моя полна восторга и печали —
Я не боюсь могильной темноты.

10.11.16

МУЛЫ

Под сводом хмурых туч, спокойствием объятых, —
Ненастный день темнел и ночь была близка, —
Грядой далеких гор, молочно-синеватых,
На грани мертвых вод лежали облака.

Я с острова глядел на море и на тучи,
Остановясь в пути, — и горный путь, висясь
В обрыве сизых скал, белел по дикой круче,
Где шли и шли они, под ношею клонясь.

И звук их бубенцов, размеренный, печальный,
Мне говорил о том, что я в стране чужой,
И душу той страны, глухой, патриархальной,
Далекой для меня, я постигал душой.

Вот так же шли они при Цезарях, при Реме,
И так же день темнел, и вдоль скалистых круч
Лепился городок, сырой, забытый всеми,
И человек скорбел под сводом хмурых туч.

10.11.16

СИРОККО

Гул бури за горой и грохот отдаленных
Полуночных зыбей, бушующих в бреду.
Звон, непрерывный звон кузнечиков бессонных.
И мутный лунный свет в оливковом саду.

Как фосфор, светляки мерцают под ногами;
На тусклом блеске волн, облитых серебром,
Ныряет гробом челн... Господь смешался с нами
И мчит куда-то мир в восторге бредовом.

10.11.16.

ПСАЛТИРЬ

Бледно-синий загадочный лик
На увядшие розы поник,

И светильники гроб золотят,
И прозрачно струится их чад.

— Дни мои отошли, отцвели,
Я бездомный и чуждый земли:

Да возрадует дух мой господь,
В свет и жизнь облечет мою плоть!

Если крылья, как птица, возьму,
И низаринусь в подземную тьму,

Если горних достигну глубин,—
Всюду ты, и всегда, и един:

Укажи мне прямые пути
И в какую мне тварь низойти.

10.11.16

МИНЬОНА

В горах, от снега побелевших,
Туманно к вечеру синевших,
Тащилась на спине осла
Вязанка сучьев почерневших,
А я, в лохмотьях, следом шла.

Вдруг сзади крик — и вижу: сзади
Несется с гулом, полный клади,
На дышле с фонарем, дормез:
Едва метнулась я к ограде,
Как он, мелькнув, уже исчез.

В седых мехах, высок и строен,
Прекрасен, царственно спокоен
Был путешественник... Меня ль,
Босой и нищей, он достоин
И как ему меня не жаль!

Вот сплю в лачуге закопченной,
А он сравнит меня с Мадонной,
С лучом небесного огня,
Он назовет меня Миньоной
И влюбит целый мир в меня.

12.11.16

В ГОРАХ

Поэзия темна, в словах не выразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат,
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!

Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!»
Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,
И с завистью, с тоской я проезжаю мимо.

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!

12.11.16

ЛЮДМИЛА

На западе весною под вечер тучи сини,
Сырой землею пахнет, бальзамом тополей.
Я бросил фортепьяны, пошел гулять в долине,
Среди своих спокойных селений и полей.

Соседский сад сквозится по скатам за рекою,
Еще пустой, весенний, он грустен, как всегда.
Вон голая аллея с заветною скамьею,
Стволы берез поникших белеют в два ряда.

И видел я, как тихо ты по саду бродила,
В весеннем легком платье... Простудишься, дружок!
От тучи сад печален, а ты, моя Людмила?
От нежных дум о счастье? От чьих-то милых строк?

Ночной весенний ливень, с каким он шумом хлынул!
Как сладко в черном мраке его земля пила!
Зажгли мне восемь свечек, и я пасьянс раскинул,
И свечки длились блеском в зеркальности стола.

13.11.16

* * *

Стена горы — до небосвода.
Внизу голыш, шумит ручей.
Я напою коня у брода,
Под дымной саклею твоей.

На ледяном Казбеке блещет
Востока розовый огонь.
Бьет по воде, игриво плещет
Копытом легким потный конь.

13.11.16

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Над чернотой твоих пучин
Горели дивные светила,
И тяжело зыбь твоя ходила,
Взрывая огонь беззвучных мин.

Она глаза слепила нам,
И мы бледнели в быстром свете,
И сине-огненные сети
Текли по медленным волнам.

И снова, шумен и глубок,
Ты восставал и загорался —
И от звезды к звезде шатался
Великой тростью зыбкий фок.

За валом встречный вал бежал
С дыханьем пламенным муссона,
И хвост алмазный Скорпиона
Над чернотой твоей дрожал.

13.11.16

КОЛИЗЕЙ

Дул теплый ветер. Точно сея
Вечерний сумрак, жук жужжал.
Щербатый остов Колизея
Как чаша подо мной лежал.
Чернели и зияли стены
Вокруг меня. В глазницы их
Синела ночь. Пустырь арены
Был в травах, жестких и сухих...
Свет лунный, вечный, неизменный,
Как тонкий дым, белел на них.

13.11.16.

СТОИ, СОЛНЦЕ!

Летят, блестят мелькающие спицы,
Тоскую и дрожу,
А все вперед с летящей колесницы,
А все вперед гляжу.

Что впереди? Обрыв, провал, пучина,
Кровавый след зари...
О, если б власть и властный крик Навина:
«Стой, солнце! Стой, замри!»

13.II.16

* * *

Солнце полночное, тени лиловые
В желтых ухабах тяжелых зыбей.
Солнце не греет — на лица суровые
Падает светом холодных лучей.

Скрылись кресты Соловецкой обители.
Пусто — до полюса. В блеске морском
Легкою мглой убегают святители —
Три мужичка-старичка босиком.

7.IV.16

МОЛОДОСТЬ

В сухом лесу стреляет длинный кнут,
В кустарнике трещат коровы,
И синие подснежники цветут,
И под ногами лист шуршит дубовый.

И ходят дождевые облака,
И свежим ветром в сером поле дует,
И сердце в тайной радости тоскует,
Что жизнь, как степь, пуста и велика.

7.IV.16

УЕЗДНОЕ

Светит, сети ткёт паук...
Сумрак, жаркие подушки,
Костяной бегущий стук
Залихватской колотушки.
Светит, меркнет поплавок —
В золотистой паутине
Весь лампадный уголок..
Горячо мне на перине,
Высока моя постель...
Убаюкивает, тая,
Убегающая трель,
Костяная и пустая.

20.VI.16

В ОРДЕ

За степью, в приволжских песках,
Широкое алое солнце тонуло.
Ребенок уснул у тебя на руках,
Ты вышла из душной кибитки, взглянула
На кровь, что в зеркальные соли текла,
На солнце, лежавшее точно на блюде,—
И сладкой отрадой степного, сухого тепла
Подуло в лицо твоё, в потные смуглые груди.
Великий был стан за тобой:
Скрипели колеса, верблюды ревели,
Костры, разгораясь, в дыму пламенели,
И пыль поднималась багровою тьмой.
Ты, девочка, тихая сердцем и взором,
Ты знала ль в тот вечер, садясь на песок,
Что сонный ребенок, державший твой темный сосок,
Тот самый Могол, о котором
Во веки веков не забудет земля?
Ты знала ли, Мать, что и я
Восславлю его,— что не надо мне рая,
Христа, Галилеи и лилий ее полевых,
Что я не смиреннее их,—
Аттилы, Тимура, Мамаю,
Что я их достоин, когда,
Наскучив таиться за ложью,

Рву древнюю хартию божью,
Насилую, режу, и граблю, и жгу города?
— Погасла за степью слюда,
Дрожащее солнце в песках потонуло.
Ты скучно в померкшее небо взглянула
И, тихо вздохнувши, опять опустила глаза...
Несметною ратью чернели воза,
В синей ночи прохладой и горечью дуло.

Эп. I. 16

ЦЕЙЛОН

Окраина земли,
Безлюдные пустынные побережья,
До полюса открытый океан...

Матара — форт голландцев. Рвы и стены,
Ворота в них... Тенистая дорога
В кокосовом лесу, среди кокосов —
Лачуги сингалесов... Справа блеск,
Горячий зной сухих песков и моря...

Мыс Дондра в старых пальмах. Тут свежей,
Муссоном сладко тянет, под верандой
Гостиницы на сваях — шум воды:
Она, крутясь, перемывает камни,
Кипит атласной пеной...

Дальше — край,
Забутый богом. Джунгли низкорослы,
Холмисты, безграничны. Белой пылью
Слепят глаза... Меняют лошадей,
Толпятся дети, нищие... И снова
Глядишь на раскаленное шоссе,
На бухты океана. Пчелоеды,
В зелено-синих перьях, отдыхают
На золотистых нитях телеграфа...

Лагуна возле Ранни — как сапфир.
Вокруг алеют розами фламинги,
По лужам дремлют буйволы. На них
Стоят, белеют цапли, и с жужжаньем
Сверкают мухи... Сверху, из листвы,
Круглят глаза большие обезьяны...

Затем опять убогое селенье,
Десяток нищих хижин. В океане,
В закатном блеске,— розовые пятна
Недвижных парусов, а сзади, в джунглях,—
Сиреневые горы... Ночью в окна
Глядит луна... А утром, в голубом
И чистом небе — Коршуны Браминов,
Кофейные, с фарфоровой головкой:
Следят в прибое рыбу...

Вновь дорога:
Лазоревое озеро, в кольце
Из белой соли, заросли и дебри.
Все дико и прекрасно, как в Эдеме:
Торчат шипы акаций, защищая
Узорную нежнейшую листву,
Цветами рдеют кактусы, сереют
Стволы в густых лианах... Как огонь,
Пылают чаши лилии ползучей,
Тьмы мотыльков трепещут... На поляне
Лежит громада бурая: удав...
Вот медленно клубится, уползает...

Встречаются двуколки. Крыши их,
Соломенные, длинно выступают
И спереди и сзади. В круп бычков,
Запряженных в двуколки, тычут палкой:
«Мек, мек!» — кричит погонщик, весь нагой,
С прекрасным черным телом... Вот пески,
Пошли пальмиры, — ходят в синем небе
Их веерные листья — распевают
По джунглям петухи, но тонко, странно,
Как наши молодые... В высоте
Кружат орлы, трепещет зоркий сокол...

В траве перебегают грациозно
Песочники, бекасы... На деревьях
Сидят в венцах павлины... Вдруг бревном
Промчался крокодил — шлеп в воду, —
И точно порохом взорвало рыбок!

Тут часто слон встречается: стоит
И дремлет на поляне, на припеке;
Есть леопард, — он лакомка, он жрет,
Когда убьет собаку, только сердце;

Есть кабаны и губачи-медведи;
Есть дикобраз — бежит на водопой,
Подняв щетину, страшно деловито,
Угрюмо, озабоченно...

Отсюда.
От этих джунглей, этих берегов
До полюса открыто море...

27.VI.16

ОТЛИВ

В кипящей пене валуны,
Волна, блистая, заходила —
Ее уж тянет, тянет Сила
Всходящей за морем луны.

Во тьме кокосовых лесов
Горят стволы, дробятся тени —
Луна глядит — и, в блеске, в пене,
Спешит волна на тайный зов.

И будет час: луна в зенит
Войдет и станет надо мною,
Леса затопит белизною
И мертвый обнажит гранит,

И мир застынет — на весу,
И выйду я один — и буду
Глядеть на каменного Будду.
Сидящего в пустом лесу.

28.VI.16

БОГИНЯ

Навес кумирни, жертвенник в жасмине —
И девственности склоненных белый ряд.
Тростинки благовонные чадят
Перед хрустальной статуей богини,
Потупившей свой узкий, козий взгляд.

Лес, утро, зной. То зелень изумруда,
То хризолиты светят в хрустале.

На кованном из золота столе
Сидит она спокойная, как Будда,
Пречистая в раю и на земле.

И взгляд ее, загадочный и зыбкий,
Мерцает все бесстрастней и мертвей
Из-под косых приподнятых бровей,
И тонкою недоброю улыбкой
Чуть озарен блестящий лик у ней.

28.VI.16

В ЦИРКЕ

С застывшими в блеске зрачками,
В лазурной пустой вышине,
Упруго, качаясь, толчками
Скользила она по струне.

И скрипка таинственно пела,
И тысячи взоров впились
Туда, где мерцала, шипела
Пустая лазурная высь,

Где некая сжатая сила
Струну колебала, свистя,
Где тихо над бездной скользила
Наяда, лунатик, дитя.

28.VI.16

СПУТНИЦА

Шелковой юбкой шурша,
Четко стуча каблучками,
Ты выбегаешь дышать
Утром, морскими парами.

Мать еще спит, ты одна...
Палубу моют, смолою,
Темная, пахнет она,
Море — соленою мглою.

Мгlistая свежесть кругом
Смешана с золотом жарким
Раннего солнца, с теплом,
С морем цветистым и ярким.

Только что вымытых рук
Крепко и нежно пожатье,
В радостном взгляде — испуг
За башмаки и за платье:

С шваброй разутый матрос
Лезет, не выспавшись, чертом...
Льется, горит купорос,
Сине-лиловый, за бортом...

Ах, но на сердце тоска!
Скоро Афины, и скоро
Только кивнешь ты слегка
С полуопущенным взором!

28.VI.16

СВЯТИЛИЩЕ

Сверкала Ступа снежной белизною
Меж тонких и нагих кокосовых стволов,
И Храмовое Дерево от зною
Молочный цвет роняло надо мною
На черный камень жертвенных столов.

Под черепицей низкая вихара
Таила господа в святилище своем,
И я вошел в час солнечного жара
В его приют, принес ему два дара —
Цветы и рис — и посветил огнем:

Покоился он в сумраке пахучем,
Расписан золотом и лаками, пленен
Полдневным сном, блаженным и тягучим;
К его плечам, округлым и могучим,
Вдоль по груди всползал хамелеон:

Горел как ярь, сощуриль глаз кошачий,
Дул горло желтое и плетью опустил
Эмаль хвоста, а лапы раскорячил;
Зубчатый гребень, огненно-горячий,
Был ярче и острее адских пил.

И адскими картинами блистала
Вся задняя стена, — на страх душе земной,
И сушью раскаленного металла
Вихара полутемная дышала —
И вышел я на вольный свет и зной.

И снова сел в двуколку с сингалесом,
И голый сингалес, коричневый Адам,
Погнал бычка под веерным навесом
Высоких пальм, сквозным и жарким лесом,
К священным водоемам и прудам.

29.VI.16

ФЕСКА

Мятую красную феску мастер водой окропил,
Кинул на медный горячий болван и, покрывши
Медною феской, формою с ручками, давит,
Крутит за ручки, а красная феска шипит
На раскаленном болване...
Твердая, теплая выйдет из формы она,
Гордо наденешь ее и в кофейне
Сядешь мечтать и курить, не стыдись за лохмотья
И за курдюк на верблюжьих штанах, весь в заплатках.
Холодно, сыро, в тумане морской горизонт,
В бухте зеленой качаются голые мачты,
Липкая грязь на базаре,
Горы в свинцовом дыму... Но цветут, розовеют сады,
Мглистые, синие, сладостно дремлют долины...
Женщина, глянь, проходя, сквозь сияющий шелковый газ
На золотые усы и на твердую красную феску!

30.VI.16

ВЕЧЕРНИЙ ЖУК

На лиловом небе
Желтая луна.
Путается в хлебе
Мрачная струна:

Шорох жесткокрылый —
И дремотный жук
Потянул унылый,
Но спокойный звук.

Я на миг забылся,
Оглянулся — свет
Лунный воцарился,
Вечера уж нет:

Лишь луна да небо
Да бледнее льна
Зреющего хлеба
Мертвая страна.

30.VI.16

* * *

Рыжими иголками
Устлан косогор,
Сладко пахнет елками
Жаркий летний бор.

Сядь на эту скользкую
Золотую сушь
С песенкою польскою
Про лесную глушь.

Темнота ветвистая
Над тобой висит,
Красное, лучистое,
Солнце чуть сквозит.

Дай твои ленивые
Девичьи уста,
Грусть твою счастливая,
Песенка проста.

Сладко пахнет елками
Потаенный бор,
Скользкими иголками
Устлан косогор.

30.VI.16

ДОЧЬ

Все снится: дочь есть у меня,
И вот я, с нежностью, с тоской,
Дождаясь радостного дня,
Когда ее к венцу убрали,
И сам, неловкою рукой,
Поправил газ ее вуали.

Глядеть на чистое чело,
На робкий блеск невинных глаз
Не по себе мне, тяжело,
Но все ж бледнею я от счастья,
Крестя ее в последний час
На это женское причастье.

Что снится мне потом? Потом
Она уж с *ним*, — как страшен он! —
Потом мой опустевший дом —
И чувством молодости странной,
Как будто после похорон,
Кончается мой сон туманный.

2.VII.1916

КОНЧИНА СЯТИТЕЛЯ

И скрылось солнце жаркое в лесах,
И звездная пороша забелела.
И понял он: достигнувший предела,
Исчисленный, он взвешен на весах.

Вот точно дуновенье в волосах,
Вот снова сердце пало и сомлело;
Как стынет лес, что миг хладеет тело,
И блещет снегом пропасть в небесах.

В епитрахили, в поручах, с распятым,
От скудного, последнего тепла,
Навстречу чьим-то ледяным объятьям,
Выходит он из темного дупла.

Трава в росе. Болото дымом млечным
Лежит в лесу. Он на коленях. С Вечным.

3.VII.16

Льет без конца. В лесу туман.
 Качают елки головою:
 «Ах, боже мой!» — Лес точно пьян,
 Пресыщен влагой дождевою.

В сторожке темной у окна
 Сидит и ложкой бьет ребенок.
 Мать на печи, — все спит она,
 В сырых сенах мычит теленок.

В сторожке грусть, мушиный гуд...
 — Зачем в лесу звенит овсянка,
 Грибы растут, цветы цветут
 И травы яркие, как медянка?

Зачем под мерный шум дождя,
 Томясь всем миром и сторожкой,
 Большоголовое дитя
 Долбит о подоконник ложкой?

Мычит теленок, как немой,
 И клонят горестные елки
 Свои зеленые иголки:
 «Ах, боже мой! Ах, боже мой!»

7.VII.1916

РУСЛАН

Гранитный крест меж сосен, на песчаном
 Крутом кургане. Дальше — золотой
 Горячий блеск: там море, там, в стеклянном
 Просторе вод — мир дивный и пустой...
 А крест над кем? Да бают — над Русланом.

И сходят наземь с седел псковичи,
 Сымают с плеч тяжелые мечи
 И преклоняют шлемы пред курганом,
 И зоркая сорока под крестом
 Качает длинным траурным хвостом,
 Вдоль по песку на блеске моря скачет —
 И что-то прячет, прячет...

Морской простор — в доспехе золотом.

16.VII.16

Край без истории. Все лес да лес, болота,
Трясины, заводи в ольхе и тростниках,
В столетних яворах... На дальних облаках —
Заката летнего краса и позолота,
Вокруг тепло и блеск. А на низах уж тень,
Холодный сивый дым... Стою, рублю кремень,
Курю, стираю пот... Жар стынет — остро, сыро
И пряно пахнет глушь. Невидимого клира
Тончайшие поют и ноют голоса,
Столбом толчется гнус, таинственно и слабо
Свистят в куге ужи... Вот гаснет полоса
Чуть греющих лучей, вот завохтала жаба
В дымящейся воде... Колтунный край древян,
Русь киевских князей, медведей, лосей, туров,
Полесье бортников и черных смолокуров —
И теплых сумерек краснеющий шафран.

16.VII.16

ПЛОТЫ

С востока дует холодом, чернеет зыбь реки
Напротив солнца низкого и плещет на пески.

Проходит зелень бледная, на отмелях кусты,
А ей навстречу — желтые сосновые плоты.

А на плотях, что движутся с громадою реки
Напротив зыби плещущей, орут плотовщики.

Мужицким пахнет варевом, костры в дыму трещат —
И рдеет красным заревом на холоде закат.

16.VII.16

Он видел смоль ее волос,
За ней желтел крутой откос,
Отвесный берег, а у ног
Волна катилась на песок,
И это зыбкое стекло
Глаза слепило — и текло

Опять назад... Был тусклый день,
От пролетавших чаек тень
Чуть означалась на песке,
И серебристой пеленой
Терялось море вдалеке,
Где небеса туманил зной;
Был южный ветер,— горячо
Ей дуло в голое плечо,
Скользило жаром по литым
Ногам кирпично-золотым,
С приставшей кое-где на них
Перловой мелкой шелухой
От стертых раковин морских,
Блестящей, твердой и сухой...
Он видел очерк головы
На фоне бледной синевы,
Он видел грудь ее. Но вот
Накинут пламенный капот
И легкий газовый платок,
Босую ногу сжал чувяк,—
Она идет наверх, где дрок
Висит в пыли и рдеет мак,
Она идет, поднявши взгляд
Туда, где в небе голубом
Встают сиреневым горбом
Обрывы каменных громад,
Где под скалистой крутизной
Сверкает дача белизной
И смольно-синий кипарис
Верхушку мягко клонит вниз.

22.VII.16

* * *

Полночный звон степной пустыни,
Покой небес, тепло земли,
И горький мед сухой полыни,
И бледность звездная вдали.

Что слушает моя собака?
Вне жизни мы и вне времен.
Звнящий сон степного мрака
Самим собой заворочен.

22.VII.16

ДЕДУШКА В МОЛОДОСТИ

Вот этот дом, сто лет тому назад,
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад.
Роса, цветы, а он глядел живыми
Сплошь темными глазами в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, надушен,
Меж тем как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон,
Торжественный и празднично-счастливый,
Напоминал, что в должный срок
Пойдет он по аллеям, где струится
С полей нагретый солнцем ветерок
И золотистый свет дробится
В тени раскидистых берез,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчелы теплый мед,
Где иволга то вскрикивает резко,
То окариною поет,
А вдалеке, за валом сада,
Спешит народ, и краше всех — она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнем потупленного взгляда.

22.VII.16

ИГРОКИ

Овальный стол, огромный. Вдоль по залу
Проходят дамы, слуги — на столе
Огни свечей, горящих в хрустале,
Колеблются. Но скупое внимлет балу,
Гремящему в банкетной, и речам
Мелькающих по залу милых дам
Круг игроков. Все курят. Беглым светом
Блестят огни по жирным эподетам.

Зал, белый весь, прохладен и велик.
Под люстрой тень. Меж золотисто-смуглых
Больших колонн, меж окон полукруглых —

Портретный ряд — вон Павла плоский лик,
Вон шелк и груди важной Катерины,
Вон Александра узкие досины...
За окнами — старинная Москва
И звездной зимней ночи синева.

Задумчивая женщина прижала
Платок к губам; у мерзлого окна
Сидит она, спокойна и бледна,
Взор устремив на тусклый сумрак зала,
На одного из штатских игроков,
И чувствует он тьму ее зрачков,
Ее очей, недвижных и печальных,
Под топот пар и гром мазурок бальных.

Немолод он, и на руке кольцо.
Весь выбритый, худой, костлявый, стройный,
Он мечет зло, со страстью беспокойной.
Вот поднимает желчное лицо, —
Скользит под красновато-черным коком
Лоск костяной на лбу его высокою, —
И говорит: «Ну что же, генерал,
Я, кажется, довольно проиграл? —

Не будет ли? И в картах и в любви
Мне не везет, а вы счастливый муж,
Вас ждет жена...» — «Нет, Стоцкий, почему ж?
Порой и я люблю волненье крови», —
С усмешкой отвечает генерал.
И длится штос, и длится светлый бал...
Пред ужином, в час ночи, генерала
Жена домой увозит: «Я устала».

В пустом прохладном зале только дым,
В столовых шумно, говор и расспросы,
Обносят слуги тяжкие подносы,
Князь говорит: «А Стоцкий где? Что с ним?»
Муж и жена — те в темной колымаге,
Спешат домой. Промерзлые сермяги,
В заиндевевших шапках и лаптях,
Трясутся на передних лошадях.

Москва темна, глуха, пустынна, — поздно.
Визжат, стучат в ухабах подреза,
Возок скрипит. Она во все глаза

Глядит в стекло — там, в синей тьме морозной,
Кудрявится деревьев серых мгла
И мелкие блистают купола...
Он хмурится с усмешкой: «Да, вот чудо!
Нет Стоцкому удачи ниоткуда!»

22.VII.16

КОНЬ АФИНЫ-ПАЛЛАДЫ

Запели жрецы, распахнулись врата — восхищенный
Пал на колени народ:
Чудовищный конь, с расписной головой, золоченый,
В солнечном блеске грядет.

Горе тебе, Илион! Многолюдный, могучий, великий,
Горе тебе, Илион!
Ревом жрецов и народными кликами дикий
Голос Кассандры — пророческий вопль — заглушен!

22.VII.16

* * *

Архистратиг средневековый,
Написанный века тому назад
На церковке одноголовой,
Был тонконог, весь в стали и крылат.
Кругом чернел холмистый бор сосновый,
На озере, внизу, стоял посад.
Текли года. Посадские мещане
К нему ходили на поклон.
Питались тем, чем при царе Иване, —
Поставкой в город древка для икон,
Корыт, латков, — и правил Рыцарь строгий
Работой их, заботой их убогой,
Да хмурил брови тонкие свои
На песни и кулачные бои.
Он говорил всей этой жизни брэнной,
Глухой, однообразной, неизменной,
Про дивный мир небесного царя, —
И освещала с грустью сокровенной
Его с заката бледная заря.

23.VII.16

Хозяин умер, дом забит,
 Цветет на стеклах купорос,
 Сарай крапивою зарос,
 Варок, давно пустой, раскрыт,
 И по хлевам чадит навоз...
 Жара, страда... Куда летит
 Через усадьбу шалый пес?

На голом остове варка
 Ночуют старые сычи,
 Днем в тополях орут грачи,
 Но тишина так глубока,
 Как будто в мире нет людей...
 Мелеет теплая река,
 В степи желтеет море ржей...
 А он летит — хрипят бока,
 И пена льется с языка.

Летит стрелою через двор,
 И через сад, и дальше, в степь,
 Кровав и мутен яркий взор,
 Оскален клык, на шее цепь...
 Помилуй бог, спаси Христос,
 Сорвался пес, забесился пес!

Вот рожь горит, зерно течет,
 Да кто же будет жать, вязать?
 Вот дым валит, набат гудет,
 Да кто ж решится заливать?
 Вот встанет бесноватых рать
 И, как Мамай, всю Русь пройдет...
 Но пусто в мире — кто спасет?
 Но бога нет — кому карать?

23.VII.16

ПОСЛЕДНИЙ ШМЕЛЬ

Черный бархатный шмель, золотое плечье,
 Заунывно гудящий певучей струной,
 Ты зачем залетаешь в жилье человешь
 И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, подоконники яркие,
Безмятежны и жарки последние дни,
Полетай, погуди — и в засохшей татарке,
На подушечке красной, усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!

26.VII.16

* * *

В норе, домами сдавленной,
Над грязью стертых плит,
Фонарик, весь заржавленный,
Божницу золотит.

Темна нора, ведущая
Ступеньками к горе,
Груба толпа, бредущая
С поклажею к норе.

Но всяк тут замедляется
И смотрит, недвижим,
Как Дева озаряется
Фонариком своим.

И кротостью усталые
Полны тогда черты,
И милы Деве алые
Бумажные цветы.

6.VIII.16

* * *

Вот он снова, этот белый
Город турок и болгар,
Небо синее, мечети,
Черепица крыш, базар,
Фески, зелень и бараны
На крюках без головы,

В черных пятнах под засохшим
Серебром нагой плевры...
Вот опять трактир знакомый,
Стол без скатерти, прибор
И судок, где перец с солью,
Много крошек, всякий сор...
Я сажусь за стол, как дома,
И засученной рукой,
Волосатую и смуглой,
Подает графин с водой
И тарелку кашкавала
Пожилой хозяин, грек,
Очень черный и серьезный,
Очень храбрый человек...

9.VIII.16

БЛАГОВЕСТИЕ О РОЖДЕНИИ ИСААКА

Они пришли тропинкою лесною,
Когда текла полдневная жара
И в ярком небосклоне предо мною
Кудрявилась зеленая гора.

Я был как дуб у черного шатра,
Я был богат стадами и казною,
Я сладко жил утехою землею,
Но вот пришли: «Встань, Авраам, пора!»

Я отделил для вестников телицу.
Ловя ее, увидел я гробницу,
Пещеру, где оливковая жердь,

Пылая, озаряла двух почивших,
Гроб праотцев, Эдема нас лишивших,
И так сказал: «Рожденье чад есть смерть!»

10.VIII.16

* * *

Настанет день — исчезну я,
А в этой комнате пустой
Все то же будет: стол, скамья
Да образ, древний и простой.

И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку —
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.

И так же будет неба дно
Смотреть в открытое окно,
И море ровной синевой
Манить в простор пустынный свой.

10.VIII.16

ПАМЯТИ ДРУГА

Вечерних туч над морем шла гряда,
И золотисто-светлыми столпами
Сияла безграничная вода,
Как небеса лежавшая пред нами.
И ты сказал: «Послушай, где, когда
Я прежде жил? Я странно болен — снами,
Тоской о том, что прежде был я бог...
О, если б вновь обнять весь мир я мог!»

Ты верил, что откликнется мгновенно
В моей душе твой бред, твоя тоска,
Как помню я усмешку, неизменно
Твои уста кривившую слегка,
Как эта скорбь и жажда — быть вселенной,
Полями, морем, небом — мне близка!
Как остро мы любили мир с тобою
Любовью неразгаданной, слепую!

Те радости и муки без причин,
Та сладостная боль соприкасання
Душой со всем живущим, что один
Ты разделял со мною, — нет названья,
Нет имени для них, — и до седины
Я донесу порывы воссоздания
Своей любви, своих плененных сил...
А ты их вольной смертью погасил.

И прав ли ты, не превозмогший тесной
Судьбы своей и жребия творца,
Лишенного гармонии небесной,

И для чего я мучусь без конца
В стремление вновь дать некий вид телесный
Чертам уж бестелесного лица,
Зачем я этот вечер вспоминаю,
Зачем ищу ничтожных слов,— не знаю.

12.VIII.16

НА НЕВСКОМ

Колеса мелкий снег взрывали и скрипели,
Два вороных надменно пролетели,
Каретный кузов быстро промелькнул,
Блеснувши глянцем стекол мерзлых,
Слуга, сидевший с кучером на козлах,
От вихрей голову нагнул,
Поджал губу, синевшую щетиной,
И ветер веял красной пелериной
В орлах на позументе золотом...
Все пронеслось и скрылось за мостом,
В темнеющем буране... Зажигали
Огни в несметных окнах вокруг меня,
Чернели грубо баржи на канале,
И на мосту, с дыбящего коня
И с бронзового юноши нагого,
Повисшего у диких конских ног,
Дымились клочья праха снегового...

Я молод был, безвестен, одинок
В чужом мне мире, сложном и огромном,
Всю жизнь я позабыть не мог
Об этом вечере бездомном.

27.VIII.16

* * *

Тихой ночью поздний месяц вышел
Из-за черных лип.
Дверь балкона скрипнула,— я слышал
Этот легкий скрип.
В глупой ссоре мы одни не спали,
А для нас, для нас
В темноте аллей цветы дышали
В этот сладкий час.

Нам тогда — тебе шестнадцать было,
Мне семнадцать лет,
Но ты помнишь, как ты отворила
Дверь на лунный свет?
Ты к губам платочек прижимала,
Смокшийся от слез,
Ты, рыдая и дрожа, роняла
Шпильки из волос,
У меня от нежности и боли
Разрывалась грудь...
Если б, друг мой, было в нашей воле
Эту ночь вернуть!

27.VIII.16

ПОМПЕЯ

Помпея! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только римские следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

28.VIII.16

КАЛАБРИЙСКИЙ ПАСТУХ

Лохмотья, нож — и цвета черной крови
Недвижные глаза...
Сон давних дней на этой древней ноши.
Поют дрозды. Пять-шесть овец, коза.

Кругом, в пустыне каменистой,
Желтеет дрок. Вдали руины, храм.
Вдали полдневных гор хребет лазурно-мглистый
И тени облаков по выжженным буграм.

28.VIII.16

КОМПАС

Качка слабых мучит и пьянит.
Круглое окошко поминутно
Гасит, заливая хлябью мутной —
И трепещет, мечется магнит.

Но откуда б, в ветре и тумане,
Ни швыряло пеной через борт,
Верю — он опять поймает Nord,
Крепко сплю, мотаясь на диване.

Не собьет с пути меня никто.
Некий Nord моей душою правит,
Он меня в скитаньях не оставит,
Он мне скажет, если что: не то!

28.VIII.16

* * *

Покрывало море свитками
Древней хартии своей
Берег с пестрыми кибитками
Забавлявшихся людей.

Вот зима — и за туманами
Скрылось солнце. Дик и груб,
Океан гремит органами,
Гулом раковинных труб.

В свисте бури крик мерещится,
И высокая луна
Ночью прыгает и плещется
Там, где мечется волна.

29.VIII.16

АРКАДИЯ

Ключ гремит на дне теснины,
Тень широкая сползла
От горы до половины
Белознойного русла.
Истекают, тают сосны
Разогретою смолой,
И зиждитель скиптроносный
Дышит сладостною мглой.
Пастухи его видали:
Он покоится в тени,
И раскинуты сандалий
Запыленные ремни.
Золотою скользкой броней,
Хвоей, устлана гора —
И тяжка от благовоний
Сосен темная жара.

29.VIII.16

КАПРИ

Проносились над островом зимние шквалы и бури
То во мгле и дожде, то в сиянии яркой лазури,
И качались, качались цветы за стеклом,
За окном мастерской, в красных глиняных вазах,—
От дождя на стекле загорались рубины в алмазах
И свежее цветы расцветали на лоне морском.
Ветер в раме свистал, раздувал серый пепел в камине,
Градом сек по стеклу — и опять были ярки и сини
Средиземные зыби, глядевшие в дом,
А за тонким блестящим стеклом,
То на мгле дождевой, то на водной синевшей пустыне,
В золотой пустоте голубой высоты,
Все качались, качались дышавшие морем цветы.
Проносились февральские шквалы. Светлее и жарче сияли
Африканские дали,
И утихли ветры, зацвели
В каменистых садах миндали,
Появились туристы в панاماх и белых ботинках
На обрывах, на козьих тропинках —
И к Сицилии, к Греции, к лилиям божьей земли,

К Палестине

Потянуло меня... И остался лишь пепел в камине
В опустевшей моей мастерской,
Где всю зиму качались цветы на синевшей пустыне морской.

30.VIII.16

* * *

Едем бором, черными лесами.
Вот гора, песчаный спуск в долину.
Вечерест. На горе пред нами
Лес щетинит новую вершину.

И темным-темно в той новой чаще,
Где опять скрывается дорога,
И враждебен мой ямщик молчащий,
И надежда в сердце лишь на бога,

Да на бег коней нетерпеливый,
Да на этот нежный и певучий
Колокольчик, плачущий счастливо,
Что на свете все авось да случай.

9.IX.16

ПЕРВЫЙ СОЛОВЕЙ

Таает, сияет луна в облаках.
Яблони в белых кудрявых цветах.

Зыбь облаков и мелка и нежна.
Возле луны голубая она.

В холоде голых, прозрачных аллей
Пробует цокать, трещит соловей.

В доме, уж темном, в раскрытом окне,
Девочка косы плетет при луне.

Сладок и нов ей весенний рассказ,
Миру рассказанный тысячу раз.

2.X.16

СРЕДИ ЗВЕЗД

Настала ночь, остыл от звезд песок.
Скользя в песке, я шел за караваном,
И Млечный Путь, двоящийся поток,
Белел над ним светящимся туманом.

Он дымчат был, прозрачен и высок.
Он пропадал в горах за Иорданом,
Он ниспадал на сумрачный восток,
К иным звездам, к забытым райским странам.

Скользя в песке, шел за верблюдом я.
Верблюд чернел, его большое тело
На верховом качало ствол ружья.

Седло сухое деревом скрипело,
И верховой кивал, как неживой,
Осыпанной звездами головой.

28.X.16.

* * *

Бывает море белое, молочное,
Всем зримый Апокалипсис, когда
Весь мир одно молчание полночное,
Армады звезд и мертвая вода:

Предвечное, могильное, грозящее
Созвездиями небо — и легко
Дымящееся жемчугом, лежащее
Всемирной плащаницею млеко.

28.X.16

ПАДУЧАЯ ЗВЕЗДА

Ночью, звездной и студеной,
В тонком сумраке полей —
Ослепительно зеленый
Разрывающийся змей.

О, какая ярость злая!
Точно дьявол в древний миг
Низвергается, пылая,
От тебя, Архистратиг.

30.X.16

* * *

Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий.
Море плавится в заливе драгоценной синевой.
Вниз бегу. Обрыв за мною против солнца желтый, яркий,
А холмистое побережье блещет высушенной травой.

Вниз сбежавши, отдыхаю. И лежу, и слышу, лежа,
Несказанное безмолвье. Лишь кузнечики сипят
Да печет нещадно солнце. И горит, чернеет кожа,
Сонным хмелем входит в тело огневой полдневный яд.

Вспоминаю летний полдень, небо светлое... В просторе
Света, воздуха и зноя, стройно, молодо, легко
Ты выходишь из кабинки. Под тобою, в сваях, море,
Под ногой горячий мостик... Этот полдень далеко...

Вот опять я молод, волен,— миновало наше лето...
Мотыльки горячим роем осыпают предо мной
Пересохшие бурьяны. И раскрыта и нагрета
Опустевшая кабинка... В мире радость, свет и зной.

30.X.16

ПОЭТЕССА

Большая муфта, бледная щека,
Прижатая к ней томно и любовно,
Углом колени, узкая рука...
Нервна, притворна и бескровна.

Все принца ждет, которого все нет,
Глядит с мольбою, горестно и смутно:
«Пучков, прочтите новый триолет...»
Скучна, бесполо и распутна.

3.1.16

ЗАКЛИНАНИЕ

Из тонкогорлого фиала
Я золотое масло лью
На аравийскую жаровню,
На жертву тайную мою:

«Приди ко мне, замороженной!
Приди к невенчанной жене,
Супруг невенчанный, сраженный
Стрелой в неведомой стране!»

И угли вспыхивают длинным
Зеленым пламенем — и дым,
Лизурный, теплый и угарный,
По бедрам стелется нагим.

И лоб мой стынет, каменеет,
Глаза мутятся, сердце ввысь
Томительная сила тянет,
И груди остро поднялись:

Я предаюсь Тебе, я чую
Твой аромат и наготу
И на предплечьях золотые
Браслеты в ледяном поту!

(26.1.16)

МОЛОДОЙ КОРОЛЬ

То не красный голубь метнулся
Темной ночью над черной горою —
В черной туче метнулась зарница,
Осветила плетни и хаты,
Громом гремит далеким.

— Ваша королевская милость,—
Говорит королю Елена,
А король на коня садится,
Пробует, крепки ль подпруги,
И лица Елены не видит,—
Ваша королевская милость,
Пожалейте ваше королевство,
Не ездите ночью в горы:
Вражий стан, ваша милость, близко.

Король молчит, ни слова,
Пробует, крепко ли стремя.

— Ваша королевская милость,—
Говорит королю Елена,—
Пожалейте детей своих малых,
Молодую жену пожалейте,
Жениха моего пошлите!

Король в ответ ей ни слова,
Разбирает в темноте поводья,
Смотрит, как светит на горе зарница.

И заплакала Елена горько
И сказала королю тихо:
— Вы у нас ночевали в хате,
Ваша королевская милость,
На беду мою ночевали,
На мое великое счастье.
Побудьте еще хоть до света,
Отца моего пошлите!

Не пушки в горах грохочут —
Гром по горам ходит,
Проливной ливень в лужах плещет,
Синяя зарница освещает
Дождевые длинные иглы,
Вороненую черноту ночи,
Мокрые соломенные крыши,
Петухи поют по деревне,—
То ли спросонья, с испугу,
То ли к веселой ночи...
Король сидит на крыльце хаты.

Ах, хороша, высока Елена!
Смело шагает она по навозу,
Ловко засыпает коню корма.

(Не позднее февраля 1916)

КОБЫЛИЦА

Я снял узду, седло — и вольно
Она метнулась от меня,
А я склонился богомольно
Пред солнцем гаснущего дня.

Она взмахнула легкой гривой
И, ноздри к ветру обратив,
С тоскою нежной и счастливой
Кому-то страстный шлет призыв.

Едины божии созданья,
Благословен создавший их
И совместивший все желанья
И все томления — в моих.

⟨3.II.16⟩

НА ИСХОДЕ

Ходили в мире лже-Мессии,—
Я не прельстился, угадал,
Что блуд и срам их литургии
И речь — бряцающий кимвал.

Своекорыстные пророки,
Лжецы и скудные умы!
Звезда, что будет на востоке,
Еще среди глубокой тьмы.

Но на исходе сроки ваши:
Вновь проклят старый мир — и вновь
Пьет Сатана из полной чаши
Идоложертвенную кровь!

6.II.16

ГАДАНЬЕ

Гадать? Ну что же, я послушна,
Давай очки, подвинь огонь...
— Ах, как нежна и простодушна
Твоя открытая ладонь!

Но ты потупилась, смущаясь?
В лице румянца ни следа,
В ресницах слезы? — Не беда:
Бледнеют розы, раскрываясь.

⟨10.V.16⟩

ЭЛЛАДА

Меж островов Архипелага
Есть славный остров. Он пустой,
В нем есть подобье саркофага.
Сиял рассвет, туман с водой
Мешался в бездны голубые,
Когда увидел я впервые
В тумане, в ладане густом,
Его алевшую громаду,—
В гробу почившую Элладу,—
На небе ясно-золотом.
Из-за нее, в горячем блеске,
Уже сиял лучистый бог,
И нищий эллин в грязной феске
Спал на корме у наших ног.

⟨16.VII.16⟩

РАБЫНЯ

Странно создан человек!
Оттого что ты рабыня,
Оттого что ты без страха
Отскочила от поэта
И со смехом диск зеркальный
Поднесла к его морщинам,—
С вящей жаждой вождельня
Смотрит он, как ты прижалась,
Вся вперед подавшись, в угол,
Как под желтым шелком остро
Встали маленькие груди,
Как сияет смуглый локоть,
Как смолисто пали кудри
Вдоль ливийского лица,
На котором черным солнцем
Светят радостно и знойно
Африканские глаза.

⟨1916⟩

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчел и ос, от солнца золотых.
Старишься, подруга дорогая?
Не беда! Вот будет ли такая
Молодая старость у других!

1916

ГРОТ

Волна, хрустальная, тяжелая, лизала
Подножие скалы,— качался водный сплав,
Горбами шел к скале,—волна росла, сосала
Ее кровавый мох, медленно вползала
В отверстие грота, как удав,—
И вдруг темнел, переполнялся бурным,
Гремящим шумом звучный грот
И вспыхивал таким лазурным
Огнем его скалистый свод,
Что с криком ужаса и смехом
Кидался в сумрак дальних вод,
Будя орган пещер тысячекратным эхом,
Наяд пугливый хоровод.

(1916)

ГОЛУБЬ

Белый голубь летит через море,
Через сине-зеленое море,
Белый голубь Киприды завидел,
Что стоишь ты на жарком песке,
Что кипит белоснежная пена
По твоим загорелым ногам,
Он пернатой стрелою несется
Из-за волн, где грядой голубою
Тают в солнечной мгле острова,
Долетев, упадает в восторге
На тугие холодные груди,
Орошенные пылью морской,
Трепеща, он уста твои ищет,

А горячее солнце выходит
Из прозрачного облака, зноем,
Точно маслом, тебя обливает —
И Киприда с божественным смехом
Обнимает тебя выше бедр.

(1916)

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

Наполовину вырубленный лес,
Высокие дрожащие осины
И розовая облачность небес:
Ночной порой из сумрачной ложины
Въезжаю на отлогий косогор
И вижу заалевшие вершины,
С таинственною нежностью, в упор
Далеким озаренные пожаром.
Остановясь, оглядываюсь: да,
Пожар! Но где? Опять у нас, — не даром
Вчера был сход! И крепко повода
Натягиваю, слушая неясный,
На дождь похожий, лепет в вышине,
Такой дремотно-сладкий и бесстрастный
К тому, что там и что так страшно мне.

27.VI.17

УКОРЫ

Море с голой степью говорило:
«Это ты меня солончаками
И полынью горькой отравила,
Жарко дуя жесткими песками!

Я ли не господняя криница?
Да не пьет ни дикий зверь, ни птица
Из волны моей солено-жгучей,
Где остался твой песок летучий!»

Отвечает степь морской пустыне:
«Не по мне ли, море, ты ходило,
Не по мне ли, в кипени и сини,
За волной волну свою катило?

Я ли виновата, что осталась,
В час, когда со мной ты расставалось,
Белой солью кипень снеговая,
Голубой полынью синь живая?»

11.VIII.17

ЗМЕЯ

Зашелестела тонкая трава,
Струею темной побежала —
И вдруг взвилась и смотрит цифра 2,
Как волосок, трепещет жало...

Исчадие, проклятое в раю,
Какое наслаждение расплющить
Головку копьевидную твою,
Твой лик раскосый и зовущий!

25.VIII.17

* * *

Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны,
Черный ряд кипарисов в квадрате высокой стены,
Белизна мавзолеев, блестящих на солнце кругом,
Зимний холод мистраля, пригретый весенним теплом,
Шум и свежесть валов, что, как сосны, шумят за стеной,
И небес гиаинт в снеговых облаках надо мной.

29.VIII.17

* * *

Как много звезд на тусклой синеве!
Весь небосклон в их траурном уборе.
Степь выжжена. Густая пыль в траве.
Чернеет сад. За ним — обрывы, море.
Оно молчит. Весь мир молчит — затем,
Что в мире бог, а бог от века нем.

Сажусь на камень теплого балкона.
Он озарен могильно, — бледный свет

Разлит от звезд. Не слышно даже звона
Ночных цикад... Да, в мире жизни нет.
Есть только бог над горными огнями,
Есть только он, несметный, ветхий днями.

29.VIII.17

* * *

Вид на залив из садика таверны.
В простом вине, что взял я на обед,
Есть странный пкус — вкус виноградно-серный —
И розопатый цвет.

Пью под дождем, — весна здесь прихотлива,
Миндаль цветет на Капри в холода, —
И смутно в синеватой мгле залива
Далекie белеют города.

10.IX.17

* * *

Роняя снег, проходят тучи,
И солнце резко золотит
Умбрийских гор нагие кручи,
Сухой кустарник и гранит.

И часто в тучах за горами
Обрывки радуги цветут —
Святые нимбы над главами
Анахоретов, живших тут.

12.IX.17

ЛУНА

Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая.
Тогда велит господь, творящий чудеса,
Светилу новому взойти на небеса.

— Сияй, сияй, Луна, все выше поднимая
Свой, Солнцем данный лик. Да будет миру весть,
Что День мой догорел, но след мой в мире — есть.

15.IX.17

У ворот Сиона, над Кедроном,
На бугре, ветрами обожженном,
Там, где тень бывает от стены,
Сел я как-то рядом с прокаженным,
Евшим зерна спелой белены.

Он дышал невыразимым смрадом,
Он, безумный, отравлялся ядом,
А меж тем, с улыбкой на губах,
Поводил кругом блаженным взглядом,
Бормоча: «Благословен аллах!»

Боже милосердый, для чего ты
Дал нам страсти, думы и заботы,
Жажду дела, славы и утех?
Радостны калеки, идиоты,
Прокаженный радостнее всех.

16.IX.17

ЭПИТАФИЯ

На земле ты была точно дивная райская птица
На ветвях кипариса, среди золоченых гробниц.
Юный голос звучал, как в полуденной роще цевница,
И лучистые солнца сияли из черных ресниц.

Рок отметил тебя. На земле ты была не жилица.
Красота лишь в Эдеме не знает запретных границ.

19.IX.17

ВОСПОМИНАНИЕ

Золотыми цветут остриями
У кровати полночные свечи.
За открытым окном, в черной яме,
Шепчет сад беспокойные речи.

Эта тьма, дождевая, сырая,
Веет в горницу свежим дыханьем —
И цветы, золотясь, вырастая,
На лазурном дрожат основание.

Засыпаю в постели прохладной,
Очарован их дрожью растущей.
Молодой, беззаботный, с отрадной
Думой-песней о песне грядущей.

19.IX.17

ВОЛНЫ

Смотрит на море старый Султан
Из серая, из окон Дивана:
В море — пенистых волн караван,
Слышен говор и гул каравана:

«Мы зеленые, в белых чалмах,
Мы к Стамбулу спешим издалека,—
Мы сподобились зреть, падишах,
И пустыню и город пророка!»

Понимает укоры Султан
И склоняет печальные вежды...
За тюбаном белеет тюбан,
И зеленые веют одежды.

19.IX.17

ЛАНДЫШ

В голых рощах веял холод...
Ты светился меж сухих,
Мертвых листьев... Я был молод,
Я слагал свой первый стих —

И навек сроднился с чистой
Молодой моей душой
Влажно-свежий, водянистый,
Кисловатый запах твой!

19.IX.17

СВЕТ НЕЗАКАТНЫЙ

Там, в полях, на погосте,
В роще старых берез,
Не могилы, не кости —
Царство радостных грез.

Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей —
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.
Не плита, не распятие —
Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.
Разве ты одинока?
Разве ты не со мной
В нашем прошлом, далеком,
Где и я был иной?
В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, бывшего
Нет давно и меня!

24.IX.17

* * *

О радость красок! Снова, снова
Лазурь сквозь яркий желтый сад
Горит так дивно и лилово,
Как будто ангелы глядят.

О радость радостей! Нет, знаю,
Нет, верю, господи, что ты
Вернешь к потерянному раю
Мои томленья и мечты!

24.IX.17

* * *

Стали дымом, стали выше
Облака, — лазурь сквозит
И на шиферные крыши
Голубой водой скользит.

Что с того, что крыши стары
И весенний воздух сыр!
Даже запахом сигары
Снова сладок божий мир.

27.IX.17

* * *

Ранний, чуть видный рассвет,
Сердце шестнадцати лет.

Сада дремотная мгла
Липовым цветом тепла.

Тих и таинственен дом
С крайним заветным окном.

Штора в окне, а за ней
Солнце вселенной моей.

27.IX.17

* * *

Смятение, крик и визг рыбалок
На сальной, радужной волне...
Да, мир живых и зол и жалок,
И в нем порою тяжело мне.

Вот — сколько ярости бессильной,
Чтоб растащить тугой моток
Кишки зеленовато-мыльной,
Что парходный бросил кок!

28.IX.17

* * *

Мы рядом шли, но на меня
Уже взглянуть ты не решалась,
И в ветре мартовского дня
Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капли,
Бледна была твоя щека,
И как цветы глаза синели.

Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,
Но был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.

28.IX.17

* * *

Белые круглятся облака,
Небо в них сгущается, чернея...
Как весной стройна и высока
В этом небе мраморном аллея!

Серый ствол на солнце позлащен,
А вершины встали сизым дымом...
Помню, помню: жаркий день под Римом,
Мраморный апрельский небосклон...

29.IX.17

* * *

Мы сели у печки в прихожей,
Одни, при угасшем огне,
В старинном заброшенном доме,
В степной и глухой стороне.

Жар в печке угрюмо краснсет,
В холодной прихожей темно,
И сумерки, с ночью мешаясь,
Могильно синеют в окно.

Ночь — долгая, хмурая, волчья,
Кругом все снега и снега,
А в доме лишь мы да иконы
Да жуткая близость врага.

Презренного, дикого века
Свидетелем быть мне дано,
И в сердце моем так могильно,
Как мерзлое это окно.

30.IX.17

* * *

Сорвался вихрь, промчал из края в край
По рощам пальм кипящий ливень дымом —
И снова солнце в блеске нестерпимом
Ударило на зелень мокрых вай.

И туча, против солнца смоляная,
Над рощами вздвигалась как стена,
И радуга горит на ней цветная,
Как вход в Эдем роскошна и страшна.

1.X.17

* * *

Осенний день. Степь, балка и корыто.
Рогатый вол, большой соловый бык,
Скользнув в грязи и раздвоив копыто,
К воде ноздрями влажными приник:

Сосет и смотрит светлыми глазами,
Закинув хвост на свой костлявый зад,
Как вдоль бугра, в пустой небесный скат,
Бредут хохлы за тяжкими возами.

1.X.17

* * *

Щеглы, их звон, стеклянный, неживой,
И клен над облетевшею листвою,
На пустоте лазоревой и чистой,
Уже весь голый, легкий и ветвистый...
О мука мук! Что надо мне, ему,
Щеглам, листве? И разве я пойму,
Зачем я должен радость этой муки,
Вот этот небосклон, и этот звон,
И темный смысл, которым полон он,
Вместить в созвучия и звуки?
Я должен взять — и, разгадав, отдать,
Мне кто-то должен сострадать,
Что пригревает солнце низким светом
Меня в саду, просторном и раздетом,
Что озаряет желтая листва
Ветвистый клен, что я едва-едва,
Бродя в восторге по саду пустому,
Мою тоску даю понять другому...
— Беру большой зубчатый лист с тугим
Пурпурным стеблем, — пусть в моей тетради
Останется хоть память вместе с ним
Об этом светлом вертограде

С травой, хрустящей белым серебром,
О пустоте, сияющей над кленом
Безжизненно-лазоревым шатром,
И о щеглах с хрустально-мертвым звоном!

3.X.17

* * *

Этой краткой жизни вечным измененьем
Буду неустанно утешаться я,—
Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,
В алом парке листьев медленным паденьем
И тобой, знакомая, старая скамья.

Будущим поэтам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну — память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным,— призраком чудесным
В этом парке алом, в этой тишине.

10.X.17

* * *

Как в апреле по ночам в аллее,
И все тоньше верхних сучьев дым,
И все легче, ближе и виднее
Побледневший небосклон за ним.

Этот верх в созвездьях, в их узорах,
Дымчатый, воздушный и сквозной,
Этих листьев под ногами шорох,
Эта грусть — все то же, что весной.

Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами —
И опять, опять чего-то жду.

10.X.17

* * *

Звезда дрожит среди вселенной...
Чьи руки дивные несут
Какой-то влагой драгоценной
Столь переполненный сосуд?

Звездой пылающей, потиром
Земных скорбей, небесных слез
Зачем, о господи, над миром
Ты бытие мое вознес?

22.X.17

ВОСХОД ЛУНЫ

В чаше шорох потаенный,
Дуновение тепла.
Тополь, сверху озаренный,
Перед домом вознесенный,
Весь из жидкого стекла.

В чашу темную глядится
Круг зеркально-золотой.
Тополь льется, серебрится,
Весь трепещет и струится
Стекловидною водой.

3.X.17

* * *

В пустом, сквозном чертоге сада
Иду, шумя сухой листвой:
Какая странная отрада
Былое попирать ногой!
Какая сладость все, что прежде
Ценил так мало, вспоминать!
Какая боль и грусть — в надежде
Еще одну весну узнать!

3.X.17



1918—1952

* * *

В дачном кресле, ночью, на балконе...
Океана колыбельный шум...
Будь доверчив, кроток и спокоен,
Отдохни от дум.

Ветер приходящий, уходящий,
Веющий безбрежностью морской...
Есть ли тот, кто этой дачи спящей
Сторожит покой?

Есть ли тот, кто должной мерой мерит
Наши знания, судьбы и года?
Если сердце хочет, если верит,
Значит — да.

То, что есть в тебе, ведь существует.
Вот ты дремлешь, и в глаза твои
Так любовно мягкий ветер дует —
Как же нет Любви?

9.VII.18

* * *

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

14.VII.18

* * *

Древняя обитель супротив луны,
На лесистом взгорье, над речными водами,
Бледно-синеватый мел ее стены,
Мрамор неба, белый, с синими разводами.

А на этом небе, в этих облаках,
Глубину небесную в черноту сгущающих. —
Храмы в золотокованных мелких шишаках,
Райскою краскою за стеной мерцающих.

20.VII.18

* * *

На даче тихо, ночь темна,
Туманны звезды голубые,
Вдыхая, ширится волна,
Цветы качаются слепые —

И часто с ветром, до скамьи,
Как некий дух в эфирной плоти,
Доходят свежие струи
Волны, вдыхающей в дремоте.

13.IX.18

* * *

Огонь, качаемый волной
В просторе темном океана...
Что мне до звездного тумана,
До млечной бездны надо мной!

Огонь, по прихоти волны
Вдали качаемый, печальный...
Что мне до неба, до хрустальной,
Огнями полной вышины!

24.IX.18

МИХАИЛ

Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял в клубах синеватых
И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косою —
И снова народу являлся,
Большой, по колена босой.

Ребенок, я думал о божь,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч...

Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, темный и старый,
Где ты мое сердце пленил!

3.IX.19

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

У райской запретной стены,
В час полуденный,
Адамы с женой Еввой скорбит:
Высока, бела стена райская,
Еще выше того черные купарисы за ней,
Густа, ярка синь небесная;
На той ли стене павлины сидят,
Хвосты цветут ярью-зеленью,
Головки в зубчатых венчиках;
На тех ли купарисах птицы вещие
С очами дивными и грозными,

С голосами ангельскими,
С красою женскою,
На головках свечи восковые теплятся
Золотом-пламенем:
За теми купарисами пахучими —
Белый собор апостольский,
Белый храм в золоченых маковках,
Обитель отчая,
Со духи праведных,
Убиенных антихристом:
— Иисусе Христе, миленький!
Прости душу непотребную!
Вороти в обитель отчую!

12.IX.19

КАНАРЕЙКА

На родине она зеленая...

Брэм

Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь — как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирную толпой!

10.V.21

РУССКАЯ СКАЗКА

Ворон

Ну, что, бабушка, как спасаешься?
У тебя ль не рай, у тебя ль не мед?

Яга

Ах, залетный гость! Издеваешься!
Уж какой там мед — шкуру пес дерет!
Лес гудит, свистит, нагоняет сон,
Ночь и день стоит над волной туман,

Окружен со всех с четырех сторон
Тьмой да мгой сырой островок Буян.
А еще темней мой прогнивший сруб,
Где ни вздуть огня, ни топить не смей,
А в окно глядит только голый дуб,
Под каким яйцо закопал Кошей.
Я состарилась, изболела вся,
Сохраняючи чертов тот ларец!
Будь огонь в светце — я б погрелася,
Будь капустный клочок — похлебала б щец.
Да огонь-то, вишь, в океане — весть,
Да не то что щец — нету прелых лык!

В о р о н

Черт тебе велел к черту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!

15.VIII.21

* * *

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!

25.VI.22

РАДУГА

Свод радуги — творца благоволение,
Он сочетает воздух, влагу, свет —
Все, без чего для мира жизни нет.
Он в черной туче дивное виденье
Являет нам. Лишь избранный творцом,
Исполненный господней благодати,—
Как радуга, что блещет лишь в закате,—
Зажжется пред концом.

15.VII.22

МОРФЕЙ

Прекрасен твой венок из огненного мака,
Мой Гость таинственный, жилец земного мрака.
Как бледен смуглый лик, как долог грустный взор,
Глядящий на меня и кротко и в упор,
Как страшен смертному безгласный час Морфея!

Но сказочно цветет, во мраке пламеня,
Божественный венок, и к радостной стране
Уводит он меня, где все доступно мне,
Где нет преград земных моим надеждам вешним,
Где снюсь я сам себе далеким и нездешним,
Где не дивит ничто — ни даже ласки той,
С кем бог нас разделил могильною чертой.

26.VII.22

СИРИУС

Где ты, звезда моя заветная,
Венец небесной красоты?
Очарованье безответное
Снегов и лунной высоты?

Где молодость простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И старый дом, и ель смолистая
В сугробах белых под окном?

Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!

22.VIII.22

* * *

Зачем пленяет старая могила
Блаженными мечтами о былом?
Зачем зеленым клонится челом
Та ива, что могилу осенила
Так горестно, так нежно и светло.

Как будто все, что было и прошло,
Уже познало радость воскресенья
И в лоне всепрощения, забвенья
Небесными цветами поросло?

25.VIII.22

* * *

В полночный час я встану и взгляну
На бледную высокую луну,
И на залив под нею, и на горы,
Мерцающие снегом вдалеке...
Внизу вода чуть блещет на песке,
А дальше муть, свинцовые просторы,
Холодный и туманный океан...

Познал я, как ничтожно и не ново
Пустое человеческое слово,
Познал надежд и радостей обман,
Тщету любви и терпкую разлуку
С последними, немногими, кто мил,
Кто близостью своею облегчил
Ненужную для мира боль и муку,
И эти одинокие часы
Безмолвного полуночного бденья,
Презрения к земле и отчужденья
От всей земной бессмысленной красы.

25.VIII.22

* * *

Мечты любви моей весенней,
Мечты на утре дней моих,
Толпились как стада оленей
У заповедных вод речных:

Малейший звук в зеленой чаще —
И вся их чуткая краса,
Весь сонм, блаженный и дрожащий,
Уж мчался молнией в леса!

26.VIII.22

* * *

Все снится мне заросшая травой,
В глуши далекой и лесистой,
Развалина часовни родовой.
Все слышу я, вступая в этот мшистый
Приют церковно-гробовой,
Все слышу я: «Оставь их мир нечистый
Для тишины сей вековой!
Меч нашей славы, меч священный
Сними с бедра, — он лишний в эти дни,
В твой век, бесстыдный и презренный.
Перед Распятым голову склони
В знак обручения со схимой,
С затвором меж гробами — и храни
Обет в душе ненарушимо».

27.VIII.22

* * *

Печаль ресниц, сияющих и черных,
Алмазы слез, обильных, непокорных,
И вновь огонь небесных глаз,
Счастливых, радостных, смиренных, —
Все помню я... Но нет уж в мире нас,
Когда-то юных и блаженных!

Откуда же являешься ты мне?
Зачем же воскресаешь ты во сне.
Несрочной прелестью сияя,
И дивно повторяется восторг,
Та встреча, краткая, земная,
Что бог нам дал и тотчас вновь расторг?

27.VIII.22

ВЕНЕЦИЯ

Колоколов средневековый
Певучий зов, печаль времен,
И счастье жизни вечно новой,
И о былом счастливый сон.

И чья-то кротость, всепрощенье
И утешенье: все пройдет!
И золотые отраженья
Дворцов в лазурном глянце вод.

И дымка млечного опала,
И солнце, смешанное с ним,
И встречный взор, и опахало,
И ожерелье из коралла
Под катафалком водяным.

28.VIII.22

ВХОД В ИЕРУСАЛИМ

«Осанна! Осанна! Гряди
Во имя господне!»
И с яростным хрипом в груди,
С огнем преисподней
В сверкающих гнойных глазах,
Вздувая все жилы на шее,
Вопя все грознее,
Калека кидается в прах
На колени,
Пробившись сквозь шумный народ,
Ощеривши рот,
Щербатый и в пене,
И руки раскинув с мольбой —
О мщенье, о мщенье,
О пире кровавом для всех обойденных судьбой —
И ты, всеблагой,
Свете тихий вечерний,
Ты грядешь посреди обманувшейся черни,
Преклоняя свой горестный взор,
Ты вступаешь на кротком ослиати
В роковые врата — на позор,
На пропятье!

29.VIII.22

* * *

В гелиотроповом свете молний летучих
В небесах раскрывались дымные тучи,
На косогоре далеко — призрак дубравы,
В мокром лугу перед домом — белые травы.

Молнии мраком топило, с грохотом грома
Ливень свергался на крышу полночного дома —
И металлически страшно, в дикой печали,
Гуси из мрака кричали.

30.VIII.22

ПАНТЕРА

Черна, как копь, где солнце, где алмаз.
Брезгливый взгляд полузакрытых глаз
Томится, пьян, мерцает то угрозой,
То роковой и неотступной грезой.

Томят, пьянят короткие круги,
Размеренно-неслышные шаги,—
Вот в царственном презрении ложится
И вновь в себя, в свой жаркий сон глядится.

Сощурившись, глаза отводит прочь,
Как бы сплит их этот сон и ночь,
Где черных копей знойное горнило,
Где жгучих солнц алмазная могила.

9.IX.22

1885 ГОД

Была весна, и жизнь была легка.
Зияла адом свежая могила,
Но жизнь была легка, как облака,
Как тот дымок, что веял из кадила.

Земля, как зацветающая новь,
Блаженная, лежала предо мною —
И первый стих и первая любовь
Пришли ко мне с могилой и весною.

И это ты, простой степной цветок,
Забытый мной, отцветший и безвестный,
На утре дней моих поправа смерть, как бог,
И увела в мир вечный и чудесный!

9.IX.22

ПЕТУХ НА ЦЕРКОВНОМ КРЕСТЕ

Плывет, течет, бежит ладьей,
И как высоко над землей!
Назад идет весь небосвод,
А он вперед — и все поет.

Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века —
Вот как река, как облака.

Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг,

Что вечен только мертвых сон,
Да божий храм, да крест, да он.

12.IX.22
Амбуаз

ВСТРЕЧА

Ты на плече, рукою обнаженной,
От зноя темной и худой,
Несешь кувшин из глины обожженной,
Наполненный тяжелою водой.
С нагих холмов, где стелются сухие
Седые злаки и полынь,
Глядишь в простор пустынной Кумании,
В морскую вечернюю синь.
Все та же ты, как в сказочные годы!
Все те же губы, тот же взгляд,
Исполненный и рабства и свободы,
Умерший на земле уже стократ.
Все тот же зной и дикий запах лука
В телесном запахе твоём,
И та же мучит сладостная мука,—
Бесплодное томление о нём.
Через века найду в пустой могиле
Твой крест серебряный, и вновь,

Вновь оживет мечта о древней были,
Моя неутоленная любовь,
И будет вновь в морской вечерней сини,
В ее задумчивой дали,
Все тот же зов, печаль времен, пустыни
И красота полуденной земли.

12.X.22

* * *

Уж как на море, на море,
На синем камени,
Нагая краса сидит,
Белые ноги в волне студит,
Зазывает с пути корабельщиков:
«Корабельщики, корабельщики!
Что вы по свету ходите,
Понапрасну ищете
Самоцветного яхонта-жемчуга?
Есть одна в море жемчужина —
Моя нагая краса,
Уста жаркие,
Груди холодные,
Ноги легкие,
Лядвни тяжелые!
Есть одна утеха не постылая —
На руке моей спать-почивать,
Слушать песни мои унывные!»
Корабельщики плывут, не слушают,
А на сердце тоска-печаль,
На глазах слезы горючие.
Ту тоску не заспать, не забыть
Ни в пути, ни в пристани,
Не отдумать довеку.

10.V.23

* * *

«Опять холодные седые небеса,
Пустынные поля, набитые дороги,
На рыжие ковры похожие леса,
И тройка у крыльца, и слуги на пороге...»

— Ах, старая наивная тетрадь!
Как смел я в те года гневить печалью бога?
Уж больше не писать мне этого «опять»
Перед счастливою осеннею дорогой!

7.VI.23

* * *

Одно лишь небо, светлое, ночное,
Да ясный круг луны
Глядит всю ночь в отверстие пустое,
В руину сей стены.

А по ночам тут жутко и тревожно,
Ночные корабли
Свой держат путь с молитвой осторожной
Далеко от земли.

Свежо тут дует ветер из простора
Сарматских диких мест,
И буйный шум, подобный шуму бора,
Всю ночь стоит окрест:

То Понт кипит, в песках могилы роет,
Ярится при луне —
И волосы утопленников моет,
Влача их по волне.

10.VI.23

ДРЕВНИЙ ОБРАЗ

Она стоит в серебряном венце,
С закрытыми глазами. Ни кровинки
Нет в голубом младенческом лице,
И ручки — как иссохшие тростинки.
За нею кипарисы на холмах,

Небесный град, лепящийся к утесу,
Под ним же Смерть: на корточках, впотьмах,
Оскалив череп, точит косу.

Но ангелы ликуют в вышине:
Бессильны, Смерть, твои угрозы!
И облака в предутреннем огне
Цветут и округляются, как розы.

(25 сентября 1919—1924)

* * *

Уныние и сумрачность зимы,
Пустыня неприветливых предгорий,
В багряной смушке дальние холмы,
А там, за ними,— чувствуется — море.

Там хлябь и мгла. Угадываю их
По свежести, оттуда доходящей,
По туче, в космах мертвенно-седых,
Вдоль тех хребтов плывущей и дымящей.

Гляжу вокруг, остановив коня,
И древний человек во мне тоскует:
Как жаждет сердце крова и огня,
Когда в горах вечерний ветер дует!

Но отчего так тянет то, что там?
— О море! Мглой и хлябью довременной
Ты все-таки родней и ближе нам,
Чем радости всей этой жизни бренной!

(1925)

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Смотрит луна на поляны лесные
И на руины собора сквозные.
В мертвом аббатстве два желтых скелета
Бродят в недвижности лунного света:
Дама и рыцарь, склонившийся к даме
(Череп безносый и череп безглазый):
«Это сближает нас — то, что мы с вами
Оба скончались от Черной Заразы.

Я из десятого века,— решаюсь
Полюбопытствовать: вы из какого?»
И отвечает она, оскалаясь:
«Ах, как вы молоды! Я из шестого».
(5.XI.38—1947)

NEL MEZZO DEL CAMIN
DI NOSTRA VITA ¹

Дни близ Неаполя в апреле,
Когда так холоден и сыр,
Так сладок сердцу божий мир...
Сады в долинах розовели,
В них голубой стоял туман,
Селенья черные молчали,
Ракиты серые торчали,
Вдыхая в полусне дурман
Земли разрытой и навоза...
Таилась хмурая угроза
В дымящемся густом руне,
Каким в горах спускались тучи
На их синеющие кручи...
Дни, вечно памятные мне!
1947

НОЧЬ

Ледяная ночь, мистраль
(Он еще не стих).
Вижу в окна блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижный свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
То, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.
1952

¹ Земную жизнь пройдя до половины (ит.).

ИСКУШЕНИЕ

В час полуденный, зыбко свиваясь по Древу,
Водит, тянется малой головкой своей,
Ищет трепетным жалом нагую смущенную Еву
Искушающий Змей.
И стройна, высока, с преклоненными взорами Ева,
И к бедру ее круглому гривою ластится Лев,
И в короне Павлин громко кличет с запретного Древа
О блаженном стыде искушаемых дев.

1952

*Р. С. По древним преданиям, в искушении Евы участвовали Лев
и Павлин. (Примеч. И. А. Бунина.)*



Стихотворения,
не включенные И. А. Бунинным
в собрания сочинений

БУРЯ

Истомлена полдненным зноем,
В немой тоске земля ждала,
Чтоб ночь прохладой и покоем
Ее во мраке обняла.
Но солнце жгло с небес лучами,
И вот, в затишье гробовом,
Восстала Буря над волнами,
Бледнея в гневе роковом.
И, вспыхнув, взор ее орлиный
От грозной страсти потемнел,
И ветер бурно налетел,
Промчавшись в море зыбью длинной.
И в горных соснах, меж ветвей,
Завыл в веселье горделивом...
О, не страшись его — смелей
Грудь подставляй его порывам!
Пусть бьются волны об утес,
Пусть резким холодом пахнуло,
И тьма растет, и альбатрос
Кричит к беде средь тьмы и гула —
То жизни пир, — ее побед
Канун, грозою омраченный...
Из мрака бури солнца свет
Опять взойдет, но обновленный!

(1895—1898)

Вдали еще гремит, но тучи уж свалились,
 Как горы дымные, идут они на юг.
 Опять лазурь ясна, опять весна вокруг,
 И ярким солнцем чащи озарились.

Из-за лесных вершин далекой церкви шпиз
 Горячим золотом трепещет и сверкает,
 Звенят в низах ручьи, и льется пенье птиц,
 А на полянах снова припекает.

Густеет облаков волнистое руно;
 Они сдвигаются, спускаются все ниже —
 И вот уж солнца нет; опять в лесу темно,
 Дождь зашумел — и все слышней и ближе.

Находясь, птицы спят, и тихо лес стоит
 И точно чувствует, счастливый и покорный,
 Как много свежести и силы благотворной
 Весенняя гроза в себе таит!

1900

ПОСЛЕДНЯЯ ГРОЗА

Не прохладой, не покоем,
 А истомою и зноем
 Ночь с горячих пашен веет:
 Хлеб во мраке ночи зреет.

Обступают осторожно
 Небо тучи, и тревожно,
 Точно жар и бред недуга,
 Набегает ветер с юга.
 Шелестя и торопливо
 Волны ветра ловит нива,
 Страстным шепотом привета
 Провожает их, — и мнитя:
 Ночь прощается тоскливо
 С лаской пламенного лета,
 Разметалась и томится...

Блеск зарниц ей точно снится,
 Мрак растет над ней кошмаром,
 И когда всю степь пожаром

Красный сполох озаряет,—
В поле чей-то призрак темный,
Величавый и огромный,
На мгновение вырастает,
Чьи-то очи ярко блещут,
Содрогаясь от усилья,
И раскинутые крылья
За плечом его трепещут.

Как тот блеск ее пугает!
Точно в страхе пробегает
Знойный шелест по бурьяну...
Быть большому урагану!
Уж над этим смутным шумом
Все слышней, как за горою
Дальний гром ворчит порою,
Как в величии угрюмом,
Потрясая своды неба,
Он проходит тяжким гулом
Над шумящим морем хлеба...

Скоро бешеным разгулом
В поле ветер понесется,
Скоро гром смелее грянет,
Жутким блеском даль зажжется,
Ночь испуганно воспрянет,
Ночь порывисто очнется —
И обильными слезами
Вся тоска ее прольется!

А наутро над полями
Солнце грустно улыбнется —
Озарит их на прощанье,
И на нивы, на селенья
Ляжет кроткое смирение
Тишины и увяданья.

1900

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блесках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись, березы.

Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем цепenea,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.

Замело чащи леса метелью,—
Только выются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и елок,
Меж березок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.

Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
Где когда-то шумели потоки.

Тишина,— даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.

Тишина,— а, быть может, он близко...
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряженно на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.

В дальних чащах, где ветви и тени
В лунном свете узоры сплетают,
Все мне чудится что-то живое,
Все как будто зверьки пробегают.

Огонек из лесной карзлуки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И чего-то в тиши поджидает.

Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона господня,
Тихо блещет звезда, как живая.

А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, — и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!

1886—1901

В ЛЕСУ

Тропинкой темною лесною,
Где колокольчики цветут,
Под тенью легкой и сквозною
Меня кустарники ведут.

Здесь полусвет и запах пряный
Сухой листвы, а вдалеке
Лес расступается поляной
К долине мирной и реке.

Садится солнце, даль синее,
Кукушка стонет, а река
Уже от запада алеет
И отражает облака.

Вокруг меня деревья стройно
Уходят к ясной вышине,
И сердце радостью спокойной
Полно в вечерней тишине.

Пора и горе, и ненастье,
И зиму темную забыть, —
Одно есть только в мире счастье —
Весь божий свет душой любить!

(1901)

УТРО

Светит в горы небо голубое,
Молодое утро сходит с гор.
Далеко внизу — кайма прибоя,
А за ней — сияющий простор.

С высоты к востоку смотрят горы,
Где за нежно-млечной синевой
Тают в море белые узоры
Отдаленной цепи снеговой.

И в дали, таинственной и зыбкой,
Из-за гор восходит солнца свет —
Точно горы светлою улыбкой
Отвечают братьям на привет.

1901

У ЗАЛИВА

Над морем дремлют, зеленеют
Меж скал цветущие сады.
Лучи полдневные их греют,
Им слышен тихий плеск воды.

Здесь даже зимнею порою
Среди и лавров и олив
Под неприступною горою
Стоит, как зеркало, залив.

В затишье расцветают розы,
И кипарис в полдневный зной
Внимает, погруженный в грезы,
Как говорит волна с волной,

И смотрит вдаль, где, утопая
В лазурном море, паруса
На солнце искрятся, сверкая,
И точно манят в небеса.

(1901)

Стояли ночи северного мая,
И реял в доме бледный полусвет.
Я лег уснуть, но, тишине внимая,
Все вспоминал о грезах прежних лет.

Я вновь грустил, как в юности далекой,
И слышал я, как ты вошла в мой дом,—
Неуловимый призрак, одинокий
В старинном зале, низком и пустом.

Я различал за шелестом одежды
Твои шаги в глубокой тишине —
И сладкие, забытые надежды,
Мгновенные, стеснили сердце мне.

Я уловил из окон свежесть мая,
Глядел во тьму с тревогой прежних лет...
И призрак твой и тишина немая
Сливались в грустный, бледный полусвет.

1901

В поздний час мы были с нею в поле.
Я дрожа касался нежных губ...
«Я хочу объятия до боли,
Будь со мной безжалостен и груб!»

Утомясь, она просила нежно:
«Убаюкай, дай мне отдохнуть,
Не целуй так крепко и мятежно,
Положи мне голову на грудь».

Звезды тихо искрились над нами,
Тонко пахло свежестью росы.
Ласково касался я устами
До горячих щек и до косы.

И она забылась. Раз проснулась,
Как дитя, вздохнула в полусне,
Но, взглянувши, слабо улыбнулась
И опять прижалась ко мне.

Ночь царила долго в темном поле,
Долго милый сон я охранял...
А потом на золотом престоле,
На востоке, тихо засиял

Новый день,— в полях прохладно стало...
Я ее тихонько разбудил
И в степи, сверкающей и алой,
По росе до дома проводил.

1901

НАДПИСЬ НА МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Несть, господи, грехов и злодеяний
Превыше милосердья твоего!
Рабу земли и суетных желаний
Прости грехи за горести его.

Завет любви хранил я в жизни свято:
Во дни тоски, наперекор уму,
Я не питал змею вражды на брата,
Я все простил по слову твоему.

Я, тишину познавший гробовую,
Я, воспринявший скорби темноты,
Из недр земных земле благовествую
Глаголы Незакатной Красоты!

1901

РУЧЕЙ

Ручей среди сухих песков...
Куда спешит и убегает?
Зачем меж скудных берегов
Так стойко путь свой пролагает?

От зноя бледен небосклон,
Ни облачка в лазури жаркой;
Весь мир как будто заключен
В песчаный круг в пустыне яркой.

А он, прозрачен, говорлив,
Он словно знает, что с востока
Придет он к морю, где залив
Пред ним раскроет даль широко —

И примет светлую струю,
Под вольной ширью небосклона,
В безбрежность синюю свою,
В свое торжественное лоно.

1901

* * *

Пока я шел, я был так мал!
Я сам себе таким казался,
Когда хребет далеких скал
Со мною рос и возвышался.

Но на предельной их черте
Я перерос их восхождение.
Один, в пустынной высоте,
Я чую высших сил томленье.

Земля — подножие мое.
Ее громада поднимает
Меня в иное бытие,
И душу радость обнимает.

Но бездны страх — он не исчез,
Он набегает издалика...
Не потому ль, что одиноко
Я заглянул в лицо небес?

1901

* * *

Из тесной пропасти ущелья
Нам небо кажется синей.
Привет тебе, немая келья
И радость одиноких дней!

Звучней и песни и рыдания
Гремят под сводами тюрьмы.
Привет вам, гордые страдания,
Среди ее холодной тьмы!

Из рудников, из черной бездны
Нам звезды видны даже днем.
Гляди смелее в сумрак звездный —
Предвечный свет таится в нем!

1901

Жесткой, черной листвою шелестит и трепещет кустарник,
Точно в снежную даль убегает в испуге.
В белом поле стога, косогор и забытый овчарник
Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги.

Дымный ветер кружит и несет в небе ворона боком,
Конский след на бегу порошит-заметают...
Вон прохожий вдали. Истомлен на пути одиноком,
Мертвым шагом он мерно и тупо шагает.

«Добрый путь, человек! Далеко ль до села, до ночлега?»
Он не слышит, идет, только голову клонит...
А куда и спешить против холода, ветра и снега?
Родились мы в снегу, — вьюга нас и схоронит.

Занесет равнодушно, как стог, как забытый овчарник...
Хорошо ей у нас, на просторе великом!
Бесприютная жизнь, одинокий под бурей кустарник,
Не тебе одолеть в поле темном и диком!

1901

ВЕСНЯНКА

(Отрывок)

Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью,
Среди лесного ропота и шума,
Спешил я, спотыкаясь на коряги
И путаясь меж елок, за Веснянкой.

Она неслась стрелой среди деревьев
И, белая, мелькала в темноте,
Когда зарницу ветром раздувало,
А у меня уж запеклись уста
И сердце трепетало, точно голубь.
«Постой!» — хотел я крикнуть — и не мог.

Мы долго с ней бежали по болоту,
Вдоль озера, вдоль отмели, заросшей
Купавами, травой и камышами,
И наконец я выбился из сил.
Хочу сказать: «Остановись, не бойся!»
Она на миг оглянется — и в путь!
А между тем поднялся ветер,
Деревья недовольно зароптали,
Задвигали мохнатой хвоей ели,
И звезды замелькали из-за них.
Кричу за ней: «Остановись, послушай!
Я все равно до света не отстану.
Ты понапрасну мучишься...» Не слышит!

Вдруг молния всю чашу озарила
Таинственным и бледно-синим светом...
«Стой! — крикнул я. — Лишь слово! Я не трону...»
(Она остановилась на мгновение.)
«Ответь, — вскричал я, — кто ты? И зачем
Ты здесь со мной встречалась вечерами,
Ждала меня над заводью темневшей,
Где сумрачно и тускло рдели воды?
Зачем со мной ты слушала, грустя,
Далеких песен радость молодую?
Зачем потом, когда они смолкали
И только комары звенели сонно
Да нежно пахло сонною водой,
Ты разбирала ласково мне кудри,
А я глядел с твоих колен в глаза?
Зачем во тьме, когда из тихой рощи
Гремели соловьи, ты наклонялась
К моей щеке горячею щекой
И целовала сладко, осторожно,
А после все томительней и крепче?
Скажи, зачем?...» Она лицо руками
Закрыла вдруг и кинулась вперед.

И долго мы, как звери за добычей,
Опять бежали в роще. Шумный ливень
По темным чащам с громом бушевал,
Даль раскрывали молнии, и ярко
Белело платье девичье... Но вдруг
Оно исчезло, точно провалилось.
Я выскочил с разбега на опушку,
Упал в овес, запутанный и мокрый,
И зарыдал, забился...

1901

КЕДР

Темный кедр растет среди долины,—
Я люблю долины тихих гор,
Видит он далекие вершины
И глядится в зеркало озер.

Темный кедр один в горах тоскует,—
Я люблю печаль весенних дней,—
А кругом зеленый лес ликует
И цветут фиалки у корней.

Божий мир люблю я,— в вечной смене
Он живет и красотой цветет...
Как поверить злобе иль измене?
Темный час проходит и пройдет!

Темный кедр растет среди долины,—
Расцветай, наперекор судьбе!
Быстро дни идут, но ни единый
Не пройдет без думы о тебе!

1901

НА МОНАСТЫРСКОМ КЛАДБИЩЕ

Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц,
И голубей испуганная стая
Вдруг поднялась с карнизов и бойниц
И закружилась, крыльями блистая,
Над мшистою стеной монастыря...

О, ранний благовест и майская заря!
Как этот звон, могучий и тяжелый,
Сливается с открытой и веселой
Равниной зеленеющих полей!
Ударил колокол — и стала ночь светлей,
И позабыты старые гробницы,
И кельи тесные, и страхи темноты, —
Душа, затрепетав, как крылья вольной птицы,
Коснулась солнечной поющей высоты!

1901

НОЧЬ

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного. Вдали
Я вижу ночь: пески среди молчанья
И звездный свет над сумраком земли.

Как письмена, мерцают в тверди синей
Плеяды, Вега, Марс и Орион.
Люблю я их течение над пустыней
И тайный смысл их царственных имен!

Как ныне я, mirьяды глаз следили
Их древний путь. И в глубине веков
Все, для кого они во тьме светили,
Исчезли в ней, как след среди песков:

Их было много, нежных и любивших,
И девушек, и юношей, и жен,
Ночей и звезд, прозрачно-сереб্রивших
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!

Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта
Юпитер озаряет небеса,
И в зеркале воды, до горизонта,
Столпом стеклянным светит полоса.

Прибрежья, где бродили тавро-скифы,
Уже не те, — лишь море в летний штиль
Все так же сыплет ласково на рифы
Лазурно-фосфорическую пыль.

Но есть одно, что вечной красотою
Связует нас с отжившими. Была
Такая ж ночь — и к тихому прибою
Со мной на берег девушка пришла.

И не забыть мне этой ночи звездной,
Когда весь мир любил я для одной!
Пусть я живу мечтою бесполезной,
Туманной и обманчивой мечтой,—

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и тайного, как сон.
Люблю ее за счастье слиянья
В одной любви с любовью всех времен!

1901

ГОРНЫЙ ПУТЬ К МОРЮ

(Отрывок)

Весенний день синее в вышине,
А в сумраке ущелья снег тает
И в холоде, в глубокой тишине,
Под соснами на камнях серебрится.
Весенний ключ, прозрачный, как кристалл,
Журчит и звонко каплет между скал,
И широко и вольно веет влага
Из мокрого скалистого оврага...

Вдали, в окно его теснины,
Я вижу море. Здесь и тень,
И свежесть каменной лощины,
А там весенний ясный день,
Залив, лесистые долины
И голубых небес простор...
Иду,— утесы расступились,
Тепло и свет,— окрестных гор
Хребты лиловые открылись;
Кремнистый путь сбегает в лес,—
Ведет он в чащи на обрывах,—
И между сучьями, в извивах,
Синеет глубина небес...

Как тихо здесь, в тени узорной!
Как хороши и томны в ней,
Среди листвы сухой и черной,
Глаза фиалок у корней!
Взгляну на горы — там высоко
Меж скал ущелье поднялось
И в синее пятно слилось;
Взгляну в долины — там широко
В заливе море разрослось
И меж лесных стволов сияет...
А солнце мягко пригревает,
Лепечут птицы в тишине,
И в темном свете, в полусне,
Весь лес как будто замирает
И сладко грезит о весне!

(1902)

НА ОЗЕРЕ

(Отрывок)

На озере, среди лесов зеленых,
Кувшинки белые, как звезды, расцвели.
В Петровки, в жаркий день, когда в бору сосновом
Так сухо и светло от солнца и песков,
Я прихожу на луг, под тень ольхи серебристой,
Где пахнет мятою и теплою водой,
Где реют радужно-стеклянные стрекозы
И блестяет озеро среди стволов берез.

На озере, в веселый летний полдень,
Я слышу женский смех, далекий крик и плеск,
В бору за озером аукается кто-то —
И сладко мне дремать и слушать в полусне...
Люблю я молодых, счастливых и беспечных,
Люблю зеленый лес и долгий летний день,
Все голоса его меня зовут, волнуют...
Но я заката жду...

Закроются на озере кувшинки...
Как ночь в лесу темна, спокойна и тепла!
Кузнечики в траве чуть шепчутся. Сквозь ветви
Белеет озеро, — там звезды в глубине...
Стоишь и слушаешь — и кажется, что звезды

Глядят из темных вод, и светляки в кустах
Для тех, кто ждет любви, затеплились недвижно...
И вот она идет, — неслышно и легко.

Таинственно с песчаного побережья
Она сойдет к воде, одежды тихо сняв, —
И ласковым теплом вода ее обнимет,
И закачается у берега звезда.
Как жутко-хорошо в ночном подводном небе!
Какая глубина!..
Прохлады и легки одежды после влаги,
Песок еще хранит полдневное тепло...

1902

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Я уснул в грозу, среди ненастья,
Безнадежной скорбью истомлен...
Я проснулся от улыбки счастья...
О, как был я зол и неумен!

Облака бегут — и все теплее,
Все лазурней светит летний день.
На сырой, литой песок в аллее
Льют березы трепетную тень.

Веет легкий, чистый ветер с поля,
Сердце бьется счастьем юных сил...
О мечты! о молодая воля!
Как я прежде мало вас ценил!

⟨1902⟩

ЗАБЫТЫЙ ФОНТАН

Рассыпался чертог из янтаря, —
Из края в край сквозит аллея к дому.
Холодное дыханье сентября
Разносит ветер по саду пустому.

Он замечает листьями фонтан,
Взвевает их, внезапно налетая,
И, точно птиц испуганная стая,
Кружат они среди сухих полян.

Порой к фонтану девушка приходит,
Влача по листьям спущенную шаль,
И по́долгу очей с него не сводит.

В ее лице — застывшая печаль,
По целым дням она как призрак бродит,
А дни бегут... Им никого не жаль.

1902

БАЛЬДЕР

Хаду — слепец, он жалок. Мрак глубокий
Скрывает свет и правду от него.
Но, чадо тьмы, он весь во власти Локи —
Он насмерть поражает божество.

И все же мир лишь жаждой света дышит!
И Солнце, погребенное во тьму,
Из гроба тьмы, из бездны ада слышит,
Что мир в тоске вызывает лишь к нему.

И дрогнет тьма! И вспыхнет на востоке
Воскресший Свет! И боги пригвоздят
Тебя, как пса, к граниту гор, о Локи!
И будет змей, свирепый и стокий,
Точить со скал на темя Локи — яд!

1904

* * *

Луна над шумною Курою
И над огнями за Курой,
Тифлис под лунною чадрою,
Но дышит каменной жарой.
Тифлис не спит, счастливый, праздный,
Смех, говор, музыка в садах,
А там — мерцает блеск алмазный
На еле видимых хребтах.
Уйдя в туман, на север дальний
Громадами снегов и льдин,
Они все строже, все печальней
Глядят на лунный дым долин.

1904

* * *

Луна полночная глядит
С пустого неба, пароход.
Луне навстречу, бороздит
Лиловый сплав Каспийских вод,
Луна из-за тугих снастей
Зеркальной кажется, светлей,
Под ней, на юг, в дали пустой
Играет отблеск золотой,
Как будто рыба чешуя,
А что за ней? Там тоже я,
Душа моя..

*Ночь на пароходе в Касп. море.
Июнь 1904 г.*

* * *

Весна, и ночь, и трепет звезд,
И свежесть трав лесной долины.
Над тишиной уснувших гнезд
Склонились темные вершины.

Гляжу в прозрачный сумрак их,
Дышу весной — и предо мною
Какой-то тайной неземною
Вся ночь раскрыта в этот миг.

И эта тайна — откровенье,
Моя душа и жизнь моя,—
В ночном потоке бытия
Звезды падучей отраженье.

(1904)

ПРИ СВЕЧЕ

Голубое основание,
Золотое острие...
Вспоминаю зимний вечер,
Детство раннее мое.

Заслонив свечу рукою,
Снова вижу, как во мне
Жизнь рубиновой кровью
Нежно светит на огне.

Голубое основанье,
Золотое острие...
Сердцем помню только детство:
Все другое — не мое.

(VIII.06)

ЗВЕЗДА МОРЕЙ

Я в бездне был, я жил кошмаром,
Скитаясь по волнам три дня.
Порой закат пылал пожаром —
И красный бред томил меня.

Порой слепила тьма немая —
И я качался в искрах звезд,
Качался в бездне, обнимая
Обломок реи, точно крест.

Вдруг — словно пламя на закате...
Ужели смерть? — Но на волне
Звезда Морей в огне и злате
Восстала — и предстала мне.

И ниц упал я, ослепленный,
Восторгом жизни потрясен —
И чей-то голос отдаленный
Прорезал мрак: «Спасен! спасен!»

(1906)

* * *

Что молодость! Я часто на охоту
Весною езжу к Дальнему Болоту,
Откинувшись в покойный тарантас,
А Фокс сидит у ног моих — и глаз
Не отрывает, бедный, от дороги,
Скулит, дрожит от радостной тревоги
И рвется в степь, глотая пыль колес...
Что молодость! Горячий, глупый пес!

30.VI.07

Жгли на кострах за пап и за чертей,
Живьем бросали в олово и серу
За ад и рай, безверие и веру,
За исчисленья солнечных путей.

И что ж! Чертей не пламя утешает,
Не то, что злей ехидны человек,
А то, что гроб сожженных в прошлый век,
Он в пынешнем цветами украшает.

2.VII.07

* * *

Идет тяжелый гул по липам.
Пришел,дохнул, как в море вал,
Согнул верхушки с тонким скрипом
И сор в кустах заволновал.

Но нет, ты, ветер, тут бессилен:
Тут нужен бешеный норд-ост,
Чтоб из запутанных извилин,
Из сучьев вырвать шапки гнезд.

И буря будет. И вороны,
Кружась, кричат, что мир погиб,
Что гнезда их — венцы, короны
И украшения для лип.

10.VII.1907. Готово

КЛАД

Все, что хранит следы давно забытых,
Давно умерших,— будет жить века.
В могильных кладах, древними зарытых,
Поет полночная тоска.

Степные звезды помнят, как светили
Тем, что теперь в сырой земле лежат...
Не Смерть страшна, а то, что на могиле
Смерть стережет певучий клад.

(1908)

СТАЛЬ

Бью звонкой сталью по кремню,
Сухие искры рассыпая.
Грозит, мигает ночь слепая,
Но я себе не изменяю.
Он гаснет, слишком сгнивший трут,
Но ты секи, секи огнем:
Будь в заблуждении счастливым,
Что эти искры не умрут.
Придет, настанет ли мой день?
Но блещет свет над мертвой гнилью,
Сталь золотою сыплет пылью,
И крепок звонкий мой кремень.

(1909)

В АРАБСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Если ночью лечь на теплой крыше,
Старой пальмы путаный вихор
Зачернеет в небе, станет выше,
По звездам раскинет свой узор.

А посмотришь в сторону Синая,
Под луну, к востоку — там всегда
Даль пустыни, точно золотая
На песках разлитая вода.

Сладкие мечты даешь ты, боже!
Кто не думал, глядя в лунный свет,
Что тайком придет к нему на ложе
Девушка четырнадцати лет!

2.IX.15, Готово

* * *

Лик прекрасный и бескровный,
Смоляная борода,
Взор архангельский, церковный,
Вязь тюбана в три ряда.

Плечи круты и покаты,
Вышит золотом халат,—
Точно старые дукаты
На шелку его лежат.

Шалью, ярко расцвеченной,
Подпоясан ладный стан,
На ноге сухой, точеной
Малахитовый сафьян.

Наклоняясь вместе с баркой,
На корме сидит весь день.
А жена в каюте жаркой
С черной нянькой делит лень.

Он глядит на белый парус
Да читает суры вслух,
А жена сквозь тонкий гарус
С потных губ сдувает мух.

(12.IX.15)

НЕВЕСТА

Косоглазая девушка, ножки скрестив,
На циновке сидит глянцевицей.
В зимнем солнце есть теплый, янтарный отлив,
Но свежо на веранде раскрытой.
А свежо не от тех ли снегов,
Что в лазурь вознесла Хираями?
Не от тех ли молочных, тугих лепестков,
Что покрыли весь жертвенник в храме?
Не от этих ли зыбких, медлительных рей,
Что в заливе, за голым платаном?
Не от тех ли далеких морей,
Где жених первый раз капитаном?

12.IX.15

Готово

КИНЕМАТОГРАФ

В окно пустое ветер дул,
В нем лунное белело небо;
Тюремщик кинул корку хлеба,
Захлопнул дверь, замок замкнул

И удалился. Шум и гул
Стоял в его холодной келье.
К окну, к решетке он прильнул:
Под ней, в безжизненном веселье,
Кипел, теснясь меж черных скал,
Ходил, ярился пенный вал,
Его справляя новоселье.
А там, вдали, морская ширь
В просторе светлой ночи млела,
И огоньком краснел несмело
На диких скалах монастырь.

2.IX.1915

БРЕТАНЬ

Ночь ледяная и немая,
Пески и скалы берегов.
Тяжелый парус поднимая,
Рыбак идет на дальний лов.
Зачем ему дан ловчий жребий?
Зачем в глухую ночь, зимой,
Простер и ты свой невод в небе,
Рыбак нещадный и немой?
Свет серебристый, тихий, вечный.
Кресты погибших. И в туман
Уходит плащаницей млечной
Под звездной сетью океан.

22.I.16

МОЛЧАНИЕ

По раскаленному ущелью,
Долиной Смерти и Огня,
В нагую каменную келью
Пустынный Ангел ввел меня.

Он повелел зажечь лампаду,
Исечь на камне знак Креста —
И тихо положил преграду
На буйные мои уста.

Так, господи! Ничтожным словом
Не оскверню души моей.
Я знаю: ты в огне громовом
Уже не снидешь на людей!

Ты не рассеешь по вселенной,
Как прах пустынь, как некий тлен,
Род кровожадный и презренный
В грызне скатавшихся гиен!

6.II.1916

ПО ТЕЧЕНЬЮ

«Девушка, что ты чертила
Зонтиком в светлой рске?»
Девушка зонтик раскрыла
И прилегла в челноке.

«Любит — не любит...» Но просит
Сердце любви, как цветок...
Тихо течение уносит
Зонтик и белый челнок.

11.II.16

НА НУБИЙСКОМ БАЗАРЕ

Она черна, и блещет скат
Ее плечей, и блещут груди:
Так два тугих плода лежат
На крепко выкованном блюде.

Пылит песок, дымит котел,
Кричат купцы, теснятся в давке
Верблюды, нищие, ослы —
Они с утра стоят у лавки.

Жует медлительно тростник,
Косясь на груды пестрых тканей,
Зубами светит... А язык —
Лилово-бледный, обезьяний.

13.II.16

ВЕНЧИК

Колокола переводили,
Кадили на открытый гроб —
И венчик розовый лепили
На костяной лимонный лоб.

И лишь пристал он и с поклоном
Назад священник отступил,
Труп приобщился вдруг иконам,
Святым и холоду могил.

В тлетворной сладости, смердящей
От гроба, дыма и цветов,
Пышнее стал сухой, блестящий
Из золотой парчи покров —

И пала тень ресниц чернее,
И обострились черты:
Несть часа на земле страшнее
И несть грознее красоты.

3.VI.16

* * *

Никогда вы не воскреснете, не встанете
Из гнилых своих гробов,
Никогда на божий лик не глянете,
Ибо нет восстанья для рабов,
Темных слуг корысти, злобы, ярости,
Мести, страха, похоти и лжи,
Тучных тел и скучной, грязной старости:
Закопали — и лежи!

27.VI.1916

* * *

По древнему унывному распеvu
Поет собор. Злаченные столпы
Блестят из тьмы. Бог, пригвожденный к Древу,
Почил — и се, в огнях, среди толпы.

И дьявол тут. Теперь он входит смело
И смело зрит простертое пред ним
Нагое зеленеющее тело,
Костры свечей и погребальный дым.
Он радостен, он шепчет, торжествуя:
На долгий срок ваш бог покинул вас,
Притворное рыданье наше вскуе,
Далек воскресный час!

27.VI.16

* * *

И шли века, и стены Рая пали,
И Сад его заглох и одичал,
И по ночам зверей уж не пугали
Блистания небесного Меча,
И Человек вернулся к Раю,— вскуе
Хотел забыть свой золотой он сон —
И Сатана, злорадно торжествуя,
Воздвиг на месте Рая — Вавилон.

29.VI.16

* * *

И снова вечер, степь и четко
Бьет перепел в росе полей.
Равнина к югу в дымке кроткой,
Как море дальнее, а в ней,—
Что в ней томит? Воспоминанья
О том, чему возврата нет,
Призыв на новые скитанья
Иль прошлого туманный след?
— Ты, молодость моя, вы, годы
Надежд, сердечной простоты,
Беспечной воли и свободы,
Счастливой грусти и мечты,—
Какой-то край обетованный,
Какой-то вечер в той стране,
«Где кипарис благоуханный
Внимает плещущей волне»,—

И ты, заветный и неясный
Неверный друг, кого опять
В тоске вечерней жду напрасно
И буду до могилы ждать.

3.VII.1916.

Вечером, в поле

* * *

Снег дымился в раскрытой могиле,
Белой вьюгой несло по плечам,
Гроб в дымящийся снег опустили,
Полотенца пошли копачам,

И сугроб над могилою вырос,
И погост опустел — и гремел
В полумраке невидимый клирос
О тщете всех желаний и дел,

О великой, о белой, о древней,
О безлюдной пустыне и ввысь
Улетал над стемневшей деревней,
И огни покраснелись, зажглись,

И собаки попрятались в сенцы,
И в сторожке, за штофом, в дыму,
Копачи, поделив полотенца,
Аллилуйю кричали — Ему.

7.VII.1916

СВЕТ

Ни пустоты, ни тьмы нам не дано:
Есть всюду свет, предвечный и безликий...

Вот полночь. Мрак. Молчанье базилики,
Ты приглядишься: там не совсем темно,
В бездонном, черном своде над тобою,
Там на стене есть узкое окно,
Далекое, чуть видимое, слепое,
Мерцающее тайною во храм
Из ночи в ночь одиннадцать столетий...
А вокруг тебя? Ты чувствуешь ли эти

Кресты по скользким каменным полам,—
Гробы святых, почиющих под спудом,
И страшное молчание тех мест,
Исполненных неизреченным чудом,
Где черный запрестольный крест
Воздвиг свои тяжелые объятия.—
Где таинство Сыновьего Распятья
Сам бог-отец незримо сторожит?

Есть некий свет, что тьма не сокрушит.

7.VII.1916

* * *

Иконку, черную дощечку
Нашли в земле,— пахали новь...
Кто перед ней затеплил свечку,
Свою и горесть и любовь?
Кто осыятил ее своею
Молитвой нищего, раба —
И посох взял и вышел с нею
На степь, в шумящие хлеба —
И, поклоняясь вихрям знойным,
Стрибожьим внукам, водрузил
Над полем пыльным, беспокойным
Ее щитом небесных сил?

Во сне, 21.VII.1916

* * *

Луна и Нил. По берегу, к пещерам,
Идет народ, краснеют фонари.
На берегу, в песке сухом и сером,
Ряды гробниц — и все цари, цари.
Иной как был — под крышкой золоченой,
Иной открыт — в тугую пелену,
В пахучий кокон тесно заключенный,
Пять тысяч лет не видевший луну.
Что в коконе? Костяк в землистой коже,
Крест тонких рук, иссохший узкий таз,
Чернеет лик — еще важней и строже,
Чем в оны дни,— чернеют щели глаз.

Подкрашенные (желтые) седины
Страшней всего. О да, он в мире жил,
И был он стар, дикарь и царь, единый
Царь дикарей, боготворивших Нил.

И полдень был, и светел в знойном свете
Был сад царя, и к югу, в блеске дня,
Терялся Нил... И пять тысячелетий
Прошли с тех пор... Прошли и для меня:

Луна и ночь, но все на том же Ниле,
И вновь царю сияет лунный Нил —
И разве мы в тот полдень с ним не жили,
И разве я тот полдень позабыл?

22.VII.16

* * *

Бледна приморская страна,
Луною озаренная.
Низка луна, ярка волна,
По гребням позлащенная.

Волна сияет вдалеке
Чеканною кольчугою.
Моряк печальный на песке
Сидит с своей подругою.

Часы последние для них! —
Все ярче дюны светятся.
Они невеста и жених,
А вновь когда-то встретятся?

Полночная луна глядит
И думает со скукою:
«В который раз он тут сидит,—
Целует пред разлукою?»

И впрямь: идут, бегут века,
Сменяют поколения —
Моряк сидит! В глазах тоска,
Восторг и восхищение...

Жизнь промелькнула как во сне.
И вот уж утро раннее
Виски посеребрило мне
И стала даль туманнее.

А все в душе восторг и боль
И все-то вспоминается,
Как горьких слез тепло и соль
Со зноем уст мешается!

22.VII.16

В РОЩАХ УРВЕЛЫ

«Ты ль повинна, Майя, что презрел
Сын родной твое земное лоно,—
Рощи, реки, радость небосклона,
Красоту и сладость женских тел?
Ты ль повинна, Майя, что один
Человек отраву слез роняет?»

Майя очи долу преклоняет:
«Может быть, мудрей меня мой Сын?»

23.VII.16

* * *

Нет Колеса на свете. Господин:
Нет Колеса: есть обод, втулок, спицы,
Есть лошадь, путь, желание возницы,
Есть грохот, стук и блеск железных шин.
А мир, а мы? Мы разве не похожи
На Колесо? Похож и ты — как все.

Но есть и то, что всех Колес дороже:
Есть Мысль о Колесе.

25.VII.16

СТЕПЬ

Сомкнулась степь синеющим кольцом,
И нет конца ее цветущей нови.
Вот впереди старуха на корове,
Скуластая и желтая лицом.

Равняемся. Халат на вате, шапка
С собачьим острым верхом, сапоги...
— Как неуклюж кривой постав ноги,
Как ты стара и узкоглаза, бабка!

— Хозяин, я не бабка, я старик,
Я с виду дряхл от скуки и печали,
Я узкоглаз затем, что я привык
Смотреть в обманчивые дали.

9.VIII.1916

* * *

Качаюсь, плескаюсь — и с шумом встаю
Прозрачно-зеленой громадою —
В лазурь бы плеснуть моему острию,
До солнца! — Но я уже падаю.

И снова расту и, качаясь, бегу —
Зачем? Чтобы радостно вскинуться,
Блеснуть, вознестись на пустом берегу —
И в смертную бездну низринуться!

14.VIII.1916

* * *

На всякой высоте прельщает Сатана.
Вот всё внизу, все царства мира —
И я преображен. Душе моей дана
Как бы незримая порфира.

Не я ли царь и бог? Не мне ли честь и дань?
— Каким великим кругозором
Синеет даль окрест! И где меж ними грань —
Горой Соблазна и Фавором?

26.VIII.16

* * *

Ночь и алые зарницы.
Вот опять:
Блеск — и черной плащаницы
Ширь и гладь.

Поминутно камни, скалы,
Их отвес
Озаряет быстрый, алый
Свет небес,

Озаряет он, слепящий,
На морском
Побережье вал, кипящий
Молоком.

Озаряет, краткий, зыбкий,
Лица нам
И неловкие улыбки
Наших дам.

А над легкой, своенравной
Сей игрой
Дьявол катит гул державный
За горой.

(1916)

* * *

Ты высоко, ты в розовом свете зари,
А внизу, в глубине, где сырей и темней,
В узкой улице — бледная зелень огней,
В два ряда неподвижно блещут фонари.

В узкой улице — сумерки, сизо, темно,
А вверху — свет зари — и открыто окно:
Ты глядишь из окна, как смешал Петроград
С мутью дыма и крыш мглисто-алый закат.

(1914—1917)

В КАРАВАНЕ

Под луной на дальнем юге,
Как вода, пески блещут.
Позабудь своей подруги
Полудетский грустный взгляд.

Под луной текут, струятся
Золотой водой пески.
Хорошо в седле качаться
Сердцу, полному тоски.

Под луной, блестя, чернеет
Каждый камень, каждый куст.
Знойный ветер с юга веет,
Как дыханье милых уст

28.VIII.17

* * *

Дует ветер, море хлеба,
Где тону я, всё в волненье,
Меж колосьев смотрит с неба
Полиолунье в изумленье:
Я пою, а ветер носит
Песню глупую, что смело
По лицу луны колосья
Задевает то и дело.

Ночь, лето 17 г.

БРЕД

Стоит, трепещет Стрекоза
В палящем мраке надо мною,
Стоцветной бисерной росой
Кипят несметные глаза
В ее головке раздвоенной,
В короне млечно-голубой —
И шепчет, шепчет сон бессонный
Во тьме палящей и слепой.

13.VII.18

* * *

Ты странствуешь, ты любишь, ты счастлива...
Где ты теперь? — Дивуешься волнам
Зеленого Бискайского залива
Меж белых платьев и панам.

Кровь древняя течет в тебе недаром.
Ты весела, свободна и проста...
Блеск темных глаз, румянец под загаром,
Худые милые уста...

Скажи поклоны князю и княгине.
Целую руку детскую твою
За ту любовь, которую отныне
Ни от кого я не таю.

IX.1918

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИСАИИ

Возьмет господь у вас
Всю вашу мощь, — отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших,
Художников и искушенных в слове.
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети ваши будут
Главенствовать над вами. И народы
Востанут друг на друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем
Глумиться будет юноша, а смерд —
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье — срам и мерзость
Пред господом, и выражение лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех. — Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

(1918)

— Дай мне, бабка, зелий приворотных.
Сердцу песен прежних, беззаботных,
Отдыха глазам.

— Милый внучек, рада б, да не в силах:
Зелья те цветут не по лесам,
А в сырых могилах.

(1918)

ВО ПОЛУНОЦИ

В сосудах тонких и прозрачных
Сквозит елей, огни горят.
Жених идет в одеждах брачных.
Невесты долу клонят вагляд.

И льется трепет серебристый
На лица радостные их:
— Благословенный и пречистый!
Взойди в приют рабынь твоих!

Не много нас, елей хранивших
Для тьмы, обещанной тобой.
Не много верных, не забывших,
Что встанет день над этой тьмой!

(2 сентября 1914 — сентябрь 1919)

* * *

Высокий белый зал, где черная рояль
Дневной холодный свет, блистая, отражает,
Княжна то жалобой, то громом оглашает,
Ломая туфелькой педаль.

Сестра стоит в диванной полукруглой,
Глядит с улыбкою насмешливо-живой,
Как пишет лицеист, с кудрявой головой
И с краской на лице, горячею и смуглой.

Глаза княжны не сходят с бурных нот,
Но что гремит рояль — она давно не слышит, —
Весь мир в одном: «Он ей в альбомы пишет!» —
И жалко искривлен дрожащий, сжатый рот.

(IX.1919)

НОЧНОЙ ПУТЬ

Стой со сжатыми скулами:
Как чугуны, тяжелы,
Ходят жадно, акулами
Под тобою валы.

Правь рукою железною:
Из-за шатких снастей
Небо высится звездное
В грозной славе своей.

⟨Январь 1920⟩

* * *

Гор сиреневых кручи встают,
Гаснет сумерек алых сиянье.
В тихом море сирены поют,
В мире счастье, покой и молчанье.

В мире только старик рыболов,
Да сиреневый остров Капрея,
Да заморская синь облаков,
Где закат потухает, алея.

⟨Январь 1920⟩

ЗВЕЗДА МОРЕЙ. МАРИЯ

На диких берегах Бретани
Бушуют зимние ветры.
Пустуют в ветре и тумане
Рыбачьи черные дворы.

Печально поднят лик Мадонны
В часовне старой. Дождь сечет.
С ее заржавленной короны
На ризу белую течет.

Единая, земному горю
Причастная! Ты, что дала
Свое святое имя Морю!
Ночь тяжела для нас была.

Огнями звездными над нами
Пылал морозный ураган.
Крутыми черными волнами
Ходил гудящий океан.

Рукой, от стужи онемелой,
Я правил парус корабля.
Но ты сама, в одежде белой,
Сошла и стала у руля.

И креп я духом, маловерный,
И в блеске звездной синевы
Туманный нимб, как отблеск серный,
Сиял округ твоей главы.

(1920)

ИЗГНАНИЕ

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан...
Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?
Гляжу вперед на черное распятыё
Среди дорог —
И простирает скорбные объятья
Почивший бог.

Бретань, 1920

ГАЗЕЛЛА

Холодный ветер дует с Мензалэ,
Огнистым морем блещет Мензалэ,
От двери бедной хижины моей
Смотрю в мираж зеркальный Мензалэ,
На пальмы за чертой его зыбей,
Туда, где с небом слито Мензалэ.
Ах, сколько стран неведомых за ней,
За пламенной гладью Мензала!
Сиюю один, тоскуя, у дверей,
В зеркально-красном свете Мензалэ.

(1920)

* * *

И вновь морская гладь бледна
Под звездным благостным сияньем,
И полночь теплая полна
Очарованием, молчаньем —
Как, господи, благодарить
Тебя за все, что в мире этом
Ты дал мне видеть и любить
В морскую ночь, под звездным светом!

Засыпая, в ночь с 24 на 25.VIII.22

* * *

Что впереди? Счастливый долгий путь.
Куда-то вдаль спокойно устремляет
Она глаза, а молодая грудь
Легко и мерно дышит и чуть-чуть
Воротничок от шеи отделяет —
И чувствую я слабый аромат
Ее волос, дыхания — и чую
Былых восторгов сладостный возврат...
Что там, вдали? Но я гляжу, тоскую,
Уж не вперед, нет, я гляжу назад.

15.IX.22

* * *

Звезда, воспламеняющая твердь,
Внезапно, на единое мгновенье,
Звезда летит, в свою не веря смерть,
В свое последнее паденье.

А ты, луна, свершаешь путь земной,
Теряя блеск с минуты на минуту, —
И мертвецом уходишь в край иной,
Испив по капле смертную цикуту!

22.IX.22

Порыжели холмы. Зноем выжжены
 И так близки обрывы хребтов,
 Поднебесных скалистых хребтов.
 На стене нашей глиняной хижины
 Уж не пахнет венки из цветов,
 Из заветных засохших цветов.
 Море все еще в блеске теряется,
 Тонет в солнечной светлой пыли:
 Что ж так горестно парус склоняется,
 Белый парус в далекой дали?

Ты меня позабудешь вдали.

3.X.26

Маргарита прокралась в светелку,
 Маргарита огня не зажгла,
 Заплетая при месяце косы,
 В сердце страшную мысль берегла.
 Собиралась рыдать и молиться,
 Да на миг на постель прилегла
 И заснула.— На спящую Дьявол
 До рассвета глядел из угла.

На рассвете он встал: «Маргарита,
 Дорогое дитя, покраснел,
 Скрылся месяц за синие горы,
 И петух на деревне пропел,—
 Поднимись и молись, Маргарита,
 Ниц пади и оплачь свой удел:
 Я недаром с такою тоскою
 На тебя до рассвета глядел!»

Что ж ты, Гретхен, так неторопливо
 Под орган вступила в двери храма?
 Что ж, под гром органа, так невинно
 Ты глядишь на огоньки престола,
 А склоняешь кроткие ресницы
 Так спокойно? Вот уж скоро полдень,
 Солнца луч все жарче блещет в купол:
 Скоро все замрет благоговейно,

Колокольчик зазвенит навстречу
Жениху небесному, — о Гретхен,
Что ж ты не бледнсеешь, не рыдаешь,
А тиха и радостна, как ангел,
Невестной Лилии подобна?
Бог прощает многое — ужели
Любящим, как ты, он все прощает?

⟨1926⟩

* * *

Только камни, пески, да нагие холмы,
Да сквозь тучи летящая в небе луна, —
Для кого эта ночь? Только ветер, да мы,
Да крутая и злая морская волна.

Но и ветер — зачем он так мечет ее?
И она — отчего столько ярости в ней?
Ты покрепче прижмись ко мне, сердце мое!
Ты мне собственной жизни милей и родней.

Я и нашей любви никогда не пойму:
Для чего и куда увела она прочь
Нас с тобой ото всех в эту буйную ночь?
Но господь так велел — и я верю ему.

⟨1926⟩

* * *

Земной, чужой душе закат!
В зеленом небе алым дымом
Туманы легкие летят
Над молчаливым зимним Крымом.

Чужой, тяжелый Чатырдах!
Звезда мелькает золотая
В зеленом небе, в облаках, —
Кому горит она, блистая?

Она горит душе моей,
Она зовет, — я это знаю
С первоначальных детских дней, —
К иной стране, к родному краю!

ОТРЫВОК

Старик с серьгой, морщинистый и бритый,
Из красной шерсти вязаный берет,
Шлыком висящий на ухо сто лет,
Опорки, точно старые копыта,
Рост полтора аршина, гнутый стан,
Взгляд исподлобья, зоркий и лукавый,—
Мила мне глушь сицилиан,
Патриархальные их нравы.

Вот темный вечер, буря, дождь, а он
Бредет один, с холодным ветром споря,
На дальний мол, под хмурый небосклон,
К необозримой черни моря.
Слежу за ним, и странная тоска
Томит меня: я мучаюсь мечтами,
Я думаю о прошлом старика,
О хижинах под этими хребтами,
В скалистой древней гавани, куда
Я занесен, быть может, навсегда...

ПОРТРЕТ

Бродя по залам, чистым и пустым,
Спокойно озаренным бледным светом,
Кто пред твоим блистающим портретом
Замедлит шаг? Кто будет золотым
Восхищен сном, непосланным судьбою
В жизнь давнюю, прожитую тобою?
— Кто б ни был он, познаешь ты, поэт,
С грядущим другом радость единенья
В стране, где нет ни горести, ни тленья,
А лишь нерукотворный твой Портрет!

* * *

Уж ветер шарит по полю пустому,
Уж завернули холода,
И как отрадно на сердце, когда
Идешь к своей усадьбе, к дому,

В студеный солнечный закат.
А струны телеграфные <гудят>
В лазури водянистой, и рядами
На них молоденькие ласточки сидят.
Меж тем как тучи дикими хребтами
Зимою с севера грозят!
Как хорошо помедлить на пороге
Под этим солнцем, уж скупым,—
И улыбнуться радостям былым
Без сожаленья и тревоги!

* * *

В полуденных морях, далеко от земли,
Водил господь мое ветрило —
И на лицо мое могильной тьмой легли
Лучи палящего светила.

Три четверти луны — как паутина,
А четверть — рог, блестящий, золотой
Небесный желудь!

Тот колокол, что пел в родной долине,
Когда луна всходила из-за гор.

Душа, по старине, еще надежд полна,
Но только прошлое ей мило —
И мнится: лишь для тех ей жизнь была дана,
Кого она похоронила.

Полный колос долу клонится,
Полый колос недвижим.

* * *

Высокие нездешние цветы
В густой траве росли на тех могилах,
И небеса в бесчисленных светилах
На них смотрели с высоты.

И дивная Венера, как луна,
Нам бледно озаряла руки, лица —
И моря гробовая плащаница
Была черна, недвижна и черна.

* * *

Сохнут, жарко сохнут травы,
Над полдневными горами,
Над сиреневым их кряжем
Встало облако колонной —
И, курясь, вясь, уходит
К ослепляющему небу.
В тень прозрачную маслины
Блик горячий и зеркальный
Льется с моря и играет
По сухим, колючим травам.

* * *

Где ты, угасшее светило?
Ты закатилось за поля,
Тебя сокрыла, поглотила
Немая, черная земля.
Но чем ты глубже утопаешь
В ее ночную глубину,
Тем все светлее наливаешь
Сияньем бледную Луну.
Прости. Принимаю указанье
Покорным быть земной судьбе, —
И это горное сиянье —
Воспоминая о тебе.

* * *

Ночью, в темном саду, постоял вдалеке,
Посмотрел в мезонин освещенный:
Вот ушла... вот вернулась — уже налегке
И с косой на плече, заплетенной.

«Вспомни прежнее! Вспомни, как тут...»
Не спеша, лишь собой занятая,
Потушила огонь... И поют,
И поют соловьи, изнывая.

Темен дом, полночь в тихом саду.
Помолись под небесною бездной,
На заветную глядя звезду
В белой россыпи звездной.

16.X.38

* * *

Ты жила в тишине и покое.
По старинке желтели обои,
Мелом низкий белел потолок,
И глядело окно на восток.

Зимним утром, лишь солнце всходило,
У тебя уже весело было:
Свет горячий спит на полу,
Печка жарко пылает в углу.

Книги в шкапе стояли, в порядке
На конторке лежали тетрадки,
На столе сладко пахли цветы...
«Счастье жалкое!» — думала ты.

18.X.38

* * *

Один я был в полночном мире,—
Я до рассвета не уснул.
Слышней, торжественней и шире
Шел моря отдаленный гул.

Один я был во всей вселенной,
Я был как бог ее — и мне,
Лишь мне звучал тот довременный
Глас бездны в гулкой тишине.

6.XI.38

* * *

Под окном бродила и скучала,
Подходила, горестно молчала...
А ведь я и сам был рад
Положить перо покорно,
Выскочить в окно проворно,
Увести тебя в весенний сад.

Там однажды я тебе признался,—
Плача и смеясь, пообещался:
«Если встретимся в саду в раю,
На какой-нибудь дорожке,
Поклонюсь тебе я в ножки
За любовь мою».

6.XI.38

* * *

И снова ночь, и снова под луной
Степной обрыв, пустынный и волнистый,
И у побережья тускло-золотистый
Печальный блеск, играющий с волной,
И снова там, куда течет, струится,
Все ширясь, золотая полоса,
Где под луной так ясны небеса,
Могильный холм из сумрака круглится.

* * *

Ночь и дождь, и в доме лишь одно
Светится в сырую тьму окно,
И стоит, молчит гнилой, холодный дом,
Точно склеп на кладбище глухом,

Склеп, где уж давно истлели мертвецы,
Прадеды, и деды, и отцы,
Где забыт один слепой ночник
И на лавке в шапке спит старик,
Переживший всех господ своих,
Друг, свидетель наших дней былых.

Ночью, засыпая

ВЕНКИ

Был праздник в честь мою, и был увенчан я
Венком лавровым, изумрудным:
Он мне студил чело, холодный, как змея,
В чертоге пирном, знойном, людном.

Жду нового венка — и помню, что сплетен
Из мирта темного он будет:
В чертоге гробовом, где вечный мрак и сон,
Он навсегда чело мое остудит.

(1950)



Генри Лонгфелло
»Песнь о Гайавате«
(перевод с английского)

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

«Песнь о Гайавате», впервые обнародованная в 1855 году, считается самым замечательным трудом Лонгфелло. Впечатление, произведенное ею, было необыкновенно: в полгода она выдержала тридцать изданий, породила множество подражаний и была переведена чуть ли не на все европейские языки.

«Мой знаменитый друг, — говорит известный немецкий поэт Ф. Фрейлиграт в предисловии к своему переводу «Песни о Гайавате», — открыл американцам Америку в поэзии. Он первый создал чисто американскую поэму, и она должна занять выдающееся место в Пантеоне всемирной литературы».

«Песнь о Гайавате», — говорит Лонгфелло, — это индейская Эдда, если я могу так назвать ее. Я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них говорится о человеке чудесного происхождения, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. У разных племен он был известен под разными именами: Michabou, Chiabo, Manabozo, Tagenauwagon, Hiawatha, что значит — пророк, учитель. В это старое предание я вплет и другие интересные индейские легенды... Действие поэмы происходит в стране оджибузов, на южном берегу Верхнего Озера, между Живописными Скалами и Великими Песками.

В России «Песнь о Гайавате» еще мало известна. Д. Л. Михаловский сухо и с пропусками перевел только несколько глав ее, значительно изменив форму и тон подлинника. Полный перевод ее появляется в п е р в ы е.

Я всюду старался держаться возможно ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по возможности, число и расположение стихов. Это было не легко: краткость английских слов вошла в пословицу; иногда приходилось сознательно жертвовать легкостью стиха, чтобы из одной строки Лонгфелло не делать нескольких.

Я проверил значение индейских слов по немецкому переводу Фрейлиграта, который просмотрен самим Лонгфелло. Список этих слов помещен в конце книги. В большинстве случаев индейские слова пояснены прямо в тексте, как это сделано в подлиннике,— например: «Вьет гнездо Омими, голубь»...

1908





ВСТУПЛЕНИЕ

Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:

«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибузев,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».

Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага, —
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.

Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных.
Читовэйк, зук, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».

Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу!» —
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такую речью:

«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, доли,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.

Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весною,
По ольхам сребристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.

Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате,—
О его рождение дивном,
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».

Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень, и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются,—
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка,—
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в бога,
В искру божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо,—
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забывается порою
На заброшенном погосте
И читаете в раздумье

На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры,—
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!

I

ТРУБКА МИРА

На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отсюда.

От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!»

От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.
Над рекою, у побережья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
И дохнул на лес соседний.
От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглись;
И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.

Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,
После — гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше,—
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землею.

Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Тоскалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.

И пророки всех народов
Говорили: «То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сгибается, как ива,
Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает.
На совет зовет народы».

Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты —
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.

И в доспехах, в ярких красках,
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете,—
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга;

В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая,
Вековая жажда мщения —
Роковой завет от предков.

Гитчи Манито всесильный,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участием,
С отчей жалостью, с любовью,—
Поглядел на гнев их лютой,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.

Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: «О дети, дети!
Слову мудрости внимайте,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!

Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей.
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритесь, о дети!
Будьте братьями друг другу!

И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно —
И умножатся все роды,
И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи,
Вы погибнете в раздорах!

Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!»

Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сняли все свои одежды,
Смело бросились в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистою волною
Выше их вода лилася —
От следов Владыки Жизни.
Мутно-красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.

Смывши краски боевые,
Вышли воины на берег,
В землю палицы зарыли,
Погребли в земле доспехи.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.

И в молчанье все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья

И пустились в путь обратный —
В ту минуту, как завеса
Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Покваны, Трубки Мира.

II

ЧЕТЫРЕ ВЕТРА

«Слава, слава, Мэджекивис!» —
Старцы, воины кричали
В день, когда он возвратился
И принес Священный Вампум
Из далеких стран Вабассо,—
Царства кролика седого,
Царства Северного Ветра.

У Великого Медведя
Он украл Священный Вампум,
С толстой шеи Мише-Моквы,
Пред которым трепетали
Все народы, снял он Вампум
В час, когда на горных высях
Спал медведь, тяжелый, грузный,
Как утес, обросший мохом,
Серым мохом в бурых пятнах.

Тихо он к нему подкрался,
Так подкрался осторожно,
Что его почти касались
Когти красные медведя,
А горячее дыханье
Обдавало жаром руки.
Осторожно снял он Вампум
По ушам, по длинной морде
Исполина Мише-Моквы;
Ничего не услышали
Уши круглые медведя,
Ничего не разглядели
Глазки сонные — и только
Из ноздрей его дыханье
Обдавало жаром руки.

Кончив, палицей взмахнул он,
Крикнул громко и протяжно
И ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
Между глаз ударил прямо!

Словно громом оглушенный,
Приподнялся Мише-Моква,
Но едва вперед подался,
Затряслись его колени,
И со стоном, как старуха,
Сел на землю Мише-Моква.
А могучий Мэджеквис
Перед ним стоял без страха,
Над врагом смеялся громко,
Говорил с пренебреженьем:

«О медведь! Ты — Шогодайя!
Всюду хвастался ты силой,
А как баба, как старуха,
Застонал, завыл от боли.
Трус! Давно уже друг с другом
Племена враждуют наши,
Но теперь ты убедился,
Кто бесстрашней и сильнее.
Уходите прочь с дороги,
Прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты меня осилил,
Я б не крикнул, умирая,
Ты же хнычешь предо мною
И свое позоришь племя,
Как трусливая старуха,
Как презренный Шогодайя».

Кончив, палицей взмахнул он,
Вновь ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
И, как лед под рыболовом,
Треснул череп под ударом.
Так убит был Мише-Моква,
Так погиб Медведь Великий,
Страх и ужас всех народов.

«Слава, слава, Мэджекивис! —
Восклищал народ в восторге. —
Слава, слава, Мэджекивис!
Пусть отныне и навеки
Ветром Запада он будет,
Властелином над ветрами!»
И могучий Мэджекивис
Стал владыкой над ветрами.
Ветер Западный оставил
Он себе, другие отдал
Детям: Вебону — Восточный,
Шавондази — теплый Южный,
А Полночный Ветер дикий
Злому дал Кабибонокке.

Молод и прекрасен Вебон!
Это он приносит утро
И серебряные стрелы
Сыплет, сумрак прогоняя,
По холмам и по долинам;
Это Вебона ланиты
На заре горят багрянцем,
А призывный голос будит
И охотника и зверя.

Одинок на небе Вебон!
Для него все птицы пели,
Для него цветы в долинах
Разливали сладкий запах,
Для него шумели реки,
Рощи темные вздыхали,
Но всегда был грустен Вебон:
Одинок он был на небе.

Утром раз, на землю глядя,
В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева — собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.

С той поры, на землю глядя,
Только очи голубые
Видел Вебон на рассвете:
Как два озера лазурных,
На него они смотрели,
И задумчивую деву,
Что к нему стремилась сердцем,
Полюбил прекрасный Вебон:
Оба были одиноки,
На земле — она, он — в небе.

Он возлюбленную нежил
И ласкал улыбкой солнца,
Нежил вкрадчивою речью,
Тихим вздохом, тихой песней,
Тихим шепотом деревьев,
Ароматом белых лилий.
К сердцу милую привлек он,
Ярким пурпуром окутал —
И она затрепетала
На груди его звездою.
Так доныне неразлучно
В небесах они проходят:
Вебон, рядом Вебон-Аннионг —
Вебон и Звезда Рассвета.

В ледяных горах, в пустыне,
В царстве кролика Вабассо,
В царстве вечной снежной выюги,
Обитал Кабибонокка.
Это он осенней ночью
Разрисовывает листья
Краской желтой и багряной,
Это он приносит выюги,
По лесам шипит и свищет,
Покрывает льдом озера,
Гонит чаек острокрылых,
Гонит цаплю и баклана
В камыши, в морские бухты,
В гнезда их на теплом юге.

Вышел раз Кабибонокка
Из своих чертогов снежных
Меж горами ледяными,
Устремился с воем к югу

По замерзшим, белым тундрам,
И, осыпанные снегом,
Волоса его — рекою,
Черной, зимнею рекою
По земле за ним струились.

В тростниках, среди осоки,
На замерзших, белых тундрах
Жил там Шингебис, морянка.
Одинок в белых тундрах
Проводил он зиму эту:
Братья Шингебиса были
В теплых странах Шавондази.

И вскричал Кабибонокка
В лютom гневe: «Кто дерзает
Презирать Кабибонокку?
Кто осмелился остаться
В царстве Северного Ветра,
Если Вава и Шух-шух-га,
Если дикий гусь и цапля
Уж давно на юг умчались?
Я пойду к его вигваму,
Я очаг его разрушу!»

И пришел во мраке ночи
Ко врагу Кабибонокка.
Он намел сугробы снега,
Завывал в трубе вигвама,
Потрясал его свирепо,
Рвал дверные занавески.
Шингебис не испугался,
Шингебис его не слушал!
В очаге его играло
Пламя яркое, и рыбу
Ел он с песнями и смехом.

Ворвался тогда в жилище
Дикий, злой Кабибонокка,
Шингебис от стужи вздрогнул
В ледяном его дыханье,
Но по-прежнему смеялся,
Но по-прежнему пел громко;
Он костер поправил только,
Чтоб костер горел светлее,
Чтоб кидало пламя искры.

И с чела Кабибонокки,
С кос его в снегу холодном
Стали падать капли пота,
Как весною каплет с крыши
Иль с ветвей болиголова.
Побежденный этим жаром,
Раздраженный этим пеньем,
Он вскочил и из вигвама
В поле бросился, шагая
По рекам и по озерам:
На борьбу над белой тундрой
Вызывал врага коварно.

Но без страха, без боязни
Вышел Шингегис на битву;
До рассвета он боролся
С Ветром Северным над тундрой,
До утра когтями бился
Шингегис с Кабибоноккой.
И без сил Кабибонокка
Отступил в свои владенья,
Со стыдом бежал по тундрам
В царство кролика, Вабассо,
А за ним все раздавались
Хохот, песни и насмешки.

Шавондази, тучный, сонный,
Обитал на дальнем юге,
Где в дремотном блеске солнца
Круглый год царило лето.
Это он шлет птиц весною,
Шлет к нам ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу, трясогузку,
Опечи шлет, реполова,
Гуся, Ваву, шлет на север,
Шлет табак душистый, дыни,
Виноград в багряных гроздьях.

Дым из трубки Шавондази
Небеса туманит паром,
Наполняет негой воздух,
Мягкий блеск дает озерам,
Очертанья гор смягчая,
Веет нежной лаской лета
В теплый Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж зимой холодной.

Беззаботный Шавондази!
Лишь одно узнал он горе,
Лишь одну печаль изведал.
Раз, смотря на север с юга,
Далеко в степных равнинах
Он увидел утром деву,
Деву с гибким, стройным станом,
Одинокую в равнинах.
Был на ней наряд зеленый,
И как солнце были косы.

День за днем потом смотрел он,
День за днем вздыхал он страстно,
День за днем все больше сердце
Разгоралось в нем любовью
К деве нежной, златокудрой.
Но ленив и неподвижен
Был беспечный Шавондази,
Да, ленив и слишком тучен:
К милой он пойти все медлил,
Он сидел, вздыхая страстно,
И все только любовался
Златокудрой девой прерий.

Наконец однажды утром
Увидал он, что поблекли
Кудри русые у милой,—
Словно первый снег, белеют.
«О мой брат из Стран Полночных,
Из далеких стран Вабассо,
Царства Северного Ветра!
Ты украл мою невесту,
Завладел моею милой,
Обольстил ее своею
Сказкой Северного Ветра!»

Так несчастный Шавондази
Изливал свои страданья,
И бродил в равнинах знойный
Южный Ветер, полный вздохов,
Страстных вздохов, Шавондази.
И наполнился весь воздух,
Словно снегом, белым пухом:
Погубили вздохи ветра
Деву с русыми кудрями,

И от взоров Шавондази
Навсегда сокрылась дева!

О мечтатель Шавондази!
Не по девушке вздыхал ты,
Не на женщину смотрел ты,—
На цветок, на одуванчик;
О цветке вздыхал ты страстно,
На цветок глядел все лето
День за днем с любовью томной,
И сгубил его навеки,
В поле вздохами развеял.
Бедный, бедный Шавондази!

III

ДЕТСТВО ГАЙАВАТЫ

В летний вечер, в полнолуние,
В незапамятное время,
В незапамятные годы,
Прямо с месяца упала
К нам прекрасная Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.

Как дитя, она играла,
На ветвях на виноградных
Меж подруг своих качалась,
И одна из них, сгорая
Злобой ревности и мести,
Эти ветви подрубила,
И на Мускодэ упала,
На цветущую долину,
Замирая от испуга,
Летним вечером Нокомис.
«Вон звезда упала с неба!» —
Говорил народ в селеньях.

Там, на мягких мхах и травах,
Там, среди стыдливых лилий,
В тихой Мускодэ, в долине,
В звездном блеске, в лунном свете,
Стала матерью Нокомис,
Назвала дочь первородной —

Назвала ее Веноной,
И, как лилия в долине,
Расцвела ее Венона:
Стала гибкой, стала стройной,
Точно лунный свет прекрасной,
Точно звездный отблеск нежной.

И Нокомис часто стала
Говорить, твердить Веноне:
«О, страшись, остерегайся
Мэджекивиса, Венона!
Никогда его не слушай,
Не гуляй одна в долине,
Не ложись в траве меж лилий!»

Но не слушалась Венона,
Не внимала мудрой речи,
И пришел к ней Мэджекивис,
Темным вечером подкрался,
С тихим шепотом склоняя
На лугу цветы и травы.
Там прекрасная Венона
Меж цветов одна лежала.
Там нашел ее коварный
Ветер Западный — и начал
Очаровывать Венону
Сладкой речью, нежной лаской,—
И родился сын печали,
Нежной страсти и печали,
Дивной тайны — Гайавата.

Так родился Гайавата;
А коварный Мэджекивис,
Бессердечный Мэджекивис
Уж покинул дочь Нокомис,
И недолго после билось
Сердце нежное Веноны:
Умерла она в печали.

Долго с криками рыдала,
Долго плакала Нокомис:
«О, зачем жестокий Погок
Не меня унес с собою?
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин, вагономин!»

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря.

Там, в тиши лесов и моря,
Внука нянчила Нокомис,
В люльке липовой качала,
Усталанной кугой и мохом,
Крепко связанной ремнями,
И, качая, говорила:
«Спи! А то отдам медведю!»
Там, баюкая, певала:
«Эва-ия, мой совенок!
Что там светится в вигваме?
Чьи глаза блестят в вигваме?
Эва-ия, мой совенок!»

Много-много рассказала
О звездах ему Нокомис:
Показала хвост кометы, —
Ишкуду в огнистых косах,
Показала Танец Духов,
Их блистающие рати
В небесах Страны Полночной,
В Месяц Лыж морозной ночью;
Показала серебристый
Путь всех призраков и духов —
Белый путь на темном небе,
Полном призраков и духов.

Вечерами, теплым летом,
У дверей сидел малютка,
Слушал тихий ропот сосен,
Слушал тихий плеск прибоя,
Звуки дивных слов и песен:
«Минни-вава!» — пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!» — пели волны.

Видел мушку, Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая белой искрой,
Светит в сумраке вечернем
Над травой и кустами,
И тихонько пел ей песню,
Что Нокомис научила:
«Ва-ва-тэйзи, Ва-ва-тэйзи!
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко,
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею:
Скоро я в постельку лягу,
Скоро я закрою глазки!»

Видел, как над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в Гитчи-Гюми,
Подымался полный месяц,
Видел тень на нем и пятна
И шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Раз один сердитый воин
Подхватил старуху-бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо.
Так она там и осталась».

Видел радугу на небе,
На востоке, и тихонько
Говорил: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это Мускодэ на небе;
Все цветы лесов зеленых,
Все болотные кувшинки,
На земле когда увянут,
Расцветают снова в небе».

Если сов он слышал в полночь,—
Вой и хохот в чаще леса,
Он дрожа кричал: «Кто это?»
Он шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это совы собрались
И по-своему болтают,
Это ссорятся совы!»

Так малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они выют гнезда летом,
Где живут они зимою;
Часто с ними вел беседы,
Звал их всех: «мои цыплята».

Всех зверей язык узнал он,
Имена их, все их тайны:
Как бобер жилище строит,
Где орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,
Отчего труслив Вабассо;
Часто с ними вел беседы,
Звал их: «братья Гайаваты».

И рассказчик сказок Ягу,
Говорун, хвостун великий,
Много по свету бродивший,
Верный друг Нокомис старой,
Сделал лук для Гайаваты:
Лук из ясеня он сделал,
Стрелы сделал он из дуба,
Наконечники — из яшмы,
Тетиву — из кожи лани.

И сказал он Гайавате:
«Ну, мой сын, иди скорее
В лес, где держатся олени.
Застрели-ка там косулю
С разветвленными рогами».

Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Опечи пел красногрудый;
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Пел Овейса синеперый.

На дубу над Гайаватой
Вниз и вверх скакала белка,
Меж зеленых листьев дуба
С кашлем прыгала, смеялась
И, смеясь, пробормотала:
«Пощади, о Гайавата!»

И вприпрыжку белый кролик
Робко бросился с тропинки,
Стал вдали на задних лапках
И охотнику промолвил
Хоть и в шутку, но трусливо:
«Пощади, о Гайавата!»

Но не слушал Гайавата,—
Точно сонный, брел он лесом,
Думал только об олене,
След его искал глазами,
След, что вел к речному броду,
По тропе к речному броду.

За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света,
И, как легкий лист березы,
Сердце в нем затрепетало,
Как ольха, весь задрожал он,
Увидав над бродом зверя.

На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.

Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впилась!

Мертвый он лежал у брода,
Меж деревьев, над рекою;
Сердце в нем уже не билось,
Но зато у Гайаваты
Сердце так и трепетало,
Как домой он нес оленя
И ему рукоплескали
Старый Ягу и Нокомис.

Из оленьей пестрой шкуры
Внуку плащ Нокомис сшила,
Созвала соседей в гости,
Пир дала в честь Гайаваты.
Вся деревня собралась,
Все соседи называли
Гайавату храбрым, сильным —
Сон-джи-тэгэ, Ман-го-тэйзи!

IV

ГАЙАВАТА И МЭДЖЕКВИС

Миновали годы детства,
Возмужал мой Гайавата;
Игры юности беспечной,
Стариков житейский опыт,
Труд, охотничьи сноровки —
Все постиг он, все изведal.

Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Десять раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий
Так легко, что догоняли
На лету друг друга стрелы.

Рукавицы Гайаваты,
Рукавицы, Минджикавон,
Из оленьей мягкой шкуры
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять в песчинки камни.

Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.

Об отце своем нередко
Он расспрашивал Нокомис,
И поведала Нокомис
Внуку тайну роковую:
Рассказала, как прекрасна,
Как нежна была Венона,
Как сгубил ее изменой
Вероломный Мэджекивис,
И, как уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Он сказал Нокомис старой:
«Я иду к отцу, Нокомис,
Я хочу его проведать
В царстве Западного Ветра,
У преддверия Заката».

Из вигвама выходил он,
Снарядившись в путь далекий,
В рукавицах, Минджикэвон,
И волшебных мокалинах.
Весь наряд его богатый
Из оленьей мягкой шкуры
Зернью вампума украшен
И щетиной дикобраза.
Голова его — в орлиных
Развешающихся перьях,
За плечом его, в колчане —
Из дубовых веток стрелы,
Оперенные искусно
И оправленные в яшму,
А в руках его — упругий
Лук из ясеня, согнутый
Тетивой из жил оленя.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не ходи, о Гайавата,
В царство Западного Ветра:
Он убьет тебя коварством,
Волшебством своим погубит».

Но отважный Гайавата
Не внимал ее советам.
Уходил он от вигвама,
С каждым шагом делал милю.
Мрачным лес ему казался,
Мрачным — свод небес над лесом,
Воздух — душным и горячим,
Полным дыма, полным гари,
Как в пожар лесов и прерий:
Словно уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,
Легче лани и бизона,
Переплыл он Эсконабо,
Переплыл он Миссисипи,
Миновал Степные Горы,
Миновал степные страны
И Лисиц и Черноногих,
И пришел к Горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый Мэджекивис.

С тайным страхом Гайавата
Пред отцом остановился:
Дико в воздухе клубились,
Облаками развевались
Волоса его седые,
Словно снег, они блестели,
Словно пламенные косы
Ишкуды, они сверкали.

С тайной радостью увидел
Мэджекивис Гайавату:
Это молодости годы
Перед ним воскресли к жизни,
Это встала из могилы
Красота Веноны нежной.

«Будь здоров, о Гайавата! —
Так промолвил Мэджекивис. —
Долго ждал тебя я в гости
В царство Западного Ветра!
Годы старости — печальны,
Годы юности — отрадны.
Ты напомнил мне бывшее,
Юность пылкую напомнил
И прекрасную Венону!»

Много дней прошло в беседе,
Долго мощный Мэджекивис
Похвалялся Гайавате
Прежней доблестью своею,
Приключениями былыми,
Непреклонною отвагой;
Говорил, что дивной силой
Он от смерти заколдован.

Молча слушал Гайавата,
Как хвалился Мэджекивис,
Терпеливо и с улыбкой
Он сидел и молча слушал.
Ни угрозой, ни укором,
Ни одним суровым взглядом
Он не выказал досады,
Но, как уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

И сказал он: «Мэджекивис!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
И могучий Мэджекивис
Величаво, благосклонно
Отвечал: «Ничто на свете,
Кроме вон того утеса,
Кроме Вавбика, утеса!»

И, взглянув на Гайавату
Взором мудрости спокойной,
По-отечески любясь
Красотой его и мощью,
Он сказал: «О Гайавата!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»

Помолчал одну минуту
Осторожный Гайавата,
Помолчал, как бы в сомненье,
Помолчал, как бы в раздумье,
И сказал: «Ничто на свете.
Лишь один тростник, Эпоква,
Лишь вопи тот камыш высокий!»
И как только Мэджекивис,
Встав, простер к Эпокве руку,
Гайавата в страхе крикнул,
В лицемерном страхе крикнул:
«Каго, каго! — Не касайся!»
«Полно! — молвил Мэджекивис.—
Успокойся,— я не трону».

И опять они беседу
Продолжали; говорили
И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне,
О ее рожденье дивном,
О ее кончине грустной,—
Обо всем, что рассказала
Внуку старая Нокомис.

И воскликнул Гайавата:
«О коварный Мэджекивис!
Это ты убил Венону,
Ты сорвал цветок весенний,
Растоптал его ногами!
Признавайся! Признавайся!»
И могучий Мэджекивис
Тихо голову седую
Опустил в тоске глубокой,
В знак безмолвного согласия.

Быстро встал тогда, сверкая
Грозным взором, Гайавата,
На утес занес он руку
В рукавице, Минджикэвон,
Разломил его вершину,
Раздробил его в осколки,
Стал в отца швырять свирепо:
Словно уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Но могучий Мэджекивис
Камни гнал назад дыханьем,
Бурей гневного дыханья
Гнал назад, на Гайавату.
Он схватил рукой Эпокву,
Вырвал с мочками, с корнями,—
Над рекой из вязкой тины
Вырвал бешено Эпокву
Он под хохот Гайаваты.

И начался бой смертельный
Меж Скалистыми Горами!
Сам Орел Войны могучий
На гнезде поднялся с криком,
С резким криком сел на скалы,
Хлопал крыльями над ними.
Словно дерево под бурей,
Рассекал Эпоква воздух,
Словно град, летели камни
С треском с Вавбика, утеса,
И земля окрест дрожала,
И на тяжкий грохот боя
По горам гремело эхо,
Отзывалось: «Бэм-Вава!»

Отступать стал Мэджекивис,
Устремился он на запад,
По горам на дальний запад,
Отступал три дня, сражаясь,
Убегал, гонимый сыном,
До преддверия Заката,
До границ своих владений,
До конца земли, где солнце
В красном блеске утопает
На ночлег в воздушной бездне,

Опускаясь, как фламинго
Опускается зарею
На печальное болото.

«Удержись, о Гайавата! —
Наконец вскричал он громко.—
Ты убить меня не в силах,
Для бессмертного нет смерти.
Испытать тебя хотел я,
Испытать твою отвагу,
И награду заслужил ты!

Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,
С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной,
Умертвить чудовищ злобных,
Змей, Кинэбик, и гигантов,
Как убил я Мише-Мокву,
Исполина Мише-Мокву.

А когда твой час настанет
И заблещут над тобою
Очи Погока из мрака,—
Разделю с тобой я царство,
И владыкою ты будешь
Над Кивайдином вовеки!»

Вот какая разыгралась
Битва в грозные дни Ша-ша,
В дни далекого былого,
В царстве Западного Ветра.
Но следы той славной битвы
И теперь охотник видит
По холмам и по долинам.
Видит шпажник исполинский
На прудах и вдоль потоков,
Видит Вавбика осколки
По холмам и по долинам.

На восток, в родную землю,
Гайавата путь направил:
Позабыл он горечь гнева,
Позабыл о мщенье думы,

И вокруг него отрадой
И весельем все дышало.

Только раз он путь замедлил,
Только раз остановился,
Чтоб купить в стране Дакотов
Наконечников на стрелы.
Там в долине, где смеялись,
Где блистали, низвергаясь,
Меж зелеными дубами,
Водопады Миннегаги,
Жил старик, дакот суровый.
Делал он головки к стрелам,
Острия из халцедона.
Из кремня и крепкой яшмы,
Отшлифованные гладко,
Заостренные, как иглы.

Там жила с ним дочь-невеста,
Быстроногая, как речка,
Своенравная, как брызги
Водопадов Миннегаги.
В блеске черных глаз играли
У нее и свет и тени,—
Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал как песня,
Как поток струились косы,
И Смеющейся Водой
В честь реки ее назвал он.
В честь веселых водопадов
Дал ей имя — Миннегага.

Так ужели Гайавата
Заходил в страну Дакотов,
Чтоб купить головок к стрелам,
Наконечников из яшмы,
Из кремня и халцедона?
Не затем ли, чтоб украдкой
Посмотреть на Миннегагу,
Встретить взор ее пугливый,
Услышать одежды шорох
За дверною занавеской,
Как глядят на Миннегагу,
Что горит сквозь ветви леса,
Как внимают водопаду
За зеленой чащей леса?

Кто расскажет, что таится
В молодом и пылком сердце?
Как узнать, о чем в дороге
Сладко грезил Гайавата?
Все Нокомис рассказал он,
Возвратясь домой под вечер,
О борьбе и о беседе
С Мэджекивисом могучим,
Но о девушке, о стрелах
Не обмолвился ни словом!

V

ПОСТ ГАЙАВАТЫ

Вы услышите сказанье,
Как в лесной глуши постился
И молился Гайавата:
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастье, о благе
Всех племен и всех народов.

Пред постом он приготовил
Для себя в лесу жилище,—
Над блестящим Гитчи-Гюми,
В дни весеннего расцвета,
В светлый, теплый Месяц Листьев
Он вигвам себе построил
И, в виденьях, в дивных грезах,
Семь ночей и дней постился.

В первый день поста бродил он
По зеленым тихим рощам;
Видел кролика он в норке,
В чаще выпугнул оленя,
Слышал, как фазан кудахтал,
Как в дупле возилась белка,
Видел, как под тенью сосен
Вьет гнездо Омими, голубь,
Как стада гусей летели
С заунывным криком, с шумом
К диким северным болотам.
«Гитчи Манито! — вскричал он,

Полный скорби безнадежной.—
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На другой день над рекою,
Вдоль по Мускодэ, бродил он,
Видел там он Маномони
И Минагу, голубику,
И Одамин, землянику,
Куст крыжовника, Шабомин,
И Бимагут, виноградник,
Что зеленою гирляндой,
Разливая сладкий запах,
По ольховым сучьям вьется.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной.—
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

В третий день сидел он долго,
Погруженный в размышленья,
Возле озера, над тихой,
Над прозрачною водою.
Видел он, как прыгал Нама,
Сыпля брызги, словно жемчуг;
Как резвился окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя,
Видел щуку, Маскенозу,
Сельдь речную, Окагавис,
Шогаши, морского рака.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной.—
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»

На четвертый день до ночи
Он лежал в изнеможенье
На листе в своем вигваме.
В полусне над ним роились
Грезы, смутные виденья;
Вдалеке вода сверкала
Зыбким золотом, и плавно
Все кружилось и горело
В пышном зареве заката.

И увидел он: подходит
В полусумраке пурпурном,
В пышном зареве заката,
Стройный юноша к вигваму.
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

У дверей остановившись,
Долго с жалостью, с участием
Он смотрел на Гайавату,
На лицо его худое,
И, как вздохи Шавондази
В чаще леса, прозвучала
Речь его: «О Гайавата!
Голос твой услышан в небе,
Потому что ты молился
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастье, о благе
Всех племен и всех народов.

Для тебя Владыкой Жизни
Послан друг людей — Мондамин;
Послан он тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпенье
Ты получишь все, что просишь.
Встань с ветвей, с зеленых листьев,
Встань с Мондамином бороться!»

Изнурен был Гайавата,
Слаб от голода, но быстро
Встал с ветвей, с зеленых листьев.
Из стемневшего вигвама
Вышел он на свет заката,
Вышел с юношей бороться —
И едва его коснулся,
Вновь почувствовал отвагу,
Ощутил в груди усталой
Бодрость, силу и надежду.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
И все крепче, все сильнее
Гайавата становился.

Но спустились тени ночи,
И Шух-шух-га на болоте
Издавала свой крик тоскливый,
Вопль и голода и скорби.

«Кончим! — вымолвил Мондамин.
Улыбаясь Гайавате, —
Завтра снова приготовься
На закате к испытанию».
И, сказав, исчез Мондамин.
Опустился ли он тучкой
Иль поднялся, как туманы, —
Гайавата не заметил;
Видел только, что исчез он,
Истомив его борьбою,
Что внизу, в ночном тумане,
Смутно озеро белеет,
А вверх мерцают звезды.

Так два вечера — лишь только
Опускалось тихо солнце
С неба в западные воды,
Погружалось в них, краснея,
Словно уголь, раскаленный
В очаге Владыки Жизни, —
Приходил к нему Мондамин.
Молчаливо появлялся,
Как роса на землю сходит,
Принимающая форму
Лишь тогда, когда коснется
До травы или деревьев,
Но невидимая смертным
В час прихода и ухода.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката;
Но спустились тени ночи,
Прокричала на болоте
Громко, жалобно Шух-шух-га.
И задумался Мондамин;
Стройный станом и прекрасный,
Он стоял в своем наряде;
В головном его уборе
Перья веяли, качались,
На челе его сверкали
Капли пота, как росинки.

И вскричал он: «Гайавата!
Храбро ты со мной боролся,
Трижды стойко ты боролся,
И пошлет Владыка Жизни
Надо мной тебе победу!»

А потом сказал с улыбкой:
«Завтра кончится твой искус —
И борьба и пост тяжелый;
Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце —
Согревать до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой.

Стереги мой сон глубокий,
Чтоб никто меня не трогал,
Чтобы плевелы и травы
Надо мной не зарастали,
Чтобы Кагаги, Царь-Ворон,
Не летал к моей могиле.
Стереги мой сон глубокий
До поры, когда проснусь я,
К солнцу светлому воспряну!»
И, сказав, исчез Мондамин.

Мирным сном спал Гайавата;
Слышал он, как пел уныло
Полуночник, Вавснэйса,
Над вигвамом одиноким;
Слышал он, как, убегая,
Сибовиша говорливый
Вел беседы с темным лесом;
Слышал шорох — вздохи веток,
Что склонялись, подымались,
С ветерком ночным качаясь.
Слышал все, но все сливалось
В дальний ропот, сонный шепот:
Мирным сном спал Гайавата.

На заре пришла Нокомис,
На седьмое утро пищи
Принесла для Гайаваты.
Со слезами говорила,
Что его погубит голод,
Если пищи он не примет.

Ничего он не отведал,
Ни к чему не прикоснулся,
Лишь промолвил ей: «Нокомис!
Подожди со мной заката,
Подожди, пока стемнеет
И Шух-шух-га громким криком
Возвестит, что день окончен!»

Плача, шла домой Нокомис,
Все тоскуя, опасаясь,
Что его погубит голод.
Он же стал, томясь тоскою,
Ждать Мондамина. И тени
Потянулись от заката
По лесам и по долинам;
Опустилось тихо солнце
С неба в Западные Воды,
Как спускается зарею
В воду красный лист осенний
И в воде, краснея, тонет.

Глядь — уж тут Мондамин юный
У дверей стоит с приветом!
Голова его — в блестящих,
Развеваящихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.

Как во сне к нему навстречу
Встал, измученный и бледный,
Гайавата, но бесстрашно
Вышел — и бороться начал.

И слились земля и небо,
Замелькали пред глазами!
Как осетр в сетях трепещет,
Бьется бешено, чтоб сети
Разорвать и прыгнуть в воду,
Так в груди у Гайаваты

Сердце сильное стучало;
Словно огненные кольца,
Горизонт сверкал кровавый
И кружился с Гайаватой,
Сотни солнцев, разгораясь,
На борьбу его глядели.
Вдруг один среди поляны
Очутился Гайавата.

Он стоял, ошеломленный
Этой дикою борьбою,
И дрожал от напряженья;
А пред ним, в измятых перьях
И в изорванных одеждах,
Бездыханный, неподвижный,
На траве лежал Мондамин,
Мертвый, в зареве заката.

Победитель Гайавата
Сделал так, как приказал он:
Снял с Мондамина одежды,
Снял изломанные перья,
Схоронил его и землю
Разровнял и сделал мягкой.
И среди болот печальных
Цапля сизая, Шух-шух-га,
Издавала свой крик тоскливый,
Вопль и жалобы и скорби.

В отчий дом, в вигвам Нокомис
Возвратился Гайавата,
И семь суток испытанья
В этот вечер завершились.
Но запомнил Гайавата
Те места, где он боролся,
Не покинул без призора
Ту могилу, где Мондамин
Почивал, в земле зарытый,
Под дождем и ярким солнцем.

День за днем над той могилой
Сторожил мой Гайавата,
Чтобы холм ее был мягким,
Не зарос травой сорной,
Прогоняя свистом, криком
Кагаги с его народом.

Наконец зеленый стебель
Показался над могилой,
А за ним — другой и третий,
И не кончилось лето,
Как в своем уборе пышном,
В золотистых, мягких косах,
Встал высокий, стройный маис.
И воскликнул Гайавата
В восхищении: «Мондамин!
Это друг людей, Мондамин!»

Тотчас кликнул он Нокомис,
Кликнул Ягу, рассказал им
О своем виденье дивном,
О своей борьбе, победе,
Показал зеленый маис —
Дар небесный всем народам,
Что для них быть должен пищей.

А поздней, когда, под осень,
Пожелтел созревший маис,
Пожелтели, стали тверды
Зерна маиса, как жемчуг,
Он собрал его початки,
Снял с него листву сухую,
Как с Мондамина когда-то
Снял оджды, — и впервые
«Пир Мондамина» устроил,
Показал всему народу
Новый дар Владыки Жизни.

VI

ДРУЗЬЯ ГАЙАВАТЫ

Было два у Гайаваты
Неизменных, верных друга.
Сердце, душу Гайаваты
Знали в радостях и в горе
Только двое: Чайбайабос,
Музыкант, и мощный Квазинд.

Меж вигвамов их тропинка
Не могла в траве загдохнуть;
Сплетни, лживые наветы

Не могли посеять злобы
И раздора между ними:
Обо всем они держали
Лишь троим совет согласный,
Обо всем с открытым сердцем
Говорили меж собою
И стремились только к благу
Всех племен и всех народов.

Лучшим другом Гайаваты
Был прекрасный Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый.
Был, как воин, он отважен,
Но, как девушка, был нежен,
Словно ветка ивы, гибок,
Как олень рогатый, статен.

Если пел он, вся деревня
Собиралась песни слушать,
Жены, воины сходились,
И то нежностью, то страстью
Волновал их Чайбайабос.

Из тростики сделав флейту,
Он играл так нежно, сладко,
Что в лесу смолкали птицы,
Затихал ручей игривый,
Замолкала Аджидомо,
А Вабассо осторожный
Приседал, смотрел и слушал.

Да! Примолкнул Сибовиша
И сказал: «О Чайбайабос!
Научи мои ты волны
Мелодичным, нежным звукам!»

Да! Завистливо Овейса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня безумным,
Страстным звукам диких песен!»

Да! И Опечи веселый
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня веселым,
Сладким звукам нежных песен!»

И, рыдая, Вавонэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня тоскливым,
Скорбным звукам скорбных песен!»

Вся природа сладость звуков
У него перенимала,
Все сердца смягчал и трогал
Страстной песней Чайбайабос,
Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,
Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.

Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый!
Он любил его за нежность
И за чары звучных песен.

Дорог сердцу Гайаваты
Был и Квазинд, самый мощный
И незлобивый из смертных;
Он любил его за силу,
Доброту и простодушие.

Квазинд в юности ленив был,
Вял, мечтателен, беспечен;
Не играл ни с кем он в детстве,
Не удил в заливе рыбы,
Не охотился за зверем,—
Не похож он был на прочих.
Но постился Квазинд часто,
Своему молился Духу,
Покровителю молился.

«Квазинд,— мать ему сказала,—
Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;

В самый лютый зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы,—
Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает,—
Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!»

Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,
Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот насколько был он силен.

«Квазинд! — раз отец промолвил,—
Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса».

Вдоль ущелья, по теченью
Ручейка, они спускались,
По следам бизонов, ланей,
Отпечатанным на иле,
И наткнулись на преграду:
Повалившиеся сосны
Поперек и вдоль дороги
Весь проход загромождали.

«Мы должны,— промолвил старец,—
Ворочаться: тут не влезешь!
Тут и белка не взберется,
Тут сурок пролезть не сможет».
И сейчас же вынул трубку,
Закурил и сел в раздумье.
Но не выкурил он трубки,
Как уж путь был весь расчищен:
Все деревья Квазинд поднял,
Быстро вправо и налево
Раскидал, как стрелы, сосны,
Разметал, как колья, кедры.

«Квазинд! — юноши сказали,
Забавляясь на долине,—
Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись?
Выходи, давай бороться,
В цель бросать из пращи камни».

Вялый Квазинд не ответил,
Ничего им не ответил,
Только встал и, повернувшись,
Обхватил утес руками,
Из земли его он вырвал,
Раскачал над головою
И забросил прямо в реку,
Прямо в быструю Повэтин.
Так утес там и остался.

Раз по пенистой пучине,
По стремительной Повэтин,
Плыл с товарищами Квазинд
И вождя бобров, Амика,
Увидал среди потока:
С быстринной бобер боролся,
То всплывая, то ныряя.

Не задумавшись нимало,
Квазинд молча прыгнул в реку,
Скрылся в пенистой пучине,
Стал преследовать Амика
По ее водоворотам
И в воде пробыл так долго,
Что товарищи вскричали:
«Горе нам! Погиб наш Квазинд!
Не вернется больше Квазинд!»
Но торжественно он выплыл:
На плече его блестящем
Вождь бобров висел убитый,
И с него вода струилась.

Таковы у Гайаваты
Были верные два друга.
Долго с ними жил он в мире,
Много вел бесед сердечных,
Много думал дум о благе
Всех племен и всех народов.

VII
ПИРОГА ГАЙАВАТЫ

«Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирог,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!

Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
Скоро лето к нам вернется,
Жарко светит солнце в небе,
Белый плащ тебе не нужен!»

Так над быстрой Таквамино,
В глубине лесов дремучих,
Восклищал мой Гайавата
В час, когда все птицы пели,
Воспевали Месяц Листьев,
И, от сна восставши, солнце
Говорило: «Вот я — Гизис,
Я, великий Гизис, солнце!»

До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вздохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»

И ножом кору березы
Опоясал Гайавата
Ниже веток, выше корня,
Так, что брызнул сок наружу,
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы.

«Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,
Помоги пирогу сделать
И надежней и прочнее!»

По вершине кедра шумно
Ропот ужаса пронесся,
Стон и крик сопротивления;
Но, склоняясь, прошептал он:
«Нá, руби, о Гайавата!»

И, срубивши сучья кедра,
Он связал из сучьев раму,
Как два лука, он согнул их,
Как два лука, он связал их.

«Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,
Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу!»

В свежем воздухе до корня
Задрожал, затрясся Тэмрак,
Но, склоняясь к Гайавате,
Он одним печальным вздохом,
Долгим вздохом отозвался:
«Все возьми, о Гайавата!»

Из земли он вырвал корни,
Вырвал, вытянул волокна,
Плотно сшил кору березы,
Плотно к ней приладил раму.

«Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу!»

Как шуршит песок прибрежный,
Зашуршали ветви ели,
И, в своем уборе черном,
Отвечала ель со стоном,
Отвечала со слезами:
«Собери, о Гайавата!»

И собрал он слезы ели,
Взял смолы ее тягучей,
Засмолила все швы в пироге,
Защитил от волн пирогу.

«Дай мне, Еж, колючих игол,
Все, о Еж, отдай мне иглы:
Я украшу ожерельем,
Уберу двумя звездами
Грудь красавицы пироги!»

Сонно глянул Еж угрюмый
Из дупла на Гайавату,
Словно блещущие стрелы,
Из дупла метнул он иглы,
Бормоча в усы лениво:
«Подбери их, Гайавата!»

По земле собрал он иглы,
Что блестили, точно стрелы;
Соком ягод их окрасил,
Соком желтым, красным, синим,
И пирогу в них оправил,
Сделал ей блестящий пояс,
Ожерелье дорогое,
Грудь убрал двумя звездами.

Так построил он пирогу
Над рекою, средь долины,
В глубине лесов дремучих,
И вся жизнь лесов была в ней,
Все их тайны, все их чары:
Гибкость лиственницы темной,
Крепость мощных сучьев кедра
И березы стройной легкость;
На воде она качалась,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка.

Весел не было на лодке,
В веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила,
А рулем служила воля;
Обогнать он мог хоть ветер,
Путь держать — куда хотелось.

Кончив труд, он кликнул друга,
Кликнул Квазинда на помощь,
Говоря: «Очистим реку
От коряг и желтых мелей!»

Быстро прыгнул в реку Квазинд,
Словно выдра, прыгнул в реку,
Как бобер, нырять в ней начал,
Погружаясь то по пояс,
То до самых мышек в воду.
С криком стал нырять он в воду,
Поднимать со дна коряги,
Вверх кидать песок руками,
А ногами — ил и травы.

И поплыл мой Гайавата
Вниз по быстрой Таквамино,
По ее водоворотам,
Через омуты и мели,
Вслед за Квазиндом могучим.

Вверх и вниз они проплыли,
Всюды были, где лежали
Корни, мертвые деревья
И пески широких мелей,
И расчистили дорогу,
Путь прямой и безопасный
От истоков меж горами
И до самых вод Повэтин,
До залива Таквамино.

VIII

ГАЙАВАТА И МИШЕ-НАМА

По заливу Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С длинной удочкой из кедра,
Из коры крученой кедра,
На березовой пироге
Плыл отважный Гайавата.

Сквозь слюду прозрачной влаги
Видел он, как ходят рыбы
Глубоко под дном пироги:

Как резвится окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя;
Как лежит на дне песчаном
Шогаши, омар ленивый,
Словно дремлющий таранул.

На корме сел Гайавата
С длинной удочкой из кедра;
Точно веточки цикуты,
Колебал прохладный ветер
Перья в косах Гайаваты.
На носу его пироги
Села белка, Аджидомо;
Точно травку луговую,
Раздувал прохладный ветер
Мех на шубке Аджидомо.

На песчаном дне на белом
Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый,
Раскрывает жабры тихо,
Тихо водит плавниками
И хвостом песок взметает.
В боевом вооруженье,—
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком,
В боевых нарядных красках —
Голубых, пурпурных, желтых,—
Он лежит на дне песчаном;
И над ним-то Гайавата
Стал в березовой пироге
С длинной удочкой из кедра.

«Встань, возьми мою приманку! —
Крикнул в воду Гайавата,—
Встань со дна, о Мише-Нама,
Подымись к моей пироге,
Выходи на состязанье!»
В глубину прозрачной влаги
Он лесу свою забросил,
Долго ждал ответа Намы,
Тщетно ждал ответа Намы
И кричал ему все громче:
«Встань, Царь рыб, возьми приманку!»

Не ответил Мише-Нама.
Важно, медленно махая
Плавниками, он спокойно
Вверх смотрел, на Гайавату,
Долго слушал без вниманья
Крик его нетерпеливый,
Наконец сказал Кенозе,
Жадной щуке, Маскенозе:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

В сильных пальцах Гайаваты
Сразу удочка согнулась;
Он рванул ее так сильно,
Что пирога дыбом встала,
Поднялася над водою,
Словно белый ствол березы
С резвой белкой на вершине.

Но когда пред Гайаватой
На волнах затрепетала,
Приближаясь, Маскеноза,—
Гневом вспыхнул Гайавата
И воскликнул: «Иза, иза!

Стыд тебе, о Маскеноза!
Ты лишь щука, ты не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Со стыдом на дно вернулась,
Опустилась Маскеноза;
А могучий Мише-Нама
Обратился к Угудвошу,
Неуклюжему Самглаву:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»

Словно белый, полный месяц,
Встал, качаясь и сверкая,
Угудвош, Самглав тяжелый,
И, схватив лесу, так сильно
Закружился вместе с нею,
Что вверху, в водовороте,
Завертелась пирога,
Волны, с плеском разбегаясь,
По всему пошли заливу,

А с песчаных белых мелей,
С отдаленного побережья,
Закивали, зашумели
Тростники и длинный шпажник.

Но когда пред Гайаватой
Из воды поднялся белый
И тяжелый круг Самглава,
Громко крикнул Гайавата:
«Иза, иза! Стыд Самглаву!
Угудвош ты, а не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»

Тихо вниз пошел, качаясь
И блестя, как полный месяц,
Угудвош прозрачно-белый,
И опять могучий Нама
Услыхал нетерпеливый,
Дерзкий вызов, прозвучавший
По всему Большому Морю.

Сам тогда он с дна поднялся,
Весь дрожа от дикой злобы,
Боевой блистая краской
И доспехами бряцая,
Быстро прыгнул он к пироге,
Быстро выскочил всем телом
На сверкающую воду
И своей гигантской пастью
Поглотил в одно мгновенье
Гайавату и пирогу.

Как бревно по водопаду,
По широким черным волнам,
Как в глубокую пещеру,
Соскользнула в пасть пирога.
Но, очнувшись в полном мраке,
Безнадежно оглянувшись,
Вдруг наткнулся Гайавата
На большое сердце Намы:
Тяжело оно стучало
И дрожало в этом мраке.

И во гневе мощной дланью
Стиснул сердце Гайавата,
Стиснул так, что Мише-Нама

Всеми фибрами затрясся,
Зашумел водой, забился,
Ослабел, ошеломленный
Нестерпимой болью в сердце.

Поперек тогда поставил
Легкий челн свой Гайавата,
Чтоб из чрева Мише-Намы,
В суматохе и тревоге,
Не упасть и не погибнуть.
Рядом белка, Аджидомо,
Резво прыгала, болтала,
Помогала Гайавате
И трудилась с ним все время.

И сказал ей Гайавата:
«О мой маленький товарищ!
Храбро ты со мной трудилась,
Так прими же, Аджидомо,
Благодарность Гайаваты
И то имя, что сказал я:
Этим именем все дети
Будут звать тебя отныне!»

И опять забился Нама,
Заметался, задыхаясь,
А потом зatih — и волны
Понесли его к побережью.
И когда под Гайаватой
Зашуршал прибрежный щебень,
Понял он, что Мише-Нама,
Бездыханный, неподвижный,
Принесен волной к побережью.

Тут бессвязный крик и вопли
Услыхал он над собою,
Услыхал шум длинных крыльев,
Переполнивший весь воздух,
Увидал полоску света
Меж широких ребер Намы
И Кайошк, крикливых чаек,
Что блестящими глазами
На него смотрели зорко
И друг другу говорили:
«Это брат наш, Гайавата!»

И в восторге Гайавата
Крикнул им, как из пещеры:
«О Кайошк, морские чайки,
Братья, сестры Гайаваты!
Умертвил я Мише-Наму,—
Помогите же мне выйти
Поскорее на свободу,
Рвите клювами, когтями
Бок широкий Мише-Намы,
И отныне и вовеки
Прославлять вас будут люди,
Называть, как я вас назвал!»

Дикой, шумной стаей чайки
Принялися за работу,
Быстро щели проклевали
Меж широких ребер Намы,
И от смерти в чреве Намы,
От гибели, от плена,
От могилы под водою
Был избавлен Гайавата.

Возле самого вигвама
Стал на берег Гайавата;
Тотчас кликнул он Нокомис,
Вызвал старую Нокомис
Посмотреть на Мише-Наму:
Мертвый он лежал у моря,
И его клевали чайки.

«Умертвил я Мише-Наму,
Победил его! — сказал он.—
Вон над ним уж вьются чайки.
То друзья мои, Нокомис!
Не гони их прочь, не трогай:
Я от смерти в чреве Намы
Был сейчас избавлен ими.
Пусть они свой пир окончат,
Пусть зобы наполнят пищей;
А когда, с заходом солнца,
Улетят они на гнезда,
Принеси котлы и чаши,
Заготовь к зиме нам жиру».

И Нокомис до заката
Просидела на побережье.
Вот и месяц, солнце ночи,
Встал над тихой водою,
Вот и чайки с шумным криком,
Кончив пир свой, поднялися,
Полетели к отдаленным
Островам на Гитчи-Гюми,
И сквозь зарево заката
Долго их мелькали крылья.

Мирным сном спал Гайавата;
А Нокомис терпеливо
Принялася за работу
И трудилась в лунном свете
До зари, пока не стало
Небо красным на востоке.
А когда сменило солнце
Бледный месяц, с отдаленных
Островов на Гитчи-Гюми
Воротились стаи чаек,
С криком кинулись на пищу.

Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец меж голых ребер
Волны начали плескаться,
Чайки скрылись, улетели,
И остались на побережье
Только кости Мише-Намы.

IX

ГАЙАВАТА И ЖЕМЧУЖНОЕ ПЕРО

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Вышла старая Нокомис,
Простирая в гнев руку
Над водой к стране заката,
К тучам огненным заката.

В гневe солнце заходило,
Пролагая путь багряный,
Зажигая тучи в небе,
Как вожди сжигают степи,
Отступая пред врагами;
А луна, ночное солнце,
Вдруг восстала из засады
И направилась в погоню
По следам его кровавым,
В ярком зареве пожара.

И Нокомис, простирая
Руку слабую к закату,
Говорила Гайавате:
«Там живет волшебник злобный
Меджисогвон, Дух Богатства,
Тот, кого Пером Жемчужным
Называют все народы;
Там озера смоляные
Разливаются, чернея,
До багряных туч заката;
Там, среди трясины мрачной,
Вьются огненные змеи,
Змеи страшные, Кинабик!
То хранители и слуги
Меджисогвона-убийцы.

Это им убит коварно
Мой отец, когда на землю
Он с луны за мной спустился
И меня искал повсюду.
Это злобный Меджисогвон
Посылает к нам недуги,
Посылает лихорадки,
Дышит белой мглой с тундры,
Дышит сыростью болотных,
Смертоносных испарений!

Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Томагаук, Поггэвогон,
Рукавицы, Минджикавон,
И березовую лодку.
Желтым жиром Мише-Намы
Смажь бока ее, чтоб легче

Было плыть ей по болотам,
И убей ты чародея,
Отомсти врагу Нокомис,
Отомсти врагу народа!»

Быстро в путь вооружился
Благородный Гайавата;
Легкий челн он сдвинул в воду,
Потрепал его рукою,
Говоря: «Вперед, пирога,
Друг мой верный и любимый,
К змеям огненным, Кинэбик,
К смоляным озерам черным!»

Гордо вдаль неслась пирога,
Грозно песню боевую
Пел отважный Гайавата;
А над ним Киню могучий,
Боевой орел могучий,
Вождь пернатых, с диким криком
В небесах кругами плавал.

Скоро он и змей увидел,
Исполинских змей увидел,
Что лежали средь болота,
Ежась, искрясь средь болота,
На пути сплетаясь в кольца,
Подымаясь, наполняя
Воздух огненным дыханьем,
Чтоб никто не мог проникнуть
К Меджисогвону в жилище.

Но бесстрашный Гайавата,
Громко крикнув, так сказал им:
«Прочь с дороги, о Кинэбик!
Прочь с дороги Гайаваты!»
А они, свирепо ежась,
Отвечали Гайавате
Свистом, огненным дыханьем:
«Отступи, о Шогодайя!
Воротись к Нокомис старой!»

И тогда во гневе поднял
Мощный лук свой Гайавата,
Сбросил с плеч колчан — и начал
Поражать их беспощадно:

Каждый звук тугой и крепкой
Тетивы был криком смерти,
Каждый свист стрелы певучей —
Песнью смерти и победы!

Тяжело в воде кровавой
Змеи мертвые качались,
И победно Гайавата
Плыл меж ними, восклицая:
«О, вперед, моя пирога,
К смоляным озерам черным!»

Желтым жиром Мише-Намы
Он бока и нос пироги
Густо смазал, чтобы легче
Было плыть ей по болотам,
И до света одиноко
Плыл он в этом сонном море,
Плыл в воде, густой и черной,
Вековой корой покрытой
От размытых и гниющих
Камышей и листьев лилий;
И безжизненно и мрачно
Перед ним вода блестела,
Озаренная луною,
Озаренная мерцаньем
Огоньков, что зажигают
Души мертвых на стоянках
В час тоскливой, долгой ночи.

Белым месячным сияньем
Тихий воздух был наполнен;
Тени ночи по болотам
Далеко кругом чернели;
А москиты Гайавате
Пели песню боевую;
Светляки, блестя, кружились,
Чтобы сбить его с дороги,
И в густой воде Дагинда
Тяжело зашевелилась,
Тупо желтыми глазами
Поглядела на пирогу,
Зарыдала — и исчезла;
И мгновенно огласилось
Все кругом стозвучным свистом,

И Шух-шух-га издалека,
С камышового побережья,
Возвестила громким криком
О прибытии героя!

Так держал путь Гайавата,
Так держал он путь на запад,
Плыл всю ночь, пока не скрылся
С неба бледный, полный месяц.
А когда пригрело солнце,
Стало плечи жечь лучами,
Увидал он пред собою
На холме Вигвам Жемчужный —
Меджисогвона жилище.

Вновь тогда своей пироге
Он сказал: «Вперед!» — и быстро,
Величаво и победно
Пронеслась она средь лилий,
Чрез густой прибрежный шпажник.
И на берег Гайавата
Вышел, ног не замочивши.

Тотчас взял он лук свой верный,
Утвердил в песке, коленом
Надавил посередине
И могучей тетивой
Запустил стрелу-певунью,
Запустил в Вигвам Жемчужный,
Как гонца с своим посланьем,
С гордым вызовом на битву:
«Выходи, о Меджисогвон:
Гайавата ожидает».

Быстро вышел Меджисогвон
Из Жемчужного Вигвама,
Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,
Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый
Украшениями, оружием,
В алых, синих, желтых красках,
Словно небо на рассвете,
В развевающихся перьях
Из орлиных длинных крыльев.

«А, да это Гайавата! —
Громко крикнул он с насмешкой,
И как гром тот крик раздался.—
Отступи, о Шогодайя!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я».

Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
«Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острей насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!»

И начался бой великий,
Бой, невиданный под солнцем!
От восхода до заката —
Целый летний день он длился,
Ибо стрелы Гайаваты
Бесполезно ударялись
О жемчужную кольчугу.
Бесполезны были даже
Рукавицы, Минджикэвон,
И тяжелый томагаук:
Раздроблять он мог утесы,
Но не мог разбить он дивной,
Заколдованной кольчуги.

Наконец перед закатом,
Весь израненный, усталый,
С расщепленным томагавком,
С рукавицами, в лохмотьях
И с тремя стрелами только,
Гайавата безнадежно
На упругий лук склонился
Под старинною сосною;
Мох с ветвей ее тянулся,
А на пне грибы желтели,—
Мертвецов печальных обувь.

Вдруг зеленый дятел, Мэма,
Закричал над Гайаватой:
«Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,
В корни кос ударь стрелою:
Только там и уязвим он!»

В легких перьях, в халцедоне,
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась.
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом.

Вслед за первую стрелою
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой;
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись.

А последняя взвилась
Легче всех — и Меджисогвон
Увидал перед собою
Очи огненные смерти,
Услыхал из мрака голос,
Голос Погока призывный.
Без дыхания, без жизни
Пал могучий Меджисогвон
На песок пред Гайаватой.

Благодарный Гайавата
Взял тогда немного крови
И, позвав с сосны печальной
Дятла, выкрасил той кровью
На головке дятла гребень
За его услугу в битве;
И доныне Мэма носит
Хохолок из красных перьев.

После, в знак своей победы,
В память битвы с чародеем,
Он сорвал с него кольчугу
И оставил без призора
На песке прибрежном тело.
На песке оно лежало,
Погребенное по пояс,
Головой поникнув в воду;
А над ним кружился с криком
Боевой орел могучий,
Плавал медленно кругами,
Тихо, тихо вниз спускаясь.

Из вигвама чародея
Гайавата снес в пирогу
Все сокровища, весь вампум;
Снес меха бобров, бизонов,
Соболей и горностаев,
Нитки жемчуга, колчаны
И серебряные стрелы —
И поплыл домой, ликуя,
С громкой песнею победы.

Там к нему на берег вышли
Престарелая Нокомис,
Чайбайабос, мощный Квазинд;
А народ героя встретил
Пляской, пеньем, восклицая:
«Слава, слава Гайавате!
Побежден им Меджисогвон,
Побежден волшебник злобный!»

Навсегда остался дорог
Гайавате дятел, Мэма.
В честь его и в память битвы
Он свою украсил трубку
Хохолком из красных перьев,
Гребешком багровым Мэмы,
А богатства чародея
Разделил с своим народом,
Разделил по равной части.

СВАТОВСТВО ГАЙАВАТЫ

«Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивой;
Хоть она его сгибает,
Но ему сама послушна,
Хоть она его и тянет,
Но сама с ним неразлучна;
Порознь оба бесполезны!»

Так раздумывал нередко
Гайавата и томился
То отчаяньем, то страстью,
То тревожною надеждой,
Предаваясь пылким грезам
О прекрасной Миннегаге
Из страны Дакотов диких.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не женись на чужеземке,
Не ищи жены по свету!
Дочь соседа, хоть простая,
Что очаг в родном вигваме,
Красота же чужеземки —
Это лунный свет холодный,
Это звездный блеск далекий!»

Так Нокомис говорила.
Но разумно Гайавата
Отвечал ей: «О Нокомис!
Мил очаг в родном вигваме,
Но милей мне звезды в небе,
Ясный месяц мне милее!»

Строго старая Нокомис
Говорила: «Нам не нужно
Праздных рук и ног ленивых;
Приведи жену такую,
Чтоб работала с любовью,
Чтоб проворны были руки,
Ноги двигались охотно!»

Улыбаясь, Гайавата
Молвил: «Я в земле Дакотов
Стрелоделателя знаю;
У него есть дочь-невеста,
Что прекрасней всех прекрасных;
Я введу ее в вигвам твой,
И она тебе в работе
Будет дочерью покорной,
Будет лунным, звездным светом,
Огоньком в твоём вигваме,
Солнцем нашего народа!»

Но опять свое твердила
Осторожная Нокомис:
«Не вводи в мое жилище
Чужеземку, дочь Дакота!
Злобны дикие Дакоты,
Часто мы воюем с ними,
Распри наши не забыты,
Раны наши не закрылись!»

Усмехаясь, Гайавата
И на это ей ответил:
«Потому-то и пойду я
За невестой в край Дакотов,
Для того пойду, Нокомис,
Чтоб окончить наши распри,
Залечить навеки раны!»

И пошел в страну красавиц,
В край Дакотов, Гайавата,
В путь далекий по долинам,
В тишине равнин пустынных,
В тишине лесов дремучих.

С каждым шагом делал милю
Он в волшебных мокалинах;
Но быстрее бежали мысли,
И дорога бесконечной
Показалась Гайавате.
Наконец, в безмолвье леса,
Услыхал он гул потоков,
Услыхал призывный грохот
Водопадов Миннегаги.

«О, как весел,— прошептал он,—
Как отраден этот голос,
Призывающий в молчанье!»

Меж деревьев, где играли
Свет и тени, он увидел
Стадо чуткое оленей.
«Не спloшай!» — сказал он луку,
«Будь верней!» — стреле промолвил,
И когда стрела-певунья,
Как оса, впилась в оленя,
Он взвалил его на плечи
И пошел еще быстрее.

У дверей, в своем вигваме,
Вместе с милой Миннегагой,
Стрелоделатель работал.
Он точил на стрелы яшму,
Халцедон точил блестящий,
А она плела в раздумье
Тростниковые циновки;
Все о том, что будет с нею,
Тихо девушка мечтала;
А старик о прошлом думал.

Вспоминал он, как, бывало,
Вот такими же стрелами
Поражал он на долинах
Робких ланей и бизонов,
Поражал в дугах зеленых
На лету гусей крикливых;
Вспоминал и о великих
Боевых отрядах прежних,
Покупавших эти стрелы.
Ах, уж нет теперь подобных
Славных воинов на свете!
Ныне воины что бабы:
Языком болтают только!

Миннегага же в раздумье
Вспоминала, как весною
Приходил к отцу охотник,
Стройный юноша-красавец
Из земли Оджибуэв,
Как сидел он в их вигваме,

А простившись, обернулся,
На нее взглянул украдкой.
Сам отец потом нередко
В нем хвалил и ум и храбрость.
Только будет ли он снова
К водопадам Миннегаги?
И в раздумье Миннегага
Вдаль рассеянно глядела,
Опускала праздно руки.

Вдруг почудился ей шорох,
Чья-то поступь в чаще леса,
Шум ветвей, — и чрез мгновение,
Разрумяненный ходьбою,
С мертвой ланью за плечами,
Стал пред нею Гайавата.

Строгий взор старик на гостя
Быстро вскинул от работы,
Но, узнавши Гайавату,
Отложил стрелу, поднялся
И просил войти в жилище.
«Будь здоров, о Гайавата!» —
Гайавате он промолвил.

Пред невестой Гайавата
Сбросил с плеч свою добычу,
Положил пред ней оленя;
А она, подняв ресницы,
Отвечала Гайавате
Кроткой лаской и приветом:
«Будь здоров, о Гайавата!»

Из оленьей крепкой кожи
Сделан был вигвам просторный,
Побелен, богато убран
И дакотскими богами
Разрисован и расписан.
Двери были так высоки,
Что, входя, едва нагнулся
Гайавата на пороге,
Чуть коснулся занавесок
Головой в орлиных перьях.

Встала с места Миннегага,
Отложив свою работу,
Принесла к обеду пищи,
За водой к ручью сходила
И стыдливо подавала
С пищей глиняные миски,
А с водой — ковши из липы.
После села, стала слушать
Разговор отца и гостя,
Но сама во всей беседе
Ни словечка не сказала.

Да, как будто сквозь дремоту
Услыхала Миннегага
О Нокомис престарелой,
Воспитавшей Гайавату,
О друзьях его любимых
И о счастье, о довольстве
На земле Оджибузов,
В тишине долин веселых.

«После многих лет раздора,
Многих лет борьбы кровавой
Мир настал теперь в селеньях
Оджибузов и Дакотов! —
Так закончил Гайавата,
А потом прибавил тихо: —
Чтобы атот мир упрочить,
Закрепить союз сердечный,
Закрепить навеки дружбу,
Дочь свою отдай мне в жены,
Отпусти в мой край родимый,
Отпусти к нам Миннегагу!»

Призадумался немного
Старец, прежде чем ответить,
Покурил в молчанье трубку,
Посмотрел на гостя гордо,
Посмотрел на дочь с любовью
И ответил очень важно:
«Это воля Миннегаги.
Как решишь ты, Миннегага?»

И смутилась Миннегага
И еще милей и краше
Стала в девичьем смущенье.
Робко рядом с Гайаватой
Опустилась Миннегага
И, краснея, отвечала:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

Так решила Миннегага!
Так сосватал Гайавата,
Взял красавицу невесту
Из страны Дакотов диких!

Из вигвама рядом с нею
Он пошел в родную землю.
По лесам и по долинам
Шли они рука с рукою,
Оставляя одиноким
Старика отца в вигваме,
Покидая водопады,
Водопады Миннегаги,
Что зывали издавека:
«Добрый путь, о Миннегага!»

А старик, простившись с ними,
Сел на солнышко к порогу
И, копаясь за работой,
Бормотал: «Вот так-то дочки!
Любишь их, лелеешь, холишь,
А дожدهшься их опоры,
Глядь — уж юноша приходит,
Чужеземец, что на флейте
Поиграет да побродит
По деревне, выбирая
Покрасивее невесту, —
И простись навеки с дочкой!»

Весел был их путь далекий
По холмам и по долинам,
По горам и по ущельям,
В тишине лесов дремучих!
Быстро время пролетало,
Хоть и тихо Гайавата
Шел теперь для Миннегаги,
Чтоб она не утомилась.

На руках через стремнины
Нес он девушку с любовью, —
Легким перышком казалась
Эта ноша Гайавате.
В дебрях леса, под ветвями,
Он прокладывал тропинки,
На ночь ей шалаш построил,
Постелил постель из листьев
И развел костер у входа
Из сухих сосновых шишек.

Ветерки, что вечно бродят
По лесам и по долинам,
Путь держали вместе с ними;
Звезды чутко охраняли
Мирный сон их темной ночью;
Белка с дуба зорким взглядом
За влюбленными следила,
А Вабассо, белый кролик,
Убегал от них с тропинки
И, привстав на задних лапках,
Из норы глядел украдкой
С любопытством и со страхом.

Весел был их путь далекий!
Птицы сладко щебетали,
Птицы звонко пели песни
Мирной радости и счастья.
«Ты счастлив, о Гайавата,
С кроткой, любящей женою!» —
Пел Овейса синеперый.
«Ты счастлива, Миннегата,
С благородным, мудрым мужем!» —
Опечи пел красногрудый.

Солнце ласково глядело
Сквозь тенистые деревья,
Говорило им: «О дети!
Злоба — тьма, любовь — свет солнца,
Жизнь играет тьмой и светом, —
Правь любовью, Гайавата!»

Месяц с неба в час полночный
Заглянул в шалаш, наполнил
Мрак таинственным сияньем

И шепнул им: «Дети, дети!
Ночь тиха, а день тревожен;
Жены слабы и покорны,
А мужья властолюбивы,—
Правь терпением, Миннегага!»

Так они достигли дома,
Так в вигвам Нокомис старой
Возвратился Гайавата
Из страны Дакотов диких,
Из страны красивых женщин,
С Миннегагою прекрасной,
И была она в вигваме
Огоньком его вечерним,
Светом лунным, светом звездным,
Светлым солнцем для народа.

XI

СВАДЕБНЫЙ ПИР ГАЙАВАТЫ

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Танцевал под звуки флейты,
Как учтивый Чайбайабос,
Сладкогласный Чайбайабос
Песни пел любви-томленья,
И как Ягу, дивный мастер
И рассказывать и хвастать,
Сказки сказывал на свадьбе,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости.

Пышный пир дала Нокомис,
Пышно праздновала свадьбу!
Чаши были все из липы,
Ярко-белые и с глянцем,
Ложки были все из рога,
Ярко-черные и с глянцем.

В знак торжественного пира,
Приглашения на свадьбу,
Всем соседям ветви ивы

В этот день она послала;
И соседи собралися
К пиру в праздничных нарядах,
В дорогих мехах и перьях,
В разноцветных ярких красках,
В пестром ватпуме и бусах.

На пиру они сначала
Осетра и щуку ели,
Приготовленных Нокомис;
После — пимикан олений,
Пимикан и мозг бизона,
Горб быка и ляжку лани,
Рис и желтые лепешки
Из толченой кукурузы.

Но радушный Гайавата,
Миннегага и Нокомис
При гостях не сели к пище:
Только потчевали молча,
Только молча им служили.
А когда обед был кончен,
Хлопотливая Нокомис
Из большого меха выдры
Тотчас каменные трубки
Табаком набила южным,
Табаком с травой пахучей
И с корою красной ивы.

После ласково сказала:
«Протанцуй нам, По-Пок-Кивис,
Танец Нищего веселый,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И красавец По-Пок-Кивис,
Беззаботный Йенадиззи,
Озорник, всегда готовый
Веселиться и буянить,
Тотчас встал среди собранья.
Ловок был он в плясках, в танцах,
В состязаньях и забавах,
Смел и ловок в разных играх,
Даже в самых трудных играх!

На деревне По-Пок-Кивис
Слыл пропащим человеком,
Игроком, лентяем, трусом;
Но насмешки и прозванья
Не смущали Йенадиззи:
Ведь зато он был красавец
И большой любимец женщин.

Он стоял в одежде белой
Из пушистой ланьей шкуры,
Окаймленной горностаем,
Густо вампумом расшитой
И ежовою щетиной;
В головном его уборе
Колыхался пух лебяжий;
На козловых мокасинах
Красовались иглы, бисер
И хвосты лисиц — на пятках;
А в руках держал он трубку
И большое опахало.

Краской желтою и красной,
Краской алою и синей
Все лицо его сияло;
В косы, смазанные маслом
И с пробором, как у женщин,
Вплетены гирлянды были
Из пахучих трав и листьев.
Вот как убран и наряжен
Встал красавец По-Пок-Кивис,
Встал при звуках флейт и песен,
Голосов и барабанов
И свой дивный танец начал.

Танцевал он прежде важно,
Выступая меж деревьев —
То под тенью, то на солнце —
Мягким шагом, как пантера;
После — все быстрее, быстрее,
Закружился, завертелся,
Вкруг вигвама начал прыгать
Через головы сидящих,
Так что ветер, пыль и листья
Понеслись за ним кругами.

А потом вдоль Гитчи-Гюми,
По песчаному побережью,
Как безумный он помчался,
Ударяя с дикой силой
Мокасинами о землю,
Так что ветер стал уж бурей,
Засвистал песок, вздымаясь,
Словно вьюга по пустыне,
И покрылось побережье
Все холмами Нэго-Воджу.
Так веселый По-Пок-Кивис
Танец Нищего окончил
И, окончив, возвратился
К месту пира, сел с гостями,
Сел, спокойно улыбаясь
И махая опахалом.

После друга Гайаваты,
Чайбайабоса, просили:
«Спой нам песню, Чайбайабос,
Песню страсти, песню неги,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И прекрасный Чайбайабос
Спел им нежно, сладкозвучно,
Спел в волнении глубоком
Песню страсти, песню неги;
Все смотря на Гайавату,
Все смотря на Миннегагу,
Тихо пел он эту песню:

«Онэвэ! Проснись, родная!
Ты, лесной цветочек дикий,
Ты, лугов зеленых птичка,
Птичка дикая, певунья!»

Взор твой кроткий, взор косули,
Так отраден, так отраден,
Как роса для нежных лилий
В час вечерний на долине!

А твое дыханье сладко,
Как цветов благоуханье,
Как дыханье их зарею
В Месяц Падающих Листьев!

Не стремлюсь ли я всем сердцем
К сердцу милой, к сердцу милой,
Как ростки стремятся к солнцу
В тихий Месяц Светлой Ночи?

Онава! Трепещет сердце
И поет тебе в восторге,
Как поют, вздыхают ветви
В ясный Месяц Земляники!

Загрустишь ли ты, родная,—
И мое темнеет сердце,
Как река, когда над нею
Облака бросают тени!

Улыбнешься ли, родная,—
Сердце вновь дрожит и блещет,
Как под солнцем блещут волны,
Что рябит холодный ветер!

Пусть улыбкою сияют
Небеса, земля и воды —
Не могу я улыбаться,
Если милой я не вижу!

Я с тобой, с тобой! Взгляни же,
Кровь трепещущего сердца!
О, проснись! Проснись, родная!
Онава! Проснись, родная!»

Так прекрасный Чайбайабос
Песню пел любви-томленья;
И хвастливый, старый Ягу,
Удивительный рассказчик,
Слушал с завистью, как гости
Восторгались сладким пеньем;
Но потом, по их улыбкам,
По глазам и по движениям
Увидал, что все собранье
С нетерпеньем ожидает
И его веселых басен,
Непомерно лживых сказок.

Очень был хвастлив мой Ягу!
В самых дивных приключениях,
В самых смелых предприятиях —
Всюду был героем Ягу:
Он узнал их не по слухам,
Он воочию их видел!

Если б только Ягу слушать,
Если б только Ягу верить,
То нигде никто из лука
Не стреляет лучше Ягу,
Не убил так много ланей,
Не поймал так много рыбы
Иль речных бобров в капканы.

Кто резвее всех в деревне?
Кто всех дальше может плавать?
Кто ныряет всех смелее?
Кто постраниковал по свету
И диковин насмотрелся?
Уж конечно, это Ягу,
Удивительный рассказчик.

Имя Ягу стало шуткой
И пословицей в народе;
И когда хвастун охотник
Чересчур охотой хвастал
Или воин завырался,
Возвратившись с поля битвы,
Все кричали: «Ягу, Ягу!
Новый Ягу появился!»

Это он связал когда-то
Из коры зеленой липы
Люльку жилами оленя
Для малютки Гайаваты.
Это он ему позднее
Показал, как надо делать
Лук из ясени упругой,
А из сучьев дуба — стрелы.
Вот каков был этот Ягу,
Безобразный, старый Ягу,
Удивительный рассказчик!

И промолвила Нокомис:
«Расскажи нам, добрый Ягу,
Почудесней сказку, басню,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»

И ответил Ягу тотчас:
«Вы услышите сегодня
Повесть — дивное сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!»

XII

СЫН ВЕЧЕРНЕЙ ЗВЕЗДЫ

То не солнце ли заходит
Над равниной водяною?
Иль то раненый фламинго
Тихо плавает, летает,
Обагрят волны кровью,
Кровью, падающей с перьев,
Наполняет воздух блеском,
Блеском длинных красных перьев?

Да, то солнце утопает,
Погружаясь в Гитчи-Гюми;
Небеса горят багрянцем,
Воды блещут алой краской!
Нет, то плавает фламинго,
В волны красные ныряя;
К небесам простер он крылья
И окрасил волны кровью!

Огонек Звезды Вечерней
Таает, в пурпуре трепещет,
В полумгле висит над морем.
Нет, то вампум серебрится
На груди Владыки Жизни,
То Великий Дух проходит
Над темнеющим закатом!

На закат смотрел с восторгом
Долго, долго старый Ягу;
Вдруг воскликнул: «Посмотрите!
Посмотрите на священный
Огонек Звезды Вечерней!
Вы услышите сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!

В незапамятные годы,
В дни, когда еще для смертных
Небеса и сами боги
Были ближе и доступней,
Жил на севере охотник
С молодыми дочерями;
Десять было их, красавиц,
Стройных, гибких, словно ива,
Но прекрасней всех меж ними
Овини была, меньшая.

Вышли девушки все замуж,
Все за воинов отважных,
Овини одна не скоро
Жениха себе сыскала.
Своенравна и сурова,
Молчалива и печальна
Овини была — и долго
Женихов, красавцев юных,
Прогоняла прочь с насмешкой,
А потом взяла да вышла
За убогого Оссэо!
Нищий, старый, безобразный,
Вечно кашлял он, как белка.

Ах, но сердце у Оссэо
Было юным и прекрасным!
Он сошел с Звезды Заката,
Он был сын Звезды Вечерней,
Сын Звезды любви и страсти!
И огонь ее, и чары,
И краса, и блеск лучистый —
Все в груди его таилось,
Все в речах его сверкало!

Женихи, любовь которых
Овини отвергла гордо,—
Йенадиззи в ожерельях,
В пышных перьях, ярких красках
Насмехались над нею;
Но она им так сказала:
«Что за дело мне до ваших
Ожерелий, красок, перьев
И насмешек непристойных!
Я счастлива за Оссэо!»

Раз в ненастный, темный вечер
Шли веселою толпою
На веселый праздник сестры,—
Шли на званый пир с мужьями;
Тихо следовал за ними
С молодой женой Оссэо.
Все шутили и смеялись —
Эти двое шли в молчанье.

На закат смотрел Оссэо,
Взор поднимая как бы с мольбою;
Отставал, смотрел с мольбою
На Звезду любви и страсти,
На трепещущий и нежный
Огонек Звезды Вечерней;
И расслышали все сестры,
Как шептал Оссэо тихо:
«Ах, шовэн нэмэшин, Ноза —
Сжался, сжался, о отец мой!»

«Слышишь? — старшая сказала.—
Он отца о чем-то просит!
Право, жаль, что старикашка
Не споткнется на дороге,
Головы себе не сломит!»
И смеялись сестры злобно
Непристойным, громким смехом.

На пути их, в дебрях леса,
Дуб лежал, погибший в бурю,
Дуб-гигант, покрытый мохом,
Полусгнивший под листвою,
Почерневший и дуплистый.
Увидав его, Оссэо

Испустил вдруг крик тоскливый
И в дупло, как в яму, прыгнул.
Старым, дряхлым, безобразным
Он упал в него, а вышел —
Сильным, стройным и высоким,
Статным юношей, красавцем!

Так вернулась к Оссэо
Красота его и юность;
Но — увы, — за ним мгновенно
Овини преобразилась!
Стала древнею старухой,
Дряхлой, жалкою старухой,
Поплелась с клюкой, согнувшись.
И смеялись все над нею
Непристойным, громким смехом.

Но Оссэо не смеялся,
Овини он не покинул,
Нежно взял ее сухую
Руку, темную, в морщинах,
Как дубовый лист зимою,
Называл своею милой,
Милым другом, Нинимуша,
И пришел с ней к месту пира,
Сел за трапезу в вигваме.
Тот вигвам в лесу построен
В честь святой Звезды Заката.

Очарованный мечтами,
На пиру сидел Оссэо;
Все шутили, веселились,
Но печален был Оссэо!
Не притронулся он к пище,
Не сказал ни с кем ни слова,
Не слышал речей веселых;
Лишь смотрел с тоской во взоре
То на Овини, то кверху,
На сверкающие звезды.

И пронесся тихий шепот,
Тихий голос, зазвучавший
Из воздушного пространства,
От далеких звезд небесных.
Мелодично, смутно, нежно

Говорил он: «О Оссэо!
О возлюбленный, о сын мой!
Тяготели над тобою
Чары злобы, темной силы,
Но разрушены те чары;
Встань, приди ко мне, Оссэо!

Яств отведай этих дивных,
Яств вкуси благословенных,
Что стоят перед тобою;
В них волшебная есть сила:
Их вкусив, ты станешь духом;
Все твои котлы и блюда
Не простой посудой будут:
Серебром котлы заблещут,
Блюда — в вампум превратятся.
Будут все огнем светиться,
Блеском раковин пурпурных.

И спадет проклятье с женщин,
Иго тягостной работы:
В птиц они все превратятся,
Засияют звездным светом,
Ярким отблеском заката
На вечерних нежных тучках».

Так сказал небесный голос;
Но слова его понятны
Были только для Оссэо,
Остальным же он казался
Грустным пеньем Вавонэйсы,
Пеньем птиц во мраке леса,
В отдаленных чащах леса.

Вдруг жилище задрожало,
Зашаталось, задрожало,
И почувствовали гости,
Что возносятся на воздух!
В небеса, к далеким звездам,
В темноте ветвистых сосен,
Плыл вигвам, минуя ветви,
Миновал — и вот все блюда
Засияли алой краской,
Все котлы из сизой глины —
Вмиг серебряными стали,

Все шести вигвама ярко
Засверкали в звездном свете,
Как серебряные прутья,
А его простая кровля —
Как жуков блестящих крылья.

Поглядел кругом Оссэо
И увидел, что и сестры,
И мужья сестер-красавиц
В разных птиц все превратились:
Были тут скворцы с дроздами,
Были сойки и сороки,
И все прыгали, порхали,
Охорашивались, пели,
Щеголяли блеском перьев,
Распускали хвост, как веер.

Только Овини осталась
Дряхлой, жалкою старухой
И в тоске сидела молча.
Но, взглянувши вверх, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый,
Вопль отчаянья, как прежде,
Над дуплистым старым дубом,
И мгновенно к ней вернулась
Красота ее и юность;
Все ее лохмотья стали
Белым мехом горностая,
А клюка — пером блестящим,
Да, серебряным, блестящим!

И опять вигвам поднялся,
В облаках поплыл прозрачных,
По воздушному теченью,
И пристал к Звезде Вечерней,—
На звезду спустился тихо,
Как снежинка на снежинку,
Как листок на волны речки,
Как пушок репейный в воду.

Там с приветливой улыбкой
Вышел к ним отец Оссэо,
Старец с кротким, ясным взором,
С серебристыми кудрями,

И сказал: «Повесь, Оссэо,
Клетку с птицами своими,
Клетку с пестрой птичьей стаей,
У дверей в моем вигваме!»

У дверей повесив клетку,
Он вошел в вигвам с женою,
И тогда отец Оссэо,
Властелин Звезды Вечерней,
Им сказал: «О мой Оссэо!
Я мольбы твои услышал,
Возвратил тебе, Оссэо,
Красоту твою и юность,
Превратил сестер с мужьями
В разноперых птиц за шутки,
За насмешки над тобою.
Не сумел никто меж ними
Оценить в убогом старце,
В жалком образе калеки
Сердца пылкого Оссэо,
Сердца вечно молодого.
Только Овини сумела
Оценить тебя, Оссэо!

Там, на звездочке, что светит
От Звезды Вечерней влево,
Чародей живет, Вэбино,
Дух и зависти и злобы;
Превратил тебя он в старца.
Берегись лучей Вэбино:
В них волшебная есть сила,—
Это стрелы чародея!»

Долго, в мире и согласье,
На Звезде Вечерней мирной
Жил с отцом своим Оссэо;
Долго в клетке над вигвамом
Птицы пели и порхали
На серебряных шесточках,
И супруга молодая
Родила Оссэо сына:
В мать он вышел красотою,
А в отца — дородным видом.

Мальчик рос, мужал с годами,
И отец, ему в утеху,
Сделал лук и стрел наделал,
Отворил большую клетку
И пустил всех птиц на волю,
Чтоб, стреляя в теток, в дядей,
Позабавился малютка.

Там и сям они кружились,
Наполняя воздух звонким
Пеньем счастья и свободы,
Блеском перьев разноцветных;
Но напруг свой лук упругий,
Запустил стрелу из лука
Мальчик, маленький охотник,
И упала с ветки птичка,
В ярких перышках, на землю,
Насмерть раненная в сердце.

Но — о, чудо! — уж не птицу
Видит он перед собою,
А красавицу младую
С роковой стрелою в сердце!

Кровь ее едва упала
На священную планету,
Как разрушились чары,
И стрелок отважный, юный
Вдруг почувствовал, что кто-то,
По воздушному пространству,
В облаках его спускает
На зеленый, значный остров
Посреди Большого Моря.

Вслед за ним блестящей стаей
Птицы падали, летели,
Как осеннею порою
Листья падают, пестрея;
А за птицами спустился
И вигвам с блестящей кровлей,
На серебряных стропилах,
И принес с собой Оссэо,
Овини принес с собою.

Вновь тут птицы превратились,
Получили образ смертных,
Образ смертных, но не рост их:
Все Пигмеями остались,
Да, Пигмеями — Пок-Вэджис,
И на острове скалистом,
На его прибрежных мелях
И донныне хороводы
Водят летними ночами,
Под Вечернею Звездою.

Это их чертог блестящий
Виден в тихий летний вечер;
Рыбаки с побережья часто
Слышат их веселый говор,
Видят танцы в звездном свете».

Кончив свой рассказ чудесный,
Кончив сказку, старый Ягу
Всех гостей обвел глазами
И торжественно промолвил:
«Есть возвышенные души,
Есть непонятые люди! ;
Я знавал таких немало.
Зубоскалы их нередко
Даже на смех поднимают,
Но насмешники должны бы
Чаще думать об Оссэо!»

Очарованные гости
Повесть слушали с восторгом
И рассказчика хвалили,
Но шептались друг с другом:
«Неужель Оссэо — Ягу,
Мы же — тетушки и дяди?»

После снова Чайбайабос
Пел им песнь любви-томленья,
Пел им нежно, сладкозвучно
И с задумчивой печалью
Песню девушки, скорбящей
Об Алгонкине, о милом.

«Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!

Ах, когда мы расставались,
Он на память дал мне вампум,
Белоснежный дал мне вампум,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

«Я пойду с тобой,— шептал он,—
Ах, в твою страну родную;
О, позволь мне»,— прошептал он,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

«Далеко,— я отвечала,—
Далеко,— я прошептала,—
Ах, страна моя родная,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Обернувшись, я глядела,
На него с тоской глядела,
И в мои глядел он очи,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Он один стоял под ивой,
Под густой плакучей ивой,
Что роняла слезы в воду,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!»

Вот как праздновали свадьбу!
Вот как пир увеселяли
По-Пок-Кивис — бурной пляской,
Ягу — сказкою волшебной,
Чайбайабос — нежной песней.
С песней кончился и праздник,
Разошлись со свадьбы гости
И оставили счастливых
Гайавату с Миннегагой
Под покровом темной ночи.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОЛЕЙ

Пой, о песнь о Гайавате,
 Пой дни радости и счастья,
 Безмятежные дни мира
 На земле Оджибуэв!
 Пой таинственный Мондамин,
 Пой полей благословенье!

Погребен топор кровавый,
 Погребен навеки в землю
 Тяжкий, грозный томагук;
 Позабыты клики битвы,—
 Мир настал среди народов.
 Мирно мог теперь охотник
 Строить белую пирогу,
 На бобров капканы ставить
 И ловить сетями рыбу;
 Мирно женщины трудились:
 Гнали сладкий сок из клена
 Дикий рис в лугах сбирали
 И выделявали кожи.

Вкруг счастливого селенья
 Зеленели пышно нивы,—
 Вырастал Мондамин стройный
 В глянцевитых длинных перьях,
 В золотистых мягких косах,
 Это женщины весною
 Обрабатывали нивы,—
 Хоронили в землю маис
 На равнинах плодородных;
 Это женщины под осень
 Желтый плащ с него срывали,
 Обрывали косы, перья,
 Как учил их Гайавата.

Раз, когда посев был кончен,
 Рассудительный и мудрый
 Гайавата обратился
 К Миннегаге и сказал ей:
 «Ты должна сегодня ночью
 Дать полям благословенье;

Ты должна волшебным кругом
Обвести свои посевы,
Чтоб ничто им не вредило,
Чтоб никто их не коснулся!

В час ночной, когда все тихо,
В час, когда все тьмой покрыто,
В час, когда Дух Сна, Напавин,
Затворяет все вигвамы,
И ничье не слышит ухо,
И ничье не видит око,—
С ложа встань ты осторожно,
Все сними с себя одежды,
Обойди свои посевы,
Обойди кругом все нивы,
Только косами прикрыта,
Только тьмой ночной одета.

И обильней будет жатва;
От следов твоих на ниве
Круг останется волшебный,
И тогда ни ржа, ни черви,
Ни стрекозы, Куо-ни-ши,
Ни тарантул, Соббикаши,
Ни кузнечик, Па-пок-кина,
Ни могучий Ва-мок-квана,
Царь всех гусениц мохнатых,
Никогда не переступят
Круг священный и волшебный!»

Так промолвил Гайавата;
А ворон голодных стая,
Жадный Кагаги, Царь-Ворон,
С шайкой черных мародеров,
Отдыхали в ближней роще
И смеялись так, что сосны
Содрогались от смеха,
От зловещего их смеха
Над словами Гайаваты.
«Ах, мудрец, ах, заговорщик!» —
Говорили птицы громко.

Вот простерлась ночь немая
Над полями и лесами;
Вот и скорбный Вавонэйса
В темноте запел тоскливо,

Притворил Дух Сна, Нэпавин,
Двери каждого вигвама,
И во мраке Миннегага
Поднялась безмолвно с ложа;
Все сняла она одежды
И, окутанная тьмою,
Без смущенья и без страха
Обошла свои посевы,
Начертала по равнине
Круг волшебный и священный.

Только Полночь созерцала
Красоту ее во мраке;
Только смолкший Вавонэйса
Слышал тихое дыханье,
Трепет сердца Миннегаги;
Плотной мантией священной
Ночи мрак ее окутал,
Чтоб никто не мог хвастливо
Говорить: «Ее я видел!»

На заре, лишь день забрезжил,
Кагаги, Царь-Ворон, кликал
Шайку черных мародеров —
Всех дроздов, ворон и соек,
Что шумели на деревьях,
И бесстрашно устремился
На посевы Гайаваты,
На зеленую могилу,
Где покоился Мондамин.

«Мы Мондамина подыдем
Из его могилы тесной! —
Говорили мародеры. —
Нам не страшен след священный,
Нам не страшен круг волшебный,
Обведенный Миннегагой!»

Но разумный Гайавата
Все предвидел, все обдумал:
Слышал он, как издевались
Над его словами птицы.
«Ко, друзья мои, — сказал он, —
Ко, мой Кагаги, Царь-Ворон!
Ты с своею шайкой долго
Будешь помнить Гайавату!»

Он проснулся до рассвета,
Он для черных мародеров
Весь посев покрыл сетями,
Сам же лег в сосновой роще,
Стал в засаде терпеливо
Поджидать ворон и соек,
Поджидать дроздов и галок.

Вскоре птицами все поле
Запестрело и покрылось;
Дикой, шумною ватагой,
С криком, карканьем нестройным,
Принялись они за дело;
Но, при всем своем лукавстве,
Осторожности и знанье
Разных хитростей военных,
Не заметили, что скрыта
Недалеко их гибель,
И неожиданно очутились
Все в тенетах Гайаваты.

Грозно встал тогда он с места,
Грозно вышел из засады —
И объял великий ужас
Даже самых храбрых пленных!
Без пощады истреблял он
Их направо и налево,
И десятками их трупы
На шестах высоких вешал
Вкруг посевов освященных,
В знак своей кровавой мести!

Только Кагаги, Царь-Ворон,
Предводитель мародеров,
Пощажен был Гайаватой
И заложником оставлен.
Он понес его к вигваму
И веревкою из вяза, —
Боевой веревкой пленных,
Привязал его на кровле.

«Кагаги, тебя, — сказал он, —
Как зачинщика разбоя,
Предводителя злодеев,
Оскорбивших Гайавату,

Я заложником оставляю:
Ты порукою мне будешь,
Что враги мои смирились!»

И остался черный пленник
Над вигвамом Гайаваты;
Злобно хмурился он, сидя
В блеске утреннего солнца,
Дико каркал он с досады,
Хлопал крыльями большими,—
Тщетно рвался на свободу,
Тщетно звал друзей на помощь.

Лето шло, и Шавондази
Посылал, вздыхая страстно,
Из полдневных стран на север
Негу пламенных лобзаний.
Рос и зрел на солнце маис
И во всем великолепии
Наконец предстал на нивах:
Нарядился в кисти, в перья,
В разноцветные одежды;
А блестящие початки
Налились сладким соком,
Засверкали из подсохших,
Разорвавшихся покровов.

И сказала Миннегага
Престарелая Нокомис:
«Вот и Месяц Листопада!
Дикий рис в лугах уж собран,
И готов к уборке маис;
Время нам идти на нивы
И с Мондамином бороться —
Снять с него все перья, кисти,
Снять наряд зелено-желтый!»

И сейчас же Миннегага
Вышла весело из дома
С престарелою Нокомис,
И они созвали женщин,
Молодежь к себе созвали,
Чтоб собирать созревший маис,
Чтоб лущить его початки.

Под душистой тенью сосен,
На траве лесной опушки
Старцы, воины сидели
И, покуривая трубки,
Важно, молча любовались
На веселую работу
Молодых людей и женщин,
Важно слушали в молчанье
Шумный говор, смех и пенье:
Как Опечи на вигваме,
Пели девушки на ниве,
Как сороки, стрекотали
И смеялись, точно сойки.

Если девушке счастливой
Попадался очень спелый,
Весь пурпуровый початок,
«Нэшка! — все кругом кричали. —
Ты счастливца, — ты скоро
За красавца замуж выйдешь!»
«Уг!» — согласно отзывались
Из-под темных сосен старцы.

Если ж кто-нибудь на ниве
Находил кривой початок,
Вялый, ржавчиной покрытый,
Все смеялись, пели хором,
Шли, хромая и согнувшись,
Точно дряхлый старикашка,
Шли и громко пели хором:
«Вагэмин, степной воришка,
Пэмосад, ночной грабитель!»

И звенело поле смехом;
А на кровле Гайаваты
Каркал Кагаги, Царь-Ворон,
Бился в ярости бессильной.
И на всех соседних елях
Раздавались, не смолкая,
Крики черных мародеров.
«Уг!» — с улыбкой отзывались
Из-под темных сосен старцы.

«Посмотри, как быстро в жизни
Все забвенье поглощает!
Блекнут славные преданья,
Блекнут подвиги героев;
Гибнут знания и искусство
Мудрых Мидов и Вэбинов,
Гибнут дивные виденья,
Грезы вещих Джосакидов!

Память о великих людях
Умирает вместе с ними;
Мудрость наших дней исчезнет,
Не достигнет до потомства,
К поколениям, что сокрыты
В тьме таинственной, великой
Дней безгласных, дней грядущих.

На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах, — мы не знаем,
Знаем только — наши предки;
Но какой их род иль племя,
Но какой их древний Тотэм —
Бобр, Орел, Медведь — не знаем;
Знаем только: это предки.

При свиданье — с глазу на глаз
Мы ведем свои беседы;
Но, расставшись, мы вверяем
Наши тайны тем, которых
Посылаем мы друг к другу;
А посланники нередко
Искажают наши вести
Иль другим их открывают».

Так сказал себе однажды
Гайавата, размышляя
О родном своем народе
И бродя в лесу пустынном.

Из мешка он вынул краски,
Всех цветов он вынул краски
И на гладкой на бересте
Много сделал тайных знаков;
Дивных и фигур и знаков;
Все они изображали
Наши мысли, наши речи.

Гитчи Манито Могучий
Как яйцо был нарисован;
Выдающиеся точки
На яйце — обозначали
Все четыре ветра неба.
«Вездесущ Владыка Жизни» —
Вот что значил этот символ.

Гитчи Манито Могучий,
Властелин всех Духов Злобы,
Был представлен на рисунке
Как великий змей, Кинабик.
«Пресмыкается Дух Злобы,
Но лукав и изворотлив» —
Вот что значил этот символ.

Белый круг был знаком жизни,
Черный круг был знаком смерти;
Дальше шли изображенья
Неба, звезд, луны и солнца,
Вод, лесов и горных высей
И всего, что населяет
Землю вместе с человеком.

Для земли нарисовал он
Краской линию прямую,
Для небес — дугу над нею,
Для восхода — точку слева,
Для заката — точку справа,
А для полдня — на вершине.
Все пространство под дугою
Белый день обозначало,
Звезды в центре — время ночи,
А волнистые полосы —
Тучи, дождь и непогоду.

След, направленный к вигваму,
Был эмблемой приглашенья,
Знаком дружеского пира;
Окровавленные руки,
Грозно поднятые кверху,—
Знаком гнева и угрозы.

Кончив труд свой, Гайавата
Показал его народу,
Разъяснил его значение
И промолвил: «Посмотрите!
На могилах ваших предков
Нет ни символов, ни знаков.
Так пойдите нарисуйте
Каждый — свой домашний символ,
Древний прадедовский Тотэм,
Чтоб грядущим поколениям
Можно было различать их».

И на столбиках могильных
Все тогда нарисовали
Каждый — свой фамильный Тотэм,
Каждый — свой домашний символ:
Журавля, Бобра, Медведя,
Черепашу иль Оленя.
Это было указаньем,
Что под столбиком могильным
Погребен начальник рода.

А пророки, Джосакиды,
Заклинатели, Вэбины,
И врачи недугов, Миды,
Начертали на бересте
И на коже много страшных,
Много ярких, разноцветных
И таинственных рисунков
Для своих волшебных гимнов:
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Вот Великий Дух, Создатель,
Озаряет светом небо;
Вот Великий Змей, Кинэбик,
Приподняв кровавый гребень,

Извиваясь, смотрит в небо;
Вот журавль, орел и филин
Рядом с вещим пеликаном;
Вот идущие по небу
Обезглавленные люди
И пронзенные стрелами
Трупы воинов могучих;
Вот поднявшиеся грозно
Руки смерти в пятнах крови,
И могилы, и герои,
Захватившие в объятья
Небеса и землю разом!

Таковы рисунки были
На коре и ланьей коже;
Песни битвы и охоты,
Песни Мидов и Вабинов —
Все имело свой рисунок!
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Песнь любви, которой чары
Всех врачебных средств сильнее,
И сильнее заклинаний,
И опасней всякой битвы,
Не была забыта тоже.
Вот как в символах и знаках
Песнь любви изображалась:

Нарисован очень ярко
Человек багряной краской —
Музыкант, любовник пылкий.
Смысл таков: «Я обладаю
Дивной властью надо всеми!»

Дальше — он поет, играя
На волшебном барабане,
Что должно сказать: «Внемли мне!
Это мой ты слышишь голос!»

Дальше — эта же фигура,
Но под кровлею вигвама.
Смысл таков: «Я буду с милой.
Нет преград для пылкой страсти!»

Дальше — женщина с мужчиной,
Стоя рядом, крепко сжали
Руки с нежностью друг другу.
«Все твое я вижу сердце
И румянец твой стыдливый!» —
Вот что значил символ этот.

Дальше — девушка средь моря,
На клочке земли, средь моря;
Песня этого рисунка
Такова: «Пусть ты далеко!
Пусть нас море разделяет!
Но любви моей и страсти
Над тобой всеильны чары!»

Дальше — юноша влюбленный
К спящей девушке склонился
И, склонившись, тихо шепчет,
Говорит: «Хоть ты далеко,
В царстве Сна, в стране Молчанья,
Но любви ты слышишь голос!»

А последняя фигура —
Сердце в самой середине
Заколдованного круга.
«Вся душа твоя и сердце
Предо мной теперь открыты!» —
Вот что значил символ этот.

Так, в своих заботах мудрых
О пароде, Гайавата
Научил его искусству
И письма и рисованья
На бересте глянцевиной,
На оленьей белой коже
И на столбиках могильных.

XV

ПЛАЧ ГАЙАВАТЫ

Видя мудрость Гайаваты,
Видя, как он неизменно
С Чайбайабосом был дружен,
Злые духи уstraшились

Их стремлений благородных
И, собравшись, заключили
Против них союз коварный.

Осторожный Гайавата
Говорил нередко другу:
«Брат мой, будь всегда со мною!
Духов Злых остерегайся!»
Но беспечный Чайбайабос
Только встряхивал кудрями,
Только нежно улыбался.
«О, не бойся, брат мой милый:
Надо мной бессильны Духи!» —
Отвечал он Гайавате.

Раз, когда зима покрыла
Синим льдом Большое Море,
И метель, кружась, шипела
В почерневших листьях дуба,
Осыпала снегом ели,
И в снегу они стояли,
Точно белые вигвамы,—
Взявши лук, надевши лыжи,
Не внимая просьбам брата,
Не страшась коварных Духов,
Смело вышел Чайбайабос
На охоту за оленем.

Как стрела, олень рогатый
По Большому Морю мчался;
С ветром, снегом, словно буря,
Он преследовал оленя,
Позабыв в пылу охоты
Все советы Гайаваты.

А в воде сидели Духи,
Стерegli его в засаде,
Подломили лед коварный,
Увелили певца в пучину,
Погребли в песках подводных.
Энктаги, владыка моря,
Вероломный бог Дакотов,
Утопил его в студеной,
Зыбкой бездне Гитчи-Гюми.

И с побережья Гайавата
Испустил такой ужасный
Крик отчаянья, что волки
На лугах завывали в страхе,
Встрепенулися бизоны,
А в горах раскаты грома
Эхом грянули: «Бэм-Вава!»

Черной краской лоб покрыл он,
Плащ на голову накинул
И в вигваме, полный скорби,
Семь недель сидел и плакал,
Однозвучно повторяя:

«Он погиб, он умер, нежный,
Сладкогласый Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Он ушел в страну, где льются
Неземные песнопенья!
О, мой брат! О, Чайбайабос!»

И задумчивые пихты
Тихо веяли своими
Опахалами из хвои,
Из зеленой, темной хвои,
Над печальным Гайаватой,
И вздыхали и скорбели,
Утешая Гайавату.

И весна пришла, и рощи
Долго-долго поджидали:
Не придет ли Чайбайабос?
И вздыхал тростник в долине,
И вздыхал с ним Сибовиша.

На деревьях пел Овейса,
Пел Овейса синеперый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

Опечи пел на вигваме,
Опечи пел красногрудый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»

А в лесу, во мраке ночи,
Раздавался заунывный,
Скорбный голос Вавонзйсы:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Сладкогласный Чайбайабос!»

Собрались тогда все Миды,
Джосакиды и Вэбины,
И, построив в чаще леса,
Близ вигвама Гайаваты,
Свой приют — Вигвам Священный,
Важно, медленно и молча
Все пошли за Гайаватой,
Ваяв с собой мешки и сумки, —
Кожу выдр, бобров и рысей,
Где хранились корни, травы,
Исцелявшие недуги.

Услышав их приближение,
Перестал звать он к другу,
Перестал стенать и плакать,
Не промолвил им ни слова,
Только плащ с лица откинул,
Смыл с лица печали краску,
Смыл в молчании глубоко
И к Священному Вигваму,
Как во сне, пошел за ними.

Там его пойли зельем,
Наколованным настоем
Из корней и трав целебных:
Нама-Вэск — зеленой мяты
И Вэбино-Вэск — сурепки,
Там над ним забили в бубны
И запели заклинанья,
Гимн таинственный запели:

«Вот я сам, я сам с тобою,
Я, Седой Орел могучий!
Собирайтесь и внимайте,
Белоперые вороны!
Гулкий гром мне помогает,
Дух незримый помогает,
Слышу всюду их призывы,

Голоса их слышу в небе!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Все друзья мои — все змеи!
Слушай — кожей соколиной
Я трякну над головою!
Манг, нырок, тебя убью я,
Прострелю стрелою сердце!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

«Вот я, вот пророк великий!
Говорю — и сею ужас,
Говорю — и весь трепещет
Мой вигвам, Вигвам Священный!
А иду — свод неба гнется,
Содрогаясь подо мною!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Говори, о Гайавата!»

«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.

И, мешками потрясая,
Танцевали танец Мидов
Вкруг больного Гайаваты,—
И вскочил он, встрепенулся,
Исцелился от недуга,
От безумья лютой скорби!
Как уходит лед весною,
Миновали дни печали,
Как уходят с неба тучи,
Думы черные сокрылись.

После к другу Гайаваты,
К Чайбайабосу зывали,
Чтоб восстал он из могилы,
Из песков Большого Моря,

И настолько властны были
Заклинанья и призывы,
Что услышал Чайбайабос
Их в пучине Гитчи-Гюми,
Из песков он встал, внимая
Звукам бубнов, пенью гимнов,
И пришел к дверям вигвама,
Повинуясь заклинаньям.

Там ему, в дверную щелку,
Дали уголь раскаленный,
Нарекли его владыкой
В царстве духов, в царстве мертвых
И, прощаясь, приказали
Разводить костры для мертвых,
Для печальных их ночлегов
На пути в Страну Понима.

Из родимого селенья,
От родных и близких сердцу
По зеленым чащам леса,
Как дымок, как тень, безмолвно
Удалился Чайбайабос.
Где касался он деревьев —
Не качались деревья,
Где ступал — трава не мялась,
Не шумела под ногами.

Так четыре дня и ночи
Шел он медленной стопою
По дороге всех усопших;
Земляникою усопших
На пути своем питался,
Переправился на дубе
Через печальную их реку,
По Серебряным Озерам
Плыл на Каменной Пироге,
И в Селения Блаженных,
В царство духов, в царство теней,
Принесло его течение.

На пути он много видел
Бледных духов, нагруженных,
Истомленных тяжелой ношей:
И одеждой, и оружием,

И горшками с разной пищей,
Что друзья им надавали
На дорогу в край Понима.

Горько жаловались духи:
«Ах, зачем на нас живые
Возлагают бремя это!
Лучше б мы пошли нагими,
Лучше б голод мы терпели,
Чем нести такое бремя! —
Истомил нас путь далекий!»

Гайавата же надолго
Свой родной вигвам оставил,
На Восток пошел, на Запад,—
Поучал употребленью
Трав целебных и волшебных.
Так священное искусство
Врачевания недугов
В первый раз познали люди.

XVI

ПО-ПОК-КИВИС

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Взбудоражил всю деревню
Дерзкой удалью своею;
Как, спасаясь только чудом,
Он бежал от Гайаваты,
И какой конец печальный
Был чудесным приключеньям.

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
На песчаном Нэго-Воджу
Жил красавцу По-Пок-Кивис.
Это он во время свадьбы
Гайаваты с Миннегагой
Так безумно и разгульно
Танцевал под звуки флейты,
Это он в безумном танце
Накидал песок холмами
На побережье Гитчи-Гюми.

Заскучавши от безделья,
Вышел раз он из вигвама
И направился поспешно
Прямо к Ягу, где собиралась
Слушать сказки и преданья
Молодежь со всей деревни.

Старый Ягу в это время
Забавлял гостей рассказом
Об Оджиге, о кунице:
Как она пробила небо,
Как вскарабкалась на небо,
Лето выпустила с неба;
Как сначала подвиг этот
Совершить пыталась выдра,
Как барсук с бобром и рысью
На вершины гор взбирались,
Бились в небо головами,
Бились лапами, но небо
Только трескалось над ними;
Как отважилась на подвиг
Наконец и росомаха.

«Подскочила росомаха,—
Говорил гостям рассказчик,—
Подскочила — и над нею
Так и вздулся свод небесный,
Словно лед в реке весною!
Подскочила снова — небо
Гулко треснуло над нею,
Словно льдина в половодье!
Подскочила напоследок —
Небо вдребезги разбила,
Скрылась в небе, а за нею
И Оджиг в одно мгновение
Очутилася на небе!»

«Слушай! — крикнул По-Пок-Кивис,
Появляясь на пороге.—
Надоели эти сказки,
Надоели хуже мудрых
Поучений Гайаваты!
Мы отыщем для забавы
Кое-что получше сказок».

Тут, торжественно раскрывши
Свой кошель из волчьей кожи,
По-Пок-Кивис вынул чашу
И фигуры Погасэна:
Томагаук, Поггэвогон,
Рыбку маленькую, Киго,
Пару змей и пару пешек,
Три утенка и четыре
Медных диска, Озавабик.
Все фигуры, кроме дисков,
Темных сверху, светлых снизу,
Были сделаны из кости
И покрыты яркой краской,—
Красной сверху, белой снизу.

Положив фигуры в чашу,
Он встряхнул, перемешал их,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Краснымверху пали кости,
А змея, Кинабик, стала
На блестящем медном диске;
Счетом сто и тридцать восемь!»

И опять смешал фигуры,
Положил опять их в чашу,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Белымверху пали змеи,
Белымверху пали пешки,
Красным — прочие фигуры;
Пятьдесят и восемь счетом!»

Так учил их По-Пок-Кивис,
Так, играя для примера,
Он метал и объяснял им
Все приемы Погасэна.
Двадцать глаз за ним следили,
Разгораясь любопытством.

«Много игр,— промолвил Ягу,—
Много игр, опасных, трудных,
В разных странах, в разных землях
На своем веку я видел;
Кто играет с старым Ягу,

Должен быть на редкость ловок!
Не хвалился, По-Пок-Кивис!
Будешь ты сейчас обыгран,
Жестоко наказан мною!»

Началась игра, и дико
Увлечлись игрою гости!
На одежду, на оружие,
До полночи, до рассвета,
Старики и молодые —
Все играли, все метали,
И лукавый По-Пок-Кивис
Обыграл их без пощады!
Взял все лучшие одежды,
Взял оружие боевое,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и кисеты!
Двадцать глаз пред ним сверкали,
Как глаза волков голодных.

Напоследок он промолвил:

«Я в товарище нуждаюсь:
В путешествиях и дома
Я всегда один, и нужен
Мне помощник, Мэшинова,
Кто б носил за мною трубку.
Весь мой выигрыш богатый —
Все меха и украшения,
Все оружие и перья —
Все в один я кон поставлю
Вот на этого красавца!»
То был юноша высокий
По шестнадцатому году,
Сирота, племянник Ягу.

Как огонь сверкает в трубке,
Под седой золой краснея,
Засверкали взоры Ягу
Под нависшими бровями.
«Уг!» — ответил он свирепо,
«Уг!» — ответили и гости.

И, костлявыми руками
Стиснув чашу роковую,
Ягу с яростью подбросил
И рассыпал вокруг фигуры.

Красным кверху пали пешки,
Красным кверху пали змеи,
Красным кверху и утята,
Озавабики — все черным;
Белым только рыбка, Киго;
Только пять всего по счету!

Улыбаясь, По-Пок-Кивис
Положил фигуры в чашу,
Ловко вскинул их на воздух
И рассыпал пред собою:
Красной, белой, черной краской
На земле они блестели,
А меж ними встала пешка,
Встал Инайнивэг, подобно
По-Пок-Кивису красавцу,
Говорившему с улыбкой:
«Пять десятков! Все за мною!»

Двадцать глаз горели злобой,
Как глаза волков голодных,
В тот момент, как По-Пок-Кивис
Встал и вышел из вигвама,
А за ним племянник Ягу,
Стройный юноша высокий,
Уносил оленье кожи,
Горностаевые шубы,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и оружие!

«Отнеси мою добычу
В мой вигвам на Нэго-Воджу!» —
Властно молвил По-Пок-Кивис,
Пышным веером играя.

От игры и от куренья
У него горели веки,
И отрадно грудь дышала
Летней утренней прохладой.
В рощах звонко пели птицы,
По лугам ручьи шумели,
А в груди у Йенадиззи
Пело сердце от восторга,
Пело весело, как птица,
Билось гордо, как источник.

Гордо шел он по деревне
В сером сумраке рассвета,
Пышным веером играя,
И прошел по всей деревне
До последнего вигвама,
До жилища Гайаваты.

Тишина была в вигваме.
На порог никто не вышел
К По-Пок-Кивису с приветом;
Только птицы у порога
Пели, прыгали, порхали,
Там и сям собирая зерна;
Только Кагаги с вигвама
Встретил гостя хриплым криком,
С криком крыльями захлопал,
Взором огненным сверкая.

«Все ушли! Жилище пусто! —
Так промолвил По-Пок-Кивис,
Замышляя злую шутку. —
Нет ни глупой Миннегаги,
Ни хозяина, ни бабки;
Тут теперь что хочешь делай!»

Стиснув ворона за горло,
Он вертел им, как трещоткой,
Как мешком с травой целебной,
Придушил его и бросил,
Чтоб висел он над вигвамом,
На позор его владельцу,
На позор для Гайаваты.

А потом вошел в жилище,
Раскидал кругом порога
Всю хозяйственную утварь,
Раскидал куда попало
Все котлы, горшки и миски,
Мех бобров и горностаев,
Шкуры буйволов и рысей,
На позор Нокомис старой,
На позор для Миннегаги.

Беззаботно напевая
И посвистывая белкам,

Шел он по лесу, а белки
Грызали желуди на ветках,
Шелухой в него кидали;
Беззаботно пел он птицам,
И за темною листвою
Так же весело и звонко
Отвечали пеньем птицы.

Со скалистого побережья
Он смотрел на Гитчи-Гюми,
Лег на самом видном месте
И с злорадством дожидаясь
Возвращения Гайаваты.

На спине, раскинув руки,
Он дремал в полдневном зное.
Далеко под ним плескались,
Омывали берег волны,
Высоко над ним сияло
Голубою бездной небо,
А кругом носились птицы,
Стаи птиц носились с криком
И почти что задевали
По-Пок-Кивиса крылами.

Он убил их много-много,
Он десятками швырял их
Со скалистого побережья
Прямо в волны Гитчи-Гюми.
И Кайошк, морская чайка,
Наконец вскричала громко:
«Это дерзкий По-Пок-Кивис!
Это он нас избивает!
Где же брат наш, Гайавата?
Известите Гайавату!»

XVII

ПОГОНЯ ЗА ПО-ПОК-КИВИСОМ

Гневом вспыхнул Гайавата,
Возвратившись на деревню,
Увидав народ в смятенье,
Услыхавши, что наделал
Дерзкий, хитрый По-Пок-Кивис.

Задыхался он от гнева;
Злобно стискивая зубы,
Он шептал врагу проклятья,
Бормотал, гудел, как шершень.
«Я убью его,— сказал он,—
Я убью, найду злодея!
Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Мсть моя врага настигнет!»

Тотчас кликнул он соседей
И поспешно устремился
По следам его в погоню,—
По лесам, где проходил он
На побережье Гитчи-Гюми:
Но никто врага не встретил:
Отыскиали только место
На траве, в кустах черники,
Где лежал он, отдыхая,
И примял цветы и травы.

Вдруг на Мускоде зеленой,
На долине под горами,
Показался По-Пок-Кивис:
Сделав дерзкий знак рукою,
На бегу он обернулся,
И с горы, ему вдогонку,
Громко крикнул Гайавата:
«Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Мсть моя тебя настигнет!»

Через скалы, через реки,
По кустарникам и чащам
Мчался хитрый По-Пок-Кивис,
Прыгал, словно антилопа.
Наконец остановился
Над прудом в лесной долине,
На плотине, возведенной
Осторожными бобрами,
Над разлившимся потоком,
Над затоном полусонным,
Где в воде росли деревья,

Где кувшинчики желтели,
Где камыш шептал, качаясь.

Над затоном По-Пок-Кивис
Стал на гать из пней и сучьев;
Сквозь нее вода сочилась,
А по ней ручьи бежали;
И со дна пруда к плотине
Выплыл бобр и стал большими,
Удивленными глазами
Из воды смотреть на гостя.

Над затоном По-Пок-Кивис
Пред бобром стоял в раздумье,
По ногам его струились
Ручейки серебристой влагой,
И с бобром заговорил он,
Так сказал ему с улыбкой:
«О мой друг Амик! Позволь мне
Отдохнуть в твоём вигваме,
Отдохнуть в воде прохладной,—
Преврати меня в Амика!»

Осторожно бобр ответил,
Помолчал и так ответил:
«Дай я с прочими бобрами
Посоветуюсь сначала».
И, ответив, опустился,
Как тяжелый камень, в воду,
Скрылся в чаще темно-бурых
Тростников и листьев лилий.

Над затоном По-Пок-Кивис
Ждал бобра на зыбкой гати;
Ручейки с невнятным плеском
По ногам его бежали,
Серебристыми струями
С гати падали на камни
И спокойно разливались
Меж камнями по долине;
А кругом листвою зеленой
Лес шумел, качались ветви,
И сквозь ветви свет и тени,
По земле скользя, играли.

Не спеша, поодиночке
Собрались бобры к плотине:
Осторожно показалась
Голова, потом другая,
Наконец весь пруд широкий
Рыльца черные покрыли,
Лоснясь в ярком блеске солнца.

И к бобрам с улыбкой хитрой
Обратился По-Пок-Кивис:
«О друзья мои! Покойно,
Хорошо у вас в вигвамах!
Все вы опытни и мудры,
Все на выдумки искусны,
Превратите же скорее
И меня в бобра, Амика!»

«Хорошо! — Амик ответил,
Царь бобров, Амик, ответил.—
Опускайся с нами в воду,
Опускайся в пруд с бобрами!»

Молча в тихий пруд с бобрами
Опустился По-Пок-Кивис.
Черной, гладкой и блестящей
Стала вся его одежда,
А хвосты лисиц на пятках
В толстый черный хвост слилися,
И бобром стал По-Пок-Кивис.

«О друзья мои,—сказал он,—
Я хочу быть выше, больше,
Больше всех бобров на свете».
«Хорошо,— Амик ответил,—
Вот когда придем в жилище,
В наш вигвам на дне потока,
В десять раз ты станешь больше».

Так под темною водою
Шел с бобрами По-Пок-Кивис,
Под водою, где лежали
Ветви, пни и груды корма,
И пришел с бобрами к арке,
Что вела в вигвам обширный.

Там опять он превратился,
В десять раз стал выше, больше,
И бобры ему сказали:
«Будь у нас вождем отныне,
Будь над нами властелином».

Но недолго По-Пок-Кивис
Мог почетом наслаждаться:
Бобр, поставленный на страже
В чаще шпажников и лилий,
Вдруг воскликнул: «Гайавата!
Гайавата на плотине!»

Вслед за этим раздался
На плотине крики, говор,
Треск валежника и топот,
А вода заволновалась,
Стала падать, понижаться,
И бобры поняли в страхе,
Что плотина прорвалась.

С треском рухнула и крыша
Их просторного вигвама;
В щели крыши засверкало
Солнце яркими лучами,
И бобры поспешно скрылись
Под водой, где было глубже;
Но могучий По-Пок-Кивис
Не пролез за ними в двери:
Он от гордости и пищи,
Как пузырь, распух, раздулся.

В щели крыши Гайавата
На него смотрел и громко
Восклидал: «О По-Пок-Кивис!
Тщетны все твои уловки,
Бесполезны превращения,—
Не спасешься, По-Пок-Кивис!»

Без пощады колотили
По-Пок-Кивиса дубины,
Молотили, словно маис,
На куски разбили череп.
Шесть охотников высоких
Положили на носилки,
Понесли его в деревню;

Но не умер По-Пок-Кивис,
Джиби, дух его, не умер.

Он барахтался, метался,
Изгибаясь и качаясь,
Как дверные занавески
Изгибаются, качаясь,
Если ветер дует в двери,
И опять собрался с силой,
Принял образ человека,
Встал и в бегство устремился
По-Пок-Кивисом лукавым.

Но от взоров Гайаваты
Не успел в лесу он скрыться;
В голубой и мягкий сумрак
Под ветвями дальних сосен,
К светлой просеке за ними
Вихрем мчался По-Пок-Кивис,
Нагибая ветви с шумом,
Но сквозь шум ветвей он слышал,
Что его, как бурный ливень,
Настигает Гайавата.

Задыхаясь, По-Пок-Кивис
Наконец остановился
Перед озером широким,
По которому средь лилий,
В тростниках, меж островами,
Тихо плавали казарки,
То скрываясь в тень деревьев,
То сверкая в блеске солнца,
Подымая сверху клювы,
Глубоко ныряя в воду.

«Пишнака! — воскликнул громко
По-Пок-Кивис. — Превратите
Поскорей меня в казарку,
Только в самую большую, —
В десять раз сильнее и больше,
Чем другие все казарки!»

Но едва они успели
Превратить его в казарку, —
В исполинскую казарку

С круглой лоснящейся грудью,
С парой темных мощных крыльев
И с большим широким клювом,—
Как из леса с громким криком
Стал пред ними Гайавата!

С громким криком поднялися
И казарки над водою,
Поднялися шумной стаей
Из озерных трав и лилий
И сказали: «По-Пок-Кивис!
Будь теперь поосторожней,—
Берегись смотреть на землю,
Чтобы не было несчастья,
Чтоб беды не приключилось!»

Смело путь они держали,
Путь на дальний, дикий север,
Пролетали то в тумане,
То в сиянье ярком солнца,
Ночевали и кормились
В камышах болот пустынных
И с зарей пустились дальше.
Плавню мчал их южный ветер,
Дул свежо и сильно в крылья.

Вдруг донесся к ним неясный
Отдаленный шум и говор,
Донеслись людские речи
Из селения под ними:
То народ с земли дивился
На невиданные крылья
По-Пок-Кивиса-казарки,—
Эти крылья были шире,
Чем дверные занавески.

По-Пок-Кивис слышал крики,
Слышал голос Гайаваты,
Слышал громкий голос Ягу,
Позабыл совет казарок,
С высоты взглянул на землю —
И в одно мгновенье ветер
Подхватил его, смял крылья
И понес, вертя, на землю.

Тщетно справиться хотел он,
Тщетно думал удержаться!
Вихрем падая на землю,
Он порой то землю видел,
То казарок в синем небе,
Видел, что земля все ближе,
А простор небес — все дальше,
Слышал громкий смех и говор,
Слышал крики все яснее,
Потерял из глаз казарок,
Увидал внизу вигвамы
И с размаху пал на землю,—
С тяжким стуком средь народа
Пала мертвая казарка!

Но его лукавый Джиби,
Дух его, в одно мгновенье
Принял образ человека,
По-Пок-Кивиса красавца,
И опять пустился в бегство,
И опять за ним в погоню
Устремился Гайавата,
Воскликая: «Как бы ни был
Путь мой долог и опасен,
Гнев мой все преодолеет,
Мсть моя тебя настигнет!»

В двух шагах был По-Пок-Кивис,
В двух шагах от Гайаваты,
Но мгновенно закружился,
Поднял вихрем пыль и листья
И исчез в дупле дубовом,
Перекинулся змеею,
Проскользнул змеей под корни.

Быстро правою рукою
Искрошил весь дуб на щепки
Гайавата,— но напрасно!
Вновь лукавый По-Пок-Кивис
Принял образ человека
И помчался в бурном вихре
К Живописным Скалам красным,
Что с побережья озирают
Всю страну и Гитчи-Гюми.

И Владыка Гор могучий,
Горный Манито могучий,
Распахнул пред ним ущелье,
Распахнул широко пропасть,—
Скрыл его от Гайаваты
В мрачном каменном жилище,
Ввел его с радушной лаской
В тьму своих пещер угрюмых.

А снаружи Гайавата,
Пред закрытым входом стоя,
Рукавицей, Минджикэвон,
Пробивал в горе пещеры
И кричал в великом гневе:
«Огопри! Я Гайавата!»
Но Владыка Гор не отпер,
Не ответил Гайавате
Из своих пещер безмолвных,
Из скалистой мрачной бездны.

И простер он руки к небу,
Призывая Эннэмики
И Вэвэссимо на помощь,
И пришли они во мраке,
С ночью, с бурей, с ураганом,
Пронеслись по Гитчи-Гюми
С отдаленных Гор Громовых,
И услышал По-Пок-Кивис
Тяжкий грохот Эннэмики,
Увидал он блеск огнистый
Глаз Вэвэссимо и в страхе
Задрожал и притаился.

Тяжкой палицей своею
Скалы молния разбила
Над преддверием пещеры,
Грянул гром в ее средину,
Говоря: «Где По-Пок-Кивис?» —
И рассыпались утесы,
И среди развалин мертвым
Пал лукавый По-Пок-Кивис,
Пал красавец Йенадиззи.

Благородный Гайавата
Вынул дух его из тела

И сказал: «О По-Пок-Кивис!
Никогда уж ты не примешь
Снова образ человека,
Никогда не будешь больше
Танцевать с беспечным смехом,
Но высоко в синем небе
Будешь ты парить и плавать,
Будешь ты Кию отныне —
Боевым Орлом могучим!»

И живут с тех пор в народе
Песни, сказки и преданья
О красавце Йенадиэзи;
И зимой, когда в деревне
Вихри снежные гуляют,
А в трубе вигвама свищет,
Завывает буйный ветер, —
«Это хитрый По-Пок-Кивис
В пляске бешеной несется!» —
Говорят друг другу люди.

XVIII

СМЕРТЬ КВАЗИНДА

Далеко прошел по свету
Слух о Квазинде могучем:
Он соперников не ведал,
Он себе не ведал равных.
И завистливое племя
Злобных Гномов и Пигмеев,
Злобных духов Пок-Уэджис,
Погубить его решило.

«Если этот дерзкий Квазинд,
Ненавистный всем нам Квазинд,
Поживет еще на свете,
Все губя, уничтожая,
Удивляя все народы
Дивной силою своею, —
Что же будет с Пок-Уэджис? —
Говорили Пок-Уэджис. —
Он растопчет нас, раздавит,
Он подводным злобным духам
Всех нас кинет на съеденье!»

Так, пылая лютой злобой,
Совещались Пок-Уэджис
И убить его решили,
Да, убить его, — избавить
Мир от Квазинда навеки!

Сила Квазинда и слабость
Только в темени таилась:
Только в темя можно было
Насмерть Квазинда поранить,
Но и то одним оружием —
Голубой еловой шишкой.
Роковая тайна эта
Не была известна смертным,
Но коварные Пигмеи,
Пок-Уэджис, знали тайну,
Знали, как врага осилить.

И они набрали шишек,
Голубых еловых шишек
По лесам над Таквамино,
Отнесли их и сложили
На ее высокий берег,
Там, где красные утесы
Нависают над водою,
Сами спрятались и стали
Поджидать врага в засаде.

Было это в полдень летом;
Тих был сонный знойный воздух,
Неподвижно спали тени,
В полусне река струилась;
По реке, блестя на солнце,
Насекомые скользили.
В знойном воздухе далеко
Раздавалось их жужжанье,
Их напевы боевые.

По реке плыл мощный Квазинд,
По теченью плыл лениво,
По дремотной Таквамино,
Плыл в березовой пироге,
Истомленный тяжким зноем,
Усыпленный тишиною.

По ветвям, к реке склоненным,
По кудрям берез плакучих,
Осторожно опустился
На него Дух Сна, Нэпавин;
В сонме спутников незримых,
Во главе воздушной рати,
По ветвям сошел Нэпавин,
Бирюзовой Дэш-кво-нэ-ши,
Стрекозою, стал он тихо
Над пловцом усталым реять.

Квазинд слышал чей-то шепот,
Смутный, словно вздохи сосен,
Словно дальний ропот моря,
Словно дальний шум прибоя,
И почувствовал удары
Томагауков воздушных,
Поражавших прямо в темя,
Управляемых несметной
Ратью Духов Сна незримых.

И от первого удара
Обняла его дремота,
От второго — он бессильно
Опустил весло в пирогу,
После третьего — окрестность
Перед ним покрылась тьмою:
Крепким сном забылся Квазинд.

Так и плыл он по теченью, —
Как слепой, сидел в пироге,
Сонный плыл по Таквамино,
Под прибрежными лесами,
Мимо трепетных березок,
Мимо вражеской засады,
Мимо лагеря Пигмеев.

Градом сыпались шишки,
Голубые шишки елей
В темя Квазинда с побережья.
«Смерть врагу!» — раздался громкий
Боевой крик Пок-Уаджис.

И упал на борт пироги
И свалился в реку Квазинд,
Головою вниз, как выдра,

В воду сонную свалился,
А пирога, кверху килем,
Поплыла одна, блуждая
По теченью Таквамино.

Так погиб могучий Квазинд.
Но хранилось долго-долго
Имя Квазинда в народе,
И когда в лесах зимою
Бушевали, выли бури,
С треском гнули и ломали
Ветви стонущих деревьев,—
«Квазинд! — люди говорили.—
Это Квазинд собирает
На костер себе валежник!»

ХІХ

ПРИВИДЕНИЯ

Никогда хохлатый коршун
Не спускается в пустыне
Над пораненным бизоном
Без того, чтоб на добычу
И второй не опустился;
За вторым же в синем небе
Тотчас явится и третий,
Так что вскорости от крыльев
Собирающейся стаи
Даже воздух потемнеет.

И беда одна не ходит:
Сторожат друг друга беды:
Чуть одна из них нагрянет,—
Вслед за ней спешат другие
И, как птицы, вьются, вьются
Черной стаей над добычей,
Так что белый свет померкнет
От отчаянья и скорби.

Вот опять на хмурый север
Мощный Пибоан вернулся!
Ледяным своим дыханьем
Превратил он воды в камень
На реках и на озерах.

С кос стряхнул он хлопья снега,
И поля покрылись белой,
Ровной снежной пеленою,
Будто сам Владыка Жизни
Сгладил их рукой своею.

По лесам, под песни вьюги,
Зверолов бродил на лыжах;
В деревнях, в вигвамах теплых,
Мирно женщины трудились,
Молотили кукурузу
И выделывали кожи;
Молодежь же проводила
Время в играх и забавах,
В танцах, в беганье на лыжах.

Темным вечером однажды
Престарелая Нокомис
С Миннегагою сидела
За работою в вигваме,
Чутко слушая в молчанье,
Не идет ли Гайавата,
Запоздавший на охоте.

Свет костра багряной краской
Разрисовывал их лица,
Трепетал в глазах Нокомис
Серебристым лунным блеском,
А в глазах у Миннегаги —
Блеском солнца над водою;
Дым, клубами собираясь,
Уходил в трубу над ними,
По углам вигвама тени
Изгибались за ними.

И открылась тихо-тихо
Занавеска над порогом;
Ярче пламя запылало,
Дым сильнее заволновался
И две женщины безмолвно,
Без привета и без зова,
Чрез порог переступили,
Проскользнули по вигваму
В самый дальний, темный угол,
Сели там и притаились.

По обличью, по одежде
Это были чужеземки;
Бледны, мрачны были обе,
И с безмолвною тоскою,
Содрогаясь, как от стужи,
Из угла они глядели.

То не ветер ли полночный
Загудел в трубе вигвама?
Не сова ли, Куку-кугу,
Застонала в мрачных соснах?
Голос вдруг изрек в молчанье:
«Это мертвые восстали,
Это души погребенных
К вам пришли из Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни!»

Скоро из лесу, с охоты,
Возвратился Гайавата,
Весь осыпан белым снегом
И с оленем за плечами.
Перед милой Миннегагой
Он сложил свою добычу
И теперь еще прекрасней
Показался Миннегаге,
Чем в тот день, когда за нею
Он пришел в страну Дакотов,
Положил пред ней оленя
В знак своих желаний тайных,
В знак своей любви сердечной.

Положив, он обернулся,
Увидал в углу двух женщин
И сказал себе: «Кто это?
Странны гости Миннегаги!»
Но расспрашивать не стал их,
Только с ласковым приветом
Попросил их разделить с ним
Кров его, очаг и пищу.

Гости бледные ни слова
Не сказали Гайавате;
Но когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Из угла они вскочили,

Завладели лучшей долей,
Долей милой Миннегаги,
Не спросясь, схватили дерзко
Нежный, белый жир оленя,
Съели с жадностью, как звери,
И опять забились в угол
В самый дальний, темный угол.

Промолчала Миннегага,
Промолчал и Гайавата,
Промолчала и Нокомис;
Лица их спокойны были.
Только Миннегага тихо
Прошептала с состраданием,
Говоря: «Их мучит голод;
Пусть берут, что им по вкусу,
Пусть едят,— их мучит голод».

Много зорь зажглось, погасло,
Много дней стряхнули ночи,
Как стряхают хлопья снега
Сосны темные на землю;
День за днем сидели молча
Гости бледные в вигваме;
Ночью, даже в непогоду,
В ближний лес они ходили,
Чтоб набрать сосновых шишек,
Чтоб набрать ветвей для топки,
Но едва светало, снова
Появлялись в вигваме.

И всегда, когда с охоты
Возвращался Гайавата,
В час, когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Гости бледные бесшумно
Из угла к нему кидались,
Не спросясь, хватали жадно
Нежный, белый жир оленя,—
Долю милой Миннегаги,—
И скрывались в темный угол.

Никогда не упрекнул их
Даже взглядом Гайавата,
Никогда не возмутилась
Престарелая Нокомис,

Никогда не показала
Недовольства Миннегага;
Все они терпели молча,
Чтоб права святые гостя
Не нарушить грубым взглядом,
Не нарушить грубым словом.

В полночь раз, когда печально
Догорал костер, краснея,
И мерцал дрожащим светом
В полусумраке вигвама,
Бодрый, чуткий Гайавата
Вдруг услышал чьи-то вздохи,
Чьи-то горькие рыдания.

С ложа встал он осторожно,
Встал с косматых шкур бизона
И, отдернувши над ложем
Из оленьей кожи полог,
Увидал, что это Тени,
Гости бледные, вздыхают,
Плачут в тишине полночной.

И промолвил он: «О гости!
Что так мучит ваше сердце?
Что рыдать вас заставляет?
Не Нокомис ли вас, гости,
Ненароком оскорбила?
Иль пред вами Миннегага
Позабыла долг хозяйки?»

Тени смолкли, перестали
Горько сетовать и плакать
И сказали тихо-тихо:
«Мы усопших, мертвых души,
Души тех, что жили с вами;
Мы пришли из Стран Понима,
С островов Загробной Жизни,
Испытать вас и наставить.

Вопли скорби достигают
К нам, в Селения Блаженных;
То живые погребенных
Призывают вновь на землю,
Мучат нас бесплодной скорбью;

И вернулись мы на землю,
Но узнали скоро, скоро,
Что везде мы только в тягость,
Что для всех мы стали чужды:
Нет нам места, — нет возврата
Мертвецам из-за могилы!

Помни это, Гайавата,
И скажи всему народу,
Чтоб отныне и вовеки
Вопли их не огорчали
Отошедших в мир Понима,
К нам, в Селения Блаженных.

Не кладите тяжелой ноши
С мертвецами в их могилы, —
Ни мехов, ни украшений,
Ни котлов, ни чаш из глины, —
Эта ноша мучит духов.
Дайте лишь немного пищи,
Дайте лишь огня в дорогу.

Дух четыре грустных ночи
И четыре дня проводит
На пути в Страну Понима;
Потому-то и должны вы
Над могилами усопших
С первой ночи до последней
Жечь костры неугасимо,
Освещать дорогу духам,
Озарять веселым светом
Их печальные ночлеги.

Мы идем, прости навеки,
Благородный Гайавата!
И тебя мы искушали,
И твое терпенье долго
Мы испытывали дерзко,
Но всегда ты оставался
Благородным и великим.
Не слабей же, Гайавата,
Не слабей, не падай духом:
Ждет тебя еще труднее
И борьба и испытанье!»

И внезапно тьма упала
И наполнила жилище,
Гайавата же в молчанье
Услыхал одежды шорох,
Услыхал, что кто-то поднял
Занавеску над порогом,
Увидал на небе звезды
И почувствовал дыханье
Зимней полночи морозной,
Но уже не видел духов,
Теней бледных и печальных
Из далеких Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни.

XX

ГОЛОД

О, зима! О, дни жестокой,
Бесконечной зимней стужи!
Лед все толще, толще, толще
Становился на озерах;
Снег все больше, больше, больше
Заносил луга и степи;
Все грозней шумели вьюги
По лесам, вокруг селенья.

Еле-еле из вигвама,
Занесенного снегами,
Мог пробраться в лес охотник;
В рукавицах и на лыжах
Тщетно по лесу бродил он,
Тщетно он искал добычи,—
Не видал ни птиц, ни зверя,
Не видал следов оленя,
Не видал следов Вабассо.
Страшен был, как привиденье,
Лес блестящий и пустынный,
И от голода, от стужи
Потеряв сознание, падал,
Погибал в снегах охотник.

О, Всесильный Бюкадэвин!
О, могучий Акозивин!
О, безмолвный, грозный Погок!

О, жестокие мученья,
Плач детей и вопли женщин!

Всю тоскующую землю
Изнурил недуг и голод,
Небеса и самый воздух
Лютым голодом томились,
И горели в небе звезды,
Как глаза волков голодных!

Вновь в вигваме Гайаваты
Поселились два гостя:
Так же мрачно и безмолвно,
Как и прежние два гостя,
Без привета и без зова
В дом вошли они и сели
Прямо рядом с Миннегагой,
Не сводя с нее свирепых,
Впалых глаз ни на минуту.

И один сказал ей: «Видишь?»
Пред тобою — Бюкадэвин!»
И другой сказал ей: «Видишь?»
Пред тобою — Аковивин!»

И от этих слов и взглядов
Содрогнулось, сжалось страхом
Сердце милой Миннегаги;
Без ответа опустилась,
Скрыв лицо, она на ложе
И томилась, трепетала,
Холодея и сгорая
От зловещих слов и взглядов.

Как безумный устремился
В лес на лыжах Гайавата;
Стиснув зубы, затаивши
В сердце боль смертельной скорби,
Мчался он, и капли пота
На челе его смерзались.

В меховых своих одеждах,
В рукавицах, Минджикэвон,
С мощным луком наготове

И с колчаном за плечами,
Он бежал все дальше, дальше
По лесам пустым и мертвым.

«Гитчи Манито! — вскричал он,
Обращая взоры к небу
С беспредельною тоскою. —
Пощади нас, о Всесильный,
Дай нам пищи, иль погибнем!
Пищи дай для Миннегаги —
Умирает Миннегага!»

Гулко в дебрях молчаливых,
В бесконечных дебрях бора,
Прозвучали вопли эти,
Но никто не отзывался,
Кроме отклика лесного,
Повторявшего тоскливо:
«Миннегага! Миннегага!»

До заката одиноко
Он бродил в лесах печальных,
В темных чащах, где когда-то
Шел он с милой Миннегагой,
С молодой женою рядом,
Из далеких стран Дакотов.
Весел был их путь в то время!
Все цветы благоухали,
Все лесные птицы пели,
Все ручьи сверкали солнцем,
И сказала Миннегага
С беззаветною любовью:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

А в вигваме, близ Нокомис,
Близ пришельцев молчаливых,
Карауливших добычу,
Уж томилась пред кончиной,
Умирала Миннегага.

«Слышишь? — вдруг она сказала. —
Слышишь шум и гул далекий
Водопадов Миннегаги?
Он зовет меня, Нокомис!»

«Нет, дитя мое,— печально
Отвечала ей Нокомис,—
Это бор гудит от ветра».

«Глянь! — сказала Миннегага.—
Вон — отец мой! Одиноко
Он стоит и мне кивает
Из родимого вигвама!»

«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис,—
Это дым плывет, кивает!»

«Ах! — вскричала Миннегага.—
Это Погока сверкают
Очи грозные из мрака,
Это он мне стиснул руку
Ледяной своей рукою!
Гайавата, Гайавата!»

И несчастный Гайавата
Издадека, издадека,
Из-за гор и дебрей леса,
Услыхал тот крик внезапный,
Скорбный голос Миннегаги,
Призывающий во мраке:
«Гайавата! Гайавата!»
По долинам, по сугробам,
Под ветвями белых сосен,
Нависавшими от снега,
Он бежал с тяжелым сердцем,
И услышал он тоскливый
Плач Нокомис престарелой:
«Вагономин! Вагономин!
Лучше б я сама погибла,
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин! Вагономин!»

И в вигвам он устремился,
И увидел, как Нокомис
С плачем медленно качалась,
Увидал и Миннегагу,
Неподвижную на ложе,
И такой издал ужасный
Крик отчаянья, что звезды

В небесах затрепетали,
А леса с глубоким стоном
Потряслись до основания!

Осторожно и безмолвно
Сел он к ложу Миннегаги,
Сел к ногам ее холодным,
К тем ногам, что никогда уж
Не пойдут за Гайаватой,
Никогда к нему из дома
Уж не выбегут навстречу.

Он лицо закрыл руками,
Семь ночей и дней у ложа
Просидел в оцепененье,
Без движенья, без сознания:
День царит иль тьма ночная?

И простились с Миннегагой;
Приготовили могилу
Ей в лесу глухом и темном,
Под печальною цикутой,
Обернули Миннегагу
Белым мехом горностая,
Закидали белым снегом,
Словно мехом горностая,—
И простились с Миннегагой.

А с закатом на могиле
Был зажжен костер из хвоя,
Чтоб душе четыре ночи
Освещал он путь далекий,
Путь в Селения Блаженных.
Из вигвама Гайавате
Видно было, как горел он,
Озаряя из-под низу
Ветви черные цикуты.
И не раз в час долгой ночи
Подымался Гайавата
На своем бессонном ложе,
Ложе милой Миннегаги,
И стоял, следил с порога,
Чтобы пламя не погасло,
Дух во мраке не остался.

«О, прости, прости! — сказал он. —
О, прости, моя родная!
Все мое с тобою сердце
Схоронил я, Миннегага,
Вся душа моя стремится
За тобою, Миннегага!
Не ходи, не возвращайся
К нам на труд и на страданья,
В мир, где голод, лихорадка
Мучат душу, мучат тело!
Скоро подвиг свой я кончу,
Скоро буду я с тобою
В царстве светлого Понима,
Бесконечной, вечной жизни!»

XXI

СЛЕД БЕЛОГО

Средь долины, над рекою,
Над замерзшею рекою,
Там сидел в своем вигваме
Одинокый, грустный старец.
Волоса его лежали
На плечах сугробом снега,
Плащ его из белой кожи,
Вобивайон, был в лохмотьях,
А костер среди вигвама
Чуть светился, догорая,
И дрожал от стужи старец,
Ослепленный снежной вьюгой,
Оглушенный свистом бури,
Оглушенный гулом леса.

Угли пеплом уж белели,
Пламя тихо умирало,
Как неслышно появился
Стройный юноша в вигваме.
На щеках его румянец
Разливался алой краской,
Очи кроткие сияли,
Как весенней ночью звезды,
А чело его венчала
Из пахучих трав гирлянда.

Улыбаясь и улыбкой
Все, как солнцем, озаряя,
Он вошел в вигвам с цветами,
И цветы его дышали
Нежным, сладким ароматом.

«О мой сын,— воскликнул старец,—
Как отрадно видеть гостя!
Сядь со мною на циновку,
Сядь сюда, к огню поближе,
Будем вместе ждать рассвета.
Ты свои мне порасскажешь
Приключения и встречи,
Я — свои: свершил я в жизни
Не один великий подвиг!»

Тут он вынул Трубку Мира,
Очень старую, чудную,
С красной каменной головкой,
С чубуком из трости, в перьях,
Наложил ее корою,
Закурил ее от угля,
Подав гостю-чужеземцу
И повел такие речи:

«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Остановятся все реки,
Вся вода окаменеет!»

Улыбаясь, гость ответил:
«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки!»

«Стоит мне потряхнуть во гнев
Головой своей седою,—
Молвил старец, мрачно хмурясь,—
Всю страну снега покроют,
Вся листва спадет с деревьев,
Все поблекнет и погибнет,
С рек и тундр, с болотных топей
Улетят и гусь и цапля
К отдаленным, теплым странам;

И куда бы ни пришел я,
Звери дикие лесные
В норы прячутся, в пещеры,
Как кремень, земля твердеет!»

«Стоит мне потрянуть кудрями,—
Молвил гость с улыбкой кроткой,—
Благодатный теплый ливень
Оросит поля и долы,
Воскресит цветы и травы;
На озера и болота
Возвратятся гусь и цапля,
С юга ласточка примчится,
Запоют лесные птицы;
И куда бы ни пришел я,
Луг колышется цветами,
Лес звучит веселым пеньем,
От листвы темнеют чащи!»

За беседой ночь минула;
Из далеких стран Востока,
Из серебряных чертогов,
Словно воин в ярких красках,
Солнце вышло и сказало:
«Вот и я! Любуйтесь солнцем,
Гизисом, могучим солнцем!»

Онемел при этом старец.
От земли теплом пахнуло,
Над вигвамом стали сладко
Опечи петь и Овейса,
Зажурчал ручей в долине,
Нежный запах трав весенних
Из долин в вигвам повеял,
И при ярком блеске солнца
Увидал Сэгвон яснее
Старца лик холодный, мертвый:
То был Пибоан могучий.

По щекам его бежали,
Как весенние потоки,
Слезы теплыми струями,
Сам же он все уменьшался
В блеске радостного солнца —
Паром таял в блеске солнца,

Влагой всачивался в землю,
И Сэгвон среди вигвама,
Там, где ночью мокрый хворост
В очаге дымился, тлея,
Увидал цветок весенний,
Первоцвет, привет весенний,
Мискодит в зеленых листьях.

Так на север после стужи,
После лютой зимней стужи,
Вновь пришла весна, а с нею
Зацвели цветы и травы,
Возвратились с юга птицы.

С ветром путь держа на север,
В небе стаями летели,
Мчались лебеди, как стрелы,
Как большие стрелы в перьях,
И скликались, как люди;
Плыли гуси длинной цепью,
Изгибавшейся, подобно
Тетиве из жил оленя,
Разорвавшейся на луке;
В одиночку и попарно,
С быстрым, резким свистом крыльев,
Высоко нырки летели,
Пролетали на болота
Мушкодаза и Шух-шух-га.

В чащах леса и в долинах
Пел Овейса синеперый,
Над вигвамами, на кровлях,
Опечи пел красногрудый,
Под густым наметом сосен
Ворковал Омими, голубь,
И печальный Гайавата,
Онемевший от печали,
Услыхал их зов веселый,
Услыхал — и тихо вышел
Из угрюмого вигвама
Любоваться вешним солнцем,
Красотой земли и неба.

Из далекого похода
В царство яркого рассвета,
В царство Вебона, к Востоку,

Возвратился старый Ягу.
И принёс он много-много
Удивительных новинок.

Вся деревня собралась
Слушать, как хвалился Ягу
Приключеньями своими,
Но со смехом говорила:
«Уг! Да это точно — Ягу!
Кто другой так может хвастать!»

Он сказал, что видел море
Больше, чем Большое Море,
Много больше Гитчи-Гюми
И с такой водою горькой,
Что никто не пьёт ту воду.
Тут все воины и жены
Друг на друга поглядели,
Улыбнулись друг другу
И шепнули: «Это враки!
Ко, — шепнули, — это враки!»

В нём, сказал он, в этом море
Плыл огромный челн крылатый,
Шла крылатая пирога,
Больше целой рощи сосен,
Выше самых старых сосен.
Тут все воины и старцы
Поглядели друг на друга,
Засмеялись и сказали:
«Ко, не верится нам что-то!»

Из жерла её, сказал он,
Вдруг раздался гром, в честь Ягу.
Стрелы молнии сверкнули.
Тут все воины и жены
Без стыда захохотали.
«Ко, — сказали, — вот так сказка!»

В ней, сказал он, плыли люди,
Да, сказал он, в этой лодке
Я сто воинов увидел.
Лица воинов тех были
Белой выкрашены краской,
Подбородки же покрыты

Были густо волосами.
Тут уж все над бедным Ягу
Стали громко издеваться,
Закричали, зашумели,
Словно вороны на соснах,
Словно серые вороны.
«Ko! — кричали все со смехом.—
Кто ж тебе поверит, Ягу!»

Гайавата не смеялся,—
Он на шутки и насмешки
Строго им в ответ промолвил:
«Ягу правду говорит нам;
Было мне дано виденье,
Видел сам я челн крылатый,
Видел сам я бледнолицых,
Бородатых чужеземцев
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета.

Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
С ними шлет свои веленья,
Шлет свои нам приказанья.
Где живут они — там выются
Амо, делатели меда,
Мухи с жадами роятся.
Где идут они — повсюду
Вырастает вслед за ними
Мискодит, краса природы.

И когда мы их увидим,
Мы должны их, словно братьев,
Встретить с лаской и приветом.
Гитчи Манито могучий
Это мне сказал в виденье.

Он открыл мне в том виденье
И грядущее,— все тайны
Дней, от нас еще далеких.
Видел я густые рати
Неизвестных нам народов,
Надвигавшихся на Запад,
Переполивших все страны.
Разны были их наречья,

Но одно в них билось сердце.
И кипела неустанно
Их веселая работа:
Топоры в лесах звенели,
Города в лугах дымились,
На реках и на озерах
Плыли с молнией и громом
Окрыленные пироги.

А потом уже иное
Предо мной прошло виденье —
Смутно, словно за туманом:
Видел я, что гибнут наши
Племена в борьбе кровавой,
Восставая друг на друга,
Позабыв мои советы;
Видел с грустью их остатки,
Отступавшие на Запад,
Убегавшие в смятенье,
Как рассеянные тучи,
Как сухие листья в бурю!»

XXII

ЭПИЛОГ

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого моря,
Тихим, ясным летним утром,
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

Воздух полон был прохлады,
Вся земля дышала счастьем,
А над нею, в блеске солнца,
На закат, к соседней роще,
Золотистыми роями
Пролетали пчелы, Амо,
Пели в ярком блеске солнца.

Ясно глубь небес сияла,
Тихо было Гитчи-Гюми;
У побережья прыгал Нама,
Искрясь в брызгах, в блеске солнца;

На побережье лес зеленый
Возвышался над водою,
Созерцал свои вершины,
Отраженные водою.

Светел взор был Гайаваты:
Скорбь с лица его исчезла,
Как туман с восходом солнца,
Как ночная мгла с рассветом;
С торжествующей улыбкой,
Полный радости и счастья,
Словно тот, кто видит в грезах
То, что скоро совершится,
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

К солнцу руки протянул он,
Обратил к нему ладони,
И меж пальцев свет и тени
По лицу его играли,
По плечам его открытым;
Так лучи, скользя меж листьев,
Освещают дуб могучий.

По воде, в дали неясной,
Что-то белое летело,
Что-то плыло и мелькало
В легком утреннем тумане,
Опускалось, подымалось,
Подходя все ближе, ближе.

Не летит ли там Шух-шух-га?
Не ныряет ли гагара?
Не плывет ли Птица-баба?
Или это Во-би-вава
Брызги стряхивает с перьев,
С шеи длинной и блестящей?

Нет, не гусь, не цапля это,
Не нырок, не Птица-баба
По воде плывет, мелькает
В легком утреннем тумане;
То березовая лодка,
Опускаясь, подымаясь,

В брызгах искрится на солнце,
И плывут в той лодке люди
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета;
То наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
По воде с проводниками
И с друзьями путь свой держит.

И, простерши к небу руки,
В знак сердечного привета,
С торжествующей улыбкой
Ждал их славный Гайавата,
Ждал, пока под их пирогой
Захрустит прибрежный щебень,
Зашуршит песчаный берег
И наставник бледнолицых
На песчаный берег выйдет.

И когда наставник вышел,
Громко, радостно воскликнув,
Так промолвил Гайавата:
«Светел день, о чужеземцы,
День, в который вы пришли к нам!
Все селенье наше ждет вас,
Все вигвамы вам открыты.

Никогда еще так пышно
Не цвела земля цветами,
Никогда на небе солнце
Не сияло так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!
Никогда Большое Море
Не бывало так спокойно,
Так прозрачно и свободно
От подводных скал и мелей;
Там, где шла пирога ваша,
Нет теперь ни скал, ни мелей!

Никогда табак наш не был
Так душист и так приятен,
Никогда не зеленели
Наши нивы так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!»

И наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
Отвечал ему приветом:
«Мир тебе, о Гайавата!
Мир твоей стране родимой,
Мир молитвы, мир прощенья,
Мир Христа и свет Марии!»

И радушный Гайавата
Ввел гостей в свое жилище,
Посадил их там на шкурах
Горностаев и бизонов,
А Нокомис подала им
Пищу в мисках из березы,
Воду в ковшиках из липы
И зажгла им Трубку Мира.

Все пророки, Джосакиды,
Все волшебники, Вэбины,
Все врачи недугов, Миды,
С ними воины и старцы
Собрались пред вигвамом,
Чтоб почтить гостей приветом.
Тесным кругом у порога
На земле они сидели
И курили трубки молча,
А когда к ним из вигвама
Вышли гости, так сказали:
«Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»

И наставник бледнолицых
Рассказал тогда народу,
Что пришел он им поведать
О святой Марии-Деве,
О ее предвечном Сыне.
Рассказал, как в дни былые
Он сошел на землю к людям,
Как он жил в посте, в молитве,
Как учил он, как евреи,
Богом проклятое племя,
На кресте его распяли,
Как восстал он из могилы,
Вновь ходил с учениками
И с земли вознесся в небо.

И народ ему ответил:
«Мы словам твоим внимали,
Мы внимали мудрой речи,
Мы должны о ней подумать.
Всех нас радуёт, о братья,
Что пришли вы навеснить нас
Из далеких стран Востока!»

И, простясь, все удалились,
Разошлись к своим вигвамам,
Рассказали на деревне
Юным воинам и женам,
Что прислал Владыка Жизни
К ним гостей из стран Востока.

От жары, в затишье полдня,
Тяжким воздух становился;
В полусне шептались сосны
Позади вигвамов душных,
В полусне плескались волны
На песчаное побережье,
А на нивах, не смолкая,
Пел кузнечик, Па-пок-кина.
Спали гости Гайаваты,
Истомленные жарою,
В душном сумраке вигвама.

Тихо вечер приближался,
Освежая знойный воздух,
И метало солнце стрелы,
Пробивая чащи леса,
В тайники его врываясь,
Все осматривая зорко.
Спали гости Гайаваты
В тихом сумраке вигвама.

С мягких шкур встал Гайавата,
И простился он с Нокомис,
Тихим шепотом сказал ей,
Чтоб гостей не потревожить:

«Ухожу я, о Нокомис,
Ухожу я в путь далекий,
Ухожу в страну Заката,
В край Кивайдина родимый.

Но гостей моих, Нокомис,
На тебя я оставляю:
Сохраняй их и заботься,
Чтоб ни страх, ни подозрение,
Ни печаль их не смущали;
Чтоб в вигваме Гайаваты
Им всегда готовы были
И приют, и кров, и пища».

Так сказав ей, он покинул
Отчий дом, пошел в селенье
И простился там с народом,
Говоря такие речи:

«Ухожу я, о народ мой,
Ухожу я в путь далекий:
Много зим и много весен
И придет и вновь исчезнет,
Прежде чем я вас увижу;
Но гостей моих оставил
Я в родном моем вигваме:
Наставленьям их внимайте,
Слову мудрости внимайте,
Ибо их Владыка Жизни
К нам прислал из царства света».

На побережье Гайавата
Обернулся на прощанье,
На сверкающие волны
Сдвинул легкую пирогу,
От кремнистого побережья
Оттолкнул ее на волны,—
«На закат!» — сказал ей тихо
И пустился в путь далекий.

И закат огнем багряным
Облака зажег, и небо,
Словно прерии, пылало.
Длинным огненным потоком
Отражался в Гитчи-Гюми
Солнца след, и, удаляясь
Все на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,
Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата.

И народ с побережья долго
Провожал его глазами,
Видел, как его пирога
Поднялась высоко к небу
В море солнечного блеска —
И сокрылась в тумане,
Точно бледный полумесяц,
Потонувший тихо-тихо
В полумгле, в дали багряной.

И сказал: «Прости навеки,
Ты прости, о Гайавата!»
И лесов пустынных недра
Содрогнулись — и пронесся
Тяжкий вздох во мраке леса,
Вздох: «Прости, о Гайавата!»
И о берег волны с шумом
Разбивались и рыдали,
И звучал их стон печальный,
Стон: «Прости, о Гайавата!»
И Шух-шух-га на болоте
Испустила крик тоскливый,
Крик: «Прости, о Гайавата!»

Так в пурпурной мгле вечерней,
В славе гаснущего солнца,
Удалился Гайавата
В край Кивайдина родимый,
Отошел в Страну Понима,
К Островам Блаженных, — в царство
Бесконечной, вечной жизни!



СЛОВАРЬ
ИНДЕЙСКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В «ПЕСНИ»

Аджидомо — белка.

Амик — бобр.

Амо — пчела.

Бимăгут — виноградник.

Бэм-вава — звук грома.

Вабассо — кролик; север.

Ва-ва-гэйзи — светляк.

Вава — дикий гусь.

Вавбик — утес.

Вавонэйса — полуночник (птица).

Вагонмин — крик горя.

Вампум — ожерелья, пояса и различные украшения из раковин и бус.

Во-би-вава — белый гусь.

Вобивайон — кожаный плащ.

Вэбино — волшебник.

Вэбино-Вэск — сурепка.

Вэ-мок-квана — гусеница.

Гитчи-Гюми — Верхнее озеро.

Дагинда — гигантская лягушка.

Джиби — дух.

Джосакиды — пророки.

Дэш-кво-нэ-ши — стрекоза.

Иза — стыдись!

Инайнивэг — пешка (в игре в кости).

Ишкуда — огонь, комета.

Йенадиззи — щеголь, франт.

Кагаги — ворон.

Каго — не тронь!

Кайошк — морская чайка.

Кивайдин — северо-западный ветер.

Кинэбик — змея.

Киню — орел.

Ко — нет.

Куку-Кузу — сова.

Куо-ни-ши — стрекоза.

Кэноза, Маскеноза — щука.

Манг — пырок.

Ман-го-гэйзи — отважный.

Маномони — дикий рис.

Месяц Светлых Ночей — апрель.

Месяц Листьев — Май.

Месяц Земляники — июнь.

Месяц Падающих Листьев — сентябрь.

Месяц Лыж — ноябрь.

Миды — врачи.

Минага — черника.
Минджикэон — рукавицы.
Минни-вава — шорох деревьев.
Мискодит — «След Белого»
(цветок).
Мише-Мо́ква — Великий Мед-
ведь.
Мише-На́ма — Великий Осетр.
Мондамин — манс.
Мушкодаза — глухарка.
Мэдавэй-о́шка — плеск воды.
Мэма — зеленый дятел.
Мэшино́ва — прислужник.

На́ма — осетр.
На́ма-Вэск — зеленая мята.
Нинимуша — милый друг.
Но́за — отец.
Нэго-Воджу — дюны Верхнего
озера.
Нэпа́вин — сон, дух сна.
Нэшка — смотри!

Овэйса — сивопоронка (птица).
Ода́мин — земляника.
Озавабик — медный диск (в иг-
ре в кости).
Окага́вис — речная сельдь.
Оими — голубь.
Онэвэ — проснись, встань!
Опечи — красногрудка (пти-
ца).

Па-Пок-кина — кузнецик.
Пибоан — зима.

Пимикан — высушенное олень-
е мясо.
Пишнэкэ — казарка (птица).
Пога́во́гон — палица.
По́гок — смерть.
Пок-Уэджис — пигмен.
Понима — загробная жизнь.

Са́ва — окунь.
Сибови́ша — ручей.
Соббика́ши — таранул.
Сон-джи-тэ́гэ — сильный.
Сэга́он — весна.

Тэ́мрак — лиственница.
Уг — да.
Угудаво́ш — самглав, луна-рыба.
Читовэйк — звук.

Ша-ша — далекое прошлое.
Шебамик — крыжовник.
Шингебис — нырок.
Шинзбвэг — утенок (фигурка
в игре в кости).
Шовэн-нэмэшин — сжался!
Шога́ши — морской рак.
Шогода́йя — трус.
Шо-шо — ласточка.
Шух-шух-га — цапля.

Энктази — Бог Воды.
Эннимики — гром.
Эпо́ква — тростник.



Корнентарии





ПОЭЗИЯ И. А. БУНИНА

Поэзия Ивана Алексеевича Бунина, этого архаиста-новатора, верного литературным традициям XIX века и вместе с тем шагнувшего вперед в освоении новых художественных средств, являет нам пример движения русской лирики в ее коренных, национальных основах. Оставаясь на протяжении всей своей долгой, почти семидесятилетней творческой жизни натурой исключительно цельной, повинаясь внутреннему велению таланта, Бунин в то же время, в пору дореволюционного творчества, пережил заметную эволюцию, раскрывая на различных перепадах русской общественной жизни новые грани своего дарования.

Детство и юность Бунина прошли на природе, в нищающей дворянской усадьбе. В его формировании как художника сказалось противоборство сословно-дворянских и демократических, даже простонародных традиций. С одной стороны, завроженность былым величием столбового рода, милым миром старины, с другой — искренняя, хотя и поверхностная увлеченность гражданской поэзией. Характерно в этом смысле, что дебютом Бунина было длинное стихотворение «Над могилой Надсона», написанное с горячим пиететом и сочувствием к поэту-демократу. Правда, стилистически, всем художественным строем С. Надсон был все же далек семнадцатилетнему стихотворцу из Елецкого уезда. В демократической литературе XIX века его привлекала не, условно говоря, ее «городская линия», к которой принадлежал Надсон, а «крестьянско-мещанская», представленная, скажем, творчеством И. Никитина. Так, совершенно «никитинским» по звучанию выглядит второе опубликованное бунинское стихотворение — «Деревенский нищий». Никитинские стихи, простые и сильные, очень рано запомнились Бунину. Однако было бы ошибкой представить себе молодого Бунина наследником демократических заветов Никитина или Кольцова. Жизнь в скудеющем имении, поэтизация усадебного быта, дремлющие сословные традиции — все это вызывало у молодого Бунина чувство нежности и говорило о его двойственности —

об одновременном тяготении и отталкивании от дворянских традиций.

Итогом юношеских опытов Бунина явилась книга стихов, вышедшая в 1891 году в Орле. Сборник этот трудно назвать удачей молодого автора. Двадцатилетний поэт еще не достиг власти над словом, он только чувствовал магию ритмичности и музыкальности. В этом (в целом несовершенном) сборнике очень ясно тем не менее прозвучала одна-единственная тема: русская природа, разомкнувшая строй выпретенных, надуманных стихов. Таковы, скажем, отрывки из дневника «Последние дни» («Все медленно, безмолвно увядает... // Лес пожелтел, редет с каждым днем...»). Строчки бунинского стиха лишены метафор, они почти безобразны в отдельности, однако в целом создано осеннее настроение — умирает природа, напоминая поэту о разрушенном, умершем счастье. Бунин не включил это, как и большинство других стихотворений первого сборника, в последующие книги лирики. И все же след этого стихотворения мы находим: оно послужило строительным материалом для более поздней, великолепной лирической пьесы «В степи».

Сборники Бунина «Под открытым небом» (1898), «Стихи и рассказы» (1900), «Полевые цветы», «Листопад» (1901) знаменуют собой постепенный выход поэта к рубежам зрелого творчества. Однако если ранние опыты Бунина-поэта заставляют вспомнить имена Никитина и Кольцова, то стихи конца 90-х и начала 900-х годов выдержаны в традициях Фета, Полонского, Майкова, Жемчужникова. Влияние этих поэтов оказалось прочным и стойким — именно их стихи переводили на язык искусства те впечатления, какие получал юный Бунин. Быт семьи, обычаи, развлечения, катания ряженных на святках, охота, ярмарки, полевые работы — все это, преображенное, вдруг «узнавалось» в стихах певцов русской усадьбы. И конечно, любовь, навеянная на молодого поэта в первую очередь Полонским.

Но насколько отлично положение Бунина от условий, в которых творили Полонский, Майков, Фет! Для Бунина предметом поэзии стал сам быт уходящего класса. Не только «холодок покорных уст», но и обыденное занятие помещика (теперь ставшее редкостным) в ретроспективном восприятии поэта приобретает новое, эстетически остроконечное звучание: «И тени штор узорной легкой сеткой // По конскому лечебнику пестрят...» («Бегут, бегут листы раскрытой книги...»).

На рубеже XX века, когда уже пробивались первые ростки пролетарской литературы, а также «нового», символистского направления в поэзии, бунинские стихи могли бы показаться живым анахронизмом. Недаром иные стихи Бунина вызывают справедливые и весьма конкретные ассоциации, заставляют вспомнить малых и больших, но всегда старых поэтов:

Перед закатом набежало
Над лесом облако — и вдруг
На взгорье радуга упала,
И засверкало все вокруг.

Едва лишь добежим до чащи —
Все стихнет... О, росистый куст!
О, взор, счастливый и блестящий,
И холодок покорных уст!

Дата под стихотворением (1902) доказывает, что написано оно в пору, когда период подражания для Бунина давно прошел. Однако общее настроение, картина летнего дождя, как она выписана, обилие восклицаний (эти знакомые «о») — все заставляет вспомнить: Фет. Но, однако, в сравнении с Фетом Бунин выглядит строже. Фетовский импрессионизм, раздвинувший пределы поэтической выразительности и вместе с тем уже содержащий в себе черты, подхваченные затем модернизмом, Бунину чужд так же, как чужда ему и смелая фетовская реализация метафор.

Приверженность к прочным классическим традициям уберегла стихи Бунина от модных болезней времени и одновременно сократила приток в его поэзию впечатлений живой повседневности. В своих стихах поэт воскресил, говоря словами Пушкина, «прелесть нагой простоты». На месте зыбких впечатлений и декоративных пейзажей символистов, на месте «прозрачных киосков», «замерзших сказок», «куртин красоты» — точные лаконичные скизы, но в пределах уже великолепно разработанной системы стиха. В них нет брюсовского произвола в создании фантастических миров, но нет и мощных бронзовых строф, дыхания городской улицы, которое принес Брюсов в поэзию, предваряя Маяковского. В них нет эмоционального соллипсиума молодого Блока, но нет и кровотокающей правды, которая заставляет героя немедленно, сейчас же разрешить неустроенность жизни, а пережив неудачу — разрыдаться, облить стих слезами и гневом. Блок перерос символизм, и это было связано со вступлением поэта в родственное и скорбное царство реальности. Бунин ограничил себя какой-то одной стороной реального под бесстрастным девизом:

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного...

Правда, у Бунина оставалась подвластная ему область — мир природы. В этой области Бунин сразу достиг успеха и затем лишь укреплял и очищал свой метод.

Образ природы, родины, России складывается в стихах исподволь, незаметно. Он подготовлен уже пейзажной лирикой, где крепкой закваской явились впечатления от родной Орловщины,

Подстепья, среднерусской природы. Разумеется, они были лишь родником, давшим начало большой реке, но родником сильным и чистым. И в отдельных стихотворениях поэт резко и мужественно говорит о родной стране, нищей, голодной, любимой («Родине», «В стороне далекой от родного края...», «Родина» и т. д.). Осень, зима, весна, лето — в бесконечном круговороте времени, в радостном обновлении природы черпает Бунин краски для своих стихов. Его пейзажи обретают удивительную конкретность, растения, птицы — точность обозначений. Иногда эта точность даже мешает поэзии:

В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,

Серебрится ячмень колосистый,
Зеленеют привольно овсы...

(«На проселке»)

Бунин оставался в основном во власти «старой» образной системы и ритмики. Ему приходилось поэтому внешне банальными средствами добиваться небанального. Поэт вскрывает неизведанные возможности, заложенные в традиционном стихе. Не в ритмике, нет, — чаще всего это чистый пяти- или шестистопный ямб. И не в рифме — «взор» — «костер», «ненастье» — «счастье», «бурь» — «лазурь» и т. д.; она банальна, как у Д. М. Ратгауза. Но Бунин уверенно выбирает такие сочетания слов, которые, при всей своей простоте, порождают у читателя волну ответных ассоциаций. «Леса на дальних косогорах, как желто-красный лисий мех»; звезд узор живой»; «седое небо»; вода морская «точно ртутью налита». Составные части всех этих образов так тесно тяготеют друг к другу, словно они существовали вместе извечно. Осенние степи, конечно, «нагие»; дыни — «бронзовые»; цветник морозом «сожжен»; шум моря — «атласный». Только бесконечно чувствуя живую связь с природой, поэту удалось избежать эпитонства, идя бороздой, по которой шли Полонский, А. К. Толстой, Фет.

В противовес беззаботному отношению к природе поэтов народнического толка или демонстративному отъединению от нее декадентов, Бунин с сугубой дотошностью, реалистически точно воспроизводит ее мир. Всякая поэтическая условность, переступающая границы реально-возможного, воспринимается им как недопустимая вольность, безотносительно к жанру. Вспомним слова Юлия Бунина о брате: «Все абстрактное его ум не воспринимал». И не только абстрактное в смысле — логическое, противоположное образному, но и «абстрактное», то есть лишенное внешнего правдоподобия, условно-романтическое. Он чувствует кровную связь с природой, с жизнью каждой ее твари (будь то олень, уходящий от преследования охотников, — «Густой, зеленый ельник у дороги...».

или «седой орленок», который «шипит, как василиск», завидев диск солнца. — «Обрыв Яйлы. Как руки фурий...»). И, скажем, герой маленькой бунинской поэмы «Листопад», в первом издании посвященной М. Горькому, «просто лес», его отдельное, красочное и многоликое бытие...

Если на рубеже века для бунинской поэзии наиболее характерна пейзажная лирика в ясных традициях Фета и А. К. Толстого, то в пору первой русской революции и последовавшей затем общественной реакции Бунин все больше обращается к лирике философской, продолжающей тютчевскую проблематику. Личность поэта необычайно расширяется, обретает способность самых причудливых перевоплощений, находит элемент «всечеловеческого» (о чем говорил, применительно к Пушкину, в своей известной речи Достоевский):

Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.

(«Собака», 1909)

Жизнь для Бунина — путешествие в воспоминаниях, причем не только личностных, но и воспоминаниях рода, класса, человечества. Поверхностный атеизм («Каменная баба», 1903—1906; «Мистику», 1905) сменяется пантеистическим восприятием мира и своего рода метафизическим исследованием глубинных основ нации. Бунин стремится прочесть и разгадать сокровенные законы нации, которые, по его мнению, незыблемы, вечны. Не случайно именно в 1910-е годы в его поэзию особенно широко вторгается стихия крестьянского фольклора, устной народной литературы. Легенды, предания, притчи, сказания, частушки, лирические сельские песни, «страдания», прибаутки и присказки — россыпи мудрости народной — заполняют страницы рассказов и повестей, преобразованные, становятся стихами («Два голоса», «Святогор», «Мачеха», «Отрава», «Невеста», «Святогор и Илья», «Князь Всеслав», «Мне вечер, молодой...», «Аленушка» и т. д.). Нетрудно подметить, что Бунин порою стремится реставрировать и идеализировать «дотатарскую», старую Русь.

Он отправляется также к истокам исчезнувших цивилизаций, воскрешает образы древнего Востока, античной Греции, раннего христианства. В своих лучших «исторических» стихах он с пушкинской отзывчивостью стремится проникнуть в самую сердцевину чужой культуры, передать индивидуальный облик далекой эпохи. Стихи «Эсхил», «Самсон», «Ормузд», «Сон» (из книги пророка Даниила), «Черный камень Каабы», «Тезей», «Магомет в изгнании», «Иерихон» и т. д., равно как и великолепно воссозданная лонгфелловская «Гайавата», заставляют еще раз вспомнить слова

Достоевского о Пушкине, обладавшем редкостным свойством «перевоплощаться вполне в чужую национальность». Бунин не создает иллюстрацию к Корану или халдейскому мифу, «вечное», архаичное и современное нерасторжимы для него. Иногда это «настоящее в прошлом» обнажено в сентенцию, как, например, в стихотворении 1916 года «Кадильница». Образ продолжается в прямой заповеди писателю, творцу, напоминанием о его высоком призвании («Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней. До черноты сгори»). Энергичное напоминание о проповедническом страстном долге художника кажется неожиданным в устах Бунина, но оно просто указывает еще раз на ложность представления о Бунине как писателе «холодном». Он лишь стремился всегда сохранить между собой и читателем известную дистанцию, страшась оказаться «накоротке» с ним. Горделивость бунинской натуры вовсе не исключала ее страстности, создавая, однако, своего рода защитный покров: это как бы пылающий факел в ледяном панцире.

Философская лирика теснит пейзажную, проникает в нее и ее преобразует. Непременная принадлежность бунинских пейзажей — кладбище, погосты, могилы, напоминающие об исчезновении древнего рода и неизбежности собственной смерти («Ограда, крест, зеленая могила...», «Растет, растет могильная трава...», «Настанет день — исчезну я...», «Могильная плита» (или просто «Смерть»). Поэт стремится заглянуть за пределы человеческой очевидности, переступить черту, которую сторожит «незрячий взор» смерти. Ее карающая десница не щадит никого («Был воин, вождь, но имя смерть украла и унеслась на черном скакуне...»), ее загадка мучит воображение поэта.

Выход из пессимизма, по Бунину, — в слиянности с природой, в возвращении к ней и обновлении жизни. Ощущение всеобщности жизни, ее вечного круговорота «в мириадах незримых существ» продолжает в стихах Бунина 1910-х годов космическую, тютчевскую традицию. Земная жизнь, бытие природы и человека воспринимается поэтом как часть великой мистерии, грандиозного «действия», разбуртывающегося в просторах вселенной:

И меркнет тень, и двинулась луна,
В свой бледный свет, как в дым, погружена,
И кажется, вот-вот и я пойму
Незримое — идущее в дыму
От тех земель, от тех предвечных стран,
Где гробовой чернеет океан...
Где, наступив на ледяную Ось,
Прсыпавше звезд восстал Великий Лось —
И отражают бледные снега
Стоцветные горящие рога.

(«Ночь зимняя мутна и холодна...», 1912)

В этой мраморной поступи неоклассика слышен призыв к людям нового века следовать за ним — ощущать ход вечности и растворяться в ней. Взгляд поэта обретает вселенскую, «падзвездную» масштабность, где человек — лишь малое дитя бесконечного мира. Космическая иерархия, по Бунину, неподвижна и вечна, и отдельный человек обречен на одиночество и непонимание. От юношеских опытов, прлмолинейно подражавших Тютчеву («Зачем и о чем говорить...» — сколок знаменитого «Silentium!»), Бунин приходит к близким Тютчеву философским обобщениям.

Исчезает мечтательность поэта, ощущение одиночества растет и даже эстетизируется: «Один встречаю я дни радостной недели...», «Если б только можно было одного себя любить...», «Как хороша, как одинока жизнь!» («В пустынной вышине...») или положенное на музыку С. В. Рахманиновым «Как светла, как нарядна весна!..» (романс «Я опять одинок»). В многоэтажном здании природы, в последовательной подчиненности ее явлений человек, как полагает Бунин, занимает одну из последних ступеней и способен расширить слабые свои пределы лишь за счет опыта всех предшествующих поколений. Преодоление одиночества и страха смерти возможно, таким образом, при достижении вневременного пантеистического мирозерцания: «Я говорю себе, почуяв темный след того, что пращур мой воспринял в древнем детстве: «Нет в мире разных душ и времени в нем нет!» («В горах», 1916). Но бунинский пантеизм, при всей его кажущейся широте, всеохватности, действительно ограничен жесткими «личностными» и классовыми рамками. Опять-таки это связано с давлением дворянских симпатий, вынуждающих Бунина беспрерывно совершать «путешествия в прошлое», скорбеть о старине, чувствовать, что «мертвые не умерли для нас» («Призраки»). Правда, есть еще одна, абсолютная сила, способная противостоять смерти, и имя ей — красота.

Красота «мир стремится вперед», она порождает любовь-страсть, совершающую прорыв в одиночестве и одновременно приближающую роковые силы смерти. В конечном счете, любовь не спасает от одиночества. Исчерпав «земные» возможности, она ввергает героя в состояние спокойного отчаяния. Этим настроением сдержанного трагизма проникнуто едва ли не самое известное стихотворение Бунина «Одиночество» («И ветер, и дождик, и мгла...»). Осенний «бунинский» пейзаж, нестерпимая (против которой одно лекарство — время) боль по ушедшей женщине — в стихотворении «Одиночество» уже заложен художественный поиск в «темные аллеи» человеческой страсти, который развернется в творчестве 1910-х годов и результатом чего явятся такие шедевры, как «Сны Чанга» и «Легкое дыхание». Сила же-

лания счастья и в то же время осознание его невозможности выражены в нарочито спокойной концовке:

Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

Там, где поэту прошедшего, XIX столетия или его робкому подражателю надобно было произнести взволнованный монолог, Бунин сжимает содержание до двух строчек. Этот лаконизм — достояние литературы уже нового, XX века, когда смятенность человеческих чувств передается «посторонней фразой». Надо сказать, что именно в интимной лирике отчетливо видно отличие Бунина от «чистых» дворянских поэтов. Это отличие проявляется и в облике лирического героя, далекого от прекраснотуши и восторженности, избегающего красоты, фразы, поэмы. Заметно оно и в той здоровой чувственности, которая окрашивает бунинские стихи. В любовной лирике Фета главное — гамма возвышенных переживаний, красивое чувство, изображая которое поэт совершенно растворяет образ любимой, колеблет его, как колеблет отражение бегущий ручей. Облик женщины поэтичен и бесплотен. Совсем иное — чувственное, бунинское:

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала, — луна сияла
В ее окно, — и одеяла
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, —
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

Любовная лирика Бунина невелика количественно. Но именно в ней предвосхищаются многие искания позднейшей поры. Женский характер, прямой и резкий, способный к действию, запечатленный в «Песне» («Я — простая девка на баштане...»), перекликается с образами рассказов «При дороге» и «Игнат». А известное стихотворение «Портрет» (1903) родственно написанному в 1916 году рассказу «Легкое дыхание». Бессмысленная гибель прелестной девочки с «ясным» взглядом и кокетливой прической и несовместимость ее «бессмертного» облика с «погребальным вздором» как бы предвещают позднейшие, более общие размышления в рассказе: «Этот венок, этот бугор, этот дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте...»

Любовная лирика Бунина, принадлежащая своим эмоциональным строем XX веку, трагедийна, в ней вызов и протест против

несовершенства мира в самых его основах, тяжба с природой и вечностью в требовании идеального чувства. Как и вся бунинская поэзия, его интимная лирика сохраняет классическую отточенность формы, являясь своего рода реакцией на символизм. В этом смысле Бунин можно сопоставить с его младшей современницей — Анной Ахматовой.

Поэзия Бунина обретает право на долгую жизнь благодаря многим, присущим только ей достоинствам. Певец русской природы, «вечных», «первородных» тем, мастер интимной и философской лирики, Бунин продолжает классические традиции, вскрывая неизведанные возможности «традиционного» стиха. В новых, изменившихся условиях он не просто повторяет достижения «золотого века» русской поэзии (Тютчева, Фета, Полонского), но активно развивает ее завоевания, нигде не отрываясь от национальной почвы, оставаясь поэтом, большим, самобытным, русским.

О. Михайлов



Первый сборник стихов Бунина — «Стихотворения 1887—1891» — вышел приложением к газете «Орловский вестник» в 1891 году. Затем появились небольшие книги рассказов и стихотворений: «Под открытым небом» (М., 1898), «Стихи и рассказы» (М., 1900), «Полевые цветы» (М., 1901).

В 1901 году был издан сборник «Листопад», встреченный одобрительными отзывами прессы и отмеченный Пушкинской премией Академии наук.

В последующие годы стихотворения Бунина издавались часто. Издательством «Знание» были выпущены три сборника: «Стихотворения», (СПб., 1903), «Стихотворения 1903—1906 гг.» (СПб., 1906), «Стихотворения 1907 года» (СПб., 1908). Они составили отдельные (ненумерованные) книги пятитомного Собрания сочинений. Том шестой — «Стихотворения и рассказы 1907—1909» (СПб., 1910), появился в издательстве «Общественная польза».

В 1915 году приложением к журналу «Нива» вышло шеститомное Полное собрание сочинений И. А. Бунина. Для того времени это издание было итоговым.

После «нивского» издания Бунин печатал стихотворения в сборниках: «Чаша жизни» (М., 1915), «Господин из Сан-Франциско» (М., 1916) и «Храм Солнца» (Пг., 1917). В 1918 году он выпустил единственный — десятый — том собрания сочинений в издательстве «Парус», в который, кроме рассказов, вошли и стихотворения.

В годы эмиграции Бунин зачастую перерабатывал стихотворения, написанные в дореволюционные годы, публикуя их в периодике и включая в сборники: «Начальная любовь» (Прага, 1921), «Чаша жизни» (Париж, 1922), «Роза Иерихона» (Берлин, 1924), «Митина любовь» (Париж, 1925), «Избранные стихи» (Париж, 1929).

Для одиннадцатитомного Собрания сочинений (Берлин, изд-во «Петрополис», 1934—1936) Бунин строго отобрал стихотворения. Он настойчиво подчеркивал, что текст издания 1934—1936 годов является последней редакцией его произведений, и просил «читателей, критиков и переводчиков пользоваться только этим текстом» (Бунин, От автора). Но в последние годы жизни он вновь правил стихотворения, вошедшие в берлинское издание и в книгу «Избранные стихи» (Париж, 1929).

На томах Собрания сочинений издательства «Петрополис» Бунин делал такого рода надписи: «Исправлено мною для нового издания в июне 1953 г. Ив. Б.» (том 6). Исправления других томов датированы мартом 1951-го (8-й), апрелем (4-й и 5-й), июлем (1-й) и 20 октября (2-й) 1953 года.

«Избранные стихи» Бунин просматривал в это же время. В. Н. Муромцева-Бунина писала мне из Парижа 5 января 1959 года:

«Я послала вам к Новому году книгу «Избранные стихи»... В нее я внесла все поправки, изменения, сделанные Иваном Алексеевичем месяца за три до смерти».

Таким образом, берлинское Собрание сочинений и «Избранные стихи», оба издания с поправками автора, — параллельно существующие тексты, но не всегда совпадающие между собой.

Авторская правка в «Избранных стихах» была учтена частично по экземпляру, присланному В. Н. Муромцевой-Буниной, в Собрании сочинений в девяти томах, в «Литературном наследстве» (т. 84, кн. 1) и в Сочинениях в трех томах (т. 1. М., 1982).

Для настоящего издания эта правка была изучена заново и дополнительно произведено уточнение текстов.

Но было бы ошибкой не соотнести эти поправки с исправлениями Бунина в экземплярах издательства «Петрополис».

При переиздании Бунин тщательно отбирал свои произведения. Он писал в 1946 году: «Сколько ужасны... первые книги издания Маркса, безжалостно требовавшего от покупаемого им автора введения в его издание всего того ничтожного, что называется произведениями «юношескими»...» (Исторический архив, 1962, № 2, с. 163). И все же Бунин колебался, отбирая произведения для будущих изданий, стилистически исправляя первые тома «ливского» издания, столь сурово им оцененные. Внимательно просмотрев первый том этого издания, он сократил или зачеркнул некоторые стихи, написал на книге: «16 декабря 1952 г. Париж. Зачеркнутое не вводить в будущее собрание моих сочинений, даже самое полное. Ив. Б.» (хранится в ИМЛИ).

Окончательный отбор стихотворений, сделанный автором для будущих изданий, неизвестен, так как недоступны материалы

парижского архива. Поэтому не представляется возможным исключить из нашего издания стихи, зачеркнутые в указанном выше тексте. К тому же отношение Бунина к своим ранним произведениям было сложным, и его нельзя свести только к отрицанию их значения.

Стихотворения, входившие в Собрание сочинений «Петрополиса», печатаются по текстам соответствующих томов этого издания, с рукописными поправками И. А. Бунина (хранятся в ГБЛ). Этот источник текста в комментарии не оговаривается. Большинство стихотворений, не входящих в издание «Петрополис», печатается по «нивскому» изданию, с рукописной правкой Бунина (хранится в ИМЛИ). Во всех остальных случаях указываются источники текста.

Исправления Бунина на другом экземпляре первого тома «нивского» издания (хранится в ЦГАЛИ) не датированы и, по-видимому, являются незавершенной, черновой работой. Из этого экземпляра учитываются только рукописные исправления в датах стихотворений.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке. Многие стихотворения, точное время написания которых не установлено, помещены в пределах хронологических границ, указанных автором в прижизненных изданиях. Некоторые стихотворения, не имеющие даты, датируются по первой публикации или по автографам. В книге «Начальная любовь» Бунин исправил даты написания ряда стихотворений. Эти изменения учтены в настоящем издании. Для уточнения датировок использованы также воспоминания В. Н. Муромцевой-Буниной «Беседы с памятью» (см. ЛН, кн. 2).

В примечаниях указывается первая, журнальная или газетная, публикация стихотворения, публикация в сборниках. В тех случаях, когда установить первую публикацию не удалось из-за неразработанности библиографии Бунина, указывается первое книжное издание.

После того, как были изданы Собрание сочинений в девяти томах (М., Художественная литература, 1965—1967) и 84-й том «Литературного наследства», ЦГАЛИ были получены из парижского архива Бунина автографы его стихотворений, над которыми он работал последние годы. Это — «Парижская тетрадь 1943 года», упоминаемая в «Литературном наследстве». В. Н. Муромцева-Бунина написала на первом (отдельном) листе: «Стихи, проредактированные Иваном Алексеевичем 1952 года для «посмертного издания». Изучение этих автографов позволило исправить неточности и ошибки в текстах и датах стихов, помещенных в Собрании сочинений в девяти томах (главным образом — в 8-м томе) и в «Литературном наследстве».

В настоящем издании уточнены и первые публикации некоторых стихотворений.

В данный том не пошла — ввиду его большого объема — часть ранних стихотворений из напечатанных в издании Маркса 1915 года и не помещенных Буниным в Собрании сочинений 1934—1936 гг.

В разделе: «Стихотворения, не включенные И. А. Буниным в собрание сочинений», — печатаются зачеркнутые им в издании Маркса стихи при отборе для будущих изданий и некоторые из тех, которые не вошли в прижизненные собрания сочинений.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Бунин — Б у н и н И. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М., Художественная литература, 1965—1967.

«Весной, в Иудее» — Б у н и н И. А. Весной, в Иудее. — Роза Иерихона. Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 1953.

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

«Господин из Сан-Франциско», 1916 — Б у н и н И. А. Господин из Сан-Франциско. Произведения 1915—1916 гг. Книгоиздательство писателей в Москве, 1916.

«Господин из Сан-Франциско», 1920 — Б у н и н И. А. Господин из Сан-Франциско. Париж, 1920.

«Жизнь Бунина» — М у р о м ц е в а - Б у н и н а В. Н. Жизнь Бунина. Париж, 1958.

«Знание» — Сборники товарищества «Знание».

«Избранные стихи», 1929 — Б у н и н И. А. Избранные стихи. Париж, изд-во «Современные записки», 1929.

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. М. Горького АН СССР.

«Иоанн Рыдалец», 1913 — Б у н и н И. А. Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912—1913 гг. Книгоиздательство писателей в Москве, 1913.

«Листопад», 1901 — Б у н и н И. А. Листопад. Стихотворения. М., изд. «Скорпион», 1901.

ЛН — Литературное наследство, т. 84, в двух книгах. Иван Бунин. М., Наука, 1973.

«Митина любовь», 1925 — Б у н и н И. А. Митина любовь. Париж, 1925.

«Начальная любовь», 1921 — Б у н и н И. А. Начальная любовь. Прага, Славянское издательство, 1921.

«Новые стихотворения», 1902 — Б у н и н И. А. Новые стихотворения. М., 1902.

«Под открытым небом», 1898 — Б у н и н И в. А. Под открытым небом. Стихотворения. М., изд-во «Детское чтение», 1898.

«Полевые цветы», 1901 — Б у н и н И в. А. Полевые цветы. Сборник стихотворений и рассказов для юношества. М., 1901.

Полное собрание сочинений — Б у н и н И. А. Полн. собр. соч., т. 1—6. Пг., изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1915 (приложение к журналу «Нива»).

«Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912 — Б у н и н И в. Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг., изд. 2-е, доп. Московское книгоиздательство, 1912.

«Роза Иерихона», 1924 — Б у н и н И в а н. Роза Иерихона. Берлин, 1924.

Собрание сочинений — Б у н и н И. А. Собрание сочинений, т. 1—XI. Берлин, изд-во «Петрополис», 1934—1936.

«Стихотворения», 1903 — Б у н и н И в. Стихотворения. СПб., издание товарищества «Знание», 1903 (Собрание сочинений, т. 2).

«Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891 — Б у н и н И. А. Стихотворения 1887—1891 гг. Орел, 1891.

«Стихотворения 1903—1906», 1906 — Б у н и н И в а н. Стихотворения 1903—1906 гг. СПб., издание товарищества «Знание», 1906 (Собрание сочинений, т. 3).

«Стихотворения 1907 г.», 1908 — Б у н и н И в а н. Стихотворения 1907 г. СПб., издание товарищества «Знание», 1908 (Собрание сочинений, т. 4).

«Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910 — Б у н и н И. А. Стихотворения и рассказы 1907—1909. СПб., книгоиздательство «Общественная польза», 1910 (Собрание сочинений, т. 6).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1888—1899

«В полночь выхожу один из дома...» (стр. 45). — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября, вместе со стихотворениями: «Пустыня, грусть в степных просторах...», «Как все вокруг сурово, снежно...», «Под орган душа тоскует...», «На поднебесном утесе, где бури...», «Седое небо надо мной...», «В туче, солнце заступающей...», «Беру твою руку и долго

смотрю на нее...», «При свете звезд померкших глаз сиянье...», «Я к ней вошел в полночный час...», «Что в том, что где-то, на далеком...», «Тут покоится хан, покоривший несметные страны...» — с примечанием: «Никогда не были в печати».

«Пустыня, грусть в степных просторах...» (стр. 45). — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Как все вокруг сурово, снежно...» (стр. 46). — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Под орган душа тоскует...» (стр. 46). — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«На поднебесном утесе, где бури...» (стр. 47). — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

Цыганка (стр. 47). — *Собрание сочинений*, т. I.

«Не видно птиц. Покорно чахнет...» (стр. 47). — Журн. «Мир божий», СПб., 1898, № 10, октябрь.

Стихотворение восхитило Л. Н. Толстого. Горький писал в воспоминаниях «Лев Толстой»: «Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки — настоящие мокроступы, — повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез».

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...

Очень хорошо, очень верно! (Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 14, М., 1951, с. 293).

«Седое небо над мной...» (стр. 48). — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Один встречаю я дни радостной недели...» (стр. 48). — «Листопад», 1901.

«Как дымкой даль полей закрыв на полчас...» (стр. 49). — Журн. «Наблюдатель», СПб., 1891, № 6, июнь, под заглавием «В лесу». Печатается по книге «Начальная любовь», 1921.

В степи (стр. 49). — Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 853, 3 июля, без посвящения Н. Д. Телешову, с пометой «Из книги «Памяти Белинского». Н. Д. Телешов (1867—1957) — писатель, друг Бунина.

В костеле (стр. 51). — Журн. «Нива», СПб., 1896, № 8, 24 февраля. Написано под впечатлением поездки в Смоленск, Витебск и Полоцк. В Витебске Бунин поразила костел: «Вернувшись,

он написал стихи под заглавием «Костел» и был долго под впечатлением повитического посещения католического храма» («Жизнь Бунина», с. 63). О костеле в Витебске, где он слушал орган и пение хора, Бунин вспоминает в романе «Жизнь Арсеньева», кн. 5, гл. XVI (см. т. 5 наст. изд.).

Подражание Пушкину (стр. 52). — Полное собрание сочинений, т. 1.

«В туче, солнце заступающей...» (стр. 53). — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Ту звезду, что качалась в темной воде...» (стр. 53). — Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Былое». Стихотворение в чтении автора произвело большое впечатление на Горького во время их встречи на Капри в 1909 г. (ЛН, кн. 2, с. 212).

«Бушует полая вода...» (стр. 53). — Журн. «Вестник Европы», СПб., 1893, № 7, июль.

Соловьи (стр. 54). — Журн. «Вестник Европы», СПб., 1893, № 7, июль, без заглавия.

«Гаснет вечер, даль синее...» (стр. 55). — «Под открытым небом», 1898.

«Еще от дома на дворе...» (стр. 56). — Журн. «Вестник Европы», СПб., 1893, № 7, июль.

«В стороне далекой от родного края...» (стр. 56). — Журн. «Русское богатство», СПб., 1900, № 12, декабрь.

«За рекой луга зазеленели...» (стр. 57). — Журн. «Север», СПб., 1898, № 19, 10 мая.

В поезде (стр. 57). — «Под открытым небом», 1898. О сборнике «Под открытым небом» Горький писал Бунину: «Получил вашу книжку. Сердечное спасибо!.. Хорошие стихи, ей-богу! Свежие, звучные, в них есть что-то детски-чистое и есть огромное чутье природы...» — и дальше, процитировав стихотворение «В поезде», замечал: «Миленький мой, это и есть самая чистая поэзия» (Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28. М., 1954, с. 68).

«Ночь идет — и темнеет...» (стр. 58). — Бунин Ив. Стихи и рассказы, М., 1900, под заглавием «Ночь».

«...И снилось мне, что осенней порой...» (стр. 59). — Журн. «Вестник Европы», СПб., 1894, № 6, июнь.

Мать (стр. 59). — Журн. «Мир божий», СПб., 1898, № 1, январь. Стихи о матери — Людмиле Александровне Буниной (1834—1910). В начале 1890-х годов родители И. А. Бунина окончательно разорились, им пришлось жить у родственников. «Сильно страдая за мать, чувствуя, как ей тяжело жить не у себя, чтобы хоть немного порадовать ее, он написал стихи «Мать» и послал ей» («Жизнь Бунина», с. 84).

К о в ы л ь (стр. 60).— Журн. «Труд», СПб., 1895, № 5, май, под заглавием «В южных степях». Эпиграф — из «Слова о полку Игореве». Вежи — палатки, кочевые шатры.

«Могилы, ветряки, дороги и курганы...» (стр. 61).— «Журнал для всех», СПб., 1900, № 12, декабрь, под заглавием «Степная ночь».

«Неуловимый свет разлился над землею...» (стр. 62).— Журн. «Вестник Европы», СПб., 1894, № 6, июнь.

«Если б только можно было...» (стр. 62).— Журн. «Север», СПб., 1898, № 27, 5 июля.

«Нагая степь пустыней вее т...» (стр. 63).— «Листопад», 1901.

«Что в том, что где-то, на далеком...» (стр. 63).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 355, 23 мая, вместе со стихами: «Звезда, воспламеняющая твердь...», «Поздно, склонилась луна...» и «В окошко из темной каюты...» — под общим заглавием «Старая тетрадь».

К о с т е р (стр. 64).— Журн. «Труд», СПб., 1895, № 11, ноябрь, под заглавием «В осеннем лесу».

«Когда на темный город сходит...» (стр. 64).— Журн. «Мир божий», СПб., 1898, № 2, февраль, под заглавием «Ночная выюга».

«Ночь наступила, день угас...» (стр. 65).— Журн. «Мир божий», СПб., 1897, № 12, декабрь.

На проселке (стр. 65).— «Под открытым небом», 1898.

«Долог был во мраке ночи...» (стр. 66).— Журн. «Нива», СПб., 1896, № 19, 11 мая, под заглавием «В море».

«Поздний час. Корабль и тих и темен...» (стр. 67).— Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 972, 7 ноября.

Метель (стр. 67).— Бунин Ив. Стихи и рассказы. М., 1900.

«В окошко из темной каюты...» (стр. 68).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 355, 23 мая.

Р о д и н а (стр. 69).— Журн. «Русское богатство», СПб., 1898, № 4, апрель, под заглавием «На севере».

«Ночь и даль седа я...» (стр. 69).— «Под открытым небом», 1898, под заглавием «Звезды».

«Христос воскрес! Опять с зарею...» (стр. 70).— «Под открытым небом», 1898.

На Днепре (стр. 70).— Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь. В журн. «Жизнь» вошло в цикл «Акварели», составленный из стихотворений: «Все лес и лес. А день темнеет...», «На Днепре», «После половодья», «Не угас еще вдали закат...», «В отъезжем поле», «Закат», «Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...».

Кипарисы (стр. 71).— Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 707, 24 января.

«Вьется путь в снегах, в степи широкой...» (стр. 71).— Журн. «Русское богатство», СПб., 1900, № 11, ноябрь, под заглавием «Зимний день».

«Отчего ты печально, вечернее небо?...» (стр. 72).— Журн. «Мир божий», СПб., 1900, № 8, август, под заглавием «В море».

Северное море (стр. 72).— «Под открытым небом», 1898.

На хуторе (стр. 73).— «Журнал для всех», СПб., 1899, № 1, январь. Стихотворение об отце Бунина — Алексее Николаевиче. Человек, удивительный «талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума», Алексей Николаевич пел под гитару старинные русские песни; «...пел он музыкально, подняв брови, чаще с печальным видом, и производил большое впечатление,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина.— В своих стихах «На хуторе», написанных в 1897 году, Бунин дает картину этого вечера... Больше всего Ваня любил песню на два голоса, которую его отец пел один или с кем-нибудь... Вот как он сам о ней записал:

«Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей романтической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с печальной удалью, меняя лицо соответственно тем двум, что участвовали в песне, один спрашивал, другой отвечал: «Что ты замолк и сидишь одиноко...» («Жизнь Бунина», с. 33).

«Скачет пристяжная, снегом обдаёт...» (стр. 73).— Газ. «Жизнь и искусство», Киев, 1898, № 329, 28 ноября.

«Беру твою руку и долго смотрю на нее...» (стр. 74).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Поздно, склонилась луна...» (стр. 74).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 355, 23 мая.

«Я к ней вошел в полночный час...» (стр. 75).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«При свете звезд померкших глаз сиянье...» (стр. 75).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

На дальнем севере (стр. 76).— Журн. «Мир божий», СПб., 1900, № 11, ноябрь, без заглавия.

Плеяды (стр. 76).— Журн. «Мир божий», СПб., 1898, № 10, октябрь, без заглавия.

«И вот опять уж по зарям...» (стр. 77).— Журн. «Мир божий», СПб., 1898, № 10, октябрь.

«Листья падают в саду...» (стр. 77).— Полное собрание сочинений, т. 1.

«Таинственно шумит лесная тишина...» (стр. 78). — Журн. «Книжки Недели», СПб., 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Осень».

«В пустынной вышине...» (стр. 79). — Газ. «Курьер», М., 1900, № 356, 24 декабря.

«Все лес и лес. А день темнеет...» (стр. 79). — Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Из сказки».

«Как светла, как нарядна весна!..» (стр. 80). — «Журнал для всех», СПб., 1900, № 12, декабрь. На эти стихи С. В. Рахманинов написал романс.

«Нынче ночью кто-то долго пел...» (стр. 80). — «Журнал для всех», СПб., 1900, № 12, декабрь.

«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи...» (стр. 81). — «Журнал для всех», СПб., 1900, № 11, ноябрь, под заглавием «Осенняя ночь».

1900—1902

«Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес...» (стр. 82). — «Избранные стихи», 1929. Антарес — звезда из созвездия Скорпиона. Валдайское серебро — знаменитые ямские колокольчики города Валдая Новгородской губернии.

«Затрепетали звезды в небе...» (стр. 82). — «Журнал для всех», СПб., 1901, № 5, май, под заглавием «Весенний вечер».

«Нет солнца, но светлы пруды...» (стр. 83). — «Полные цветы», 1901, под заглавием «На Троицу». В сб. «Стихотворения» (1903) — под заглавием «Счастье» и с посвящением художнику П. Нилусу.

Листопад (стр. 83). — Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 10, октябрь, с подзаголовком «Осенняя поэма» и с посвящением М. Горькому. Поэма написана летом 1900 г. в д. Огневка Тульской губ. Бунин придавал «Листопаду» большое значение. Он назвал по этой поэме сборник, вышедший в 1901 г., и неизменно вводил ее в свои собрания сочинений. Сб. «Листопад» вызвал многочисленные отзывы критики. В те годы реалистическая поэзия Бунина резко выделялась на фоне декадентских произведений, на что обратили внимание рецензенты. К. И. Чуковский отметил, что в стихах Бунина привлекает характерное для пушкинской поэзии «душевное равновесие, простота, ясность и здоровье — какие все это редкие вещи по нынешним временам!» (Одесские новости, 1903, № 5899, 26 февраля). А. Блок в статье «О лирике» писал: «Цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина настолько ценны и единственны в своем роде, что мы должны с его первой книги

и первого стихотворения «Листопад» признать его право на одно из главных мест среди современной русской поэзии» (Б л о к А. Собр. соч., т. 5. М.— Л., 1962, с. 141). А. И. Эртель писал Бунину 17 марта 1901 г. о сб. «Листопад»: «Люблю ваши стихи, простые, без нынешних выкрутас и сверхъестественных напряжений фантазии и языка. От ваших стихов на меня почти всегда веет свежестью и простотою нашей милой природы» (Русская литература, 1961, № 4, с. 151). С особенным интересом относился к стихотворениям Бунина А. И. Куприн. О «Листопаде» он отзывался как о талантливой книге, в которой Бунин «с редкой художественной тонкостью умеет своеобразными, ему одному свойственными приемами передать свое настроение» (Русская литература, 1963, № 2, с. 177). Горький, получив сб. «Листопад», в письме к Брюсову назвал Бунина «первым поэтом наших дней» (Г о р ь к и й М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28. М., 1954, с. 152).

На распутье (стр. 87).— Журн. «Книжки Недели», СПб., 1900, № 10, октябрь. Стихотворение написано под впечатлением картины «Витязь на распутье» художника В. М. Васнецова, которому оно было посвящено в сб. «Листопад». Стихотворение было положено на музыку А. Гречаниновым.

В и р ь (стр. 88). — журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь.

В отъезде поле (стр. 89).— Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь. В сб. «Листопад» печаталось с посвящением В. Я. Брюсову.

После половодья (стр. 90).— Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь.

«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...» (стр. 90).— Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «В мае».

«Не угас еще вдали закат...» (стр. 90).—Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Молодой месяц»

«Когда деревья в светлый майский день...» (стр. 91). — Газ. «Курьер», М., 1901, № 18, 18 января.

«Лес шумит невятным, ровным шумом...» (стр. 91).— Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 12, декабрь, под заглавием «Глушь».

«Еще утро не скоро, не скоро...» (стр. 92).— Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 12, декабрь, под заглавием «Перед зарею». Печатается по книге «Начальная любовь», 1921.

По вечерней заре (стр. 92). — Журн. «Мир божий», СПб., 1900, № 8, август.

«Ночь печальна, как мечты мои...» (стр. 93). —

«Журнал для всех», СПб., 1900, № 8, август. На стихи написаны романсы С. В. Рахманиновым и Р. М. Глиэром.

Рассвет (стр. 93). — Журн. «Мир божий», СПб., 1900, № 8, под заглавием «Утро».

Родник (стр. 93). — «Полевые цветы», 1901. Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921.

Учан-Су (стр. 94). — Журн. «Мир божий», СПб., 1900, № 8, август. Учан-Су — водопад в Крыму, близ Ялты.

Эной (стр. 94). — Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 11, ноябрь.

Закат (стр. 95). — Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 9, сентябрь.

Сумерки (стр. 95). — Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 1, январь.

«На мертвый якорь кинули бакан...» (стр. 95). — Журн. «Жизнь», СПб., 1900, № 11, ноябрь, под заглавием «В бурю». Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921. Бакан — плавучий знак на якорю.

«К прибрежью моря длинная аллея...» (стр. 96). — Журн. «Мир божий», СПб., 1900, № 11, ноябрь. Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921.

«Открыты жнивьязолотые...» (стр. 97). — «Журнал для всех», СПб., 1901, № 1, январь.

«Был поздний час — и вдруг над темнотой...» (стр. 97). — Газ. «Курьер», М., 1901, № 207, 29 июля.

«Зеленый цвет морской воды...» (стр. 98). — Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «На рассвете».

«Раскрылось небо голубое...» (стр. 98). — Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 9, сентябрь.

«Зарницы лик, как сновиденье...» (стр. 99). — Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 8, август, под заглавием «Зарницы».

«На глазки синие, прелестные...» (стр. 99). — Газ. «Народное слово», М., 1918, № 20, 4 мая, под заглавием «Колыбельная». Стихотворение посвящено сыну Бунина Коле (1900—1905), родившемуся от брака с А. Н. Цакни (1879—1963). В. Н. Муромцева-Бунина пишет, что летом 1901 г., «будучи в деревне, Иван Алексеевич писал стихи, и среди них «На глазки синие, прелестные...». Это стихотворение, конечно, о сыне». По ее словам, у Бунина были еще стихи о сыне, «очень прозительные, но нигде не напечатанные. Раз он прочитал их мне» («Жизнь Бунина», с. 131, 159).

Ночь и день (стр. 100). — Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 12, декабрь.

«На высоте, на снеговой вершине...» (стр. 100).— Журн. «Русская мысль», М., 1902, № 2, февраль, под заглавием «В Альпах», с подзаголовком: «Сонет на льдине».

«Еще и холоден и сыр...» (стр. 100).— «Журнал для всех», СПб., 1902, № 1, январь, под заглавием «Оттепель».

«Высоко в просторе неба...» (стр. 101).— Журн. «Русская мысль», М., 1901, № 6, июнь.

«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!..» (стр. 102).— Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 6, июнь.

«Дымится поле, рассвет белеет...» (стр. 102).— Журн. «Русская мысль», М., 1901, № 8, август, под заглавием «С кургана».

«Гроза прошла над лесом стороною...» (стр. 103).— Журн. «Жизнь», СПб., 1901, № 1, январь.

В старом городе (стр. 103).— Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 7, июль.

«Отошли закаты на далекий север...» (стр. 104).— Газ. «Курьер», М., 1901, № 179, 1 июля.

«Облака, как призраки развалин...» (стр. 104).— Газ. «Курьер», М., 1901, № 179, 1 июля.

«Спокойный взор, подобный взору лани...» (стр. 104).— «Журнал для всех», СПб., 1901, № 6, июнь.

«За все тебя, господь, благодарю!..» (стр. 105).— Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 7, июль, под заглавием «На закате».

«Высоко наш флаг трепещет...» (стр. 105).— «Новые стихотворения», 1902, под заглавием «В море».

«Полями пахнет, — свежих трав...» (стр. 106).— «Новые стихотворения», 1902, под заглавием «Под тучей».

Из Апокалипсиса (стр. 106).— «Журнал для всех», СПб., 1902, № 3, март, под заглавием «Слава господу», с подзаголовком: «Апокалипсис, гл. IV».

«Не слышать еще тяжкого грома за лесом...» (стр. 108).— «Журнал для всех», СПб., 1901, № 7, июль, под заглавием «В июле».

«Любил он ночи темные в шатре...» (стр. 108).— Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 8, август, под заглавием «Курган».

«Это было глухое, тяжелое время...» (стр. 109).— Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 8, август, под заглавием «Сон-цветок».

«Моя печаль теперь спокойна...» (стр. 109).— Газ. «Курьер», М., 1901, № 270, 30 сентября. Сибилла — легендарная прорицательница, упоминаемая античными авторами.

«Звезды ночи осенней, холодные звезды!..» (стр. 109). — Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Осень».

«Шумели листья, облетая...» (стр. 110). — Газ. «Курьер», М., 1902, № 270, 30 сентября.

«Светло, как днем, и тень за нами бродит...» (стр. 110). — «Стихотворения», 1903.

«Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья...» (стр. 111). — «Журнал для всех», СПб., 1902, № 1, январь.

Отрывок (стр. 111). — Журн. «Мир божий», СПб., 1902, № 1, январь, под заглавием «Из дневника».

Эпиталама (стр. 112). — «Журнал для всех», СПб., 1901, № 9, сентябрь, с посвящением К. Д. Бальмонту.

«Морозное дыхание метели...» (стр. 112). — «Новые стихотворения», 1902.

На острове (стр. 113). — Литературно-художественный сборник «На трудовом пути». М., 1901.

«Не устану воспевать вас, звезды!..» (стр. 113). — Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Вечное».

«Перед закатом набежало...» (стр. 114). — Журн. «Мир божий», СПб., 1902, № 8, август, под заглавием «Первая любовь».

«Багряная печальная луна...» (стр. 114). — Журн. «Мир божий», СПб., 1902, № 10, октябрь, под заглавием «На окраинах Сиваша». Печатается по «Избранным стихам», 1929, с поправками Бунина.

Смерть (стр. 115). — Журн. «Мир божий», СПб., 1902, № 8, август.

Лесная дорога (стр. 115). — Журн. «Русская мысль», М., 1902, № 8, август.

«Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена...» (стр. 116). — Журн. «Мир божий», СПб., 1902, № 8, август, под заглавием «В море». Селена (д р. - греч.) — луна.

«Если б вы и сошлись, если б вы и смирили-с я...» (стр. 116). — Журн. «Мир божий», СПб., 1902, № 8, август. По свидетельству В. Н. Муромцевой-Бунинной, это стихотворение обращено к первой жене Бунина — А. Н. Цакки («Жизнь Бунина», с. 137).

«Крест в долине при дороге...» (стр. 117). — «Журнал для всех», СПб., 1902, № 9, сентябрь.

«Как все спокойно и как все открыто!..» (стр. 117). — «Журнал для всех», СПб., 1902, № 9, сентябрь, под заглавием «Осень».

Бродяги (стр. 118). — Журн. «Образование», СПб., 1902, № 10, октябрь.

Эпитафия (стр. 119). — Газ. «Курьер», М., 1902, № 144, 26 мая, под заглавием «На кладбище».

Зимний день в Оберланде (стр. 119). — Журн. «Русская мысль», М., 1902, № 10, октябрь.

В ноябре 1900 г. Бунин вместе с художником В. П. Куровским совершил путешествие по Швейцарии, в частности — к Оберланду и Зильбергорну. «Погода была солнечная, в долинах лето, на горах ясный, веселый зимний день январский, — писал Бунин брату Юлию Алексеевичу. — ... Долго шли зимою по лесу, обливаясь потом. Шли без остановки более четырех часов и пришли в Мюррен. Там мертвая зимняя горная тишина. Пустой отель опять... Куровский играл из Бетховена, и я почувствовал на мгновение все мертвое вечное величие снежных гор» (Новый мир, 1956, № 10, с. 208).

Кондор (стр. 120). — Журн. «Мир божий», СПб., 1902, № 9, сентябрь. Кондор — хищная птица, гриф.

«Широко меж вершин дубравы...» (стр. 120). — Сб. «Итоги», М., 1903, под заглавием «Полдень».

1903—1906

Северная береза (стр. 121). — Альманах «Факелы», кн. 1. СПб., 1906. Это и последующие шесть стихотворений печатаются по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений с правкой Бунина (ИМЛИ).

Портрет (стр. 121). — Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 5, май.

Мороз (стр. 122). — «Знание», кн. 9, СПб., 1906.

«Норд-остом жгут пылающие зори» (стр. 122). — Журн. «Северные записки», СПб., 1914, № 2, февраль, под заглавием «Норд-ост».

После битвы (стр. 123). — Журн. «Правда», М., 1905, № 9-10, сентябрь-октябрь.

«На окне, серебряном от инея...» (стр. 123). — «Знание», кн. 9, СПб., 1906, под заглавием «Хризантемы».

«В сумраке утра проносится призрак Одина...» (стр. 124). — Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб., 1908, под заглавием «Один». Один — в скандинавской мифологии — старший, высший бог. Подробнее о нем см. примеч. к с. 220. Лихлин — Скандинавия в так называемых «Оссиановых поэмах» Дж. Макферсона.

Жена Аанса (стр. 124). — Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 51, 20 октября.

Ковсерь (стр. 125).— «Знание», кн. 7, СПб., 1905, под заглавием «Мираж». Эпиграф — из Корана, 108:1. Ковсерь — в преданиях мусульман священный источник. Сакар — «огонь адский» (Коран, 74: 26, 27). Джиннат, по Корану — рай.

«Звезды горят над безлюдной землею...» (стр. 125).— «Знание», кн. 7, СПб., 1905, под заглавием «Джинны». Джинны («гении»), по Корану — фантастические существа, созданные из чистого (бездымного) огня, обладающие разумом. По своей природе джинны — существа между ангелами и людьми. Джинны связаны с Иблисом (сатаной), но некоторые из них уверовали в Магомета. По преданию, ангелы отгоняют их падающими звездами.

В стихах на темы из Корана Бунин продолжил традицию Пушкина, его «Подражаний Корану». Пушкин писал: «...многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 2. Л., Наука, 1977, с. 193).

Ночь Аль-Кафра (стр. 126).— Журн. «Пробуждение», СПб., 1906, № 7, 1 апреля, под заглавием «Млечная Река». Эпиграф — Коран 97: 4 — 5. Кафра — значит «неизменные постановления». В ночь Аль-Кафра — 23 или 24 числа месяца Рамадана по лунному календарю — согласно мусульманским верованиям, явился Магомету ангел Гавриил и передал слова Корана людям. «В эту ночь утверждаются и разрешаются дела вселенной на целый год» (Коран Магомета. Новый перевод, сделанный с арабского М. Казимирским... Перевод с французского А. Николаева. М., 1901. Бунин пользовался этим изданием, на что впервые указал В. Смирин: Бунин, т. 1, с. 248, 550).

«Далеко на севере Капелла...» (стр. 126).— «Знание», кн. 1, СПб., 1904, под заглавием «Дома».

«Проснулся я внезапно, без причины...» (стр. 126).— Журн. «Мир божий», СПб., 1905, № 10, октябрь.

«Старик у хаты веял, подкидывал лопату...» (стр. 127). — Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб., 1908.

«Уж подсыхает хмель на тыне...» (стр. 127). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 10, октябрь, под заглавием «Сентябрь».

«Там, на припек, спят рыбацкие ковши...» (стр. 127). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1903, № 11, ноябрь, под заглавием «В плавнях».

«Первый утренник, серебряный мороз!...» (стр. 128). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 9, сентябрь, под заглавием «Утренник».

«Обрыв Яйлы. Как руки фурий...» (стр. 128). —

Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 7—9, июль — сентябрь, под заглавием «С обрыва».

Канун Купалы (стр. 129). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1904, № 7, июль. День Ивана Купалы — 7 июля, народный праздник. Травы, собранные в ночь под Ивана Купалу, считались целебными.

Мира (стр. 130). — «Стихотворения 1903—1906», 1906. Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, исправленному Буниным (ИМЛИ). Мира — звезда в созвездии Кита, у которой переменность блеска колеблется от 2-й до 10-й звездной величины. Пирр (319—273 гг. до н. в.) — царь Эпира (область на западе Греции).

Диза (стр. 130). — «Знание», кн. 1, СПб., 1904.

Надпись на чаше (стр. 131). — «Знание», кн. 6, СПб., 1905, без заглавия.

Могила поэта (стр. 132). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 7, июль.

Кольцо (стр. 132). — «Знание», кн. 1, СПб., 1904.

Запустение (стр. 132). — «Знание», кн. 1, СПб., 1904, под заглавием «Над Окой».

Одиночество (стр. 134). — «Знание», кн. 9, СПб., 1906, с посвящением П. А. Нилусу. Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, исправленному Буниным (ИМЛИ). Стихотворение в чтении автора записано на пластинку в 1910 г.

Тень (стр. 135). — Журн. «Мир божий», СПб., 1903, № 11, ноябрь, без заглавия.

Голуби (стр. 136). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1903, № 11, ноябрь.

Сумерки (стр. 136). — «Знание», кн. 1, СПб., 1904.

Перед бурей (стр. 137). — «Знание», кн. 1, СПб., 1904.

В крымских степях (стр. 137). — «Знание», кн. 1, СПб., 1904, под заглавием «В евпаторийских степях». Шатер-Гора — гора в Крыму близ Алушты (Чатырдаг).

Жасмин (стр. 138). — Журн. «Новое слово», М., 1907, № 1, под заглавием «Казбек». Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, исправленному Буниным (ИМЛИ).

Полярная Звезда (стр. 138). — Альманах «Факелы», кн. 1, СПб., 1906, под заглавием «Полюс».

«Набегает в потмах...» (стр. 139). — «Знание», кн. 9, СПб., под заглавием «Жизнь». Это и следующее стихотворение печатаются по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, исправленному Буниным (ИМЛИ).

Перекресток (стр. 139). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

Огни небес (стр. 140). — Журн. «Мир божий», СПб., 1904, № 8, август, под заглавием «Угасшие звезды».

Развалины (стр. 140). — Журн. «Правда», М., 1904, № 11, ноябрь.

Косогор (стр. 141). — Журн. «Русская мысль», М., 1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

Разлив (стр. 141). — Журн. «Мир божий», СПб., 1904, № 9, сентябрь.

Сказка (стр. 142). — Журн. «Правда», М., 1904, № 1, январь.

Розы (стр. 143). — Журн. «Правда», М., 1904, № 6, июнь, без заглавия.

На маяке (стр. 143). — Журн. «Мир божий», СПб., 1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

В горах (стр. 144). — Журн. «Правда», М., 1904, № 2, февраль.

Штиль (стр. 144). — Журн. «Правда», М., 1904, № 12, декабрь.

На белых песках (стр. 144). — Журн. «Мир божий», СПб., 1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

Самсон (стр. 145). — Журн. «Мир божий», СПб., 1904, № 12, декабрь, под заглавием «Слепота». Самсон — библейский герой, боролся с филистимлянами. Филистимлянка Далила, возлюбленная Самсона, выведав тайну его сказочной силы, закручивавшейся в прядях волос, остригла его сонного и выдала своим соотечественникам. Они ослепили Самсона и привели его на пиршество. К тому времени у него вновь отросли волосы, и он обрушил на своих врагов колонны и дом. Ваал — бог солища. Виссон — тонкая драгоценная ткань в древних одеяниях царей, жрецов и т. п.

Склон гор (стр. 145). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1904, № 8, август, без заглавия.

Сапсан (стр. 146). — Журн. «Мир божий», СПб., 1905, № 4, апрель, с подзаголовком: «Поэма». Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, исправленному Буниным (ИМЛИ). Стихотворение привлекло внимание М. Горького; Бунин писал А. М. Федорову 25 апреля 1905 г. из Ялты: «Вижу с Горьким... каждый день... Я за эти дни заразил его стихоманией, предварительно убив его «Сапсаном!» (Русская литература, 1963, № 2, с. 182). А. Блок сказал: «...только поэт, проникший в простоту и четкость пушкинского стиха, мог написать следующие строки о «сапсане», призрачной птице — «гении зла»: «Быть может, он сегодня слышал...», — далее Блок процитировал девять строк (Блок А. Собр. соч., т. 5. М. — Л., 1962, с. 144). М. Волошин писал: «Драгоценность книги Бунина — небольшая поэма «Сапсан». Поэма угрюмой зимней ночи — русской ночи. Это чистая, строгая

живопись. Штрих за штрихом, тон за тоном — точно тяжелые свинцовые капли черного ночного дождя. Ни одной яркой краски, ни одного сияющего слова, но каждое слово полно неумолимой верности и точности. Из-за слов встает огромная мистическая неизбежность пустынной ночи» (В о л о ш и и М а к с. Лики творчества. — Газ. «Русь», СПб., 1907, 5 января, № 5).

Русская весна (стр. 148). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 3, март, под заглавием «Весна».

«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...» (стр. 148). — «Знание», кн. 9, СПб., 1906, под заглавием «Тлен».

«Старик сидел, покорно и уныло...» (стр. 149). — «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «Старик».

«Осень. Чащи леса...» (стр. 149). — «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «Ольха».

«Бегут, бегут листы раскрытой книги...» (стр. 150). — «Знание», кн. 21, СПб., 1908, под заглавием «Будни».

«Мы встретились случайно, на углу...» (стр. 150). — «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «Новая весна».

Огонь на мачте (стр. 151). — «Стихотворения 1903—1906», 1906.

«Все море — как жемчужное зеркало...» (стр. 151). — Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 7—9, июль — сентябрь, под заглавием «После дождя».

«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном...» (стр. 152). — «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «На ущербе».

«Густой зеленый ельник у дороги...» (стр. 152). — «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «Олень».

Стамбул (стр. 153). — Сб. «Новое слово», кн. 1, М., 1907. Скутари — предместье Стамбула. Сераль — султанский дворец и гарем.

«Тонет солнце, рдяным углем тонет...» (стр. 153). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 5, май, под заглавием «Пастухи». Баранта — здесь: племя.

«Ра-Озирис, владыка дня и света...» (стр. 154). — «Знание», кн. 16, СПб., 1907, под заглавием «Египет». Озирис (Осирис) — в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы; сын земли и неба, Озирис царствовал в Египте вместе с Изидой, своей супругой. Он олицетворяет доброе начало. Его брат Сет вел жестокую борьбу с ним, являлся

покровителем пустыни, страшным богом силы. Миф об Озирисе объяснял происхождение зла и смерти, борьбу света с тьмою. Сойдя в царство мертвых, Озирис сделался богом преисподней и судьей. Культ Озириса позднее сблизился с культом Ра — бога солнца, который почитался как царь и отец богов. Он совершал свой путь по небу в лодке Ра. Сфинкс в Гизе — сфинкс фараона Хефрена (конец XXVII — нач. XXVI в. до н. э.) недалеко от Каира, высеченный из целой скалы. В 1378 г. обезображен фанатиками-мамелюками. Фивы — в XXII — XX вв. до н. э. столица Египта, на части ее территории ныне город Луксор.

П о т о п (стр. 155).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. Халдеи — семитические племена, жившие в Южной Месопотамии (территория современного Ирака); в 622—538 гг. до н. э. халдейская династия правила Вавилоном и основала Нововавилонское царство. В основе стихотворения — халдейский, или древневавилонский, миф.

Э л ь б у р с (стр. 155).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. Эльбурс — горы на севере Ирана у южного побережья Каспийского моря. Иязаты, или Иязаты, у древних индийцев и иранцев — светлые духи, главный из них — Митра, божество света, чистоты и правды.

П о с л у ш н и к (стр. 156).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Х а я - Б а ш (стр. 156).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Т ь м д ж и д (стр. 157).— «Знание», кн. 7, СПб., 1905. «Тамджид» пели на монастырской башне дервиши ордена Джелвети. В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает: Бунина трогал обычай, что с минарета несется древний гимн для тех, «кто в эту ночь страдает бессонницей. Позднее он написал стихи: «Тамджид». Об этом обычае он часто вспоминал «в свои бессонные ночи в последние годы своей жизни» («Жизнь Бунина», с. 148).

Скутари — предместье Стамбула.

Т а й н а (стр. 158).— «Знание», кн. 7, СПб., 1905. Эпиграф «Элиф. Лам. Мил» — название букв алфавита в арабском языке, которым придавалось мистическое значение. Возможно также, что они обозначают инициалы писцов, записывавших суры Корана. Атмейдан — площадь в Стамбуле — «славный когда-то по всему миру Ипподром Византии», — как писал Бунин, вспоминая свое путешествие в Турцию в 1903 г. (Бунин, т. 3, с. 329).

С о с т р о г о й (стр. 159).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

М и с т и к у (стр. 159).— Журн. «Русская мысль», М., 1906, № 7, июль.

С т а т у я р а б ы н и - х р и с т и а н к и (стр. 160).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 9, сентябрь.

Призраки (стр. 160).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 7, июль.

Неугасимая лампада (стр. 161).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 7, июль.

Вершина (стр. 161).— «Знание», кн. 6, СПб., 1905, без заглавия.

Тропами потаенными (стр. 161).— Журн. «Мир божий», СПб., 1905, № 10, октябрь, без заглавия.

В открытом море (стр. 162).— «Знание», кн. 6, СПб., 1905, без заглавия.

Под вечер (стр. 162).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 8, август.

Сквозь ветви (стр. 163).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 10, октябрь.

Келья (стр. 163).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 9, сентябрь.

Судра (стр. 163).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 9, сентябрь. Судра (шудра); шудры — низшее из четырех древнеиндийских сословий — варн, состояло главным образом из неполноправных, зависимых земледельцев, ремесленников — каста «неприкасаемых»; в законе о них говорилось: «Одежда их — одеяния мертвых».

Огонь (стр. 164).— «Знание», кн. 6, СПб., 1905, без заглавия.

Небо (стр. 165).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 4, апрель.

На винограднике (стр. 165).— Журн. «Правда», М., 1905, № 12, декабрь.

Океаниды (стр. 166).— Журн. «Правда», М., 1905, № 8, август. Океаниды — в древнегреческой мифологии нимфы, дочери бога Океана, жившие в водах океана.

Стон (стр. 166).— Журн. «Русская мысль», М., 1905, № 9, сентябрь. Озеро Мерида — древнегреческое наименование озера в оазисе Файюм в Египте. Ра — в мифологии древнего Египта бог солнца. Мемнон — здесь статуя царя Аменхотепа III (1455—1419 гг. до н. э.); при восходе солнца издавала странный жалобный звук, — возможно, от прохождения сквозь трещины потоков воздуха.

В горной долине (стр. 167).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1905, № 10, октябрь.

Ормузд (стр. 167).— Журн. «Жупел», СПб., 1905, № 1. Ормузд — греческая форма имени Ахурамазды, высшего божества огнепоклонников в древности и в раннее средневековье в Иране и в Средней Азии, Афганистане и других странах Ближнего и Среднего Востока. Согласно их представлениям, Ормузд — источ-

ник всего доброго, возникший из чистейшего света. Противоположность Ормузду — злой дух Ариман, с которым Ормузд ведет борьбу.

День гнева (стр. 168).— Журн. «Мир божий», СПб., 1905, № 8, август, под заглавием «Dies irae».

Черный камень Каабы (стр. 169).— «Знание», кн. 7, СПб., 1905, под заглавием «Черный камень». *Кааба* — святилище города Мекки в Саудовской Аравии, место паломничества арабов; в одну из стен четырехугольного храма (кааба по-арабски — четырехугольник), сложенного из грубого камня, вделан Эсвад («Черный камень») — главная святыня Каабы. Согласно преданию, «Черный камень» принесен ангелом из рая Адаму, вделан в стену Авраамом, установившим паломничество в Мекку на поклонение Каабе.

Замену (стр. 169).— «Знание», кн. 7, СПб., 1905, без эпиграфа. Эпиграф — Коран 2: 244. Сюжет стихотворения заимствован Буниным из Корана, где сказано: «Бог сказал им: «Умрите». Затем он вернул их к жизни». Комментатор утверждает, что в Коране имеется в виду предание о том, что «несколько тысяч иудеев из страха перед чумой или с целью избежать военной службы покинули свою страну. Бог предал их смерти, а затем возвратил к жизни... Воскрешенные сохранили синеватый и мертвенный цвет лица, и одежды их почернели» (Коран. М., 1901, с. 73; об этом также — в книге Езекииля, гл. XXXVII).

Гробница Сафии (стр. 170).— «Знание», кн. 7, СПб., 1905. *Сафия* — еврейка-пленница, поразившая Магомета красотой и ставшая его женой. *Геллеспонт* — древнегреческое название Дарданелл. *Тюрбэ* — усыпальница у мусульман Ближнего и Среднего Востока.

Чибисы (стр. 170).— Журн. «Путь», М., 1913, № 2, февраль.

Купальщица (стр. 171).— Журн. «Северные записки», СПб., 1914, № 2, февраль.

Новый год (стр. 171).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 4, апрель.

Из окна (стр. 172).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Змея (стр. 172).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Невольник (стр. 173).— Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 5, май. Печатается по исправленному автором экземпляру третьего тома *Полного собрания сочинений (ИМЛИ)*.

Печаль (стр. 173).— «Знание», кн. 9, СПб., 1906.

Песня (стр. 174).— «Знание», кн. 9, СПб., 1906. Записано на пластинку в чтении автора в 1910 г.

Детская (стр. 174).— «Знание», кн. 9, СПб., 1906.

Речка (стр. 174).— Журн. «Новое слово», М., 1906, № 34-35.

Пахарь (стр. 175).— Журн. «Новое слово», М., 1906, № 19, под заглавием «За сохой».

Две радуги (стр. 175).— «Наш журнал», М., 1911, № 5, март, без заглавия.

Закат (стр. 176).— «Наш журнал», М., 1911, № 5, март, без заглавия.

Чужая (стр. 176).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 4, апрель.

Апрель (стр. 177).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Детство (стр. 177).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1900, № 7, июль.

Поморье (стр. 177).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 7, июль. *Шелюз* — кустарник, род ивы.

Донник (стр. 178).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Ушалаша (стр. 178).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Терем (стр. 179).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Горе (стр. 179).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Дюны (стр. 180).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Каменная Баба (стр. 180).— «Знание», кн. 9, СПб., 1906.

Эсхил (стр. 181).— «Знание», кн. 9, СПб., 1906. *Эсхил* (ок. 525—456 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, «отец трагедии». *Адрастея* — богиня возмездия, служительница вечной справедливости.

У берегов Малой Азии (стр. 181).— «Знание», кн. 9, СПб., 1906, под заглавием «У северных берегов Малой Азии».

Агни (стр. 182).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. *Агни* (от санскрит. — огонь) — бог огня в ведической религии у древних индийцев.

Столп огненный (стр. 182).— Журн. «Мир божий», СПб., 1906, № 7, июль. *Язве* (Иегова) — одно из ветхозаветных имен бога. Согласно Библии, при исходе евреев из Египта, где они были в рабстве, путь в пустыне указывал им днем столп туманный, а ночью — огненный.

Сын человеческий (стр. 183).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Сон (стр. 183).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Атлант (стр. 184).— «Знание», кн. 9, СПб., 1906. *Атлант* в древнегреческих мифах — титан, который должен был, за участие в восстании против Зевса, поддерживать небесный свод на крайнем западе — на краю мира. *Океан* — в греческой мифологии титан,

обладал властью над мировым потоком, омывавшим на крайнем западе границу между миром жизни и смерти.

Золотой невод (стр. 185).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Новоселье (стр. 185).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Дагестан (стр. 186).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

На обвале (стр. 186).— Журн. «Современный мир», СПб., 1906, № 1, октябрь.

Айя-София (стр. 187).— «Знание», кн. 9, СПб., 1906. *Айя-София* — христианский храм в Константинополе, превращенный турками в мусульманскую мечеть.

К востоку (стр. 187).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Путеводные знаки (стр. 188).— «Литературно-научный сборник», СПб., кн-во «Мир божий», 1906. Эпиграф — Коран 16: 16. В суре 16-й говорится: господь «расположил знаки на дорогах. Люди руководятся в пути также звездами». Комментатор этого текста отмечает, что арабы ориентируются в пустыне по каменным глыбам или грудам камней. *Мограб* (Магриб; а р а б. — запад) — регион в Африке. *Азарь* — как рассказывается в Библии и в арабских легендах, рабыня-египтянка, ставшая наложницей Авраама, затем изгнанная из его дома вместе с сыном Измаилом, блуждала в Аравийской пустыне и была спасена богом.

Мудрым (стр. 188).— Журн. «Адская почта», СПб., 1906, № 1.

Зеленый стяг (стр. 188).— Альманах «Факелы», кн. 1. СПб., 1906. *Эски* — зеленое знамя Магомета, святыня мусульман. *Гавриил*, по преданиям мусульман, пришел на помощь Магомету в сражении. А. Блок писал: «Истинное проникновение в знойную тайну Востока — в стихотворении «Зеленый стяг»... Читая такие стихотворения, мы признаем, что у Лермонтова был свой Восток, у Полонского — свой и у Бунина — свой; настолько живо, индивидуально и пышно его восприятие» (Б л о к А. Собр. соч., т. 5. М.— Л., 1962, с. 142).

Священный прах (стр. 189).— Журн. «Новое слово», М., 1906, № 24-25. Мусульмане полагали, что пыль, по которой ступал *Гавриил* (Джибрил), имеет волшебную силу.

Авраам (стр. 190).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. Стихотворение передает одно из сказаний шестой суры Корана (М., 1963, с. 111—112). *Авраама* (а р а б. Ибрахим) бог наставлял в вере.

Сатана богу (стр. 190).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. Эпиграф — из Корана 18: 48. *Эблис*, или *Иблис* — сатана;

отказался поклониться человеку. Он сказал богу: «Я — лучше его: ты создал меня из огня, а его создал из глины» (Коран. М., 1963, с. 122). Согласно Корану, Эблис «был одним из гениев, возмущившихся против повелений господ» (18 : 48), эльджини, существо среднее между людьми и ангелами, созданное из чистого огня.

Зейнаб (стр. 191).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. **Зейнаб** — одна из жен Магомета. **Хамсин** — сухой и жаркий южный ветер на северо-востоке Африки, который приносит пыль и песок.

Белые крылья (стр. 191).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб., 1906, № 6, июнь. Согласно легенде, когда Магомет предпринял путешествие в Сирию, его раб будто бы видел, «как два ангела своими крыльями защищали Магомета от солнечного зноя» (Коран. М., 1901, с. 11). **Медина** — город в Саудовской Аравии. В Медину переселился изгнанный из Мекки основатель ислама Магомет. **Гробница Магомета** — место паломничества мусульман.

Птица (стр. 191).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. **Эпиграф** — из Корана 14 : 17. **Знак Судьбы**, о котором говорится в стихотворении, — «вещающая птица», по Корану, — птица, которую сотворил Иса (Иисус) из глины, вдохнув в нее жизнь, совершив тем самым, по воле аллаха, одно из чудес, чтобы «сыны Израиля» (Коран. М., 1963, с. 103) уверовали в него.

1906—1911

За гробом (стр. 193).— Журн. «Русская мысль», М., 1907, № 3, март, под заглавием «В день суда». **Книга Мертвых** — сборник магических текстов, которые клались у древних египтян с покойником в могилу. **Гор** — в древнеегипетской мифологии бог — покровитель Египта. Символ Гора — ястреб. **Анубис**, по верованиям египтян, был проводником мертвых в подземный мир и вместе с Гором взвешивал дела их пред Озирисом. Изображался с головой шакала.

Магомет в изгнании (стр. 193).— «Знание», кн. 16, СПб., 1907. **Магомет**, отчаявшись обратиться жителей Мекки, — говорит комментатор Корана, — «удалился с проповедью нового культа в Тайефе; жители в Тайефе также приняли его очень дурно; но в награду за это... толпа гениев услышала стихи Корана, уасровала в него и начала распространять его ученье»; гении — «промежуточная раса между людьми и ангелами» (Коран. М., 1901, с. 552).

«Огромный, красный, старый пароход...» (стр. 194).— Журн. «Современный мир», СПб., 1906, № 1, октябрь, под заглавием «В порту».

«Люблю цветные стекла окон...» (стр. 194).— «Знание», кн. 15, СПб., 1907, под заглавием «Цветные стекла». Сю Эжен (1804—1857) — французский писатель, автор антиклерикальных памфлетов. *Патерик* — название сборников дидактических новелл об аскетических подвигах христианских монахов и их нравоучительных изречений: «Киево-Печерский патерик», «Соловецкий патерик» и др.

«И скрип и визг над бухтой, наводнение ой...» (стр. 195).— «Знание», кн. 14, СПб., 1906, под заглавием «Утро». Рецензент журнала «Вестник Европы» (1908, № 6) писал об этом стихотворении и других стихах Бунина того периода: «Его поэтический слог беспримерен в нашей поэзии... Прозаизм, точность, простота языка доведены до предела. Едва ли найдется еще поэт, у которого слог был бы так неукрашен, будничен, как здесь; на протяжении десятков страниц вы не встретите ни единого эпитета, ни одного сравнения, ни одной метафоры... такое опрощение поэтического языка без ущерба для поэзии — под силу только истинному таланту... В отношении живописной точности г. Бунин не имеет соперников среди русских поэтов».

«Луна еще прозрачна и бледна...» (стр. 195).— Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 7—9, июль — сентябрь, под названием «На даче».

«Проснись, проснись — за окнами, в саду...» (стр. 196).— «Знание», кн. 15, СПб., 1907.

«Ограда, крест, зеленая могила...» (стр. 196).— Журн. «Перевал», М., 1906, № 2, под заглавием «Панихида».

Петров день (стр. 197).— Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб., 1907. *Петров день* — праздник св. Петра и Павла 29 июня ст. ст. «Петров день — проводы весны», «с Петрова дни зарница хлеб зорит» (Даль).

«Растет, растет могильная трава...» (стр. 198).— Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907, под заглавием «Забвение».

Вальс (стр. 199).— Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908, под заглавием «Сон».

«Мимо острова в полночь фрегат проходит...» (стр. 199).— «Знание», кн. 29, СПб., 1910, под заглавием «Старинные стихи».

Геймдаль искал родник божественный...» (стр. 199).— Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб., 1907, под заглавием «Геймдаль». *Геймдаль*, или *Хеймдалль* — один из образов скандинавской мифологии, небесный страж богов, буквально — «сверкающий над миром». В древних сагах — в «Эдде» («Сказание о Риги») — рассказывается, как Геймдаль, под именем Риги, путешествовал по земле. Он мудр, наставник в рунах и чарах, видит

днем и ночью, слышит, как растет трава. Звук его рога слышен по всему свету.

Пугач (стр. 200).— Журн. «Золотое руно», М., 1906, № 7—9, июль—сентябрь. Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

Дядька (стр. 200).— «Знание», кн. 15, СПб., 1907, без заглавия.

Стрижи (стр. 201).— Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907.

На рейде (стр. 201).— Журн. «Перевал», М., 1906, № 2.

Джордано Бруно (стр. 202).— «Знание», кн. 14, СПб., 1906.

Москва (стр. 203).— Журн. «Новое слово», М., 1906, № 3, под заглавием «В Москве». В измененной редакции, под заглавием «Москва», напечатано в журнале «Русский инвалид», Париж, 1936, № 91, май. Печатается по этому тексту.

«Леса в жемчужном инее. Морозно...» (стр. 204).— Журн. «Современный мир», СПб., 1909, № 1, январь, под заглавием «Иней». Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, исправленному Бунинным (ИМЛИ).

Проводы (стр. 204).— Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб., 1907.

Дия (стр. 204).— Журн. «Перевал», М., 1907, № 4, февраль.

Гермон (стр. 205).— Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 11, ноябрь. *Гермон* — одна из вершин Антиливана, горного массива в Сирии и Ливане, именуемая арабами Шейх-горою. *Друзы* — арабы, живущие главным образом в Ливане и Сирии. *Геннисарет, Луз, Тивериада, Назарет* — места, связанные с библейскими преданиями, где путешествовали В. Н. и И. А. Бунинны в 1907 г. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминает, что Иван Алексеевич прочел ей только что написанное стихотворение «Гермон», когда они были у Тивериадского озера, около десятого мая.

«На пути под Хевроном...» (стр. 205).— Журн. «Русская мысль», М., 1907, № 9, сентябрь, под заглавием «Под Хевроном». *Хеврон* — древнейший город Палестины. *Сара* — согласно Библии, жена Авраама, была необычайной красоты. *Рахиль* — жена библейского патриарха Иакова. См. также примеч. к стих. «Гробница Рахили».

Гробница Рахили (стр. 206).— Сб. «Цит», М., 1913. *Рахиль*, по библейскому преданию, умерла по дороге в Вифлеем. На месте, почитавшемся как гробница Рахили, к югу от Иерусалима, была сложена из камней пирамида. В XIX веке здесь построена часовня с саркофагом. Бунин записал в дневнике 23 апреля 1907 г.: «На пути из Хеврона, в темноте, вдали огни Иерусалима. Часовня

Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками... Большая гробница, беленная мелом...»

И е р у с а л и м (стр. 206).— Журн. «Русская мысль», М., 1907, № 9, сентябрь. В журнале и в *Полном собрании сочинений* стихотворение разделено на три части: «Это было весной. За восточной стеной...», «В полдень был я на кровле. Кругом подомной...» и «От Галгала до Газы,— сказал проводник...». *Моаб*, или *Моаб* — в древности небольшое государство на берегу Мертвого моря (озера). *Галгал*, *Газа* — города в Палестине. *Сион* — горная цитадель Иерусалима. Иерусалим, столица древней Иудеи, в VI в. до н. э. был завоеван вавилонским царем Навуходоносором и полностью разрушен. Пророк *Иеремия*, согласно Библии, оплакивал разрушение Иерусалима и предсказал, что Иудейское царство будет восстановлено.

Храм Солнца (стр. 207).— Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907. Во время путешествия Бунина по Востоку — в Сирию, в город Баальбек у подошвы Ливана,— его поразили развалины акрополя — Храма Солнца, в котором сочеталось «самое прекрасное на земле с самым величественным» (Бунин, т. 3, с. 405). Этот монументальный храм был посвящен Ваалу — богу Солнца. И название города — Баальбек — значит долина Ваала-Солнца. *Талес* — белое, в полосы, одеяние евреев во время молитвы. *Номады* — кочевники, кочующие народы. В Баальбеке Бунин был 5 и 6 мая 1907 года. 6/19 мая он писал в письме: «Мы в Сирии, в Баальбеке, где находятся «циклопически грандиозные руины Храма Солнца» — древнеримского... Из Бейрута едем по железной дороге в Дамаск. По пути свернули в Баальбек. Впечатления от дороги среди гор Ливана и Антиливана, а также в Баальбеке не поддаются, как говорится, никакому описанию. Из Дамаска поедем в Тивернаду...» (Бабореко А. И. А. Бунин. Материалы для биографии, изд. 2-е. М., 1983, с. 110). По пути из Дамаска Бунин, очевидно, продолжал работу над стихотворением «Храм Солнца».

«Чалма на мудром — как луна...» (стр. 208).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 51, 20 октября, под заглавием «Мудрость».

В о с к р е с е н и е (стр. 208).— Сб. «Зарницы», кн. 1. СПб., 1908, под заглавием «Смерть».

«Шла сиротка пыльной дорогой...» (стр. 209).— «Знание», кн. 21, СПб., 1908, под заглавием «Сиротка».

С л е п о й (стр. 209).— «Знание», кн. 15, СПб., 1907.

Новый храм (стр. 210).— Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907, под заглавием «Христос». Стихотворение записано на пластинку в чтении автора в 1910 г. В *Назарете*, согласно Евангелию, прошло детство Христа.

Колибри (стр. 210).— Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908.

«Кошка в крапиве за домом жила...» (стр. 211).— Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 9, сентябрь, под заглавием «Кошка», вместе со стихотворением «Обвал», под общим заглавием «Из цикла «Смерть».

«Присела на могильнике Савуре...» (стр. 211).— Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907, под заглавием «Лен».

«Свежа в апреле ранняя заря...» (стр. 212).— Журн. «Северные записки», СПб., 1914, № 2, февраль, под заглавием «Причастницы».

«Там иволга, как флейта, распевала...» (стр. 212).— «Знание», кн. 21, СПб., 1908, под заглавием «В роще».

«Щебечут пестрокрылые чекканки...» (стр. 212).— Полное собрание сочинений, т. 3, под заглавием «За Дама-ском».

Нищий (стр. 213).— «Ежемесячный журнал», СПб., 1914, № 1, январь.

«Тут поконится хан, покоривший несметные страны...» (стр. 213).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

Тезей (стр. 213).— Сб. «Новое слово», кн. 1. М., 1907. Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929. Тезей, или Тесей — греческий герой и царь афинский, сын афинского царя Эгея. Тезей, согласно греческому мифу, отправился на Крит вместе с семьей афинскими юношами и девушками; их вместе с Тезеем должны были принести в жертву, отдав на съедение чудовищу Минотавру. Тезей убил Минотавра. На обратном пути, при приближении к берегу, Тезей забыл переменить черные паруса на белые, — как условились об этом с отцом на случай счастливого возвращения, — и уснул. Увидев корабль под черными парусами, Эгей с отчаянья бросился в море. Бунин воспользовался также другим мифом: о фантастическом существе, получеловеке-полулошади — кентавре, который погубил Геракла пропитанным ядом плащом, чтобы овладеть его женой, и мифом о звезде Кентавра, получившей свое наименование от кентавра Хирона, вознесенного после смерти на небо.

Пустошь (стр. 214).— «Знание», кн. 21, СПб., 1908.

Каин (стр. 215).— Журн. «Русская мысль», М., 1907, № 10, октябрь. Баальбек — см. с. 604. Каин — по Библии, старший сын Адама и Евы, злобный и угрюмый; убил из зависти своего кроткого брата Авеля, жертвоприношение которого было более угодно богу. Каин считался по свету и был, как повествуется в Библии, основателем первого города. О Каине говорится и в Коране. ...скалу на скалу громоздит... — постройка Баальбека из каменных глыб.

Пугало (стр. 216).— «Знание», кн. 15, СПб., 1907, с эпиграфом: «Страх-батюшка. Пословица».

Наследство (стр. 216).— Сб. «Новое слово», кн. 1. М., 1907.

Няня (стр. 217).— Журн. «Новое слово», М., 1907. № 4, с посвящением: «Н. А. Крашенинникову».

Наплющихе (стр. 218).— Журн. «Перевал», М., 1907, № 4, февраль.

Безнадежность (стр. 219).— Журн. «Перевал», М., 1907, № 10, август, вместе со стихами «Сатурн», «Трясина», «С корабля», под общим заглавием «Из цикла «Смерть».

Трясина (стр. 220).— Журн. «Перевал», М., 1907, № 10, август.

Один (стр. 220).— «Знание», кн. 16, СПб., 1907. *Один* — в скандинавской мифологии глава богов, бог войны, мудрости и поэзии, изобретатель и хранитель священных рун. На каждом плече Одина сидит по ворону, которые являются вестниками всего происходящего в мире. Его переносит восьминогий конь. В германской мифологии Один соответствует Вotanу (Водану).

Сатурн (стр. 220).— Журн. «Перевал», М., 1907, № 10, август. *Сатурн* считался в астрологии холодной, мрачной планетой.

С корабля (стр. 221).— Журн. «Перевал», М., 1907, № 10, август.

Обвал (стр. 221).— Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 9, сентябрь, без заглавия.

«Вдоль этих плоских знойных берегов...» (стр. 222).— Сб. «Новое слово», кн. 1. М., 1907, под заглавием «Берег».

Балагула (стр. 222).— Журн. «Русская мысль», М., 1907, № 8, август, под заглавием «В балагале». *Балагула* — крытая дорожная повозка; на Украине и в Белоруссии так назывался также еврей-извозчик.

Из Анатолийских песней (стр. 222).— Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907.

Закон (стр. 223).— Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 11, ноябрь.

Мандрагора (стр. 224).— Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 11, ноябрь. *Мандрагора* — род многолетних трав семейства пасленовых. Корни иногда напоминают человеческую фигуру; видимо, поэтому мандрагоре приписывали магическую силу. С мандрагорой связаны различные легенды; о ней говорится в древней русской литературе, в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», в «Фаусте» Гете.

Розы Ширази (стр. 224).— «Знание», кн. 16, СПб., 1907. *Ирем* (Ирам Зат Аль-Имад) — в мусульманской мифологии

древнее сооружение, возведенное из драгоценных металлов и камней. Комментаторы Корана связывают Ирам с городом народа ад, построенным в подражание раю (джанне) царем Шаддадом в Южной Аравии. Джанна (а р а б. буквально «сад») — «сад эдема», там, согласно Корану, находятся в шатрах «девушечницы с большими черными глазами» (Коран, 55:54, 58—72).

С обезьяной (стр. 224).— «Знание», кн. 20, СПб., 1908, вместе со стихотворением «Трон Соломона», под общим заглавием «Рассказы в стихах».

Мекам (стр. 225).— Журн. «Современный мир», СПб., 1907, № 11, ноябрь. *Мекам*. — Согласно толкованию комментатора Корана, слово это обозначает ту степень экстаза, в который впадают мусульманские аскеты во время молитвенных ночных бдений. *Расстояние лука* — т. е. выстрела из лука. Этим словом мусульман обычно обозначают, «на какое расстояние Магомет приближается к богу» (Коран. М., 1901, с. 496).

Бессмертный (стр. 226).— «Знание», кн. 16, СПб., 1907.

Каир (стр. 226).— Сб. «Новое слово», кн. 2. М., 1907. *Али* — мечеть в Каире.

Истара (стр. 226).— «Знание», кн. 16, СПб., 1907. *Истара*, или *Иштар* — богиня древних вавилонян, богиня любви, покровительница материнства и плодородия, а также войны и охоты. Изображалась обнаженной, стоящей на льве с луком и стрелами. Она была самой популярной богиней в древней Вавилонии, в ее честь строились храмы и слагались гимны. Ее культ носил сладострастный характер. *Тиара* — головной убор древних персидских и ассирийских царей. *Син* — вавилонский бог луны; считался богом света, астрономии и мудрости.

Александр в Египте (стр. 227).— Альманах «Шиповник», кн. 2. СПб., 1907. *Александр* Македонский (356—323 гг. до н. в.) — крупнейший полководец и государственный деятель древнего мира. Завоевав Египет, он посетил оракула Зевса-Аммона в оазисе *Сивах* в Ливийской пустыне и обращался к нему с вопросами. По преданию, в пыльную бурю два ворона указывали путь войску Александра.

Бог (стр. 228).— Журн. «Современный мир», СПб., 1908, № 11, ноябрь.

Саваоф (стр. 228).— «Знание», кн. 29, СПб., 1910, под заглавием «В детстве».

Гальциона (стр. 229).— Газ. «Одесские новости», 1910, № 8071, 21 марта. *Гальциона*, или *Алкциона* — дочь бога *Эола*, повелителя ветров, супруга трихидского царя *Кенка*. После его гибели при кораблекрушении она в отчаянии бросилась в море, и бог *Нептун* их обоих превратил в птиц. В «Метаморфозах»

(кн. 11) Овидия повествуется о том, что, даже превращенные в птиц, они остались верны друг другу. Когда в зимнюю пору Гальциона сидит семь дней на яйцах, путь по морю безопасен: «Сторожит свои ветры, не выпуская, Эол, предоставив море внукам».

В архипелаге (стр. 229).— «Знание», кн. 24, СПб., 1908.

Бог полдня (стр. 230).— Журн. «Золотое руно», М., 1908, № 10, октябрь.

Горный лес (стр. 230).— «Знание», кн. 24, СПб., 1908.
Храм Волчьего Зевса — в древности место жертвоприношений на полуострове Пелопоннес (Греция).

Иерихон (стр. 231).— «Знание», кн. 25, СПб., 1908.

Караван (стр. 231).— «Знание», кн. 25, СПб., 1908.

Долина Иосафата (стр. 232).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910. Долина Иосафата — Кедронская долина, отделяющая Иерусалим от Масличной горы, место погребения иудейского царя Иосафата. По поверию древних иудеев, место Страшного суда, который должен совершиться при конце мира.

Бедуин (стр. 232).— «Знание», кн. 25, СПб., 1908. Бедуины — кочевые арабы. Абая — «шерстяная пегая хламида» (Бунин). Гиксы, или Гиксосы — кочевые азиатские племена. Сиддиль — равнина в Палестине.

Люцифер (стр. 233).— Литературно-художественный сборник издательства «Непогасшие огни», кн. 1. Екатеринослав, 1910. Люцифер — здесь: «светоносец», утренняя звезда Венера. Эректеон — храм Эрехтея, замечательное произведение древне-греческой архитектуры, развалины которого сохранились в Афинах. Рай. — Имеется в виду долина в Сирии близ города Баальбека, как пишет Бунин в рассказе «Храм Солнца»: «Край баснословных племен, родина Адама» — Бска, — то есть страна, долина; эта долина «связана... с именем Рая, близость которого к Баальбеку была неоспорима в древности» (Бунин, т. 3, с. 399). Авель — второй сын библейских прародителей людей — Адама и Евы, убитый из зависти своим братом Канном.

Имру-уль-Кайс (стр. 233).— Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908, под заглавием «След», с эпиграфом: «Его обдувает с юга и севера. Имру-уль-Кайс».

Имру-уль-Кайс (? — между 530—540) — арабский поэт. «Открыты окна. В белой мастерской...» (стр. 234).— Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908, под заглавием «Дача».

Художник (стр. 234).— Журн. «Современник», СПб., 1913, № 5. Стихотворение о А. П. Чехове и его доме в Ялте, где Бунин часто бывал. Между Чеховым и Буниным устано-

видансь близкие дружеские отношения со времени их встречи в Ялте в 1899 г. См. воспоминания Бунина о Чехове в т. 6 наст. изд.

Отчаяние (стр. 235).— Журн. «Северные записки», СПб., 1914, № 2, февраль. *Ламб савахфани* — как отметил В. Смирин, соответствует евангельскому тексту: «Почто меня оставил!» — обращение распятого на кресте Иисуса Христа к богу.

«В полях сухие стебли кукурузы...» (стр. 235).— Сб. «Зарницы», вып. 1. СПб., 1908, под заглавием «Летаргия».

Трон Соломона (стр. 236).— «Знание», кн. 20, СПб., 1908. Соломон — царь израильско-иудейского государства (ок. 965—928 гг. до н. э.). Стихотворение передает легенды Корана о Соломоне (Сулеймане): он «повелевает гениями и ветрами», он пророк и мудрый могучий царь (Коран. М., 1901, с. 354). «Трон Соломона», по преданию, был украшен золотыми львами, которые оживали, и никто из завоевателей не мог воссесть на этот трон. Геджас (Худжас) — пустынная область в Аравии.

Рыбалка (стр. 236).— Журн. «Современный мир», СПб., 1908, № 1, январь.

Баба-яга (стр. 237).— «Стихотворения 1907 г.», 1908.

Дикарь (стр. 237).— «Стихотворения 1907 г.», 1908.

Напутствие (стр. 238).— «Стихотворения 1907 г.», 1908.

Последние слезы (стр. 239).— «Знание», кн. 24, СПб., 1908.

Рыбачка (стр. 239).— «Знание», кн. 24, СПб., 1908.

Вино (стр. 240).— Сб. «Новое слово», кн. 3. М., 1908.

Вдовец (стр. 240).— Сб. «Зарницы», вып. 1. СПб., 1908.

Христия (стр. 240).— Сб. «Зарницы», вып. 1. СПб., 1908.

Кружево (стр. 241).— «Знание», кн. 21, СПб., 1908.

Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1926, № 499, 14 октября.

Туман (стр. 241).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910. Датируется по Полному собранию сочинений. В Сиракузах, в Сицилии, где было написано стихотворение, Бунин был с 21 по 28 марта 1909 г.

После Мессинского землетрясения (стр. 242).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910, под заглавием «В Мессинском проливе». Землетрясение в Сицилии в 1908 г. почти совершенно разрушило город Мессину. В 1909 г. Бунин, путешествуя вместе с В. Н. Муромцевой-Буниной по Италии, побывал в Мессине. В. Н. Муромцева-Бунинна писала: «Несколько дней мы осматривали столицу Сицилии, смотрящую на север, в бухте которой никогда не отражаются ни солнце, ни ме-

сяц... Из Палермо мы отправились в Сиракузы... Оттуда поехали в Мессину, где испытали настоящий ужас от того, что сделало землетрясение. Особенно поразила меня уцелевшая стена с портретами, — какой-то домашний уют среди щебня» (ЛН, кн. 2, с. 214).

«В мелкоколесье пело глухо, строго...» (стр. 242). — «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910, под заглавием «Колдун».

Сенокос (стр. 243). — «Знание», кн. 27, СПб., 1909.

Собака (стр. 244). — «Знание», кн. 30, СПб., 1910.

Могила в скале (стр. 244). — «Знание», кн. 30, СПб., 1910.

Полночь (стр. 245). — «Сборник первый». Книгоиздательство для детей «Утро», изд. 2-е, М., 1913, под заглавием «Остров».

Рассвет (стр. 245). — «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910, под заглавием «До солнца».

Полдень (стр. 246). — «Знание», кн. 30, СПб., 1910.

Вечер (стр. 246). — «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912.

Мертвая зыбь (стр. 247). — «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910.

Прометей в пещере (стр. 247). — «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912.

Морской ветер (стр. 248). — Сб. «Друкарь». М., 1910.

Сторож (стр. 248). — Сб. «Друкарь». М., 1910.

Берег (стр. 248). — Сб. «Друкарь». М., 1910.

Спор (стр. 249). — Журн. «Современный мир», СПб., 1909, № 12, декабрь, под заглавием «Вино». Фессалия — область в северо-восточной Греции.

Звездопоклонники (стр. 249). — Журн. «Современный мир», СПб., 1909, № 2, февраль, без заглавия.

Прощание (стр. 250). — Газ. «Утро России», М., 1909, № 67—34, 25 декабря, без заглавия.

Песня (стр. 250). — Сб. «Вершины», кн. 1. СПб., 1909, под заглавием «Лен».

Сполохи (стр. 250). — Газ. «Утро России», М., 1909, № 67—34, 25 декабря, без заглавия.

Ночные циклады (стр. 251). — «Знание», кн. 30, СПб., 1910, под заглавием «Цикады».

Пилигрим (стр. 252). — Сб. «Друкарь». М., 1910, под заглавием «Хаджи».

О Петре-разбойнике (стр. 252). — Газ. «Русское слово», М., 1910, № 299, 28 декабря.

В первый раз (стр. 254).— Гля, «Трагическая повесть»
1910, № 8094, 18 апреля.

При дороге (стр. 254).— Журн. «Новая жизнь» С.В.
1911, № 13, декабрь.

«Океан под ясною луной...» (стр. 255).— М.И.И.
Рыдалец, 1913, под заглавием «Ночные бреды».

«Мелькают дали, черные, далекие» (стр.
255).— «Ноями Рыдалец», 1913, под заглавием «Зачем
гроза».

Ночлег (стр. 255).— «Ежемесячный журнал» С.В. Бу.
№ 4, апрель.

Эов (стр. 256).— Газ. «Речь», СПб., 1912, № 3435, 25
кабря.

Солнечные часы (стр. 256).— Альманах «Голос» М.
1911.

Источник звезды (стр. 257).— «Стихотворения и рас-
сказы 1907—1909 гг.», 1910. Печатается по тексту газеты «Рассвет»
Париж, 1928, № 20, 7 января. Иса — в Коране та же фигура,
Иисус Христос, который в мусульманской религии только послан-
ник аллаха, мессия, а не бог. Согласно Библии, в ночь рождения
Иисуса звезда указывала путь волхвам, шедшим в Вифлеем поклон-
иться младенцу. Рсфацим — долина.

Матери (стр. 258).— Полное собрание стихотворе-
т. 3. В этом стихотворении Бунин использовал те же строки из
стихотворения «В детской», помещенного в сб. «Полное собрание»
1901.

Без имени (стр. 258).— «Стихотворения и рассказы»
1907—1909 гг., 1910.

Лимонное зерно (стр. 259).— «Рассказы и стихотворе-
ния 1907—1910 гг.», 1912.

Мужичок (стр. 259).— «Наш журнал», М. 1911, № 2
1 мая.

Дворецкий (стр. 259).— «Рассказы и стихотворения»
1907—1910 гг., 1912.

Криница (стр. 260).— «Рассказы и стихотворения»
1910 гг., 1912.

Песня (стр. 260).— Журн. «Новая жизнь» С.В. Бу.
№ 4, март.

Зимняя вишня (стр. 261).— Журн. «Современный мир»
СПб., 1911, № 4, апрель.

Памяти (стр. 261).— «Рассказы и стихотворения»
1910 гг., 1912.

Березка (стр. 262).— Журн. «Воскресный вестник»
СПб., 1911, № 11, ноябрь.

Псковский бор (стр. 263).— Журн. «Северные записки», СПб., 1914, № 2, февраль. *Псковский бор* — здесь: леса Себежа, Витебской губ., которые в древности относились к псковской земле. Бунин написал это стихотворение в то время, когда жил в имении Клеевка Себежского уезда у поэта А. С. Черемнова. В стихотворении отобразилась природа здешних мест, как это видно из дневниковой записи Бунина. «Псковский бор», а также стихи «В Сицилии», «У гробницы Вергилия», «Молодой король», «Дедушка в молодости», «Помпея» и «Игроки» написаны под влиянием Пушкина. Вспоминая свое пребывание в Клеевке, Бунин писал в статье «Думая о Пушкине»: «Вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:

Вдали темно и чащи строги...»

Два голоса (стр. 263).— Журн. «Вестник Европы», СПб., 1913, № 2, февраль, под заглавием «Песня». Написано по мотивам русской народной песни «Ночь темна да не месячна...». Образы этой песни — также у Н. А. Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо», гл. «Крестьянка». Бунин говорил: «Я когда-то усердно собирал частушки, народные поговорки, прибаутки. Это неоценимый клад, и сколько их ни записывать, все равно всего не запишешь... А всяких частушек и народных прибауток собрал я около одиннадцати тысяч. Не знаю, уцелели ли все эти материалы, они остались в Москве в моих архивах. Кое-что я стараюсь теперь восстановить по памяти, но память — вещь неверная» («Подъем», Воронеж, 1979, № 1, с. 121). Бунин следовал за Пушкиным, писавшим, что «изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка» (Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6. М., 1962, с. 346).

Пращурь (стр. 264).— Газ. «Речь», СПб., 1913, № 1, 1 января.

«Ночь зимняя мутна и холодна...» (стр. 264).— «Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «Великий Лось». Великий Лось — созвездие Большой Медведицы.

Ночная змея (стр. 265).— Журн. «Современный мир», СПб., 1913, № 2, февраль.

«На пути из Назарета...» (стр. 266).— Газ. «Русское слово», М., 1912, № 249, 28 октября, под заглавием «Мать». Сак-

ристыя — название особого помещения в католическом храме, где хранятся принадлежности культа.

В Сицилии (стр. 268).— Журн. «Новая жизнь», СПб., 1912, № 12, декабрь, под заглавием «Монастыри».

Летняя ночь (стр. 268).— Журн. «Вестник Европы», СПб., 1913, № 1, январь.

Белый олень (стр. 269).— Журн. «Русская мысль», М., 1912, № 12, декабрь. Написано на сюжет русской народной песни «Не разливайся, мой тихий Дунай...».

Алисафия (стр. 270).— Журн. «Современный мир», СПб., 1912, № 11, ноябрь. В газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 84, 26 ноября/9 декабря, напечатано под заглавием «Егорий Заступник». Написано по мотивам духовного стиха о святом Георгии, победившем змея.

Потомки пророка (стр. 271).— Журн. «Современник», СПб., 1913, № 4, апрель.

Шипит и не встает верблюд... (стр. 272).— «*Иоанн Рыдалец*», 1913, под заглавием «В Скутари».

Уголь (стр. 272).— Журн. «Современник», СПб., 1913, № 4, апрель.

Судный день (стр. 273).— Журн. «Живое слово», М., 1912, № 44, ноябрь, с подзаголовком: «Из суры «О Великой Вести» (78-я сура Корана).

Ноябрьская ночь (стр. 273).— Журн. «Современник», СПб., 1913, № 2, февраль.

Завеса (стр. 273).— Журн. «Рампа и жизнь», М., 1912, № 44, 28 октября. Согласно Корану, на взорах неверных — «завеса», и бог открывает «тайные вещи» угодным ему (Коран. М., 1901, 2:6 и с. 555).

Ритм (стр. 274).— Журн. «Современный мир», СПб., 1913, № 1, апрель.

«Как дым пожара, туча шла...» (стр. 274).— Журн. «Вестник Европы», СПб., 1912, декабрь, под заглавием «На большой дороге».

Гробница (стр. 275).— Журн. «Современник», СПб., 1912, № 11, ноябрь.

Светляк (стр. 275).— Журн. «Заветы», СПб., 1912, № 8, ноябрь.

Степь (стр. 275).— «*Иоанн Рыдалец*», 1913, под заглавием «Степь Моздокская».

Холодная весна (стр. 276).— «*Иоанн Рыдалец*», 1913.

Матрос (стр. 276).— Журн. «Просвещение», СПб., 1913, № 4.

Святогор (стр. 276).— «*Иоанн Рыдалец*», 1913, под заглавием «Конь Святогора». Стихи были набраны в «Современ-

ном мире», но «во исполнение... желания автора», как сообщила редакция Бунину, сняты (*ЦГАЛИ*). Печатается по кн. «Чаша жизни» (Париж, 1922).

З а в е т С а а д и (стр. 277).— Альманах «Зарево», кн. 1, 1915. Саади (1184—1291) — персидский поэт. Бунин не однажды в письмах и произведениях обращался к стихам и изречениям Саади, приводил его строки в дарственных надписях на книгах.

Д е д у ш к а (стр. 277).— «Иоанн Рыдалец», 1913.

М а ч е х а (стр. 278).— «Иоанн Рыдалец», 1913.

О т р а в а (стр. 278).— «Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «Невестка».

М у ш к е т (стр. 279).— Газ. «Русское слово», М., 1913, № 212, 13 сентября. Печатается по кн.: «Избранные стихи», 1929, с правкой Бунина.

В е н е ц и я (стр. 280).— Журн. «Современный мир», СПб., 1913, № 12, декабрь, под заглавием «В Венеции» и с посвящением А. А. Карзинкину. Впервые Бунин побывал в Венеции в 1904 г., второй раз — в 1909-м, прибыл через перевал Бренен-Пасс в Итальянских Альпах, упоминаемый в стихотворении. Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский поэт и романист. Его творчество привлекло внимание Бунина. Он советовал Горькому переиздать роман «Признание». В. Н. Муромцева-Бунина переводила роман Ламартина «Грациалла», Бунин отчасти редактировал рукопись (хранится в Музее И. С. Тургенева в Орле). Марк — собор святого Марка в Венеции (X в.) Пьяцетта (и т.) — площадь.

«Теплой ночью, горною тропинкой...» (стр. 283).— Газ. «Русское слово», М., 1913, № 212, 13 сентября, под заглавием «На камнях».

М о г и л ь н а я п л и т а (стр. 284).— «Иоанн Рыдалец», 1913. На экземпляре четвертого тома *Собрания сочинений (ГБЛ)* к этому стихотворению Бунин сделал приписку: «Не придется! 25. VIII. 48. Париж». Стихи Н. П. Огарева привлекали внимание Бунина еще в ранней юности.

П о с л е о б е д а (стр. 284).— «Иоанн Рыдалец», 1913. «Дым» — роман И. С. Тургенева.

Г о с п о д ь с к о р б я щ и й (стр. 284).— Газ. «Русское слово», М., 1914, № 80, 6 апреля.

И а к о в (стр. 285).— Газ. «Русское слово», М., 1914, № 80, 6 апреля. Харран — город в Месопотамии.

М а г о м е т и С а ф и я (стр. 285).— Журн. «Современный мир», СПб., 1914, № 12, декабрь. Сафия — см. примеч. к стих. «Гробница Сафии».

«Плакала ночью вдова...» (стр. 285).— Газ. «Рус-

ское слово», М., 1914, № 80, 6 апреля, под заглавием «Плач ночью».

Тора (стр. 286).— Журн. «Отечество», Пг., 1915, № 5-6. Написано на библейский сюжет о пророке Моисее, которому на горе Синай бог дал скрижали — две каменные доски с начертанными на них «святыми письменами» — десятью заповедями. Тора — древнееврейское название первой части Библии, так называемого Пятикнижья. Светильник Седьми — светильник Моисея с семью лампадами. Стиль — здесь: палочка для письма.

Новый завет (стр. 286).— Газ. «Русское слово», М., 1914, № 80, 6 апреля, под заглавием «На пути из Египта». Иосиф... возвратись в... Назарет...— Мария с младенцем и Иосифом из Египта могли возвратиться только после смерти жестокого царя Иудеи Ирода, при владычестве которого Иисусу угрожала смерть. См. также примеч. к стих. «Бегство в Египет».

Перстень (стр. 287).— Альманах «Творчество», кн. 2. М.— Пг., 1918.

Слово (стр. 287).— Журн. «Летопись», Пг., 1915, № 1, декабрь. Это стихотворение было злободневно; Бунин, размышляя о современной ему модернистской литературе, говорил в 1913 г.: «...испорчен русский язык... утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости... стих» (Полное собрание сочинений, т. 6, с. 317).

«Просыпаюсь в полумраке...» (стр. 287).— Газ. «Руль», Берлин, 1920, № 34, 25 декабря.

Святой Евстафий (стр. 288).— «Роза Иерихона», 1924. Стихотворение — на сюжет народной легенды.

Поэту (стр. 289).— Журн. «Летопись», Пг., 1915, № 1, декабрь.

«Взойди, о Ночь, на горный свой престол...» (стр. 289).— Газ. «Русское слово», М., 1915, № 296, 25 декабря, под заглавием «К ночи».

Невеста (стр. 289).— «Ежемесячный журнал», Пг., 1916, № 1, январь.

«Роса, при бледно-розовом огне...» (стр. 290).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

Цейлон (стр. 290).— Журн. «Вестник Европы», Пг., 1915, № 12, декабрь, под заглавием «Гора Алагалла».

Белый цвет (стр. 291).— Газ. «Русское слово», М., 1915, № 296, 25 декабря.

Одиночество (стр. 291).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «Бонна».

«К вечеру море шумней и мутней...» (стр. 292).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 9, сентябрь, под

заглавием «Дача на севере». Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924.

Война (стр. 292).— Газ. «Биржевые ведомости», утр. вып., Пг., 1915, № 15290, 25 декабря, под заглавием «Прокаженный».

Засуха в раю (стр. 293).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 1, январь.

У нубийских черных хижин...» (стр. 293).— Журн. «Северные записки», Пг., 1915, № 11-12, ноябрь — декабрь, под заглавием «За Ассуаном».

«В жарком золоте заката Пирамиды...» (стр. 294).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «На крыше отеля у Пирамид». Хедив (перс.— господин, государь) — титул правителей Египта в 1867—1914 гг. Хуфу (Хеопс) — египетский фараон XXVII в. до н. э. Пирамида Хеопса в Гизе — крупнейшая в Египте.

«Что ты мутный, светел-месяц...» (стр. 294).— Журн. «Северные записки», Пг., 1915, № 11-12, ноябрь — декабрь.

Казнь (стр. 295).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 10, октябрь.

Шестикрылый (стр. 295).— Журн. «Летопись», Пг., 1915, № 1, декабрь. О стихах, напечатанных в «Летописи», И. С. Шмелев писал Бунину 1 марта 1916 г.: «Чудесно, глубоко, тонко. Лучше я и сказать не могу. Я их выучил наизусть. Я ношу их в себе. Чудесно! Ведь в «Шестикрылом» вся русская история, облик жизни. Это шедевры, дорогой, вы это знаете сами, но и я хочу, чтобы и вы знали, что я чувствую это. И «Слово» и «Поэту». Это лучшее, что было последнее время для меня...» (ЦГАЛИ).

Парус (стр. 296).— Журн. «Вестник Европы», Пг., 1915, № 12, декабрь.

Бегство в Египет (стр. 296).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 9, сентябрь. Сион — см. примеч. к стих. «Иерусалим». Ирод — царь Иудеи, о жестокости которого сохранились легенды. Согласно Библии, когда волхвы сказали Ироду, что в Вифлееме родился истинный царь иудейский, Иисус, Ирод велел убить в городе и его окрестностях всех младенцев мужского пола до двухлетнего возраста. Иосиф и Мария, получив весть от ангела о намерениях Ирода, бежали с младенцем в Египет, и вернулись они в Назарет только после смерти Ирода.

Сказка о козе (стр. 297).— Журн. «Жар-птица», Берлин, 1921, № 2. В древности племена в Халдее, Египте, греческие и др. поклонялись Волчьему Зевсу. В славянской мифологии покровитель волчьей стаи — св. Георгий. На этих верованиях и поэ-

тических представлениях народа, по-видимому, основывается об-
разное выражение «волчьи, божьи глаза».

Святитель (стр. 297).— Журн. «Летопись», Пг., 1916,
№ 2, февраль.

Зазимок (стр. 297).— Альманах «Отзвук жизни», III,
1916.

«Пустыня в тусклом, жарком свете...» (стр.
298). Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

Аленушка (стр. 298).— Журн. «Летопись», Пг., 1916,
№ 1.

Ириса (стр. 299).— Журн. «Новая жизнь», М., 1915,
декабрь, под заглавием «Дедушкины стихи». Печатается по
кн. «Господин из Сан-Франциско», 1920.

Скоморохи (стр. 299).— Журн. «Летопись», Пг., 1916,
№ 1, январь. Печатается по кн. «Господин из Сан-Франциско»,
1920.

Малайская песня (стр. 300).— Журн. «Северные за-
писки», Пг., 1916, № 2, февраль.

«В столетнем мраке черной ели...» (стр. 302).—
Печатается по тексту ЛН, кн. 1, с. 196—197. В ранней редакции
напечатано в сб. «Митина любовь», 1925.

Святогор и Илья (стр. 302).— Журн. «Летопись», Пг.,
1916, № 4, апрель. Печатается по исправленному Бунинным экз.
«Избранных стихов», 1929.

Святой Прокопий (стр. 303).— Журн. «Летопись»,
Пг., 1916, № 3, март. Эти стихи, по словам Бунина, — «жесточай-
шая, сугубо русская страница из жизни святого Прокопия» — были
включены им в «Жизнь Арсеньева» (Собрание сочинений, т. XI,
с. 109). Зачеркнуты автором при исправлении текста для нового
издания.

Сон епископа Игнатия Ростовского (стр.
304).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 10, октябрь, под
заглавием «Сон епископа»; «Ежемесячный журнал», Пг., 1916,
№ 9-10, сентябрь — октябрь.

Матфей Прозорливый (стр. 304).— Журн. «Совре-
менный мир», Пг., 1916, № 11, ноябрь.

Князь Всеслав (стр. 306).— Журн. «Летопись», Пг.,
1916, № 3, март. Князь Всеслав Брючиславич — князь Полоцкий
(XI в.). В 1067 г. киевский князь Изяслав Ярославич заманил его
в Киев и заточил в темнице. В 1068 г. киевляне, недовольные Изя-
славом Ярославичем, провозгласили своим князем Всеслава Брю-
числавича. Он княжил семь месяцев и вынужден был бежать
в Полоцк, так как прежний киевский князь, Изяслав, предпринял
на него поход при поддержке поляков. Стол княжеский — в Древ-
ней Руси территория, которая управлялась князем. София —

Софийский собор в Киеве. О князе Всеславе Бунин пишет также в «Жизни Арсеньева» (кн. V, гл. 24).

«Мне вечер, молодой, скучен терем
был...» (стр. 307).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 4, апрель, под заглавием «Песня».

«Ты, светлая ночь, полнолуная высь...» (стр. 307).— «Русская газета», Париж, 1924, № 51, 22 июня.

Богом разлученные (стр. 307).— Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Чернец».

Ка дильница (стр. 308).— Сб. «В помощь пленным русским воинам». М., 1916.

«Когда-то, над тяжелой баркой...» (стр. 308).— «Господин из Сан-Франциско», 1916, под заглавием «Пора».

Дурман (стр. 309).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 8, август. Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929. В. Н. Муромцева-Бунина рассказывает, что стихи «Дурман» отчасти автобиографичны, в них отразились воспоминания детства: Бунин и сестра Маша много времени «проводили летом... с пастушатами, которые научили их есть всякие травы, буйно росшие за огородом, за кухней, за варком. Но однажды они чуть не поплатились жизнью. Один из пастушат предложил им попробовать белены. Родителей не было дома, но их решительная няня, узнав об этом, стала отпаивать детей парным молоком, чем и спасла их» («Жизнь Бунина», с. 11).

Сон (стр. 309).— Журн. «Летопись». Пг., 1916, № 8, август.

Цирцея (стр. 310).— «Господин из Сан-Франциско», 1916. Цирцея, или Кирка — в греческой мифологии коварная волшебница с острова Эя (у берегов Италии), на который, как рассказывается в «Одиссее» Гомера (песнь 10), попал во время своих странствий Одиссей (Улисс), проживший у Цирцеи год. В иносказательном смысле Цирцея — красавица.

«На Альпы к сумеркам нисходят облака...» (стр. 310).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

У гробницы Вергилия (стр. 311).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 5, май, под заглавием «У гробницы Вергилия, весной». *Виргиллий* (Вергилий; 70—19 гг. до н. э.) — древнеримский поэт, автор сб. «Буколики» («Пастушеские песни»), поэмы «Георгики» («Поэмы о земледелии»), героического эпоса «Энеида» — о странствиях и войнах троянца Энея. В автографе стихотворения, хранящемся в ЦГАЛИ, указано: «Весной 1913 г. в Неаполе».

«Синие обон полиняли...» (стр. 311).— Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь, под заглавием «В пустом доме».

«На поморин далеком...» (стр. 311).— Альманах «Творчество», кн. 2. М.— Пг., 1918, под заглавием «Песня».

«Там не светит солнце, не бывает ночи...» (стр. 312).— Однодневная газета «Труд вновь даст тебе жизнь и счастье», М., 1916, 10 мая, под заглавием «Песня».

«Лиман песком от моря отделен...» (стр. 312).— Сб. «Весенний салон поэтов». М., 1918, под заглавием «Даль».

Зеркало (стр. 313).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 8, август.

Мулы (стр. 313).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 7, июль.

Сирокко (стр. 314).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 10, октябрь.

Псалтирь (стр. 314).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 6, июнь. В автографе (ЦГАЛИ) к заглавию стихотворения Бунин приписал: «Известие о смерти Саши Резвой». Ее инициалы — «С. Р.» — Бунин указал также в примечании, написанном на экземпляре пятого тома Собрания сочинений, изд. «Петрополис»: «Вечером, получив письмо о смерти С. Р.» (ГБЛ). Саша Резвая — родственница соседей-помещиков по имению Буниных в Озерках — Рышковых. Бунин-гимназист был влюблен в нее — «барышню лет пятнадцати, очень статную, с толстой светло-русой косой, живыми глазами и веселым нравом», — писала В. Н. Муромцева-Бунина.

Миньона (стр. 315) — Газ. «Власть народа», М., 1917, № 195, 25 декабря. Миньона — героиня романа Гете «Годы ученья Вильгельма Мейстера».

В горах (стр. 315).— Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь, под заглавием «В Апеннинах».

Людмила (стр. 316).— Журн. «Вестник Европы». Пг., 1916, № 3, март.

«Стена горы — до небосвода...» (стр. 316).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

Индийский океан (стр. 317).— Газ. «Киевская мысль», 1916, № 358, 25 декабря.

Коллизей (стр. 317).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 10, октябрь.

Стой, солнце! (стр. 318).— Альманах «Творчество», кн. 2. М.— Пг., 1918. Печатается по тексту книги «Роза Иерихона», 1924. Согласно Библии, Иисус Навин, слуга и сподвижник Моисея, остановил солнце своим возгласом: «Стой, солнце!» — чтобы продлить день во время одного из сражений.

«Солнце полночное, тени лиловые...» (стр. 318).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 10, октябрь, под

заглавием «За Соловками», с эпиграфом: «Солнца полуночи тени лиловые... Случевский».

М о л о д о с т ь (стр. 318).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 10, октябрь.

У е з д н о е (стр. 319).— Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Колотушка».

В о р д е (стр. 319).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Орда», с цензурными сокращениями строк 18—20, 25.

Ц е й л о н (стр. 320).— Газ. «Звено», Париж, 1923, № 47, 24 декабря, под заглавием «Приморский путь».

О т л и в (стр. 322).— Журн. «Вестник Европы», Пг., 1916, № 10, октябрь.

Б о г и н я (стр. 322).— Журн. «Вестник Европы», Пг., 1916, № 10, октябрь.

В ц и р к е (стр. 323).— Газ. «Приазовский край», Ростов-на-Дону, 1924, № 340, 25 декабря. Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924. В газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января, напечатано под заглавием «В неаполитанском цирке».

С п у т н и ц а (стр. 323).— Журн. «Жизнь», Одесса, 1918, № 5, июнь. Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924.

С в я т и л и щ е (стр. 324).— Журн. «Вестник Европы», Пг., 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Будда почивающий». Ступа — в индийской архитектуре буддийское мемориальное сооружение, хранилище реликвий. Вихара — монастырь.

Ф е с к а (стр. 325).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января.

В е ч е р н и й ж у к (стр. 325).— «Ежемесячный журнал», Пг., 1916, № 9-10, сентябрь — октябрь.

«Р ы ж и м и и г о л к а м и...» (стр. 326).— «Господин из Сан-Франциско», 1916, под заглавием «Песенка».

Д о ч ь (стр. 327).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. 21. Датируется по автографу (ЦГАЛИ). Печатается по кн.: «Избранные стихи», 1929, с рукописной правкой Бунина.

К о н ч и н а с в я т и т е л я (стр. 327).— «Ежемесячный журнал», Пг., 1916, № 9-10, сентябрь — октябрь, под заглавием «Кончина».

«Л ь е т б е з к о н ц а . В л е с у т у м а н...» (стр. 328).— Журн. «Иллюстрированная Россия», Париж, 1924, № 3, вместе со стихотворением «Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий...», под общим заглавием «Далекое». Датируется по автографу (ЦГАЛИ).

Р у с л а н (стр. 328).— «Ежемесячный журнал», Пг., 1916, № 9-10, сентябрь — октябрь.

«Край без истории... Все лес да лес, болота...» (стр. 329).— «Ежемесячный журнал», Пг., 1916, № 9-10, сентябрь — октябрь, под заглавием «Без истории». *Бортники* — «у кого есть лесное пчеловодство, борт на деревьях» (Вл. Даль).

Плоты (стр. 329).— Газ. «Одесский листок», 1919, 27 октября.

«Он видел смоль ее волос...» (стр. 329).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, 13 октября.

«Полночный звон степной пустыни...» (стр. 330).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

Дедушка в молодости (стр. 331).— Журн. «Сев-верные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь. *Окарина* — духовой глиняный или фарфоровый итальянский народный музыкальный инструмент, звуком напоминающий флейту.

Игроки (стр. 331).— «Господин из Сан-Франциско», 1916.

Конь Афины-Паллады (стр. 333).— «Господин из Сан-Франциско», 1916. *Конь Афины-Паллады* — по греческому преданию, огромный деревянный конь, в котором спрятались греческие воины, осаждавшие Трою. Троянцы, поверив, что это дар богини Афине, ввели его в Трою (Илион), несмотря на предупреждение прорицательницы Кассандры. Выйдя из чрева коня, греки впустили в Илион свое войско. И Одиссей «победил, подкрепленный великой Палладой» («Одиссея», VIII, 520). Слова: «Горе тебе, Илион! Многолюдный, могучий, великий» — из «Апокалипсиса».

«Архистратиг средневековый...» (стр. 333).— «Господин из Сан-Франциско», 1916, под заглавием «Фреска». Бунин послал это стихотворение в 1916 г. в журнал «Летопись», но напечатано оно не было, как сообщал журнал, «по не зависящим от редакции обстоятельствам», то есть из-за запрещения цензурой («Летопись», 1916, № 9, сентябрь). *Архистратиг* — военачальник, главный воевода; здесь — Архангел Михаил.

Канун (стр. 334).— Журн. «Русская мысль», Прага — Берлин, 1923, кн. 6—8, без заглавия.

Последний шмель (стр. 334).— Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 10, октябрь.

«В норе, домами сдавленной...» (стр. 335).— Газ. «Одесские новости», 1919, № 10884, 7 января (25 декабря), под заглавием «Мадонна».

«Вот он снова, этот белый...» (стр. 335).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января, под заглавием «Снова». Печатается по тексту сборника «Роза Иерихона», 1924.

Благовестие о рождении Исаака (стр. 336).— Газ. «Киевская мысль», 1916, № 358, 25 декабря, под заглавием «Благовестие».

«Настанет день — исчезну я...» (стр. 336). — Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Без меня».

Памяти друга (стр. 337). — «Господин из Сан-Франциско», 1916. Стихотворение написано при известии о самоубийстве друга Бунина, художника В. П. Куровского (1869—1915).

На Невском (стр. 338). — Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 10, октябрь.

«Тихой ночью поздний месяц вышел...» (стр. 338). — Альманах «Творчество», кн. 2. М. — Пг., 1918, под заглавием «Глупое горе».

Помпея (стр. 339). — Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь.

Калабрийский пастух (стр. 339). — Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь.

Компас (стр. 340). — Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь.

«Покрывало море свитками...» (стр. 340). — Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «Близ Биаррица, зимой».

Аркадия (стр. 341). — Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь.

Капри (стр. 341). — Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Цветы».

«Едем бором, черными лесами...» (стр. 342). — Газ. «Понедельник «Народного слова», М., 1918, № 1, 15 апреля, под заглавием «Из цикла «Русь».

Первый соловей (стр. 342). — Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 19, 14/27 сентября.

Среди звезд (стр. 343). — Журн. «Северные записки», Пг., 1916, № 10, октябрь.

«Бывает море белое, молочное...» (стр. 343). — «Митина любовь», 1925.

Падучая звезда (стр. 343). — «Митина любовь», 1925, без заглавия.

«Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий...» (стр. 344). — «Митина любовь», 1925.

Поэтесса (стр. 344). — Журн. «Жизнь», Одесса, 1918, № 7, июль. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Заклинание (стр. 345). — Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 2, февраль. Печатается по кн. «Господин из Сан-Франциско», 1920.

Молодой король (стр. 345). — Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 2, февраль.

Кобылица (стр. 346).— Газ. «Возрождение», Париж, 1925, № 151, 31 октября. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

На исходе (стр. 347).— «Господин из Сан-Франциско», 1916. Печатается по кн. «Господин из Сан-Франциско», 1920.

Гаданье (стр. 347).— «Русская газета», Париж, 1924, № 199, 14 декабря. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Эллада (стр. 348).— Журн. «Летопись», Пг., 1916, № 7, июль. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Рабыня (стр. 348).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 51, 20 октября. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Старая яблоня (стр. 349).— «Митина любовь», 1925. Печатается по тексту ЛН, кн. 1, с. 198.

Грот (стр. 349).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января, под заглавием «Каприйский грот».

Голубь (стр. 349).— «Русская газета», Париж, 1924, № 75, 22 июля. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Семнадцатый год (стр. 350).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 98, 13/26 декабря, под заглавием «Пожары».

Узоры (стр. 350).— Журн. «Огоньки», Одесса, 1918, 22 декабря (1919, № 1—34, 4 января), с пометой «Из цикла «Русь».

Змея (стр. 351).— Журн. «Сподохи», Берлин, 1922, № 5.

«Вот знакомый погост у цветной Среди земной волны...» (стр. 351). — Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 203, 3 февраля, с пометой «Итальянские строки».

«Как много звезд на тусклой синеве!..» (стр. 351).— Сб. «Эпоха», кн. 1. М., 1918, под заглавием «Август».

«Вид на залив из садика таверны...» (стр. 352).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

«Роняя снег, проходят тучи...» (стр. 352).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

Луна (стр. 352).— Сб. «Эпоха», кн. 1. М., 1918, без заглавия.

«У ворот Сиона, над Кедром...» (стр. 353).— Газ. «Наш век», Пг., 1918, № 89, 4 мая. Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924. Бунин писал в дневнике 10 марта 1918 г.: «...я этого прокаженного не выдумал, — я действительно видел однажды в Иерусалиме, под Восточной стеной, — на мусоре, «на гнонще», — нищего в ужасающих лохмотьях... Жевал зерна белены и блаженно ухмылялся».

Эпитафия (стр. 353).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 33, 29 сентября. В Собрании сочинений на полях ру-



кой Бунина написано: «При воспоминании о кладбище в Скутари».

Воспоминание (стр. 353).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 39, 6 октября, без заглавия.

Волны (стр. 354).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 51, 20 октября. Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929.

Ландыш (стр. 354).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 19, 14/27 сентября. Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924.

Свет незакатный (стр. 354).— Сб. «Эпоха», кн. 1. М., 1918, под заглавием «Могилы».

«О радость красок! Снова, снова...» (стр. 355).— Журн. «Сполохи», Берлин, 1922, № 5, под заглавием «Листопад».

«Стали дымом, стали выше...» (стр. 355).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

«Ранний, чуть видный рассвет...» (стр. 356).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 19, 14/27 сентября, под заглавием «Рассвет».

«Смятенье, крик и визг рыбалок...» (стр. 356).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919. Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924. Заглавие в автографе (ЦГАЛИ) «В гавани». Поводом к написанию этого стихотворения послужила уличная сцена. Бунин писал в дневнике 10 марта 1918 г.: «...проезжая по деревне, я увидел на улице толпу баб,— оне махали руками, насккивали друг на друга, что-то друг у друга вырывали и визжали, вопили на все лады. И мне почему-то представилась неаполитанская гавань, какой-то пароход и туча рыбалок (чаек), с визгом и криком вырывающих друг у друга под его бортом кухонные отбросы... Придя домой, я записал: «Смятенье, крик и визг рыбалок...»

«Мы рядом шли, но не меня...» (стр. 356).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 19, 14/27 сентября.

«Белые круглятся облака...» (стр. 357).— Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 203, 3 февраля, с пометой «Итальянские строки».

«Мы сели у печки в прихожей...» (стр. 357).— Газ. «Руль», Берлин, 1920, № 34, 25 декабря, с эпиграфом: «В лесной и глухой стороне... А. Фет».

«Сорвался вихрь, промчал из края в край...» (стр. 357).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

«Осенний день. Степь, балка и корыто...» (стр. 358).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

«Щеглы, их звон, стеклянный, неживой...» (стр. 358).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. XXI, под заглавием «3 октября 1917 года».

«Этой краткой жизни вечным изменением...» (стр. 359).— Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 100, 23 октября. Печатается по кн.: *«Избранные стихи»*, 1929, с рукописной правкой Бунина.

«Как в апреле по ночам в аллее...» (стр. 359).— Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 100, 23 октября.

«Звезда дрожит среди вселенной...» (стр. 359).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь. 1919. В *Собрании сочинений* на полях рукой Бунина написано: «Последний день в Васильевском».

Восход луны (стр. 360).— Газ. «Руль», Берлин, 1924, № 1084, 29 июня. Печатается по кн. *«Митина любовь»*, 1925.

«В пустом, сквозном чертоге сада...» (стр. 360).— *«Митина любовь»*, 1925. Печатается по тексту этого издания.

1918—1952

«В дачном кресле, ночью, на балконе...» (стр. 361).— Журн. «Родная земля», Киев, 1918, № 1, сентябрь — октябрь.

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья...» (стр. 361).— Журн. «Родная земля», Киев, 1918, № 1, сентябрь — октябрь.

«Древняя обитель супротив луны...» (стр. 362).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

«На даче тихо, ночь темна...» (стр. 362).— Газ. «Возрождение», М., 1918, № 12, 16 июня.

«Огонь, качаемый волной...» (стр. 362).— Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 143, 5 декабря. Печатается по кн. *«Роза Иерихона»*, 1924.

Михаил (стр. 363).— Газ. «Приазовский край», 1919, № 1, 1 января, под заглавием «Архангел». Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 26, 22 сентября (5 октября).

Потерянный рай (стр. 363).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 26, 22 сентября (5 октября).

Канарейка (стр. 364).— Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 304, 16 мая. Печатается по кн. *«Роза Иерихона»*, 1924.

Русская сказка (стр. 364).— *«Роза Иерихона»*, 1924, под заглавием «На острове Буяне».

«У птиц есть гнездо, у зверя есть нора...» (стр. 365).— *«Роза Иерихона»*, 1924. Печатается по этому тексту. Сюжет этого стихотворения отчасти основан на библейском преда-

нии. Иисус Христос сказал: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Евангелие от Луки, IX, 58). Стихотворение М. Волошина «Изгнанники, скитальцы и поэты...» (1918) написано на ту же тему и имеет схожие образы со стихотворением Бунина. На это указал В. Малахов (Мичуринская правда, 1984, № 203, 20 октября).

Радуга (стр. 365).— «Роза Иерихона», 1924. Печатается по этому тексту.

Морфей (стр. 366).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. XX, без заглавия.

Сириус (стр. 366).— Альманах «Окно», кн. 1. Париж, 1923. Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929, с рукописной правкой Бунина.

«Зачем пленяет старая могила...» (стр. 366).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. XX.

«В полночный час я встану и взгляну...» (стр. 367).— Альманах «Окно», кн. 1. Париж, 1923, под заглавием «В полночный час».

«Мечты любви моей весенней...» (стр. 367).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. XX.

«Все снится мне заросшая травой...» (стр. 368).— Журн. «Русская мысль», Прага — Берлин, 1923, кн. VI—VIII.

«Печаль ресниц, сияющих и черных...» (стр. 368).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. XX.

Венеция (стр. 368).— Альманах «Окно», кн. III. Париж, 1923, без заглавия.

Вход в Иерусалим (стр. 369).— Альманах «Окно», кн. I. Париж, 1923. *Пропяты* — от пропятить, распять.

«В гелiotроповом свете молний летучих...» (стр. 369).— «Митина любовь», 1925.

Пантера (стр. 370).— Газ. «Звено», Париж, 1924, № 76, 14 июля.

1885 год (стр. 370).— Альманах «Окно», кн. III, Париж, 1923.

Петух на церковном кресте (стр. 371).— Альманах «Медный всадник», кн. 1. Берлин, 1923.

Встреча (стр. 371).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. XXI. *Кумания* — страна древних половцев.

«Уж как на море, на море...» (стр. 372).— «Русская газета», Париж, 1924, № 23, 18 мая. Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929, с рукописной правкой Бунина.

«Опять холодные седые небеса...» (стр. 372).— «Русская газета», Париж, 1924, № 199, 14 декабря.

«Одно лишь небо, светлое, ночное...» (стр. 373).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. XXI, под заглавием «Старинные стихи». Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929. *Сарматские места* — Причерноморье, откуда сарматы — объединенные кочевые племена — вытеснили в III в. до н. э. гуннов; ранее жили на территории от р. Тобол до Волги.

Древний образ (стр. 373).— «Одесский листок», 1919, № 127, 25 сентября (8 октября); в другой редакции — в кн. «Митина любовь», 1925.

Уныние и сумрачность зимы...» (стр. 374).— «Русская газета», Париж, 1924, № 199, 14 декабря.

Ночная прогулка (стр. 374).— Газ. «Русские новости», Париж, 1946, № 84, 20 декабря, без заглавия. Печатается по кн. «Весной, в Иудее». На автографе (ЦГАЛИ) Бунин отметил, что написал это стихотворение, думая «про аббатство Торона, где был в 1926 году летом» (Abbaye cistercienne du Thoronet, Var).

Nel mezzo del camin di nostra vita (стр. 375).— Газ. «Русские новости», Париж, 1947, № 100, 2 мая, без заглавия. Печатается по кн. «Весной, в Иудее». *Nel mezzo...* — строки из «Божественной комедии» Данте.

Ночь (стр. 375).— «Весной, в Иудее». Печатается по этому тексту.

Искушение (стр. 376).— «Весной, в Иудее». Печатается по этому тексту.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ И. А. БУНИНЫМ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Буря (стр. 377).— Журн. «Наблюдатель», СПб., 1895, № 6, июнь. Печатается по кн. ЛН, кн. 1, с. 195.

«Вдали еще гремит, но тучи уж свалились...» (стр. 378).— Журн. «Мир божий», СПб., 1900, № 8, август, под заглавием «В лесах над Десною».

Последняя гроза (стр. 378).— Журн. «Мир божий», СПб., 1900, № 9, сентябрь.

Крещенская ночь (стр. 379).— Журн. «Детское чтение», М., 1901, № 1, январь. Печатается по тексту журнала «Перезвоны», Рига, 1926, № 9.

В лесу (стр. 381).— Журн. «Детское чтение», М., 1901, № 6, июнь. Печатается по кн. «Полевые цветы», 1901.

Утро (стр. 382).— Журн. «Детское чтение», М., 1901, № 7, июль.

У залива (стр. 382).— Журн. «Детское чтение», М., 1901, № 7, июль. Печатается по кн. «Полевые цветы», 1901.

«Стояли ночи северного мая...» (стр. 383).— «Журнал для всех», СПб., 1901, № 8, август, под заглавием «Ночью».

«В поздний час мы были с нею в поле...» (стр. 383).— Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 8, август, под заглавием «Отрывок».

Надпись на могильной плите (стр. 384).— «Журнал для всех», СПб., 1901, № 8, август.

Ручей (стр. 384).— Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 9, сентябрь, без заглавия.

«Пока я шел, я был так мал!..» (стр. 385).— «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», СПб., 1901, № 9, сентябрь, под заглавием «На горах».

«Из тесной пропасти ущелья...» (стр. 385).— Журн. «Мир божий», СПб., 1901, № 11, под заглавием «Прометы».

«Жесткой, черной листвою шелестит и трещет кустарник...» (стр. 386).— Журн. «Русская мысль», М., 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Метель».

Веснянка (стр. 386).— «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», СПб., 1901, № 12, декабрь, под заглавием «Гроза». Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921.

Кедр (стр. 388).— «Новые стихотворения», 1902.

На монастырском кладбище (стр. 388).— Газ. «Курьер», М., 1902, № 2, 2 января.

Ночь (стр. 389).— Журн. «Русская мысль», М., 1902, № 1, январь. Мемфис — столица Египта в XXVIII—XXIII вв. до н. э.; там сохранились остатки храмов, некрополь. Вавилон — древний город в Месопотамии, на территории современного Ирака. В XIX—VI вв. до н. э. — столица Вавилонии, завоеванной позднее персами. Понт — Понт Эвксинский, древнегреческое название Черного моря («Гостеприимное море»).

Горный путь к морю (стр. 390).— Газ. «Курьер», М., 1902, № 103, 14 апреля.

На озере (стр. 391).— Журн. «Русская мысль», М., 1902, № 7, июль. Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921.

Первая любовь (стр. 392).— «Журнал для всех», СПб., 1902, № 8, август.

Забывший фонтан (стр. 392).— Журн. «Русская мысль», М., 1902, № 9, сентябрь, под заглавием «Осенние дни». Печатается по кн. «Начальная любовь», 1921.

Бальдёр (стр. 393).— Журн. «Мир божий», СПб., 1906, № 7, июль. Бальдёр — в скандинавской мифологии бог света

(солица), сын Одина. Локи — божество, являющееся олицетворением огня как разрушительной стихии. Он прекрасен на вид, но постоянно замышляет злое. Хаду, или Годр — слепой бог, убивший кроткого юного Бальдера по наущению Локи ростком омелы, ибо ничем другим поразить его было нельзя, так как все существа и все другие вещи дали клятву не причинять вреда Бальде-ру. За совершенное убийство Локи был прикован богами к ска-ле. Убийству Бальдера посвящена в «Эдде» сага «Песнь пут-ника».

«Луна над шумною Курою...» (стр. 393).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 359, 27 мая. Печатается по ЛН, кн. 1, с. 195.

«Луна полночная глядит...» (стр. 394).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ. В автографе Бунин ука-зал: «Набросок в записной книжке».

«Весна, и ночь, и трепет звезд...» (стр. 394).— «Ежемесячный журнал», СПб., 1904, № 9.

При свече (стр. 394).— Журн. «Северные записки», СПб., 1914, № 2, февраль.

Звезда Морей (стр. 395).— Газ. «Курьер», М., 1901, № 356, 25 декабря, под заглавием «Stella maris». Этот текст переработан автором так, что, по существу, написано новое сти-хотворение; напечатано: «Зарницы», сб. 1. СПб., 1908.

«Что молодость! Я часто на охоту...» (стр. 395).— ЛН, кн. 1, с. 181. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Жгли на кострах за пап и за чертей...» (стр. 396).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу (Музей И. С. Тургене-ва в Орле).

«Идет тяжелый гул по липам...» (стр. 396).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу (Музей И. С. Тургенева в Орле).

Клад (стр. 396).— Журн. «Современный мир», СПб., 1908, № 12. В «Записях», опубликованных в газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4127, 10 июля, Бунин приводит слова Саади («Гюлистан»): «У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоглавый змей». Несомненно, стихотворение связано с этими словами Саади. Заключенную в них мысль высказывал Пушкин. См. также: Бунин, т. 9, с. 277—278.

Сталь (стр. 397).— Альманах «Вершины», кн. 1. СПб., 1909.

В арабской деревне (стр. 397).— Бунин, т. 1. Печа-тается по автографу.

«Лик прекрасный и бескровный...» (стр. 397).— Газ. «Русское слово», М., 1915, № 296, 25 декабря, под заглавием «В аравийском море». Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1925, № 151, 31 октября.

Невеста (стр. 398).— Журн. «Современный мир», Пг., 1915, № 12, декабрь.

Кинематограф (стр. 398).— Журн. «Иллюстрированная Россия», Париж, 1925, № 20, 1 июня. Датируется по автографу ЦГАЛИ.

Бретань (стр. 399).— «Литературная газета», 1960, № 66, 4 июня. Датируется по автографу ЦГАЛИ.

Молчание (стр. 399).— Газ. «Слову свобода!», 1917, 10 декабря. Позднейшая редакция, сильно измененная,— в «Русской газете», Париж, 1924, № 97, 17 августа.

По теченью (стр. 400).— Бунин, т. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

На нубийском базаре (стр. 400).— Бунин, т. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

Венчик (стр. 401).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Переводить (орловск.) — звонить по покойникам.

«Никогда вы не воскреснете, не встанете...» (стр. 401).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«По древнему унывному распеву...» (стр. 401).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Ранний вариант текста опубликован в газете «Одесский листок», 1919, № 127, 25 сентября (8 октября), под заглавием «Плещаница».

«И шли века, и стены Рая пали...» (стр. 402).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«И снова вечер, степь и четко...» (стр. 402).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Фотокопия другого автографа: ЛН, кн. 1, с. 184.

«Снег дымился в раскрытой могиле...» (стр. 403).— ЛН, кн. 1. Печатается и датируется по автографу ЦГАЛИ.

Свет (стр. 403).— Газ. «Россия», Париж, 1927, № 6, 1 октября. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Иконку, черную дощечку...» (стр. 404).— ЛН, кн. 1. Ранняя редакция — газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 98, 13/26 декабря.

«Луна и Нил. По берегу, к пещерам...» (стр. 404).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Бледна приморская страна...» (стр. 405).— ЛН, кн. 1. В ранней редакции, под заглавием «Разлука», — газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 786, 28 июля. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

В рощах Урвелы (стр. 406).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января. Печатается по автографу ЦГАЛИ. Роща Урвелы — согласно буддийскому мифу, священная роща, где Шакья-Муни (Будда) достиг просветленья под деревом бодхи.

О роше Урвелы говорится также в рассказе Бунина «Город Царя Царей» (Бунин, т. 5, с. 135) и в кп. «Освобождение Толстого» (т. 9, с. 50). *Майя* — понятие древней и средневековой индийской философии, имеет несколько значений; согласно наиболее распространенному из них, материальный мир иллюзорен, истинная реальность — духовное начало. *Майя* также — имя матери Будды. Здесь это слово многозначно: содержит философский смысл и в то же время обозначает конкретное лицо, что соответствует многозначности образов индийской поэзии.

«Нет Колеса на свете, Господи н!» (стр. 406). — *ЛН*, кн. 1. Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Колесо, Колесница — в мифологии индоевропейских и ряда других народов астральные символы (Солнца, Большой Медведицы и др.), выражающие мысль вечного кругового движения.

Степь (стр. 406). — Газ. «Неделя народного слова», М., 1918, № 2, 22 апреля, под заглавием «Монгола»; газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 98, 13/26 декабря, под заглавием «Степь». Датируется по автографу *ЦГАЛИ*.

«Качаюсь, плескаюсь — и с шумом встаю...» (стр. 407). — *ЛН*, кн. 1. Печатается по автографу *ЦГАЛИ*.

«На всякой высоте прельщает Сатана...» (стр. 407). — *ЛН*, кн. 1. Печатается и датируется по автографу *ЦГАЛИ*. *Фавор* — гора, где, согласно Библии, пребывал Христос, преодолевший в пустыне соблазны сатаны.

«Ночь и алые зарницы...» (стр. 407). — Журн. «Современный мир», Пг., 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «Дачная прогулка». Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1926, № 359, 27 мая.

«Ты высоко, ты в розовом свете зарни...» (стр. 408). — *ЛН*, кн. 1. Печатается по автографу *ЦГАЛИ*. Датируется по упоминанию о Петрограде, наименованном так в 1914 г.

В караване (стр. 408). — Литературная газета, 1960, № 66, 4 июня. Датируется и печатается по автографу.

«Дует ветер, море хлеба...» (стр. 409). — *ЛН*, кн. 1. Печатается по автографу *ЦГАЛИ*.

Бред (стр. 409). — Журн. «Сполохи», Берлин, 1922, № 5. Датируется по автографу.

«Ты странствуешь, ты любишь, ты счастлива...» (стр. 409). — Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 39, 6/19 октября. Датируется по автографу *ЦГАЛИ*.

Из книги пророка Исани (стр. 410). — Газ. «Киевская мысль», 1918, 12 ноября (30 октября). Печатается по тексту «Русской газеты», Париж, 1924, № 97, 17 августа.

«— Дай мне, бабка, зелий приворот-

ных...» (стр. 410).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 25, 22 сентября (5 октября).

Во полунощи (стр. 411).— Газ. «Одесский листок», 1919, № 127, 25 сентября: ранняя редакция — «Ежемесячный журнал», Пг., 1916, № 1. Печатается по тексту «Одесского листка». Стихотворение написано на сюжет евангельской притчи (Евангелие от Матфея, XXV, 1—13) и тропаря «Се жених грядет в полунощи...». Комментарием к этому стихотворению могут быть слова Герцена: «Дева чистая называет себя невестою Христа — невестою того, которого Соломон называл «женихом церкви» (Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. 1. М., 1954, с. 86). Достоевский писал: «На религиозном и мистическом языке под выражением «невеста Христова» всегда разумелась вообще церковь» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. 25. Л., 1983, с. 125). Дата в автографе: 2. IX. 14.

«Высокий белый зал, где черная рояль...» (стр. 411).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 39, 6/19 октября. Печатается по газете «Возрождение», Париж, 1926, № 369, 6 июня.

Ночной путь (стр. 411).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января, под заглавием «Ночное плаванье». Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

«Гор сиреневых кручи встают...» (стр. 412).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января, под заглавием «Вечер».

Звезда Морей, Мария (стр. 412).— Бунин, т. 8. Печатается по автографу ГБЛ.

Изгнание (стр. 413).— «Отечество», Париж, 1926, 6 июня. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

Газелла (стр. 413).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января. Мензала — Мензала, мелководная лагуна в дельте Нила.

«И вновь морская гладь бледна...» (стр. 414).— Сб. «Муза Диаспоры», Франкфурт-на-Майне, 1960. Датируется и печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Что впереди? Счастливый долгий путь...» (стр. 414).— Литературная газета, 1960, № 66, 4 июня. Датируется и печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Звезда, воспламеняющая твердь...» (стр. 414).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 355, 23 мая. Датируется и печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Порыжели холмы. Зноем выжжены...» (стр. 415).— Сб. «Муза Диаспоры», Франкфурт-на-Майне, 1960. Датируется и печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Маргарита прокралась в светелку...» (стр. 415).— Журн. «Звено», Париж, 1926, № 194. *Маргарита* — здесь: героиня трагедии Гете «Фауст».

«Только камни, пески, да нагне холмы...» (стр. 416).— Журн. «Звено», Париж, 1926, № 194.

«Земной, чужой душе закат!..» (стр. 416).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 359, 27 мая.

Отрывок (стр. 417).— Газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

Портрет (стр. 417).— Газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

«Уж ветер шарит по полю пустому...» (стр. 417).— Сб. «Муза Диаспоры». Франкфурт-на-Майне, 1960.

«В полуденных морях, далеко от земли...» (стр. 418).— Сб. «Муза Диаспоры». Франкфурт-на-Майне, 1960. Это отдельные отрывки. В изд. Бунин, т. 8 — напечатаны как одно стихотворение.

«Высокие нездешние цветы...» (стр. 419).— Сб. «Муза Диаспоры», Франкфурт-на-Майне, 1960. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Сохнут, жарко сохнут травы...» (стр. 419).— Литературная газета, 1960, № 66, 4 июня.

«Где ты, угасшее светило?..» (стр. 419).— Неделя, М., 1960, № 10, 1—7 мая.

«Ночью, в темном саду, постоял вдалеке...» (стр. 420).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Ты жила в тишине и покое...» (стр. 420).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Один я был в полночном мире...» (стр. 420).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«Под окном бродила и скучала...» (стр. 421).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

«И снова ночь, и снова под луной...» (стр. 421).— ЛН, кн. 1. Печатается по этой публикации.

«Ночь и дождь, и в доме лишь одно...» (стр. 421).— ЛН, кн. 1. Печатается по автографу ЦГАЛИ.

Венки (стр. 422).— Журн. «Москва», 1959, № 11. Печатается по автографу ЦГАЛИ (ф. 44, оп. 2, ед. хр. 7). Другой автограф ЦГАЛИ (ф. 44, оп. 4, ед. хр. 23, л. 9) — ранняя редакция этого стихотворения, состоит из трех четверостиший, без заглавия. Датирование 1950-м годом основано на предположении, что мысль написать это стихотворение, — или, по крайней мере, переработать имевшийся текст, — была внушена Бунину празднованием его 80-летнего юбилея.

ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО

(1807—1882)

ПЕСНЬ О ГАЙАВАТЕ

(Стр. 423)

Газ. «Орловский вестник», 1896, № 114, 116, 120, 128, 132, 133, 163, 168, 175, 180, 198, 200—202, 208, 210, 213, 217, 220, 226, 229, 236, 243, 248, 249, 252, 2 мая — 4 сентября. Печатается по кн.: Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод Ив. А. Бунина, издание 8-е. Русское книгоиздательство в Париже «Север», 1921, — с рукописными исправлениями Бунина.

Над «Гайаватой», с ранних лет пленившим его, Бунин работал многие годы. Он писал О. А. Михайловой в феврале — марте 1895 года: «...я ведь помешан на Гайавате, — я ведь с самого детства сплю и вижу перевести всю эту дивную песню, и издать ее, и любоваться, и сотни раз самому перечитывать ее, если не будет читателей» (ЛН, кн. 1, с. 660). Бунин говорит в письме к брату Юлию Алексеевичу 28 марта 1896 года: все лето этого года «ездил по Днепру, по Крыму, бродил в степях, сидел у моря». Во время этих странствий занимался переводом, по его словам, «божественной» «Песни о Гайавате» (см.: Бабореко А. И. А. Бунин о переводах. — Сб. «Мастерство перевода». М., 1968, с. 377—378).

Перевод, напечатанный в «Орловском вестнике» и вышедший отдельным изданием в 1896 году, Бунин сильно переработал для нового издания (1898). При повторных публикациях он снова обращался к этой поэме, достигая все большего совершенства стиха. Он хотел, чтобы перевод был высокопоэтическим, не дословным, — «дословный перевод, — говорил он, — все искажает» (ЛН, кн. 2, с. 317), — чтобы чувствовался «запах первобытных лесов» (ЛН, кн. 1, с. 441). Этой цели и служил многолетний, охватывающий более трех десятилетий, труд над стилем поэмы.

Для девятого издания Бунин сократил предисловие, несколько изменил заглавие «Словаря индейских слов...» — и на титуле написал: «Для новых изданий брать только этот текст. Ив. Бунин. 11 октября 31 г.» (этот экземпляр «Гайаваты» хранится у автора настоящего комментария).

«Гайавата» сопровождал Бунина всю жизнь. Читая свои произведения близким ему людям, он особенно любил читать «Гайавату». Г. Н. Кузнецова писала мне 7 ноября 1968 года: «Вспоминаю, как Иван Алексеевич читал мне «Песнь о Гайавате». Он очень любил ее и сам очень трогался образом Миннегаги. До сих

пор слышу его голос, читающий главу о том, как Гайавата берет в жены Миннегагу и уходит с ней».

Бунина поражала «оригинальность... сюжета и новизна блестящей, строго выдержанной формы». Главное, «что навсегда упрочило за «Песней о Гайавате» славу,— писал он в 1908 году,— это — редкая красота художественных образов и картин, в связи с высоким поэтическим и гуманным настроением. В «Песне о Гайавате» отразились все лучшие качества души и таланта ее творца. Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному и прекрасному. «Добро и красота незримо разлиты в мире»,— говорил он и всю жизнь всюду искал их. Ему всегда были особенно дороги чистые сердцем люди, его увлекала девственная природа, манили к себе древние народные предания с их величавой простотой и благородством, потому что сам он до глубокой старости сохранил в себе возвышенную, чуткую и нежную душу. Он говорил о поэтах:

«Только те были увенчаны, только тех имена священны, которые сделали народы благородней и свободнее».

Эти слова можно применить к нему самому. Он призывал людей к миру, любви и братству, к труду на пользу ближнего. В его поэмах и стихотворениях всегда «незримо разлиты добро и красота»; они всегда отличаются, не говоря уже о простоте и изяществе формы, тонким пониманием и замечательным художественным воспроизведением природы и человеческой жизни.

«Песнь о Гайавате» служит лучшим доказательством всего сказанного. Она трогает нас то величием древней легенды, то тихими радостями детства, то чистотой и нежностью первой любви, то безмятежностью трудовой жизни на лоне природы, то скорбью роковых и вечных бед человеческого существования. Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает цельные характеры первобытных людей, их быт и мирозерцание» (Бунин, т. 8, с. 43—44).

Критика оценила перевод как высокопоэтический и точно передающий подлинник. На каждое издание поэмы печать отзывалась с восхищением. Перевод, писала одна из газет, «музыкален, поэтичен, передает вполне дух подлинника и вообще очень близок к нему» (цитируется по вырезке из газеты. Музей И. С. Тургенева в Орле).

По мнению писателя А. М. Федорова, «трудно передать поэтическое произведение с большою точностью и вместе с тем с большим настроением, чем это сделал г. Бунин» («Южное обозрение», 1898, № 576, 4 сентября).

По отзыву газеты «Сын отечества» (1899, № 61, 5 марта), перевод Бунина сделан «с величайшей тщательностью... Стих его легок и музыкален, образы поэтичны, тон выдержан прекрасно

и как нельзя лучше передает то величественное впечатление, какое и должна производить эта поэма Лонгфелло».

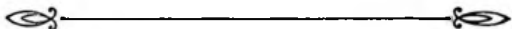
Бунин, — говорится в рецензии журнала «Вестник воспитания» (1899, № 6). — «проникся духом подлинника, духом своеобразной природы и человека и дал произведение, отличающееся всею прелестью оригинала».

По мнению рецензента журнала «Мир божий» (1899, № 5), Бунин «сумел сохранить необыкновенную простоту стиля подлинника, не ослабив могучей образности его».

Современники отмечали, что в процессе работы над поэмой Бунин в совершенстве овладел стихом. Об этом писал художник и писатель П. А. Нилус; «эта большая работа, — развивал он далее свою мысль, — несомненно, оказала на Бунина влияние: так много прекрасной простоты и свежести в этом замечательном произведении» (ЛН, кн. 2, с. 430).

«Гайавата» был отмечен Пушкинской премией Академии наук — решением 19 октября 1903 года.

А. Бабореко



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

- Авраам («Был Авраам в пустыне темной ночью...») — 190
Агни («Лежу во тьме, сраженный злою силой...») — 182
«Ай, тяжела турецкая шарманка!..» (С обезьяной) — 224
Айя-София («Светильники горели, непонятный...») — 187
Александр в Египте («К орakuлу и калищу Сиваха...») — 227
«Аел ты в зареве Батыя...» (Шестикрылый) — 295
Аленушка («Аленушка в лесу жила...») — 298
Алисифия («На песок у моря синего...») — 270
«Ангел смерти в Судный день умрет...» (Бессмертный) — 226
«Английские солдаты в цитадели...» (Каир) — 226
Апрель («Туманный серп, неясный полумрак...») — 177
Аркадия («Ключ гремит на дне теснины...») — 341
«Архангел в сияющих латах...» (Михаил) — 363
«Архистратиг средневековый...» — 333
Атлант («...И долго, долго шли мы плоскогорьем...») — 184
Баба-Яга («Гулкий шум в лесу нагоняет сон...») — 237
«Багряная печальная луна...» — 114
Балагула («Балагула убегает и трясет меня...») — 222
Бальдер («Хадү — слепец, он жалок. Мрак глубокий...») — 393
Бегство в Египет («По лесам бежала божья мать...») — 296
«Бегут, бегут листы раскрытой книги...» — 150
Бедуин («За Мертвым морем — пепельные грани...») — 232
Без имени («Курган разрыт. В тяжелом саркофаге...») — 258
Безнадежность («На севере есть розовые мхи...») — 219
«Белые круглятся облака...» — 357
Белые крылья («В пустыне красной над пророком...») — 191

«Белый голубь летит через море...» (Голубь) — 349
Белый олень («Едет стрелок в зеленые луга...») — 269
«Белый полдень, жар несносный...» (Поморье) — 177
Белый цвет («Пустынник нам сказал: «Благословен господь!...»») — 291
Берег («За окном весна сияет новая...») — 248
Березка («На перевале дальнем, на краю...») — 262
«Беру твою руку и долго смотрю на нее...» — 74
Бессмертный («Ангел Смерти в Судный день умрет...») — 226
Благовестие о рождении Исаака («Они пришли тропинкою лесною...») — 336
«Бледна приморская страна...» — 405
«Бледно-зеленые грустные звезды...» (В горной долине) — 167
«Бледно-синий загадочный лик...» (Псалтирь) — 314
«Блистая, облака лепились...» (Розы) — 143
«Бог для ночных паломников в Могребе...» (Путеводные знаки) — 188
Бог («Дул с моря бриз, и месяц чистым рогом...») — 228
Богиня («Навес кумирни, жертвенник в жасмине...») — 322
Богом разлученные («В ризы черные одели...») — 307
Бог полдня («Я черных коз пасла с меньшей сестрой...») — 230
«Болото тихой северной страны...» (Трясина) — 220

«Большая муфта, бледная щека...» (Поэтесса) — 344
«Брат, в запыленных сапогах...» (Донник) — 178
«Брат, как пасмурно в келье!...» (Послушник) — 156
Бред («Стоит, трепещет Стрекоза...») — 409
Бретань («Ночь ледяная и немая...») — 399
Бродяги («На позабытом тракте к Оренбургу...») — 118
«Бродя по залам, чистым и пустым...» (Портрет) — 417
«Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь...» (Завет Саади) — 277
Буря («Истомлена полднемным зноем...») — 377
«Бушует полая вода...» — 53
«Бью звонкой сталью по кремню...» (Сталь) — 397
«Бывает море белое, молочное...» — 343
«Была весна, и жизнь была легка...» (1885 год) — 370
«Был Авраам в пустыне темной ночью...» (Авраам) — 190
«Был ослеплен Самсон, был господом обижен...» (Самсон) — 145
«Был поздний час — и вдруг над темнотой...» — 97
«Был праздник в честь мою, и был увенчан я...» (Венки) — 422
«Был с богом Моисей на дикой горной круче...» (Тора) — 286
«Бысть некая зима...» (Святой Прокопий) — 303
Вальс («Похолодели лепестки...») — 199
«В апрельский жаркий пол-

лень, по кремнистой...» (Воскресение) — 208

В арабской деревне («Если ночью лечь на теплой крыше...») — 397

В архипелаге («Осенний день в лиловой крупной зыби...») — 229

«В белом песке золотос блестяло кольцо...» (Кольцо) — 132

«В березовом лесу, где распевают птицы...» (Лесная дорога) — 115

«В вечерний час тепло во мраке леса...» (Ночлег) — 255

«В воскресенье, раньше литургии...» (О Петре-разбойнике) — 252

«В гелиотроповом свете молний летучих...» — 369

«В глубоких колодцах вода холодна...» (Повту) — 289

«В глуши лесной, в глуши зеленой...» (Родник) — 93

«В голых рощах вяла холод...» (Ландыш) — 354

В горах («Катится диском золотым...») — 144

«В горах, от снега побелевших...» (Миньона) — 315

В горах («Поэзия темна, в словах не выразима...») — 315

«В горах Сицилии, в монастыре забытом...» (Кадильница) — 308

В горной долине («Бледно-зеленые грустные звезды...») — 167

«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...» — 148

«Вдали еще гремит, но тучи уж свалились...» — 378

«Вдали темно и чащи строгие...» (Псковский бор) — 263

«В дачном кресле, ночью, на балконе...» — 361

«В деревне капали капли...» (Небо) — 165

Вдовец («Железный скрип скрипит над колыбелью...») — 240

«Вдоль этих плоских знойных берегов...» — 222

«Вдыхая тонкий запах чисток...» (Закат) — 176

«Веет утро прохладой степною...» (На проселке) — 65

«Великий Шейх, седой и мощный друз...» (Гермон) — 205

Венеция («Восемь лет в Венеции я не был...») — 280

Венеция («Колоколов средневековый...») — 368

Венки («Был праздник в честь мою, и был увенчан я...») — 422

Венчик («Колокола переводили...») — 401

Вершина («Леса, скалистые теснины...») — 161

«Веселые скоморохи...» (Скоморохи) — 299

«Весенний день синее в вышине...» («Горный путь к морю...») — 390

«Весна, и ночь, и трепет звезд...» — 394

«Весна! Темнеет над аулом...» (Новоселье) — 185

Веснянка («Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью...») — 386

«Весь день метель. За дверью у соседа...» (Кружево) — 241

«Ветви кедра — вышивки зеленым...» (Из окна) — 172

Вечер («О счастье мы всегда лишь вспоминаем...») — 246

«Вечернее зимнее солнце...»
(Диза) — 130

Вечерний жук («На лиловом небе...») — 325

«Вечерний час. В долину тень сползла...» (Горный лес) — 230

«Вечерних туч над морем шла гряда...» (Памяти друга) — 337

«В жарком золоте заката Пирамиды...» — 294

«Взвевая легкие гардины...» (Сполохи) — 250

«Взойди, о Ночь, на горный свой престол...» — 289

«Видал сон Мушкет...» (Мушкет) — 279

«Вид на залив из садика таверны...» — 352

Вино («На Яйле зазеленели буки...») — 240

Вирь («Где ельник сумрачный стоит...») — 88

В караване («Под луной на дальнем юге...») — 408

«В кипящей пене валуны...» (Отлив) — 322

В костеле («Гаснет день — и звон тяжелый...») — 51

В крымских степях («Синеет снеговой простор...») — 137

«В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни...» (Цейлон) — 291

В лесу («Тропинкой темною лесною...») — 381

«В мелкошесы пело глухо, строго...» — 242

«В норе, домами сдавленной...» — 335

«В ночь рождения Исы...» (Источник звезды) — 257

«Вода за холодные серые дни в октябре...» (Рыбалка) — 236

«Воззвал господь, скорбящий о Сионе...» (Господь скорбящий) — 284

«Возьмет господь у вас...» (Из книги пророка Исани) — 410

«Во имя бога, вечно всеблагого!...» (Закон) — 223

Война («От кипарисовых гробниц...») — 292

«В окно пустое ветер дул...» (Кинематограф) — 398

«В окно я вижу груды облаков...» (Отрывок) — 111

«В окошко из темной каюты...» — 68

«Вокруг пещеры гул. Над нами мрак. Во мраке...» (Прометей в пещере) — 247

«Волна, хрустальная, тяжелая, лизала...» (Грот) — 349

«Волна ушла — блещут, как золотые...» (Золотой невод) — 185

Волны («Смотрит на море старый Султан...») — 354

Во полунощи («В сосудах тонких и прозрачных...») — 411

В орде («За степью, в приволжских песках...») — 319

«Ворох листьев сухих все сильней, веселей разгорается...» (Костер) — 64

«Восемь лет в Венеции я не был...» (Венеция) — 280

Воскресение («В апрельский жаркий полдень, по кремнистой...») — 208

Воспоминание («Золотыми цветут острями...») — 353

Восход луны («В чаще шорох потасанный...») — 360

«Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны...» — 351

«Вот и скрылись, позабылись
свежих гор чаалмы...» (К восто-
ку) — 187

«Воткнув копье, он сбросил
шлем и лег...» (После битвы) —
123

В открытом море («В откры-
том море — только небо...») —
162

«Вот он идет проселочной до-
рогой...» (Слепой) — 209

«Вот он снова, этот бе-
лый...» — 335

В отъезде поле («Сумрак
ночи к западу уходит...») —
89

«Вот этот дом, сто лет тому
назад...» (Дедушка в молодос-
ти) — 331

В первый раз («Ночью лампа
на окне стояла...») — 254

«Впереди большак, подво-
да...» (Цыганка) — 47

«В подземный мир введет
на суд Отца...» (За гробом) —
193

В поезде («Все шире вольные
поля...») — 57

«В поздний час мы были с
нею в поле...» — 383

«В полдневный зной, когда на
щебень...» (Оксаниды) — 166

«В полночный час я встану и
взгляну...» — 367

«В полночь выхожу один из
дома...» — 45

«В полуденных морях, далеко
от земли...» — 418

«В полях, далеко от усадь-
бы...» (Сапсан) — 146

«В полях сухие стебли куку-
рузы...» — 235

«В пустой маяк, в лазурь
оконных впадин...» (На мая-
ке) — 143

«В пустом, сквозном чертоге
сада...» — 360

«В пустыне красной над про-
роком...» (Белые крылья) —
191

«В пустыне раскаленной мы
блуждали...» (Столп огнен-
ный) — 182

«В пустынной вышине...» —
79

«Враждебных полон тайн на
взгорье спящий лес...» — 82

«В ризы черные одели...»
(Богом разлученные) — 307

В рощах Урвелы («Ты ль по-
винна, Майя, что презрел...») —
406

«В святой Софии голуби лета-
ли...» (Люцифер) — 233

«Все лес и лес. А день тем-
неет...» — 79

«Все море — как жемчужное
зерцало...» — 151

«Все сады в росе, но теплы
гнезда...» (Нищий) — 213

«Все снится мне заросшая
травой...» — 368

«Все снится: дочь есть у ме-
ня...» (Дочь) — 327

«Все темней и кудрявей бере-
зовый лес зеленеет...» — 90

«Все — точно в полусне. Над
серою водой...» (Сумерки) —
95

«Все, что хранит следы давно
забытых...» (Клад) — 396

«Все шире вольные поля...»
(В поезде) — 57

В Сицилии («Монастыри в
предгорьях глухих...») — 268

«В сосудах тонких и проз-
рачных...» (Во полунощи) —
411

«В старой темной девичьей...»
(Няня) — 217

В старом городе («С темной башни колокол уныло...») — 103

В степи («Вчера в степи я слышал отдаленный...») — 49

«В степи, с обрыва, на сто миль...» (Обвал) — 221

«В столетнем мраке черной ели...» — 302

«В стороне далекой от родного края...» — 56

Встреча («Ты на плече, рукою обнаженной...») — 371

«В сумраке утра проносится призрак Одина...» — 124

«В сухом лесу стреляет длинный кнут...» (Молодость) — 318

«В сырой избушке шорника Лукьяна...» (Лимонное зерно) — 259

«Вся в снегу, кудрявом, благовонном...» (Старая яблона) — 349

«В тихом старом городе Скутари...» (Тэмджид) — 157

«В туче, солнце заступающей...» — 53

«В угольной — солнце, запах кипариса...» (Наследство) — 216

Вход в Иерусалим («Осанна! Осанна! Гряди...») — 369

«В холодный зал, луною освещенный...» (Мистику) — 159

В цирке («С застывшими в блеске зрачками...») — 323

«В час полуденный, зыбко свиваясь по Древу...» (Искушение) — 376

«В чаще шорох потаенный...» (Восход луны) — 360

«Вчера в степи я слышал отдаленный...» (В степи) — 49

«В чистом поле, у камня Алатыря...» (Святогор) — 276

«В щит золотой, висящий у престола...» (Судный день) — 273

«Вьется путь в снегах, в степи широкой...» — 71

«Высокие нездешние цветы...» — 419

«Высокий белый зал, где черная рояль...» — 411

«Высоко в небе месяц ясный...» (Тень) — 135

«Высоко в просторе небеса...» — 101

«Высоко наш флаг трепещет...» — 105

«Высоко поднялся и бежит...» (Рассвет) — 93

«Высоко стоит луна...» (Терем) — 179

Гаданье («Гадать? Ну что же, я послушна...») — 347

«Гадать? Ну что же, я послушна...» (Гаданье) — 347

Газелла («Холодный ветер дует с Мензала...») — 413

Гальциона («Когда в волне мелькнул он мертвым ликом...») — 229

«Гаснет вечер, даль синее...» — 55

«Гаснет день — и звон тяжелый...» (В костеле) — 51

«Где ельник сумрачный стоит...» (Вирь) — 88

«Где ты, звезда моя заветная...» (Сириус) — 366

«Где ты, угасшее светило?...» — 419

«Геймдаль искал родник божественный...» — 199

Гермон («Великий Шейх, седой и мощный друз...») — 205

«Герой — как вихрь, срыва-
ющий палатки...» (Мудрым) —
188

«Глаза козюли, медленно
ползущей...» (Ночная змея) —
265

«Глубокая гробница из пор-
фира...» (Гробница) — 275

Голуби («Раскрыт балкон,
сожжен цветник морозом...») —
136

«Голубое основание...» (При
свече) — 394

Голубь («Белый голубь летит
через море...») — 349

Горе («Меркнет свет в небесах...») — 179

«Горит хрусталь, горит рубин
в вине...» (Полдень) — 246

«Горный ключ по скатам и
оврагам...» (Гробница Сафии) —
170

Горный лес («Вечерний час.
В долину тень сползла...») —
230

Горный путь к морю («Весен-
ний день синее в вышине...») —
390

«Гор сиреневых кручи вста-
ют...» — 412

«Горячо сухой песок свер-
кает...» (Эной) — 94

Господь скорбящий («Воз-
звал господь, скорбящий о Сио-
не...») — 284

«Гранитный крест меж сосен,
на песчаном...» (Руслан) — 328

Гробница («Глубокая гроб-
ница из порфира...») — 275

Гробница Рахили («И умер-
ла, и схоронил Иаков...») —
206

Гробница Сафии («Горный
ключ по скатам и оврагам...») —
170

«Гроза прошла над лесом сто-
роною...» — 103

«Громады гор, зазубренные
скалы...» (Кондор) — 120

Грот («Волна, хрустальная,
тяжелая, лизала...») — 349

«Гул бури за горой и грохот
отдаленных...» (Сирокко) —
314

«Гулкий шум в лесу нагоняет
сон...» (Баба-Яга) — 237

«Густой зеленый ельник у до-
роги...» — 152

Дагестан («Насторожись,
стань крепче в стремена...») —
186

«— Дай мне, бабка, зелий
приворотных...» — 410

«Дай мне звезду,— твердит
ребенок сонный...» (Летняя
ночь) — 268

«Далеко на севере Капел-
ла...» — 126

Два голоса («Ночь, сынок,
непроглядная...») — 263

Две радуги («Две радуги —
и золотистый, редки...») —
175

Дворецкий («Ночник горит
в холодном и угрюмом...») —
259

Девичья («Свежий ветер
дует в сумерках...») — 222

«Девушка, что ты чертила...»
(По теченью) — 400

«Девушки-русалочки...»
(Петров день) — 197

Дедушка в молодости («Вот
этот дом, сто лет тому
назад...») — 331

Дедушка («Дедушка ест гру-
шу на лежанке...») — 277

День гнева («...И Агнец снял
четвертую печать...») — 168

«День распогодился с закатом...» (Келья) — 163

Детская («От пихт и елей в горнице темней...») — 174

Детство («Чем жарче день, тем сладостней в бору...») — 177

Джордано Бруно («Ковчег под предводительством осла...») — 202

Диза («Вечернее зимнее солнце...») — 130

Дикарь («Над стремью скал — чернеющий орел...») — 237

«Дикий лавр, и плющ, и розы...» (У гробницы Вергилия) — 311

Дня («Штиль в безгранично светлом Ак-Денизе...») — 204

«Для жизни жизнь! Вот пенные буруны...» (С корабля) — 221

«Дни близ Неаполя в апреле...» — 375

Долина Иосафата («Отрада смерти страждущим дана...») — 232

«Долог был во мраке ночи...» — 66

«Домой я шел по скату вдоль Оки...» (Запустение) — 132

Донник («Брат, в запыленных сапогах...») — 178

Дочь («Все снится: дочь есть у меня...») — 327

Древний образ («Она стоит в серебряном венце...») — 373

«Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря...» (Надпись на чаше) — 131

«Древняя обитель супротив луны...» — 362

«Дует ветер, море хлеба...» — 409

«Дул с моря бриз, и месяц чистым рогом...» (Бог) — 228

«Дул теплый ветер. Точно сея...» (Колизей) — 317

Дурман («Дурману девочка наелась...») — 309

«Дурману девочка наелась...» (Дурман) — 309

«Духи над пустыней пролетали...» (Магомет в изгнании) — 193

«Дымится поле, рассвет бежит...» — 102

Дюны («За сизыми дюнами — северный тусклый туман...») — 180

Дядька («За окнами — снега, степная гладь и ширь...») — 200

«Едем бором, черными лесами...» — 342

«Едет стрелок в зеленые луга...» (Белый олень) — 269

«Ельничком, березничком — где душа захочет...» (Мужичок) — 259

«Если б вы и сошлись, если б вы и смирились...» — 116

«Если б только можно было...» — 62

«Если ночью лечь на теплой крыше...» (В арабской деревне) — 397

«Еще и холоден и сыр...» — 100

«Еще от дома на дворе...» — 56

«Еще утро не скоро, не скоро...» — 92

Жасмин («Цветет жасмин. Зеленой чащей...») — 138

«Жгли на кострах за пап и за чертей...» — 396

«Железный крюк скрипит над колыбелью...» (Вдовец) — 240

Жена Азиса («Уличив меня в измене...») — 124

«Жесткой, черной листовой шелестит и трепещет кустарник...» — 386

«Жизнь впереди, до старости далеко...» (Судра) — 163

«Забил буграми жемчуг, за клубился...» (Проводы) — 204

Забывший фонтан («Рассыпался чертог из янтаря...») — 392

Завеса («Так говорит господь: «Когда мой раб любимый...») — 273

Завет Саади («Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь...») — 277

«За все тебя, господь, благодарю!» — 105

За гробом («В подземный мир введет на суд Отца...») — 193

Зазимок («Сивером на холоде...») — 297

За измену («Их господь истребил за измену несчастной отчизне...») — 169

Закат («Вдыхая тонкий запах четок...») — 176

Закат («Корабли в багряном зареве заката...») — 95

Заклинание («Из тонкого рогового фиала...») — 345

Закон («Во имя бога, вечно всеблаготворный...») — 223

«За Мертвым морем — пепельные грани...» (Бедуин) — 232

«За мирным Днестром, за горами...» (На Днестре) — 70

«За окнами — снега, степная гладь и ширь...» (Дядька) — 200

«За окном весна сияет новая...» (Берег) — 248

«Запели жрецы, распахнулись врата — восхищенный...» (Конь Афины-Паллады) — 333

«Заплакали чибисы, тонко и ярко...» (Чибисы) — 170

«За погостом Скутари, за черным...» (Напутствие) — 238

Запустение («Домой я шел по скату вдоль Оки...») — 132

«За рекой луга зазеленели...» — 57

«Зарницы лик, как сновиденье...» — 99

«За сизыми дюнами — северный тусклый туман...» (Дюны) — 180

«Засинели, темнеют равнины...» (По вечерней заре) — 92

«За степью, в приволжских песках...» (В орде) — 319

Засуха в раю («От пальм увядших слабы тени...») — 293

«Затрепетали звезды в небесах...» — 82

«Зацвела на воле...» (Песня) — 250

«Зачем пленяет старая могилла...» — 366

«Зашелестела тонкая трава...» (Змея) — 351

«Звезда, воспламеняющая твердь...» — 414

«Звезда дрожит среди вселенной...» — 359

«Звездами вышит парус мой...» (Парус) — 296

Звезда Морей, Марля («На диких берегах Бретани...») — 412

Звезда Морей («Я в бездне был, я жил кошмаром...») — 395

Звездопоклонники («Мир не забудет всеры древних лет...») — 249

«Звезды горят над безлюдной землею...» — 125

«Звезды ночи осенней, холодные звезды!» — 109

«Звон на верблюдах, ровный, полусонный...» (Караван) — 231

«Здесь, в старых переулках за Арбатом...» (Москва) — 203

«Здесь царство Амазонок. Были дикки...» (У берегов Малой Азии) — 181

«Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны...» (Ковсень) — 125

Зейнаб («Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин...») — 191

«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи...» — 81

Зеленый стяг («Ты почишь в ларце, в драгоценном ковчеге...») — 188

«Зеленый цвет морской воды...» — 98

«Земной, чужой душе закат!» — 416

Зеркало («Темнеет зимний день, спокойствие и мрак...») — 313

Зимний день в Оберланде («Лазурным пламенем сияют небеса...») — 119

Зимняя вила («Мистраль качает ставни. Целый день...») — 261

Змея («Зашелестела тонкая трава...») — 351

Змея («Покуда март гудит в лесу по голым...») — 172

Зной («Горячо сухой песок сверкает...») — 94

Зов («Как старым морякам, живущим на покое...») — 256

Золотой невод («Волна ушла — блещет, как золотыс...») — 185

«Золотыми цветут острями...» (Воспоминание) — 353

«...И Агнец снял четвертую печать...» (День гнева) — 168

Иаков («Иаков шел в Харан и ночевал в пути...») — 285

«И ветер, и дождик, и мгла...» (Одиночество) — 134

«И вновь морская гладь бледна...» — 414

«И вот опять уж по зарям...» — 77

Игроки («Овальный стол, огромный. Вдоль по залу...») — 331

«Идет тяжелый гул по липам...» — 396

«И дни и ночи до утра...» (Мать) — 59

«...И долго, долго шли мы плоскогорьем...» (Атлант) — 184

Иерихон («Скользят, текут огни зеленых мух...») — 231

Иерусалим («Это было весной. За восточной стеной...») — 206

Из Анатолийских песней — 222

Из Апокалипсиса («И я узрел: отверста дверь на небеса...») — 106

Изгнание («Темнеют, свищут сумерки в пустыне...») — 413

Из книги пророка Исани
 («Возьмет господь у вас...») —
 410

«Изнемогла, в качалке задрема-
 ла...» (Последние слезы) —
 239

Из окна («Ветви кедра — вы-
 шивки зеленым...») — 172

«Из тесной пропасти
 ущелья...» — 385

«Из тонкогорлого фиала...»
 (Заклинание) — 345

«Иконку, черную дощеч-
 ку...» — 404

Имру-уль-Кайс («Ушли с
 рассветом. Опустели...») — 233

Индийский океан («Над чер-
 нотой твоих пучин...») — 317

«...И нового порфиroy облек-
 ли...» (Отчаяние) — 235

Ириса («Светло в светлице от
 окна...») — 299

«И скрип и визг над бухтой,
 наводненной...» — 195

«И скрылось солнце жаркое
 в лесах...» (Кончина святите-
 ля) — 327

Искушение («В час полуден-
 ный, зыбко свиваясь по Дре-
 ву...») — 376

«И сладостно и грустно ви-
 деть ночью...» (Огонь на мач-
 те) — 151

«...И снилось мне, что мы, как
 в сказке...» (Сказка) — 142

«...И снилось мне, что осенней
 порой...» — 59

«И снова вечер, степь и чет-
 ко...» — 402

«И снова вечер, сухо позла-
 тивший...» (Сторож) — 248

«И снова ночь, и снова под
 луной...» — 421

Истара («Луна, бог Сии, ее
 зарей встречает...») — 226

«Истомлена полдненным
 зноем...» (Буря) — 377

Источник звезды («В ночь
 рождения Исы...») — 257

«И умерла, и схоронил Иа-
 ков...» (Гробница Рахили) —
 206

«Их господь истребил за из-
 мену несчастной отчизне...» (За
 измену) — 169

«И цветы, и шмели, и трава,
 и колосья...» — 361

«И шли века, и стены Рая па-
 ли...» — 402

«Ищу я в этом мире соче-
 тания...» (Ночь) — 389

«И я узрел: отверста дверь на
 небе...» (Из Апокалипсиса) —
 106

Кадильница («В горах Сици-
 лии, в монастыре забытом...») —
 308

Казнь («Туманно утро крас-
 ное, туманно...») — 295

Каин («Род приходит, ухо-
 дит...») — 215

Каир («Английские солдаты
 в цитадели...») — 226

«Как в апреле по ночам в ал-
 лее...» — 359

«Как в гору, шли мы в
 зыбь, в спящий блеск за-
 ката...» (Мертвая зыбь) —
 247

«Как все вокруг сурово, снеж-
 но...» — 46

«Как все спокойно и как все
 открыто!...» — 117

«Как дым пожара, туча
 шла...» — 274

«Как дымкой даль полей за-
 крыв на полчаса...» — 49

«Как дым, седая мгла моро-
 за...» (Сумерки) — 136

«Как много звезд на тусклой
синеве!..» — 351

«Как розовое море — даль
пустынь...» (Стон) — 166

«Как светла, как нарядна вес-
на!..» — 80

«Как старым морякам, жи-
вущим на покое...» (Зов) —
256

«Как стая птиц, в пустыне
одиоко...» (Рассвет) — 245

Калабрийский пастух («Лох-
мотья, нож — и цвета черной
крови...») — 339

Каменная Баба («От зноя
травы сухи и мертвы...») —
180

Канарейка («Канарейку из-
за моря...») — 364

«Канарейку из-за моря...»
(Канарейка) — 364

Канун Купалы («Не туман
белеет в темной роще...») —
129

Канун («Хозяин умер, дом
забит...») — 334

Капри («Проносились над
островом зимние шквалы и бу-
ри...») — 341

Караван («Звон на верблю-
дах, ровный, полусонный...») —
231

«Катится диском золотым...»
(В горах) — 144

«Качаюсь, плескаюсь — и с
шумом встаю...» — 407

«Качка слабых мучит и пья-
нит...» (Компас) — 340

«К вечеру море шумней и
мутней...» — 292

К востоку («Вот и скрылись,
позабылись снежных гор ча-
мы...») — 187

Кедр («Темный кедр растет
среди долины...») — 388

Келья («День распогодился с
закатом...») — 163

Кинематограф («В окно пу-
стое петер дул...») — 398

Кипарисы («Пустынная Яй-
ла дымится облаками...») —
71

Клад («Все, что хранит следы
давно забытых...») — 396

«Ключ гремит на дне тесни-
ны...» (Аркадия) — 341

Князь Всеслав («Князь Все-
слав в железы был зако-
ван...») — 306

Кобылица («Я снял узду,
седло — и вольно...») — 346

Ковсень («Здесь царство
снов. На сотни верст безлюд-
ны...») — 125

«Ковчег под предводительст-
вом осла...» (Джордано Бру-
но) — 202

Ковыль («Что шумит-звенит
перед зарею?...») — 60

«Когда в волне мелькнул он
мертвым ликом...» (Гальцио-
на) — 229

«Когда вдоль корабля, ка-
чаясь, вьется пена...» — 116

«Когда деревья в светлый
майский день...» — 91

«Когда ковчег был кончен и
наполнен...» (Потоп) — 155

«Когда на темный город схо-
дит...» — 64

«Когда-то, над тяжелой бар-
кой...» — 308

«Колеса мелкий снег взрыва-
ли и скрипели...» (На Нев-
ском) — 338

Колибри («Трава пестрит —
как разглядеть змею?...») —
210

Колизей («Дул теплый ветер.
Точно сея...») — 317

«Колокола переводили...»
(Венчик) — 401

«Колоколов средневековый...»
(Венеция) — 368

Кольцо («В белом песке золотое блеснуло кольцо...») — 132

Компас («Качка слабых мучит и пьянит...») — 340

Кондор («Громады гор, зазубренные скалы...») — 120

Кончина святителя («И скрылось солнце жаркое в лесах...») — 327

Конь Афины-Паллады («Запели жрецы, распахнулись врата — восхищенный...») — 333

«Корабли в багряном зареве заката...» (Закат) — 95

«К оракулу и капищу Сиваха...» (Александр в Египте) — 227

«Косоглазая девушка, ножки скрестив...» (Невеста) — 398

Косогор («Косогор над разлужьем и пашни кругом...») — 141

«Костел-маяк, примета мореходу...» (Стрижи) — 201

Костер («Ворох листьев сухих все сильнее, веселей разгорается...») — 64

«Костер трещит. В фелюке свет и жар...» (С острой) — 159

«Кошка в крапиве за домом жила...» — 211

«К побережью моря длинная аллея...» — 96

«Край без истории... Все леса да лес, болота...» — 329

«Крест в долине при дороге...» — 117

Крещенская ночь («Темный ельник снегами, как мехом...») — 379

Криница («Торчит журавль над шахтой под горой...») — 260

Кружево («Весь день метель. За дверью у соседа...») — 241

«Кто там стучит? Не встану. Не открою...» (Рыбачка) — 239

Купальщица («Смугла, ланиты побледнели...») — 171

«Курган разрыт. В тяжелом саркофаге...» (Без имени) — 258

«Лазурным пламенем сияют небеса...» (Зимний день в Оберланде) — 119

Ландыш («В голых рощах веял холод...») — 354

«Легко и бледно небо голубое...» (Пахарь) — 175

«Ледяная ночь, мистраль...» (Ночь) — 375

«Лежу во тьме, сраженный злою силой...» (Агни) — 182

«Леса в жемчужном инее. Морозно...» — 204

«Леса, пески, сухой и теплый воздух...» (Светляк) — 275

«Леса, скалистые теснины...» (Вершина) — 161

Лесная дорога («В березовом лесу, где распевают птицы...») — 115

«Лес, точно терем расписной...» (Листопад) — 83

«Лес шумит невнятным, ровным шумом...» — 91

Летняя ночь («Дай мне звезду, — твердит ребенок сонный...») — 268

«Летом в море легкая вода...»
(Рыбацкая) — 223

«Летят, блещут мелькающие
спицы...» (Стой, солнце!) —
318

«Лик прекрасный и бескров-
ный...» — 397

«Лиман песком от моря отде-
лен...» — 312

Лимонное зерно («В сырой
избушке шорника Лукья-
на...») — 259

Листопад («Лес, точно терем
расписной...») — 83

«Листья падают в саду...» —
77

«Лицом к туманной зыби
хороните...» (Пращуры) —
264

«Ловец великий перед бо-
гом...» (Святой Евстафий) —
288

«Лохмотья, нож — и цвета
черной крови...» (Калабрий-
ский пастух) — 339

«Луна, бог Син, се зарей
встречает...» (Истара) — 226

«Луна еще прозрачна и блед-
на...» — 195

«Луна и Нил. По берегу, к пе-
щерам...» — 404

«Луна над шумною Ку-
рою...» — 393

Луна («Настанет Ночь моя,
Ночь долгая, немая...») — 352

«Луна полночная глядит...» —
394

«Льет без конца. В лесу ту-
ман...» — 328

«Любил он ночи темные в
шатре...» — 108

«Люблю сухой, горячий блеск
червонца...» (На рейде) — 201

«Люблю цветные стекла
окон...» — 194

«Люблю я наш обрыв, где ди-
кою грядою...» (На острове) —
113

Людмила («На западе вес-
ною под вечер тучи сини...») —
316

Люцифер («В святой Софии
голуби летали...») — 233

Магомет в изгнании («Духи
над пустыней пролетали...») —
193

Магомет и Сафия («Сафия,
проснувшись, заплетает лов-
кой...») — 285

Малайская песня («Чернеет
зыбкий горизонт...») — 300

Мандрагора («Цветок Ман-
драгора из могил расцвета-
ет...») — 224

«Маргарита прокралась в све-
телку...» — 415

Матери («Я помню спальню
и лампадку...») — 258

Матрос («Ночью в море
крепко спать хотелось...») —
276

Матфей Прозорливый («Ночь
и могильный мрак пещеры...») —
304

Мать («И дни и ночи до
утра...») — 59

Мачеха («У меня, сироты,
была мачеха злая...») — 278

«Меж островов Архипела-
га...» (Эллада) — 348

Мекам («Мекам — восторг,
священное раденье...») — 225

«Мелькают дали, черные,
слепые...» — 255

«Меркнет свет в небесах...»
(Горе) — 179

Мертвая зыбь («Как в гору,
шли мы в зыбь, в слепящий
блеск заката...») — 247

Метель («Ночью в полях, под
напевы метели...») — 67
«Мечтай, мечтай, Все уже и
тесней...» (Собака) — 244
«Мечты любви моей весен-
ней...» — 367
«Мяг мне жемчуг нежный,
чистый дар морей!...» — 102
«Мимо острова я полночь
фрегат проходил...» — 199
Миньона («В горах, от снега
побелевших...») — 315
Мира («Тебя зовут боже-
ственной, Мира...») — 130
«Мир вам, в земле почив-
шие! — За садом...» (Пус-
тошь) — 214
«Мир не забудет веры дре-
вних лет...» (Звездопокло-
ники) — 249
Мистику («В холодный зал,
луною озвешенный...») — 159
«Мистраль качает ставни,
Целый день...» (Зимняя впа-
да) — 261
Михаила («Архангел в сияю-
щих латах...») — 363
«Мне вечно, молодой, скучен
терек был...» — 307
Могилы в скалах («Те было в
полдень, в тумане, на Гин-
дас...») — 244
Могилы поэта («Мирамор гро-
бины: его — в скорбной толпе
кипарисов...») — 132
Могильная планта («Могиль-
ная планта, виласная, ди-
скан...») — 26
«Могилы востржи дождю: и
куржаны...» — 0
«Могилы Тимур привне: малют-
ки-сын...» (Могилы) — 372
Молодой корабль («То же
рыбный мальчик метнул...») — 345

Молодость («В «холод...»
«...прелестнейший...») —
318

«Молчат гробницы: мучки и
кости...» (Солов.) — 267

Молчание («По расклевываю-
му ушел...») — 399

«Монастыри я предсказав
глухих...» (В Сицилии) — 268

«Море: голый светлый, ослепи-
ло...» (Укоры) — 350

«Море, степь и южный ав-
густ, ослепительный и жар-
кий...» — 344

«Морозное дыхание мете-
ли...» — 112

Мороз («Так ярко звезд го-
рит узор...») — 122

«Морского ветра свежее ды-
хание...» (Морской ветер) —
248

Морской ветер («Морского
ветра свежее дыхание...») —
248

Морфей («Прекрасен твой
венчик из огненного мака...») —
306

Москва («Здесь, в старых пе-
реулках в Арбатом...») — 203

«Моя печаль теперь спо-
койна...» — 100

«Мирамор гробницы: его — в
скорбной толпе кипарисов...»
(Могилы поэта) — 132

Мудры («Телом — как
выжир, совыжающий, палат-
ки...») — 186

Мужичок («Зеленый: бе-
резничком — где души заво-
чет...») — 256

Мурлы («Пол сидов: муры-
тук, споконством, совыт...») —
318

Мушкет («Была: сои Муш-
кет...») — 27

«Мы встретились случайно,
на углу...» — 150

«Мы рядом шли, но на меня...» — 356

«Мы сели у печки в прихожей...» — 357

«Мятую красную феску мастер водой окропил...» (Феска) — 325

«На Альпы к сумеркам нисходят облака...» — 310

«Набегает впотьмах...» — 139

На белых песках («На белых песках от прилива...») — 144

«Навес кумирни, жертвенник в жасмине...» (Богиня) — 322

На винограднике («На винограднике нельзя дышать. Лоза...») — 165

«На всех на вас — на каждой багрянице...» (Птица) — 191

«На всякой высоте прельщает Сатана...» — 407

«На высоте, на снеговой вершине...» — 100

«Нагая степь пустыней веет...» — 63

«На глазки синие, прелестные...» — 99

«На гривастых конях на косматых...» (Святогор и Илья) — 302

На дальнем севере («Так небо низко и уныло...») — 76

«На даче тихо, ночь темна...» — 362

«На диких берегах Бретани...» (Звезда Морей, Мария) — 412

«На диких скалах, среди развалин...» (Печаль) — 173

«Над морем дремлют, зеленеют...» (У залива) — 382

На Днестре («За мирным Днестром, за горами...») — 70

«Над озером, над заводью лесной...» (Северная береза) — 121

Надпись на могильной плите («Несть, господи, грехов и злодеяний...») — 384

Надпись на чаше («Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря...») — 131

«Над синим понтон — серые руины...» (Развалины) — 140

«Над стремью скал — чернеющий орел...» (Дикарь) — 237

«Над чернотой твоих пучин...» (Индийский океан) — 317

«На задворках, за ригами...» (Пугало) — 216

«На западе весною под вечер тучи сини...» (Людмила) — 316

«На земле ты была точно дивная райская птица...» (Эпитафия) — 353

На исходе («Ходили в мире лже-Мессии...») — 347

«На лиловом небе...» (Вечерний жук) — 325

«На льдах Эльбурса солнце всходит...» (Эльбурс) — 155

На маяке («В пустой маяк, в лазурь оконных впадин...») — 143

«На мертвый якорь кинули бакан...» — 95

На монастырском кладбище («Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц...») — 388

На Невском («Колеса мелкий снег взрывали и скрипели...») — 338

На кубийском базаре («Она черна, и блещет скат...») — 400

На обвале («Печальный берег! Сизые твердыни...») — 186

На озере («На озере, среди лесов зеленых...») — 391

«На окне, серебряном от инея...» — 123

На острове («Люблю я наш обрыв, где дикою грядою...») — 113

«На перевале дальнем, на краю...» (Березка) — 262

«На песок у моря синего...» (Алисафия) — 270

«На пирах веселых...» (Песня) — 260

«На письмана исчезнувших народов...» (Трон Соломона) — 236

«На плоском взморье — мертвый зной и штиль...» (Штиль) — 144

На Плющихе («Пол навощен, блестит паркетом...») — 218

«На поднебесном утесе, где бури...» — 47

«На позабытом тракте к Оренбургу...» (Бродяги) — 118

«Наполовину вырубленный лес...» (Семнадцатый год) — 350

«На поморин далеком...» — 311

На проселке («Веет утро прохладой степною...») — 65

На пути из Назарета («На пути из Назарета...») — 266

«На пути под Хевроном...» — 205

Напутствие («За погостом Скутари, за черным...») — 238

На распутье («На распутье в диком древнем поле...») — 87

На рейде («Люблю сухой, горячий блеск червонца...») — 201

«На севере есть розовые мхи...» (Безнадежность) — 219

Наследство («В угольной — солище, запах кипариса...») — 216

«Настала ночь, остыла от звезд песок...» (Среди звезд) — 343

«Настанет день — ищеминя...» — 336

«Настанет Ночь моя, Туча долгая, вешняя...» — 352

«Насторожись, стань колючей стрелой...» (Дистанция) — 186

«На темном небе: струиные лад...» (После Мисгисского землетрясения) — 242

«На треножнике ботина сидится...» (Циоция) — 310

На хуторе («Свечи нагорели, долот зимний вечер...») — 73

«На Яйде вязеленежи буки...» (Вино) — 240

Небо («В деревне капали капли...») — 165

Невеста («Косоглазая девушка, ножки скрестив...») — 398

Невеста («Я косы девичьи плела...») — 289

«Не видно птиц. Покорно чашнет...» — 47

Невольник («Песок, серебристый и горячий...») — 175

«Не мало царств не мало стран на свете...» (Послание пророка) — 271

«Не прохладой, не дождь» (Последняя гроза) — 378



«Не скрыть от дерзких взоров наготы...» (Статуя рабыни-христианки) — 160

«Не слышать еще тяжкого грома за лесом...» — 108

«Несть, господи, грехов и злодеяний...» (Надпись на могильной плите) — 384

«Нет Колеса на свете, Господин...» — 406

«Нет, мертвые не умерли для нас!..» (Призраки) — 160

«Нет ничего грустней ночью...» (Огонь) — 164

«Нет солнца, но светлы пруды...» — 83

«Не туман белеет в темной роше...» (Канун Купалы) — 129

«Не угас еще вдали закат...» — 90

Неугасимая лампада («Она молчит, она теперь спокойна...») — 161

«Неуловимый свет разлился над землею...» — 62

«Не устану воспевать вас, звезды!..» — 113

«Ни алтарей, ни истуканов...» (Ормузд) — 167

«Никогда вы не воскреснете, не встанете...» — 401

«Ни пустоты, ни тьмы нам не дано...» (Свет) — 403

Нищий («Все сады в росе, но теплы гнезда...») — 213

Новоселье («Весна! Темнеет над аулом...») — 185

Новый год («Ночь прошла за шумной встречей года...») — 171

Новый завет («С Иосифом господь беседовал в ночи...») — 286

Новый храм («По алтарям, пустым и белым...») — 210

«Норд-остом жгут пылающие зори...» — 122

Ночлег («В вечерний час тепло во мраке леса...») — 255

Ночная змея («Глаза козюли, медленно ползущей...») — 265

Ночная прогулка («Смотрит луна на поляны лесные...») — 374

«Ночник горит в холодном и угрюмом...» (Дворецкий) — 259

Ночной путь («Стой со сжатыми скулами...») — 411

Ночные цикады («Прибрежный хрящ и голые обрывы...») — 251

Ночь Аль-Кадра («Ночь Аль-Кадра. Сошлись, слились вершины...») — 126

«Ночь зимняя мутна и холодна...» — 264

«Ночь и алые зарницы...» — 407

«Ночь и даль седая...» — 69

Ночь и день («Старую книгу читаю я в долгие ночи...») — 100

«Ночь идет — и темнеет...» — 58

«Ночь идет, — молись, слуга пророка...» (Хая-Баш) — 156

«Ночь и дождь, и в доме лишь одно...» — 421

«Ночь и могильный мрак пещеры...» (Матфей Прозорливый) — 304

Ночь («Ищу я в этом мире сочетанья...») — 389

«Ночь ледяная и немая...» (Бретань) — 399

Ночь («Ледяная ночь, мистраль...») — 375

«Ночь наступила, день угас...» — 65

«Ночь печальна, как мечты мои...» — 93

«Ночь прошла за шумной встречей года...» (Новый год) — 171

«Ночь, сынок, непроглядная...» (Два голоса) — 263

«Ночью в море крепко спать хотелось...» (Матрос) — 276

«Ночью в полях, под напевы метели...» (Метель) — 67

«Ночью, в темном саду, постоял вдалеке...» — 420

«Ночью звездной и студеной...» (Падучая звезда) — 343

«Ночью лампа на окне стояла...» (В первый раз) — 254

Ноябрьская ночь («Туман прозрачный по полям...») — 273

«Ноябрь, сырая полночь. Городок...» (Полночь) — 245

«Ну, что, бабушка, как спасаешься?...» (Русская сказка) — 364

«Нынче ночью кто-то долго пел...» — 80

Няня («В старой темной девичьей...») — 217

Обвал («В степи, с обрыва, на сто миль...») — 221

«Облака, как призраки развалин...» — 104

«Облезлые худые кобели...» (Стамбул) — 153

«Обрыв Яйлы. Как руки фурий...» — 128

«Овальный стол, огромный. Вдоль по залу...» (Игроки) — 331

Огни небес («Огни небес, тот серебристый свет...») — 140

«Огонь, качаемый волной...» — 362

Огонь на мачте («И сладостно и грустно видеть ночью...») — 151

Огонь («Нет ничего грустней ночного...») — 164

«Ограда, крест, зеленая могила...» — 196

«Огромный, красный, старый пароход...» — 194

Один («Он на запад глядит — солнце к морю спускается...») — 220

«Один встречаю я дни радостной недели...» — 48

Одиночество («И ветер, и дождик, и мгла...») — 134

Одиночество («Худая компаньонка, иностранка...») — 291

«Один я был в полночном мире...» — 420

«Одно лишь небо, светлое, ночное...» — 373

«Озарен был сумрак мрачный...» (Эпиталама) — 112

Океаниды («В полдневный зной, когда на щебень...») — 166

«Океан над ясною луной...» — 255

«Окно по ночам голубое...» (При дороге) — 254

«Окраина земли...» (Цейлон) — 320

«Она молчит, она теперь спокойна...» (Неугасимая лампада) — 161

«Она стоит в серебряном венце...» (Древний образ) — 373

«Она черна, и блещет скат...» (На нубийском базаре) — 400

«Он видел смоль ее волос...» — 329

«Он драгоценной яшмой был когда-то...» (Черный камень Каабы) — 169

«Они пришли тропинкою лесною...» (Благовестие о рождении Исаака) — 336

«Он на запад глядит — солнце к морю спускается...» (Один) — 220

«Он на клинок дохнул — и жало...» (Тайна) — 158

«Он сел в глуши, в шатре столетней ели...» (Пугач) — 200

О Петре-разбойнике («В воскресенье, раньше литургии...») — 252

«Опять холодные седые небеса...» — 372

«О радость красок! Снова, снова...» — 355

Ормузд («Ни алтарей, ни истуканов...») — 167

«Осанна! Осанна! Гряди...» (Вход в Иерусалим) — 369

«Осенний день в лиловой крупной зыби...» (В архипелаге) — 229

«Осенний день. Степь, балка и корыто...» — 358

«Осень листья темной краской метит...» (Сквозь ветви) — 163

«Осень. Чащи леса...» — 149

«О счастье мы всегда лишь вспоминаем...» (Вечер) — 246

«От зноя травы сухи и мертвы...» (Каменная Баба) — 180

«От кипарисовых гробниц...» (Война) — 292

«Открыты жнивья золотые...» — 97

«Открыты окна. В белой мастерской...» — 234

Отлив («В кипящей пене валуны...») — 322

«Отошли закаты на далекий север...» — 104

«От пальм увядших слабы тени...» (Засуха в раю) — 293

«От пихт и елей в горнице темней...» (Детская) — 174

«От праздности и лжи, от суетных забав...» (Подражание Пушкину) — 52

Отрава («Свекровь-госпожа в терему до полден заспалась...») — 278

«Отрада смерти страждущим дана...» (Долина Иосафата) — 232

Отрывок («В окно я вижу груди облаков...») — 111

Отрывок («Старик с серьгой, морщинистый и бритый...») — 417

Отчаяние («...И нового порфирой облекли...») — 235

«Отчего ты печально, вечернее небо?...» — 72

Падучая звезда («Ночью, звездной и студеной...») — 343

Памяти друга («Вечерних туч над морем шла гряда...») — 337

Памяти («Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель...») — 261

Пантера («Черна, как копь, где солнце, где алмаз...») — 370

«Паром, скрипя, ушел. В разлив, по тусклой зыби...» (Разлив) — 141

Парус («Звездами вышит парус мой...») — 296

Пахарь («Легко и бледно небо голубое...») — 175

Первая любовь («Я уснул в грозу, среди ненастья...») — 392

Первый соловей («Таает, сияет луна в облаках...») — 342

«Первый утренник, серебряный мороз!...» — 128

Перед бурей («Тьма затопляет лунный блеск...») — 137

«Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью...» (Веснянка) — 386

«Перед закатом набежало...» — 114

Перекресток («Я долго в сумеречном свете...») — 139

Перстень («Рубины мрачные цвели, чернели в нем...») — 287

Песня («Зацвела на воле...») — 250

Песня («На пирах веселых...») — 260

Песня («Я — простая девка на баштане...») — 174

«Песок, серебристый и горячий...» (Невольник) — 173

Петров день («Девушки-русалочки...») — 197

Петух на церковном кресте («Плывет, течет, бежит ладьей...») — 371

Печаль («На диких скалах, среди развалин...») — 173

«Печальный берег! Сизые твердыни...» (На обвале) — 186

«Печаль ресниц, сияющих и черных...» — 368

Пилигрим («Стал на ковер, у якорных цепей...») — 252

«Плакала ночью вдова...» — 285

Плясды («Стемнело. Вдоль аллеи, над сонными прудами...») — 76

Плоты («С востока дует холодом, чернеет зыбь реки...») — 329

«Плывет, течет, бежит ладьей...» (Петух на церковном кресте) — 371

«По алтарям, пустым и белым...» (Новый храм) — 210

«Поблекший дол под старыми платанами...» (Прощание) — 250

По вечерней заре («Засинели, темнеют равнины...») — 92

«Погост, часовенка над склепом...» (Портрет) — 121

Под вечер («Угрюмо шмель гудит, толкаясь по стеклу...») — 162

«Под луной на дальнем юге...» (В караване) — 408

«Под небом мертвенно-свинцовым...» (Родина) — 69

«Под окном бродила и сучала...» — 421

«Под орган душа тоскует...» — 46

Подражание Пушкину («От праздности и лжи, от суетных забав...») — 52

«По древнему унывному распеву...» — 401

«Под сядом хмурых туч, спокойствием объятых...» (Мулы) — 313

«Поздний час. Корабль и тих и темен...» — 67

«Поздно, склонилась луна...» — 74

«Пой, соловей! Они томятся...» (Розы Ширази) — 224

«Пока я шел, я был так мал...» — 385

«Покрывало море свитками...» — 340

«Покуда март гудит в лесу по голым...» (Змея) — 172

Полдень («Горит хрусталь, горит рубин в вине...») — 246

«По лесам бежала божья мать...» (Бегство в Египет) — 296

«Пол навощен, блестит паркет...» (На Плющихе) — 218

«Полночный звон степной пустыни...» — 330

Полночь («Ноябрь, сырая полночь. Городок...») — 245

«Полями пахнет, — свежих трав...» — 106

Полярная Звезда («Свой дикий чум среди снегов и льда...») — 138

Поморье («Белый полдень, жар неносимый...») — 177

Помпея («Помпея! Сколько раз я проходил...») — 339

«По раскаленному ущелью...» (Молчание) — 399

Портрет («Бродя по залам, чистым и пустым...») — 417.

Портрет («Погост, часовенка над склепом...») — 121

«Порыжели холмы. Зноем выжжены...» — 415

После битвы («Воткнув копье, он сбросил шлем и лег...») — 123

Последние слезы («Изнемогла, в качалке задремала...») — 239

Последний шмель («Черный бархатный шмель, золотое оплечье...») — 334

Последняя гроза («Не прохладой, не покоем...») — 378

После Мессинского землетря-

сения («На темном рейде струнный лад...») — 242

После обеда («Сквозь редкий сад шумит в тумане море...») — 284

После половодья («Прошли дожди, апрель теплеет...») — 90

Послушник («Брат, как пасмурно в келье!...») — 156

«По снежной поляне...» (Сон) — 309

Потерянный рай («У райской запретной стены...») — 363

По течению («Девушка, что ты чертила...») — 400

Потомки пророка («Не мало царств, не мало стран на свете...») — 271

Потоп («Когда ковчег был кончен и наполнен...») — 155

«Похолодели лепестки...» (Вальс) — 199

«Поэзия темна, в словах не вырази́ма...» (В горах) — 315

Поэтесса («Большая муфта, бледная щека...») — 344

Поэту («В глубоких колодцах вода холодна...») — 289

Пращуры («Лицом к туманной зыби хороните...») — 264

«Прекрасен твой венок из огненного мака...» (Морфей) — 366

«Прибрежный хрящ и голые обрывы...» (Ночные циклады) — 251

При дороге («Окно по ночам голубое...») — 254

Призраки («Нет, мертвые не умерли для нас!...») — 160

«При свете звезд померкших глаз сиянье...» — 75

При свече («Голубое основание...») — 394

«Присела на могильнике Са-
вуре...» — 211

Проводы («Забил буграми
жемчуг, заклудился...») — 204

Прометей в пещере («Вокруг
пещеры гул. Над нами мрак.
Во мраке...») — 247

«Проносились над островом
зимние шквалы и бури...»
(Капри) — 341

«Проснулся я внезапно, без
причины...» — 126

«Проснусь, проснусь — за
окнами в саду...» — 196

«Просыпаюсь в полумра-
ке...» — 287

«Прошли дожди, апрель теп-
леет...» (После половодья) —
90

Прощание («Поблекший дол
под старыми платанами...») —
250

Псалтирь («Бледно-синий за-
гадочный лик...») — 314

Псковский бор («Вдали тем-
но и чащи строги...») — 263

Птица («На всех на вас — на
каждой багрянице...») — 191

Пугало («На задворках, за
ригами...») — 216

Пугач («Он сел в глуши,
в шатре столетней ели...») —
200

Пустошь («Мир вам, в земле
почившие! — За садом...») —
214

«Пустынная Яйла дымится
облаками...» (Кипарисы) — 71

«Пустынник нам скадал:
«Благословен господь!..» (Бе-
лый цвет) — 291

«Пустыня в тусклом, жарком
свете...» — 298

«Пустыня, грусть в степных
просторах...» — 45

Путешодные знаки («Бог для
ночных паломников в Могре-
бе...») — 188

«Пыль, по которой Гаври-
ил...» (Священный прах) —
189

Рабыня («Странно создан
человек!..») — 348

Радуга («Свод радуги —
творца благоволение...») — 365

Развалины («Над синим пон-
том — серые руины...») — 140

Разлив («Паром, скрипя,
ушел. В разлив, по тусклой
зыби...») — 141

«Ранний, чуть видный рас-
свет...» — 356

«Ра-Озирис, владыка дня и
света...» — 154

«Раскрылось небо голу-
бос...» — 98

«Раскрыт балкон, сожжен
цветник морозом...» (Голу-
би) — 136

«Распали костер, сумей...»
(У шалаша) — 178

Рассвет («Высоко поднялся и
белеет...») — 93

Рассвет («Как стая птиц, в
пустыне одиноко...») — 245

«Рассеянные огненные зер-
на...» (Сатурн) — 220

«Рассыпался чертог из ян-
таря...» (Забывтый фонтан) —
392

«Растет, растет могильная
трав...» — 198

Речка («Светло, легко и сво-
енравно...») — 174

Ритм («Часы, шипя, двена-
дцать раз пробили...») —
274

Родина («Под небом мертвен-
но-свинцовым...») — 69

Родник («В глуши лесной, в
глуши зеленой...») — 93

«Род приходит, уходит...»
(Каин) — 215

Розы («Блистая, облака ле-
пились...») — 143

Розы Шираз («Пой, соло-
вей! Они томятся...») — 224

«Роняя снег, проходят ту-
чи...» — 352

«Роса, при бледно-розовом
огне...» — 290

«Рубины мрачные цвели, чер-
нели в нем...» (Перстень) —
287

Руслан («Гранитный крест
меж сосен, на песчаном...») —
328

Русская весна («Скучно в
лощинах березам...») — 148

Русская сказка («Ну, что, ба-
бушка, как спасаешься?») —
364

Ручей («Ручей среди сухих
песков...») — 384

Рыбалка («Вода за холодные
серые дни в октябре...») —
236

Рыбацкая («Летом в море
легкая вода...») — 223

Рыбачка («Кто там стучит?
Не встану. Не открою...») —
239

«Рыжими иголками...» — 326

Саваоф («Я помню сумрак
каменных аркад...») — 228

Самсон («Был ослеплен Сам-
сон, был господом оби-
жен...») — 145

Сапсан («В полях, далеко от
усадыбы...») — 146

Сатана богу («Я — из огня,
Адам — из мертвой глины...») —
190

Сатурн («Рассеянные огнен-
ные зерна...») — 220

«Сафия, проснувшись, запле-
тает ловкой...» (Магомет и
Сафия) — 285

«Свежа в апреле ранняя за-
ря...» — 212

«Свежее, слаще воздух гор-
ный...» (Учан-Су) — 94

«Свежий ветер дует в сумер-
ках...» (Девичья) — 222

«Свекровь-госпожа в терему
до полдён заспалась...» (Отра-
ва) — 278

«Сверкала Ступа снежной бе-
лизною...» (Святилище) — 324

«Светильники горели, непо-
нятный...» (Айя-София) — 187

«Светит в горы небо голу-
бое...» (Утро) — 382

«Светит, сети ткёт паук...»
(Уездное) — 319

«Светло в светлице от ок-
на...» (Ириса) — 299

«Светло, легко и своенрав-
но...» (Речка) — 174

«Светло, как днем, и тень за
нами бродит...» — 110

Светляк («Леса, пески, сухой
и теплый воздух...») — 275

Свет незакатный («Там, в по-
лях, на погосте...») — 354

Свет («Ни пустоты, ни тьмы
нам не дано...») — 403

«Свечи нагорели, долог зим-
ний вечер...» (На хуторе) —
73

«Свод радуги — творца бла-
говоление...» (Радуга) — 365

«Свой дикий чум среди снегов
и льда...» (Полярная звезда) —
138

«С востока дует холодом, чер-
нует зыбь реки...» (Плоты) —
329

Святылище («Сверкала Ступа снежной белизною...») — 324

Святитель («Твой гроб, дубовая колода...») — 297

Святогор («В чистом поле, у камня Алатыря...») — 276

Святогор и Илья («На гривастых конях на косматых...») — 302

Святой Евстафий («Ловец великий перед богом...») — 288

Святой Прокопий («Бысть некая зима...») — 303

Священный прах («Пыль, по которой Гавриил...») — 189

Северная береза («Над озером, над заводью лесной...») — 121

Северное море («Холодный ветер, резкий и упорный...») — 72

«Седое небо надо мной...» — 48

Семнадцатый год («Наполовину вырубленный лес...») — 350

Сенокос («Среди двора, в батистовой рубашке...») — 243

«С застывшими в блеске зрачками...» (В цирке) — 323

«Сивером на холоде...» (Зазимок) — 297

«Синеет снеговой простор...» (В крымских степях) — 137

«Синие обои полиняли...» — 311

«Синий ворон от падали...» (Степь) — 275

«С Иосифом господь беседовал в ночи...» (Новый завет) — 286

Сириус («Где ты, звезда моя заветная...») — 366

Сирокко («Гул бури за горой и грохот отдаленных...») — 314

Сказка («...И снилось мне, что мы, как в сказке...») — 142

Сказка о козе («Это волчьи глаза или звезды — в стволах на краю перелеска?...») — 297

«Скачет пристяжная, снегом обдаёт...» — 73

Сквозь ветви («Осень листья темной краской метит...») — 163

«Сквозь редкий сад шумит в тумане море...» (После обеда) — 284

Склон гор («Склон гор, сады и минарет...») — 145

«Скользят, текут огни зеленых мух...» (Иерихон) — 231

Скоморохи («Веселые скоморохи...») — 299

С корабля («Для жизни жизни! Вот пенные буруны...») — 221

«Скучно в лощинах березам...» (Русская весна) — 148

Слепой («Вот он идет проселочной дорогой...») — 209

Слово («Молчат гробницы, мумии и кости...») — 287

Смерть («Спокойно на погосте под луною...») — 115

«Смотрит луна на поляны лесные...» (Ночная прогулка) — 374

«Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья...» — 111

«Смотрит на море старый Султан...» (Волны) — 354

«Смугла, ланиты побледнели...» (Купальщица) — 171

«Смятение, крик и визг рыбалок...» — 356

«Снег дымился в раскрытой могиле...» — 403

Собака («Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей...») — 244

С обезьяной («Ай, тяжела турецкая шарманка...») — 224

Солнечные часы («Те часики с эмалью, что впотьмах...») — 256

«Солнце полночное, тени лиловые...» — 318

Соловьи («То разрастаясь, то слабея...») — 54

«Сомкнулась степь синеющим кольцом...» (Степь) — 406

Сон епископа Игнатия Ростовского («Сон лютый снился мне: в полночь, в соборном храме...») — 304

«Сон лютый снился мне: в полночь, в соборном храме...» (Сон епископа Игнатия Ростовского) — 304

Сон («По снежной поляне...») — 309

Сон («Царь! вот твой сон: блистал перед тобою...») — 183

«Сорвался вихрь, промчал из края в край...» — 357

С острой («Костер трещит. В фелюке свет и жар...») — 159

«Сохнут, жарко сохнут травы...» — 419

«Спокойно на погосте под луною...» (Смерть) — 115

«Спокойный взор, подобный взору лани...» — 104

Сполохи («Взвевая легкие гардины...») — 250

Спор («Счастливы мы, фесалийцы! Черное, с розовой пеной...») — 249

Спутница («Шелковой юбкой шурша...») — 323

«Среди двора, в батистовой рубашке...» (Сенокос) — 243

Среди звезд («Настала ночь, остыл от звезд песок...») — 343

«Среди кривых стволов, среди ветвей корявых...» (Холодная весна) — 276

«Стали дымом, стали выше...» — 355

«Стал на ковер, у якорных цепей...» (Пилигрим) — 252

Сталь («Бью звонкой сталью по кремню...») — 397

Стамбул («Облезлые худые кобели...») — 153

Старая яблоня («Вся в снегу, кудравом, благовонном...») — 349

«Старик сидел, покорно и уныло...» — 149

«Старик с серьгой, морщинистый и бритый...» (Отрывок) — 417

«Старик у хаты веял, подкидывал лопату...» — 127

«Старую книгу читаю я в долгие ночи...» (Ночь и день) — 100

Статуя рабыни-христианки («Не скрыть от дерзких взоров наготы...») — 160

«Стемнело. Вдоль аллей над сонными прудами...» (Плеяды) — 76

«С темной башни колокол уныло...» (В старом городе) — 103

«Стена горы — до небосвода...» — 316

«Степь («Синий ворон от падали...») — 275

Степь («Сомкнулась степь синеющим кольцом...») — 406

«Стоит, трепещет Стрекоза...» (Бред) — 409

Стой, солнце! («Летят, блестя мелькающие спицы...») — 318

«Стой со сжатыми скулами...» (Ночной путь) — 411

Столп огненный («В пустыне раскаленной мы блуждали...») — 182

Стон («Как розовое море — даль пустынь...») — 166

Сторож («И снова вечер, сухо позлативший...») — 248

«Стояли ночи северного мая...» — 383

«Странно создан человек!..» (Рабыня) — 348

Стрижи («Костел-маяк, примета мореходу...») — 201

Судный день («В щит золотой, висящий у престола...») — 273

Судра («Жизнь впереди, до старости далеко...») — 163

Сумерки. («Все — точно в полусне. Над серою водой...») — 95

Сумерки («Как дым, седая мгла мороза...») — 136

«Сумрак ночи к западу уходит...» (В отъезде по-ле) — 89

«Сумрачно, скучно светает зоря...» (Туман) — 241

«Счастливы мы, фессалийцы! Чарное, с розовой пеной...» (Спор) — 249

Сын человеческий («Я, Иоани, ваш брат и соучастник...») — 183

«Таает, сияет луна в облаках...» (Первый соловей) — 342

«Таинственно шумит лесная тишина...» — 78

Тайна («Он на клинок дохнул — и жало...») — 158

«Так говорит господь: «Когда мой раб любимый...» (Завеса) — 273

«Так небо низко и уныло...» (На дальнем севере) — 76

«Так ярко звезд горит узор...» (Мороз) — 122

«Там, в полях, на погосте...» (Свет незакатный) — 354

«Там иволга, как флейта, распевала...» — 212

«Там, на припек, спят рыбацкие ковши...» — 127

«Там не светит солнце, не бывает ночи...» — 312

«Твой гроб, дубовая колода...» (Святитель) — 297

«Тебя зовут божественною, Мира...» (Мира) — 130

Тезей («Тезей уснул в венке из мирт и лавра...») — 213

«Темнеет зимний день, спокойствие и мрак...» (Зеркало) — 313

«Темнеют, свиснут сумерки в пустыне...» (Изгнание) — 413

«Темный сльпик снегами, как мехом...» (Крещенская ночь) — 379

«Темный кедр растет среди долины...» (Кедр) — 388

«Тень («Высоко в небе меся-ясный...») — 135

«Теплой ночью, горною тропинкой...» — 283

Терем («Высоко стоит луна...») — 179

«Те часики с эмалью, что впотьмах...» (Солнечные часы) — 256

«Тихой ночью поздний месяц
вышел...» — 338

«То было в полдень, в Ну-
бии, на Ниле...» (Могила в
скале) — 244

«Только камни, пески, да на-
гие холмы...» — 416

«То не красный голубь мет-
нулся...» (Молодой король) —
345

«Тонет солнце, рдяным углем
тонет...» — 153

Тора («Был с богом Моисей
на дикой горной круче...») —
286

«То разрастаясь, то сла-
бея...» (Соловьи) — 54

«Торчит журавль над шахтой
под горой...» (Криница) — 260

«Трава пестрит — как раз-
глядеть змею?...» (Колибри) —
210

Трон Соломона («На письме-
на исчезнувших народов...») —
236

Тропами потаенными («Тро-
пами потаенными, глухими...») —
161

«Тропинкой темною лес-
ною...» (В лесу) — 381

Трясина («Болото тихой се-
верной страны...») — 220

«Ту звезду, что качалась в
темной воде...» — 53

«Туманно утро красное, ту-
манно...» (Казнь) — 295

«Туманный серп, неясный по-
лумрак...» (Апрель) — 177

«Туман прозрачный по по-
лям...» (Ноябрьская ночь) — 273

Туман («Сумрачно, скучно
светает заря...») — 241

«Тут поконят хан, покорив-
ший несметные страны...» —
213

«Ты жила в тишине и по-
кое...» — 420

«Ты высоко, ты в розовом
свете зари...» — 408

«Ты ль повинна, Майя, что
презрела...» (В рощах Урае-
лы) — 406

«Ты мысль, ты сон. Сквозь
дымную метель...» (Памяти) —
261

«Ты на плече, рукою обна-
женной...» (Встреча) — 371

«Ты почишь в ларце, в дра-
гоценном ковчеге...» (Зеленый
стяг) — 188

«Ты, светлая ночь, полнолу-
ная высь!...» — 307

«Ты странствуешь, ты лю-
бишь, ты счастлива...» — 409

1885 год («Была весна, и
жизнь была легка...») — 370

«Ты чужая, но любишь...»
(Чужая) — 176

«Тьма затопляет лунный
блеск...» (Перед бурей) — 137

Тэмджид («В тихом старом
городе Скутари...») — 157

У берегов Малой Азии
(«Здесь царство Амазонок. Бы-
ли дни...») — 181

«У ворот Снона, над Кедро-
ном...» — 353

Уголь («Могол Тимур при-
нес малютке-сыну...») — 272

У гробницы Вергилия («Ди-
кий лавр, и плющ, и ро-
зы...») — 311

«Угрюмо шмель гудит, толка-
ясь по стеклу...» (Под вечер) —
162

«Ударил колокол — и дрог-
нул сон гробниц...» (На мо-
настырском кладбище) —
388

Уездное («Светит, сети тклет паук...») — 319

«Уж ветер шарит по полю пустому...» — 417

«Уж как на море, на море...» — 372

«Уж подсыхает хмель на тыне...» — 127

У залива («Над морем дремлют, зеленеют...») — 382

Укоры («Море с голой степью говорило...») — 350

«Уличив меня в измене...» (Жена Азиса) — 124

«У меня, сироты, была мачеха злая...» (Мачеха) — 278

«У нубийских черных хижин...» — 293

«Уныние и сумрачность зимы...» — 374

«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...» — 365

«У райской запретной стены...» (Потерянный рай) — 363

Утро («Светит в горы небо голубое...») — 382

Учан-Су («Свежее, слаще воздух горный...») — 94

У шалаша («Распали костер, сумей...») — 178

«Ушли с рассветом. Опустели...» (Имру-уль-Кайс) — 233

Феска («Мятую красную феску мастер водой окропил...») — 325

«Хадү — слепец, он жалок. Мрак глубокий...» (Бальдер) — 393

Хая-Баш («Ночь идет, — молись, слуга пророка...») — 156

«Ходили в мире лже-Мессии...» (На исходе) — 347

«Хозяин умер, дом забит...» (Канун) — 334

Холодная весна («Среди кривых стволов, среди ветвей корявых...») — 276

«Холодный ветер дует с Мензала...» (Газелла) — 413

«Холодный ветер, резкий и упорный...» (Северное море) — 72

Храм Солнца («Шесть золотистых мраморных колонн...») — 207

«Христос воскрес! Опять с зарею...» — 70

Христа («Христа угощает кукол на сговоре...») — 240

«Хрустя по серой гальке, он прошел...» (Художник) — 234

«Худая компаньонка, иностранка...» (Одиночество) — 291

Художник («Хрустя по серой гальке, он прошел...») — 234

«Царь! вот твой сон: блистал перед тобою...» (Сон) — 183

«Цветет жасмин. Зеленой чашей...» (Жасмин) — 138

«Цветок Мандрагора из могил расцветает...» (Мандрагора) — 224

Цейлон («В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни...») — 290

Цейлон («Окраина земли...») — 320

Цирцея («На треножник богиня садится...») — 310

Цыганка («Впереди большак, подвода...») — 47

«Чалма на мудром — как луна...» — 208

«Часы, шипя, двенадцать раз пробили...» (Ритм) — 274

«Чем жарче день, тем сладостней в бору...» (Детство) — 177

«Черна, как копь, где солнце, где алмаз...» (Пантера) — 370

«Чернеет зыбкий горизонт...» (Малайская песня) — 300

«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном...» — 152

«Черный бархатный шмель, золотое оплечье...» (Последний шмель) — 334

Черный камень Каабы («Он драгоценной яшмой был когда-то...») — 169

Чибисы («Заплакали чибисы, тонко и ярко...») — 170

«Что впереди? Счастливый долгий путь...» — 414

«Что в том, что где-то, на далеком...» — 63

«Что молодость! Я часто на охоту...» — 395

«Что ты мутный, светел-месяц?..» — 294

«Что шумит-звенит перед зарею?..» (Ковыль) — 60

Чужая («Ты чужая, но любишь...») — 176

«Шелковой юбкой шурша...» (Спутница) — 323

Шестикрылый («Алел ты в зареве Батыя...») — 295

«Шесть золотистых мраморных колонн...» (Храм Солнца) — 207

«Шипит и не встает верблюд...» — 272

«Широко меж вершин дубравы...» — 120

«Шла сиротка пыльною дорогой...» — 209

«Штиль в безгранично-светлом Ак-Денизе...» (Дия) — 204

«Штиль («На плоском взморье — мертвый зной и штиль...») — 144

«Шумели листья, облетая...» — 110

«Щебечут пестрокрылые чеканки...» — 212

«Щеглы, их звон, стеклянный, неживой...» — 358

Элада («Меж островов Архипелага...») — 348

Эльбурс («На льдах Эльбурса солнце всходит...») — 155

Эпиталама («Озарен был сумрак мрачный...») — 112

Эпитафия («На земле ты была точно дивная райская птица...») — 353

Эпитафия («Я девушкой, невестой умерла...») — 119

Эсхил («Я содрогаюсь, глядя на твои...») — 181

«Это было весной. За восточной стеной...» (Иерусалим) — 206

«Это было глухое, тяжелое время...» — 109

«Это волчьи глаза или звезды — в стволах на краю перелеска?..» (Сказка о козе) — 297

«Этой краткой жизни вечным измененьем...» — 359

«Я в бездне был, я жил кош-
маром...» (Звезда Морей) —
395

«Я девушкой, невестой умер-
ла...» (Эпитафия) — 119

«Я долго в сумеречном
свете...» (Перекресток) —
139

«Я — из огня, Адам — из
мертвой глины...» (Сатана бо-
гу) — 190

«Я, Иоанн, ваш брат и соучаст-
ник...» (Сын человеческий) —
183

«Я к ней вошел в полночный
час...» — 75

«Я косы девичьи плела...»
(Невеста) — 289

«Я помню спальню и лам-
падку...» (Матери) — 258

«Я помню сумрак каменных
аркад...» (Саваоф) — 228

«Я — простая девка на баш-
тане...» (Песня) — 174

«Я снял узду, седло — и
вольно...» (Кобылица) — 346

«Я содрогаюсь, глядя на
твою...» (Эсхил) — 181

«Я уснул в грозу, среди нена-
стья...» (Первая любовь) — 392

«Я черных коз пасла с мень-
шой сестрой...» (Бог полдня) —
230

Nel mezzo del camin di
nostra vita — 375



СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Твардовский. О Бунии</i>	5
--	---

СТИХОТВОРЕНИЯ 1888—1952

1888—1899

«В полночь выхожу один из дома...»	45
«Пустыня, грусть в степных просторах...»	45
«Как все вокруг сурово, снежно...»	46
«Под орган душа тоскует...»	46
«На поднебесном утесе, где бури...»	47
Цыганка	47
«Не видно птиц. Покорно чахнет...»	47
«Седое небо надо мной...»	48
«Один встречаю я дни радостной недели...»	48
«Как дымкой даль полей закрыв на полчаса...»	49
В степи	49
В костеле	51
Подражание Пушкину	52
«В туче, солнце заступающей...»	53
«Ту звезду, что качалась в темной воде...»	53
«Бушует полая вода...»	53
Соловьи	54
«Гаснет вечер, даль синет...»	55
«Еще от дома на дворе...»	56

«В стороне далекой от родного края...»	56
«За рекой луга зазеленели .»	57
В поезде	57
«Ночь идет — и темнеет...»	58
«...И снилось мне, что осенней порой...»	59
Мать («И дни и ночи до утра...»)	59
Ковыль	60
«Могилы, ветряки, дороги и курганы...»	61
«Неуловимый свет разлился над землею...»	62
«Если б только можно было...»	62
«Нагая степь пустыней веет...»	63
«Что в том, что где-то, на далеком...»	63
Костер	64
«Когда на темный город сходит...»	64
«Ночь наступила, день угас...»	65
На проселке	65
«Долог был во мраке ночи...»	66
«Поздний час. Корабль и тих и тишен...»	67
Метель	67
«В окошко из темной каюты...»	68
Родина	69
«Ночь и даль седая...»	69
«Христос воскрес! Опять с зарею...»	70
На Днепре	70
Кипарисы	71
«Вьется путь в снегах, в степи широкой...»	71
«Отчего ты печально, вечернее небо?...»	72
Северное море	72
На хуторе («Свечи нагорели, долог зимний вечер...»)	73
«Скачет пристяжная, снегом обдаст...»	73
«Беру твою руку и долго смотрю на нее...»	74
«Поздно, склонилась луна...»	74
«Я к ней вошел в полночный час...»	75
«При свете звезд померкших глаз сиянье...»	75
На дальнем севере	76
Плеяды	76
«И вот опять уж по зарям...»	77
«Листья падают в саду...»	77
«Таинственно шумит лесная тишина...»	78
«В пустынной вышине...»	79
«Все лес и лес. А день темнеет...»	79

«Как светла, как нарядна весна!...»	80
«Нынче ночью кто-то долго пел...»	80
«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи...»	81

1900—1902

«Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес...»	82
«Затрепетали звезды в небе...»	82
«Нет солнца, но светлы пруды...»	83
Листопад	83
На распутье	87
Вирь	88
В отъезде поле	89
После половодья	90
«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...»	90
«Не угас еще вдали закат...»	90
«Когда деревья в светлый майский день...»	91
«Лес шумит невятным, ровным шумом...»	91
«Еще утро не скоро, не скоро...»	92
По вечерней заре	92
«Ночь печальна, как мечты мои...»	93
Рассвет («Высоко поднялся и белеет...»)	93
Родник	93
Учан-Су	94
Эной	94
Закат («Корабли в багряном зареве заката...»)	95
Сумерки («Все — точно в полусне. Над серою водой...»)	95
«На мертвый якорь кинули бакан...»	95
«К побережью моря длинная аллея...»	96
«Открыты жнивья золотые...»	97
«Был поздний час — и вдруг над темнотой...»	97
«Зеленый цвет морской воды...»	98
«Раскрылось небо голубое...»	98
«Зарницы лик, как сновиденье...»	99
«На глазки синие, прелестные...»	99
Ночь и день	100
«На высоте, на снеговой вершине...»	100
«Еще и холоден и сыр...»	100
«Высоко в просторе неба...»	101
«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!...»	102
«Дымится поле, рассвет белеет...»	102

«Гроза прошла над лесом стороною...»	103
В старом городе	103
«Отошли закаты на далекий север...»	104
«Облака, как призраки развалин...»	104
«Спокойный взор, подобный взору лани...»	104
«За все тебя, господь, благодарю!...»	105
«Высоко наш флаг трепещет...»	105
«Полями пахнет,— свежих трав...»	106
Из Апокалипсиса	106
«Не слышать еще тяжкого грома за лесом...»	108
«Любил он ночи темные в шатре...»	108
«Это было глухое, тяжелое время...»	109
«Моя печаль теперь спокойна...»	109
«Звезды ночи осенней, холодные звезды!...»	109
«Шумели листья, облетая...»	110
«Светло, как днем, и тень за нами бродит...»	110
«Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья...»	111
Отрывок («В окно я вижу груды облаков...»)	111
Эпитапеа	112
«Морозное дыхание метели...»	112
На острове	113
«Не устану воспевать вас, звезды!...»	113
«Перед закатом набежало...»	114
«Багряная печальная луна...»	114
Смерть	115
Лесная дорога	115
«Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена...»	116
«Если б вы и сошлись, если б вы и смирились...»	116
«Крест в долине при дороге...»	117
«Как все спокойно и как все открыто!...»	117
Бродяги	118
Эпитафия («Я девушкой, невестой умерла...»)	119
Зимний день в Оберланде	119
Кондор	120
«Широко меж вершин дубравы...»	120

1903—1906

Северная береза	121
Портрет («Погост, часовенка над склепом...»)	121
Мороз	122

«Норд-остом жгут пылающие зори...»	122
После битвы	123
«На окне, серебряном от инея...»	123
«В сумраке утра проносится призрак Одина...»	124
Жена Азиса	124
Ковсерь	125
«Звезды горят над безлюдной землею...»	125
Ночь Аль-Кадра	126
«Далеко на севере Капелла...»	126
«Проснулся я внезапно, без причины...»	126
«Старик у хаты веял, подкидывал лопату...»	127
«Уж подсыхает хмель на тыне...»	127
«Там, на припекке, спят рыбацкие ковши...»	127
«Первый утренник, серебряный мороз!..»	128
«Обрыв Яйлы. Как руки фурий...»	128
Канун Купалы	129
Мира	130
Диза	130
Надпись на чаше	131
Могила поэта	132
Кольцо	132
Запустение	132
Одиночество («И ветер, и дождик, и мгла...»)	134
Тень	135
Голуби («Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом...»)	136
Сумерки («Как дым, седая мгла мороза...»)	136
Перед бурей	137
В крымских степях	137
Жасмин	138
Полярная Звезда	138
«Набегает впотьмах...»	139
Перекресток	139
Огни небес	140
Развалины	140
Косогор	141
Разлив	141
Сказка	142
Розы	143
На маяке	143
В горах («Катится диском золотым...»)	144
Штиль	144

На белых песках	144
Самсон	145
Склон гор	145
Сапсан	146
Русская весна	148
«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...»	148
«Старик сидел, покорно и уныло...»	149
«Осень. Чащи леса...»	149
«Бегут, бегут листы раскрытой книги...»	150
«Мы встретились случайно, на углу...»	150
Огонь на мачте	151
«Все море — как жемчужное зеркало...»	151
«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном...»	152
«Густой зеленый ельник у дороги...»	152
Стамбул	153
«Тонет солнце, рдяным углем тонет...»	153
«Ра-Озирис, владыка дня и света...»	154
Потоп	155
Эльбурс	155
Послушник	156
Хая-Баш	156
Тэмджид	157
Тайна	158
С острогой	159
Мистику	159
Статуя рабыни-христианки	160
Призраки	160
Неугасимая лампада	161
Вершина	161
Тропами потаенными	161
В открытом море	162
Под вечер	162
Сквозь ветви	163
Келья	163
Судра	163
Огонь	164
Небо	165
На винограднике	165
Океаниды	166
Стол	166
В горной долине	167

Ормузд	167
День гнева	168
Черный камень Каабы	169
За измену	169
Гробница Сафии	170
Чибисы	170
Купальщица	171
Новый год	171
Из окна	172
Эмея («Покуда март гудит в лесу по голым...»)	172
Невольник	173
Печаль	173
Песня («Я — простая девка на баштане...»)	174
Детская	174
Речка	174
Пахарь	175
Две радуги	175
Закат («Вдыхая тонкий запах четок...»)	176
Чужая	176
Апрель	177
Детство	177
Поморье	177
Донник	178
У шалаша	178
Терем	179
Горе	179
Дюны	180
Каменная Баба	180
Эсхил	181
У берегов Малой Азии	181
Агни	182
Столп огненный	182
Сын человеческий	183
Сон («Царь! вот твой сон: блистал перед тобою...»)	183
Атлант	184
Золотой невод	185
Новоселье	185
Дагестан	186
На обвале	186
Айя-София	187
К востоку	187

Путеводные знаки	188
Мудрым	188
Зеленый стяг	188
Священный прах	189
Авраам	190
Сатана богу	190
Зейнаб	191
Белые крылья	191
Птица	191

1906—1911

За гробом	193
Магомет в изгнании	193
«Огромный, красный, старый пароход...»	194
«Люблю цветные стекла окон...»	194
«И скрип и визг над бухтой, наводненной...»	195
«Луна еще прозрачна и бледна...»	195
«Проснусь, проснусь — за окнами в саду...»	196
«Ограда, крест, зеленая могила...»	196
Петров день	197
«Растет, растет могильная трава...»	198
Вальс	199
«Мимо острова в полночь фрегат проходил...»	199
«Геймдалль искал родник божественный...»	199
Пугач	200
Дядька	200
Стрижи	201
На рейде	201
Джордано Бруно	202
Москва	203
«Леса в жемчужном инее. Морозно...»	204
Проводы	204
Дня	204
Гермон	205
«На пути под Хевроном...»	205
Гробница Рахили	206
Иерусалим	206
Храм Солнца	207
«Чалма на мудром — как луна...»	208
Воскресение	208

«Шла сиротка пыльною дорогой...»	209
Слепой	209
Новый храм	210
Колибри	210
«Кошка в крапиве за домом жила...»	211
«Присела на могильнике Савуре...»	211
«Свежа в апреле ранняя зоря...»	212
«Там иволга, как флейта, распевала...»	212
«Щебечут пестрокрылые чекканки...»	212
Нищий	213
«Тут покоится хан, покоривший несметные страны...»	213
Тезей	213
Пустошь	214
Каин	215
Пугало	216
Наследство	216
Няня	217
На Плющихе	218
Безнадежность	219
Трясина	220
Один	220
Сатурн	220
С корабля	221
Обвал	221
«Вдоль втих плоских знойных берегов...»	222
Балагуля	222
Из Анатолийских песней	
Девичья	222
Рыбацкая	223
Закон	223
Мандрагора	224
Розы Шираза	224
С обезьяной	224
Мехам	225
Бессмертный	226
Каир	226
Истара	226
Александр в Египте	227
Бог	228
Саваоф	228
Гальциона	229

Вархипелаге	229
Бог полдня	230
Горный лес	230
Иерихон	231
Караван	231
Долина Иосафата	232
Бедуин	232
Люцифер	233
Имру-уль-Кайс	233
«Открыты окна. В белой мастерской...»	234
Художник	234
Отчаяние	235
«В полях сухие стебли кукурузы...»	235
Трон Соломона	236
Рыбалка	236
Баба-Яга	237
Дикарь	237
Напутствие	238
Последние слезы	239
Рыбачка	239
Вино	240
Вдовец	240
Христия	240
Кружево	241
Туман	241
После Мессинского землетрясения	242
«В мелколесье пело глухо, строго...»	242
Сенокос	243
Собака	244
Могила в скале	244
Полночь	245
Рассвет («Как стая птиц, в пустыне одиноко...»)	245
Полдень	246
Вечер	246
Мертвая зыбь	247
Прометей в пещере	247
Морской ветер	248
Сторож	248
Берег	248
Спор	249
Звездопоклонники	249

Прощание	250
Песня («Зацвела на воле...»)	250
Сполохи	250
Ночные цикады	251
Пилигрим	252
О Петре-разбойнике	252
В первый раз	254
При дороге	254
«Океан под ясною луной...»	255
«Мелькают дали, черные, слепые...»	255
Ночлег	255
Зов	256
Солнечные часы	256
Источник звезды	257
Матери («Я помню спальню и лампадку...»)	258
Без имени	258
Лимонное зерно	259
Мужичок	259
Дворецкий	259
Криница	260
Песня («На пирах веселых...»)	260
Зимняя вила	261
Памяти	261
Березка	262

1912—1917

Псковский бор	263
Два голоса	263
Пращур	264
«Ночь зимняя мутна и холодна...»	264
Ночная змея	265
На пути из Назарета	266
В Сицилии	268
Летняя ночь	268
Белый олень	269
Алисафия	270
Потомки пророка	271
«Шипит и не встает верблюд...»	272
Уголь	272
Судный день	273

Ноябрьская ночь	273
Завеса	273
Ритм	274
«Как дым пожара, туча шла...»	274
Гробница	275
Светляк	275
Степь («Синий ворон от падали...»)	275
Холодная весна	276
Матрос	276
Святогор	276
Завет Саади	277
Дедушка	277
Мачеха	278
Отрава	278
Мушкет	279
Венеция	280
«Теплой ночью, горною тропинкой...»	283
Могильная плита	284
После обеда	284
Господь скорбящий	284
Иаков	285
Магомет и Сафия	285
«Плакала ночью вдова...»	285
Тора	286
Новый завет	286
Перстень	287
Слово	287
«Просыпаюсь в полумраке...»	287
Святой Евстафий	288
Поэту («В глубоких колодцах вода холодна...»)	289
«Взойди, о Ночь, на горний свой престол...»	289
Невеста («Я косы девичьи плела...»)	289
«Роса, при бледно-розовом огне...»	290
Цейлон («В лесах кричит павлин, шумят и плещут лив- ни...»)	290
Белый цвет	291
Одиночество («Худая компаньонка, иностранка...»)	291
«К вечеру море шумней и мутней...»	292
Война	292
Засуха в раю	293
«У нубийских черных хижин...»	293

«В жарком золоте заката Пирамиды...»	294
«Что ты мутный, светел-месяц?...»	294
Казнь	295
Шестикрылый	295
Парус	296
Бегство в Египет	296
Сказка о козе	297
Святитель	297
Зазимок	297
«Пустыня в тусклом, жарком свете...»	298
Аленушка	298
Ириса	299
Скоморохи	299
Малайская песня	300
«В столетнем мраке черной ели...»	302
Святогор и Илья	302
Святой Прокопий	303
Сон епископа Игнатия Ростовского	304
Матфей Прозорливый	304
Князь Всеслав	306
«Мне вechор, младой, скучен терем был...»	307
«Ты, светлая ночь, полнолуная высь!..»	307
Богом разлученные	307
Кадильница	308
«Когда-то, над тяжелой баркой...»	308
Дурман	309
Сон («По снежной поляне...»)	309
Цирцея	310
«На Альпы к сумеркам нисходят облака...»	310
У гробницы Вергилия	311
«Синие обои полиняли...»	311
«На поморин далеком...»	311
«Там не светит солнце, не бывает ночи...»	312
«Лиман песком от моря отделен...»	312
Зеркало	313
Мулы	313
Сирокко	314
Псалтирь	314
Миньона	315
В горах («Повзния темна, в словах не выражима...»).	315
Людмила	316

«Стена горы — до небосвода...»	316
Индийский оксая	317
Колизей	317
Стой, солнце!	318
«Солнце полночное, тени алмазные...»	318
Молодость	318
Уездное	319
В орде	319
Цейлон («Окраина земли...»)	320
Отлив	322
Богиня	322
В пирке	323
Спутница	323
Святылище	324
Феска	325
Вечерний жук	325
«Рыжими иголками...»	325
Дочь	325
Кончина святителя	325
«Льет без конца. В лесу туман...»	326
Руслан	326
«Край без истории... Все лес да лес. <i>Волк и лиса...</i>	326
Плоты	326
«Он видел смоль ее волос...»	326
«Полночный звон степной пустыни	327
Дедушка в молодости	327
Игроки	327
Конь Афины-Паллады	327
«Архистратиг средневековый...»	327
Канун	327
Последний шмель	327
«В норе, домами сдавленной...»	327
«Вот он снова, в тот белый...»	327
Благовестие о рождении Исаака	328
«Настанет день — исчезну я...»	328
Памяти друга	328
На Невском	328
«Тихой ночью повдвиг месяц выгнел...»	328
Помпея	328
Калабрийский пестух	328
Компас	328

«Покрывало море свитками...»	340
Аркадия	341
Капри	341
«Едем бором, черными лесами...»	342
Первый соловей	342
Среди звезд	343
«Бывает море белое, молочное...»	343
Падучая звезда	343
«Море, степь и южный август, ослепительный и жар- кий...»	344
Поэтесса	344
Заклинание	345
Молодой король	345
Кобылица	346
На исходе	347
Гаданье	347
Эллада	348
Рабыня	348
Старая яблоня	349
Грот	349
Голубь («Белый голубь летит через море...»)	349
Семнадцатый год	350
Укоры	350
Змея («Зашелестела тонкая трава...»)	351
«Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны...»	351
«Как много звезд на тусклой синеве!..»	351
«Вид на залив из садика таверны...»	352
«Роняя снег, проходят тучи...»	352
Луна	352
«У ворот Сиона, над Кедроном...»	353
Эпитафия («На земле ты была точно дивная райская птица...»)	353
Воспоминание	353
Вихи	354
Ландыш	354
Свет незакатный	354
«О радость красок! Снова, снова...»	355
«Стали дымом, стали выше...»	355
«Ранний, чуть видный рассвет...»	356
«Смятенье, крик и виаг рыбалок...»	356
«Мы рядом шли, но на меня...»	356

«Белые круглятся облака...»	357
«Мы сели у печки в прихожей...»	357
«Сорвался вихрь, промчал из края в край...»	357
«Осенний день. Степь, балка и корыто...»	358
«Щеглы, их звон, стеклянный, неживой...»	358
«Этой краткой жизни вечным изменением...»	359
«Как в апреле по ночам в аллесе...»	359
«Звезда дрожит среди вселенной...»	359
Восход луны	360
«В пустом, сквозном чертоге сада...»	360

1918—1952

«В дачном кресле, ночью, на балконе...»	361
«И цветы, и шмели, и трава, и колосья...»	361
«Древняя обитель супротив луны...»	362
«На даче тихо, ночь темна...»	362
«Огонь, качаемый волной...»	362
Михаил	363
Потерянный рай	363
Канарейка	364
Русская сказка	364
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...»	365
Радуга	365
Морфей	366
Сириус	366
«Зачем пленяет старая могила...»	366
«В полночный час я встану и взгляну...»	367
«Мечты любви моей весенней...»	367
«Все снится мне заросшая травой...»	368
«Печаль ресниц, сияющих и черных...»	368
Венеция	368
Вход в Иерусалим	369
«В гелiotроповом свете молний летучих...»	369
Пантера	370
1885 год («Была весна, и жизнь была легка...»)	370
Петух на церковном кресте	371
Встреча	371
«Уж как на море, на море...»	372
«Опять холодные седые небеса...»	372
«Одно лишь небо, светлое, ночное...»	373

Древний образ	373
«Уныние и сумрачность зимы...»	374
Ночная прогулка	374
Nel mezzo del camin di nostra vita	375
Ночь	375
Искушение	376

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ И. А. БУНИНЫМ В
СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Буря	377
«Вдали еще гремит, но тучи уж свалились...»	378
Последняя гроза	378
Крещенская ночь	379
В лесу	381
Утро	382
У залива	382
«Стояли ночи северного мая...»	383
«В поздний час мы были с нею в поле...»	383
Надпись на могильной плите	384
Ручей	384
«Пока я шел, я был так мал!...»	385
«Из тесной пропасти ущелья...»	385
«Жесткой, черной, листвою шелестит и трепещет кустар- ник...»	386
Веснянка	386
Кедр	388
На монастырском кладбище	388
Ночь	389
Горный путь к морю	390
На озере	391
Первая любовь	392
Забитый фонтан	392
Бальдер	393
«Луна над шумною Курю...»	393
«Луна полночная глядит...»	394
«Весна, и ночь, и трепет звезд...»	394
При свече	394
Звезда Морей	395
«Что молодость! Я часто на охоту...»	395
«Жгли на кострах за пап. и за чертей...»	396

«Идет тяжелый гул по липам...»	396
Клад	396
Сталь	397
В арабской деревне	397
«Лик прекрасный и бескровный...»	397
Невеста	398
Кинематограф	398
Бретань	399
Молчание	399
По течению	400
На нубийском базаре	400
Венчик	401
«Никогда вы не воскреснете, не встанете...»	401
«По древнему унывному распеvu...»	401
«И шли века, и стены Рая пали...»	402
«И снова вечер, степь и четко...»	402
«Снег дымился в раскрытой могиле...»	403
Свет	403
«Иконку, черную дощечку...»	404
«Луна и Нил. По берегу, к пещерам...»	404
«Бледна приморская страна...»	405
В рощах Урвелы	406
«Нет Колеса на свете, Господин...»	406
Степь («Сомкнулась степь синеватым кольцом...»)	406
«Качаюсь, плескаюсь — и с шумом встаю...»	407
«На всякой высоте прельщает Сатана...»	407
«Ночь и алые зарницы...»	407
«Ты высоко, ты в розовом свете зари...»	408
В караване	408
«Дует ветер, море хлеба...»	409
Бред	409
«Ты странствуешь, ты любишь, ты счастлива...»	409
Из книги пророка Исани	410
«— Дай мне, бабка, зелий приворотных...»	410
Во полунощи	411
«Высокий белый зал, где черная рояль...»	411
Ночной путь	411
«Гор сиреневых кручи встают...»	412
Звезда Морей, Мария	412
Изгнание	413
Газелла	413

«И вновь морская гладь бледна...»	414
«Что впереди? Счастливый долгий путь...»	414
«Звезда, воспламеняющая твердь...»	414
«Порыжели холмы. Зноем выжжены...»	415
«Маргарита прокралась в светелку...»	415
«Только камни, пески, да нагие холмы...»	416
«Земной, чужой душе закат!..»	416
Отрывок («Старик с серьгой, морщинистый и бритый...»)	417
Портрет	417
«Уж ветер шарит по полю пустому...»	417
«В полуденных морях, далеко от земли...»	418
«Высокие нездешние цветы...»	419
«Сохнут, жарко сохнут травы...»	419
«Где ты, угасшее светило?...»	419
«Ночью, в темном саду, постоял вдалеке...»	420
«Ты жила в тишине и покое...»	420
«Один я был в полночном мире...»	420
«Под окном бродила и скучала...»	421
«И снова ночь, и снова под луной...»	421
«Ночь и дождь, и в доме лишь одно...»	421
Венки	422

ПЕРЕВОДЫ

Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате

От переводчика	423
Вступление	425
I. Трубка Мира	428
II. Четыре ветра	432
III. Детство Гайаваты	439
IV. Гайавата и Мэджекивис	445
V. Пост Гайаваты	453
VI. Друзья Гайаваты	460
VII. Пирога Гайаваты	465
VIII. Гайавата и Мише-Нама	468
IX. Гайавата и Жемчужное Перо	474
X. Сватовство Гайаваты	482
XI. Свадебный пир Гайаваты	489
XII. Сын Вечерней Звезды	495
XIII. Благословение полей	505

XIV. Письмена	511
XV. Плач Гайаваты	515
XVI. По-Пок-Кивис	521
XVII. Погоня за По-Пок-Кивисом	527
XVIII. Смерть Квазинда	536
XIX. Привидения	539
XX. Голод	545
XXI. След белого	550
XXII. Эпилог	556
<i>Словарь индейских слов, встречающихся в «Песни»</i>	563
<i>Комментарии</i>	565
<i>Алфавитный указатель стихотворений</i>	637



- Бунин И.
Б91 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. I.
Стихотворения, 1888—1952; Переводы/Ред. кол.
Ю. Бондарев, О. Михайлов, В. Рынкевич; Вступ. ста-
тья А. Твардовского; Сост., подгот. текста и коммент.
А. Бабореко; Статья «Поэзия Бунина» О. Михай-
лова.— М.: Худож. лит., 1987.— 687 с.

В том вошли стихотворения И. А. Бунина 1888—1952 гг. и перевод
«Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло.

Б 4702010100-264
028(01)-87 — подписное

ББК 84Р1

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Собрание сочинений

Том I

Редактор Ч. Залилова

Художественный редактор Г. Масляненко

Технический редактор Л. Синицына

Корректоры Н. Усольцева, С. Коланова

ИБ № 4586

Сдано в набор 31.10.86. Подписано к печати 23.06.87. Формат 84 X
X 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 36,12 + 1 вкл. = 36,17. Усл. кр.-отт. 36,64. Уч.-изд. л. 35,99 +
+ 1 вкл. = 36,04. Тираж 400 000 экз. Изд. № II-2559. Заказ № 622.

Цена 3 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам печати, издательской полиграфии и книжной торговли.

1925 Ленинград, П-136, 15.

UDr № 322944